

*Брайан
Эшкрофт*

APACHE

DEFA







ПОПУЛЯРНАЯ БИБЛИОТЕКА



«Популярная библиотека» основана в 1987 году.
Формируется на основе изучения социологами
Института книги читательского спроса.
Ежегодная программа серии утверждается
после обсуждения на страницах газеты
«Книжное обозрение».

Владимир Набоков

ДРУГИЕ БЕРЕГА



Москва
Издательство «Книжная палата»
1989

ББК 84.7Ш
Н 141

Составитель В. В. Ерофеев
Художник С. А. Стулов

Набоков В.

Н 141 Другие берега: Сборник.— М.: Кн. палата, 1989.—
288 с.— (Попул. б-ка).
ISBN 5-7000-0136-5 (2-й завод)

Творчество Владимира Набокова — русского и американского писателя, литературного и психологического феномена — до недавнего времени не было известно широкому советскому читателю. Предлагаемый сборник представляет Набокова — мемуариста, Набокова — художника слова, Набокова — мастера сюжета и великолепного стилиста. В эту книгу включены романы: «Другие берега», «Подвиг» и рассказы разных лет.

4703040100-073
Н —————— Без объявл.
008(01)-89
ISBN 5-7000-0136-5

© Состав, художественное оформление.
Издательство «Книжная палата», 1989

НАБОКОВ В ПОИСКАХ ПОТЕРЯННОГО РАЯ

Разговор о набоковской прозе начну со стихов. В 1927 году в берлинской эмигрантской газете «Руль» молодой поэт, сын крупного деятеля кадетской партии, В. Д. Набоков опубликовал стихотворение ностальгического содержания. Сирин — таков был его псевдоним — представлял себе, как на немецкой фабрике печатается железнодорожный билет, на котором значится «невероятной станции название». Стихотворение «Билет» заканчивалось строфой:

И есть уже на свете много лет
тот равнодушный, медленный приказчик,
который выдвинет заветный ящик
и выдаст мне на родину билет.

Демьян Бедный незамедлительно откликнулся на эту эмигрантскую «провокацию». В газете «Правда» за 15 июля 1927 года была опубликована его отповедь под названием «Билет на тот свет»:

Что ж? Вы вольны в Берлине «фантазирен».
Но, чтоб разжать советские тиски,
Вам — и тебе, поэтик бедный Сирин!—
Придется ждать до гробовой доски!

Д. Бедный оказался пророком. «Поэтик бедный» так и не увидел родины, умерев в Швейцарии в 1977 году всемирно известным писателем Владимиром Набоковым.

С другой стороны, Д. Бедный оказался последним человеком, который упомянул имя Сирина в советской печати перед тем, как оно исчезло из нее на целых тридцать лет. Когда же прошли тридцать лет, Набокова принялись ругать уже как автора «эротического бестселлера» — за роман «Лолита».

Теперь у нас Набокова любят, издают, переиздают и удивляются, как же это его раньше не любили? Что делать, если мы все вышли не из набоковских, а из зощенковских рассказов?

Набоков родился в Санкт-Петербурге в 1899 году в родовитой и богатой семье, и детство его было сказочным в том значении этого слова, где оно совпадает со словом *счастливый*. Никто еще не написал и едва ли когда напишет о набоковском детстве лучше, чем это сделал сам Набоков, сначала на страницах нью-йоркского еженедельника «Нью Йоркер», а затем в отдельной книге, вышедшей по-русски в США в 1954 году под названием «Другие берега».

Однако эта книга представляет собой не столько автобиографию счастливого, наблюдательного и избалованного барчука, сколько итог целого цикла романов, которые писал Набоков в берлинской эмиграции в 20—30-е годы и тема которых связана с «потерянным раем». Рассказы Набокова также в пленах или в тени этой темы. Ее же значение, в силу набоковского дара, далеко вышло за рамки частного случая, приобрело (о чём чуть дальше) экзистенциальное измерение.

В прозе Набокова много словесной игры, или, как он сам говорил, ворожбы. Не уверенному в себе читателю, воспитаннику русского классического реализма

ма порою кажется, что его водят за нос. Ну что ж, ему *правильно* кажется, не подставляйте нос, и сначала следует разобраться в авторских намерениях, серьезных и несерьезных одновременно, в чем и состоит набоковская сложность.

К тому же мы не привыкли к неосуждению богатства и неги, к индифферентному взгляду на судьбы трудящихся, среди которых попадаются и довольно бесчестные люди, вообще к необожествлению народа, к интересу взрослого человека к бабочкам и восхвалению таких странных добродетелей, как утивость и сдержанность, которые встречаются, среди прочего, в романе «Подвиг».

Откуда взялась эта диковинная проза, и где ее корни, и в чем ее смысл?

Я предлагаю совершить небольшую прогулку по русскоязычной набоковской прозе (переехав в 1940 году в США, Набоков стал писать в основном по-английски), с тем чтобы лучше понять произведения, собранные в этой книге.

Проза Набокова во многом опирается на опыт символистской прозы, и прежде всего на опыт Андрея Белого, автора романа «Петербург» (одно из четырех главных произведений XX века, по определению Набокова, наряду с произведениями Джойса, Кафки и Пруста). Но символистский роман, особенно в его русском варианте, был романом «вертикального» поиска истины, то есть романом метафизическим. С другой стороны, он был романом индивидуалистическим, ибо жаждущее истины «я» искало «вертикальную» истину в одиночку, отвергая обыденную мораль «мы» и тем самым отвергая предшествующую традицию, когда «я» тосковало по соединению с «мы» и, если такого соединения не находило, было готово причислить себя к «лишним людям». Вообще авантюры повествовательного «я» в творчестве русских писателей XIX — начала XX века — еще далеко не изученная тема. Можно только заметить, что после Достоевского и Толстого возникло два противоположных направления: одно тяготело к смыканию с «мы» (линия Горького и далее — социалистического реализма в советской литературе), другое отражало разочарование по поводу соединения с «мы» (у А. Белого этого отрыв «я» от «мы» катастрофичен, и никакая теософия его не «снимает»).

В силу своего метафизического «сомнения» Набоков «закрыл» верхний этаж символической прозы, то есть закрыл для своего «я» выходы не только в горизонтальную плоскость «мы», но и в вертикальную плоскость слияния с мировой душой в некое мистическое «мы».

Таким образом, набоковское «я» (и плеяда его романых «двойников») оказалось в полном одиночестве, предельной изоляции, и, удержав в сознании символистскую идею неподлинности «здесьшнего» мира, условности его декораций, оно волей-неволей, не имея доступа в верхние этажи, должно было театрализовать этот мир декораций (в театрализации содержится момент преодоления и освобождения от неподлинного мира), причем «другой» в мире Набокова (кроме исключений, о которых речь ниже) также оказывается видимостью, призраком, наконец, вещью (тем самым подтверждается ортеговская концепция «дегуманизации» искусства в XX веке). Подобное абсолютно однокое «я» становится невольным ницшеанцем, в тени близкой по времени ницшеанской традиции как непроизвольного ориентира, и тогда вырабатывается особый комплекс морали, в чем-то оппозиционный по отношению к предшествующей христианской этике.

Впрочем, это «ницшеанство» в известной мере ограничено не только воспитанием (вспомним комплекс ставрогинской порядочности, хотя сравнение «хромает» из-за отсутствия в набоковском «я» воли к «преступлению»), но и здравым смыслом, чувством юмора и самоиронией, которая, правда, у Набокова не всегда обнаруживается, что ослабляет его самоанализ и позволяет оста-

ваться в тени тем определенным чертам его «я», которое считает, что знает себя досконально и, уж во всяком случае, лучше других.

Именно на этом основывается перманентная критика Набоковым фрейдизма, ибо представить себе, чтобы «венская делегация» лучше разбиралась в набоковском «я», чем он сам, невозможно, это выглядит оскорблением,— отсюда и раздражительная реакция, выраженная как в предисловиях к романам, так и в самих текстах.

Стало быть, нетрудно предположить, что основным содержанием, или, скажу иначе, онтологией, набоковских романов являются авантюры «я» в призрачном мире декораций и поиски «я» такого состояния стабильности, которое дало бы ему возможность достойного продолжения существования.

Экзистенциальная устойчивость авторских намерений ведет к тому, что романы писателя группируются в *метароман*, обладающий известной прафабулой, матрицируемой, репродуцируемой в каждом отдельном романе при необходимости разнообразии сюжетных ходов и романных связей, предполагающих известную инвариантность решений одной и той же фабульной проблемы.

Метароман Набокова как некое надроманное единство в качестве своего формального предшественника в русской литературе имеет, как это ни странно, метароманную структуру ненавистного Набокову Достоевского, ибо у Достоевского, начиная с «Преступления и наказания» и заканчивая «Братьями Карамазовыми», существует единая романная прафабула, порожденная проблемой соединения «я» с мировым смыслом.

Ключ к пониманию набоковской прозы (особенно довоенных романов, написанных по-русски, так как позднейшие англоязычные тексты писателя, на мой взгляд, тяготея, в силу экзистенциальной гравитации, к одному и тому же метароману, все-таки позволяют благодаря существованию в ином культурно-языковом контексте вести себя болеевольно и своеизнанно, в глубине оставаясь верными изначальной матрице) находится в «Других берегах», где уже не вымышленный герой, а само автобиографическое «я» проходит через всю его фабулу, демонстрируя тем самым нерасторжимую связь между собой и «я» набоковских повествователей, и сам по себе этот путь как бы кладет предел размножению вымышленных двойников.

Несомненно, что опора авторского «я» на самое себя должно считать вынужденной мерой, обусловленной трезвым осознанием невозможности иного, более фундаментального выбора, жесткой ограниченностью своих метафизических способностей. В этом смысле Набоков предельно честен перед собой и читателем: он не вымышляет той реальности, которой не осязает, но пишет о том, что доступно его «земной природе», хотя такое положение — здесь есть, если угодно, ущербность бескрылости — его отнюдь не удовлетворяет. «Я готов, — с поразительной горечью пишет автор „Других берегов“, — перед своей же земной природой ходить с грубой надписью под дождем, как обиженный приказчик (сравнение сильное! — особенно для Набокова). — В. Е.). Сколько раз я чуть не вывидал разума, стараясь высмотреть малейший луч личного среди безличной тьмы по оба предела жизни! Я готов был стать единоверцем последнего шамана, только бы не отказываться от внутреннего убеждения, что себя я не вижу в вечности лишь из-за земного времени, глухой стеной окружающего жизнь. Я забирался мыслью в серую от звезд даль — но ладонь скользила все по той же совершенно непроницаемой глади. Кажется, кроме самоубийства, я перепробовал все выходы (герой романа „Защита Лужина“ попробует и этот выход. — В. Е.). Я отказывался от своего лица, чтобы проникнуть заурядным привидением в мир, существовавший до меня. Я мирился с унизительным соседством романисток, лепечущих о разных йогах и атлантидах. Я терпел даже отчеты о медиумистических переживаниях каких-то английских полковников

индийской службы, довольно ясно помнящих свои прежние воплощения под ивами Лхассы... В поисках ключей и разгадок я рылся в своих ранних снах...»

Итак, Набоков готов был согласиться на самые невероятные унижения, дабы преодолеть свой агностицизм, даже на контакт с восточными религиями, что, в сущности, вообще поразительно, если иметь в виду его гипертрофированное личностное сознание.

Из всего этого ничего не вышло. Тогда, «не умея пробиться в свою вечность, я обратился к изучению ее пограничной полосы — моего младенчества».

Младенчество — вот предельное приближение к «другой» реальности, посильный выход из системы «земного времени». И младенчество, и раннее детство как пора «чистого» восприятия мира таят в себе «загадочно-болезненное блаженство», которое сохранилось у Набокова как память на всю последующую жизнь, «не изошло за полвека, если и ныне возвращаюсь к этим первичным чувствам. Они принадлежат гармонии моего совершеннейшего, счастливейшего детства,— и, в силу этой гармонии, они с волшебной легкостью, сами по себе, без поэтического участия, откладываются в памяти сразу перебеленными черновиками».

Отметя слово «гармония», редкое в словаре Набокова, войдем в подлинно набоковский рай, который дал ему возможность болезненно ощутить свое позднейшее существование как изгнание в гораздо более широком, а главное, более глубоком смысле, чем эмиграция.

Изгнание из рая является само по себе мощной психической травмой, переживание которой и составляет праfabульную основу русскоязычных романов Набокова.

Изгнание неизбежно и неотвратимо — как «старение» Лолиты, превращающейся из нимфетки в обычную красивую женщину, и это «старение» обладает тем же смыслом утраты; изгнание из рая есть человеческая участь, но при этом и знак избранничества, ибо не всякий побывал в том раю. Набоков рассматривает рай — причем речь идет именно о земном рае — как изначальную норму; любое иное состояние — как ее нарушение. Вот его представление о рае: «Ощущение предельной беззаботности, благородства, густого летнего тепла затапливает память и образует такую сверкающую действительность, что по сравнению с нею паркерово перо в моей руке и сама рука с глянцем на уже веснушчатой коже кажутся мне довольно аляповатым обманом. Зеркало насыщено июльским днем. Лиственная тень играет на белой с голубыми мельницами печке. Взлетевший шмель, как шар на резинке, ударяется во все лепные углы потолка и удачно отскакивает обратно в окно. Все так, как должно быть (вот она — норма! — В. Е.), ничто никогда не изменится, никто никогда не умрет (вот ощущение человека в земном раю; ощущение ошибочное, и осознание этой ошибочности имеет драматический характер.— В. Е.)».

Воспоминание о рае драматично и сладостно одновременно. Это расколотое надвое чувство, и проза Набокова, с ее особой чувственной фактурой, призвана не только отразить это чувство, но и преодолеть его антиномичность, тем самым превращаясь не просто в воспоминание, но и в обретение рая, доступное в акте творчества. Обретение рая я рассматриваю как глобальную творческую сверхзадачу Набокова, обеспечивающую метароман экзистенциальным и эстетическим значением одновременно.

Набоковский рай трудно назвать языческим, несмотря на его чувственность, по причине того, что в нем есть парафраз христианской божественной иерархии, во всяком случае ее элементы, связанные с существованием абсолютного в лице бога-отца, или, вернее сказать, отца-бога, который, впрочем, выполняет функции не ветхозаветного карающего божества, но бога-любви, любимого и любящего, идеального существа, воплощающего в себе черты отцовской и сыновней ипостасей, ибо ему надлежит погибнуть насильственной смертью по какому-то неумолимому закону бытия (и его воскрешения будет

с безумной надеждой ждать герой романа «Дар», и оно в конце концов произойдет в его сновидении).

Духовный контакт отца и сына равноположен духовной связи между сыном и матерью, сущность которой у Набокова заключена в Любви и извечном женском фатализме («Любить всей душой, а в остальном доверяться судьбе — таково было ее простое правило»). Не это ли «правило» заложено в основе «вечной женственности»? Связь с матерью проходит через годы и перерастает в необходимое за пределами рая (оттуда выгнана и мать; отец никогда у Набокова не изгоняется из рая, поскольку он его творец) сообщничество.

Память об изначальном, идеальном состоянии мира является основой набоковской этики (память — это «длинная вечная тень истины», — рассказ «Весна в Фильтре», 1938), отнюдь не нормативной, не догматической, укорененной скорее в ощущении, в чувстве, нежели в категорическом императиве. При внутренней ориентации набоковского «я» на воспоминание о земном рае его этика, родственная этике Пруста, «работает» безуказиценно.

Потеря рая происходит не в одночасье, а в несколько этапов (появление «чужих» людей: воспитателей, гувернеров; казенное воспитание и т. д.), но вместе с тем буквально накануне изгнания в раю происходит поистине «райская» встреча: это первая любовь, окрашенная в мифологически чистые тона: «В тот июльский день, когда я, наконец, увидел ее стоящей совершенно неподвижно (двигались только зрачки) в изумрудном свете березовой рощи, она как бы зародилась среди пятен этих акварельных деревьев с беззвучной внешней запыленностью и совершенством мифологического воплощения».

Эта любовь, полудетский образ героини которой, подвернувшись ряду метаморфоз, отзовется в Лолите (верность полудетской в конечном счете будет верностью тому самому раю...), угасает по вине героя «Других берегов» на пороге его «на редкость бездарной во всех смыслах юности», пронизанной модным цинизмом, заполненной мимолетными увлечениями, и в результате горечь изгнания оказывается двойной: «...потеря родины оставалась для меня равнозначной потере возлюбленной, пока писание довольно, впрочем, неудачной книги («Машенька») не утолило томления».

«Машенька» (1926) — это первая романная попытка Набокова вернуть потерянный рай. В предисловии к английскому изданию романа он писал в 1970 году: «Хорошо известная склонность начинающего автора вторгаться в свою частную жизнь, выводя себя или своего представителя в первом романе, объясняется не столько соблазном готовой темы, сколько чувством облегчения, когда, отделявшись от самого себя, можешь перейти к более интересным предметам». Я не очень верю этим словам, ибо, за исключением изменения своему метароману, коим явился роман «Король, дама, валет» (второй по счету, написанный в 1928 году), развивающий немецкую тему, Набоков не спешил или, точнее, не смог отдельиться от себя. В «Машеньке» возникла завязь будущего метаромана. Именно здесь сформировались его фабульная структура, ищущая сюжетного разрешения, и основные силовые линии конфликта метароманного «я» с «призрачным», но очень вязким миром.

Конфликт строится на контрасте «исключительного» и «обыденного», «подлинного» и «неподлинного», так что с самого начала перед Набоковым возникает проблема создания незаурядного героя и доказательства его незаурядности. В «Машеньке» эта проблема не находит исчерпывающего решения; исключительность декларируется, но так до конца и не «срастается» с имманентным «я» героя.

В результате герой оказывается не на высоте положения, и, утратив рай (совмещение утраты родины и любви), он попадает в атмосферу пошлости (берлинская эмиграция), наиболее ярким воплощением которой становится его антагонист, антигерой Алферов (его двойниками будут населены последующие части метаромана) — нынешний муж Машеньки.

К моменту написания «Машеньки» у молодого Набокова уже готов неизвидимый им образец пошляка, который его преследовал и которого он преследовал всю жизнь. «Пошлость,— писал Набоков в позднейшей статье, посвященной пошлости,— включает в себя не только коллекцию готовых идей, но также и пользование стереотипами, клише, банальностями, выраженным в стертых словах». Характеристикой пошлости, по Набокову, являются посредственность и конформизм, но пошляк, добавляет он, известен и другим: он псевдоидеалист, псевдострадалец, псевдомудрец. Пошляк любит производить на других впечатление и любит, когда на него производят впечатление. Культ простоты и хорошего тона, считает Набоков, привел к точному определению пошлости. Гоголь, Толстой, Чехов «в поисках простой правды с легкостью обнаруживали пошлую сторону вещей, дрянные системы псевдомысли».

Гимн торжествующей пошлости, объединенной в бюргерско-туристическом «мы», Набоков создал в «графоманских» куплетах песни из рассказа «Облако, озеро, башня»:

Распросторись с пустой тревогой,
Палку толстую возьми
И шагай большой дорогой
Вместе с добрыми людьми...

и т. д.

Следующий роман в системе метаромана — «Защита Лужина» (1930). Здесь фабула разворачивается в глобальную метафору и приобретает аллегорический вид, осуществляясь в истории жизни шахматного гения. Если Ганин из «Машеньки» не похож на других, то Лужин — недосягаемый образец непохожести, абсолютизация творческого «я». Вместе с тем расстановка фигур в этом романе во многом повторяет «Машеньку».

Роман начинается на этот раз с момента изгнания героя из детского рая, символом чего становится обращение к нему по фамилии: «Больше всего его разило то, что с понедельника он будет Лужиным». Изгнанием оказывается переезд из усадьбы в город, где ждет Лужина школа, и вот зреет его беспомощный бунт, ибо «невозможно перенести то, что сейчас будет», состоящий в бегстве со станции в рай детства: «Он дошел, словно гуляя, до конца платформы и вдруг задвигался очень быстро, сбежал по ступеням,— битая тропинка, садик начальника станции, забор, калитка, елки,— дальше овражек и сразу густой лес».

Фамилия — это невыносимая объективизация «я», насилие над личностью, закабаление. Вместо рая детства герою предлагается «нечто, отвратительное своей новизной и неизвестностью, невозможный, неприемлемый мир...».

И словно в отместку за то, что именно отец объявляет Лужину приговор об изгнании из рая («...обошлось. Принял спокойно. Ух... Прямо гора с плеч»), в отместку за непонимание Лужин-старший наделяется чертами сниженного «полубога»: знаменитого (все последующие отцы метаромана также знамениты) детского писателя, автора сладких книжонок для пай-мальчиков. Снижение образа отца — единственно возможное приближение к образу ОТЦА (создать совершеннейший образ — вот творческая головоломка!); ироническая нота отчуждает автора от автобиографической реальности, властно заявляющей о себе.

Найденный на чердаке и вновь выдворенный из рая, Лужин только тогда находит успокоение, когда погружается в свой обособленный и неприступный мир шахмат (творческая компенсация потери детского рая). В этом мире он призван сыграть роль чудака и гения (устойчивая ассоциация с поэтическим гением). Шахматы прочитываются как аллегория, и в этом отношении — несмотря на точность и правдоподобие описанных шахматных баталий — в рома-

не ощущается момент подмены, ибо в шахматный мир введена фигура иного творческого калибра, отчего роман приходит в состояние перманентной нестабильности и подвержен «осыпям» смысла как любое аллегорическое произведение.

«...Свет детства,— пишет Набоков о Лужине,— непосредственно соединялся с нынешним светом, выливался в образ его невесты». Именно в этом месте метаромана возникает мысль о том, что обретение потерянного рая возможно в любви, особенно если возлюбленных соединяет отношение к детству как к поре, «когда нюх души безошибочен».

И все-таки нормальная, даже счастливая семейная жизнь оказывается не для «я» героя метаромана (продлленность сюжета в семейную жизнь, перспектива семейного благополучия, намеченная в «Зашите Лужина» как возможный вариант судьбы, не свойственны метароману в целом). Лужина в конечном счете семейное счастье не удовлетворило, а поскольку шахматы из-за его нервной болезни были запрещены, судьба сама навязала ему новую «партию», делая все, чтобы подтолкнуть его снова взяться за шахматы. Эта тема ходов судьбы — одна из любимых набоковских тем («Весна в Фильтре» и многое другое) — в романе не может получиться достаточно достоверной и доказательной по причине жанра, ибо игру судьбы воспринимаешь как игру сюжета, так что Набокову нужно было ждать «Других берегов», чтобы по-настоящему прорваться к любимой теме и удовлетворить свою страсть.

В злостных шалостях судьбы обезумевшего Лужина есть некий частный момент, уводящий от основной линии метаромана, однако ясно, что «я» его героя должно быть сильнее своей судьбы, и единственno, чем может Лужин утвердить свое «я» в момент насилия над собой,— это самоубийство.

Путь героя в романе «Подвиг» (1932) во многом близок пути его двойников, но ослабление момента исключительности неоперившегося «я» значительным образом влияет на человеческую сущность героя. Мы имеем дело с новой разновидностью метароманного «я», которое во многих отношениях куда привлекательнее своих двойников. Это роман о поисках «я» самого себя, наиболее человеческий роман Набокова.

Герой вместе со своими двойниками также ощущает свое избранничество, но здесь оно предоставлено ему прежде всего как части России: «То, что он родом из далекой северной страны, давно приобрело оттенок обольстительной тайны. Вольным заморским гостем он разгуливал по басурманским базарам,— все было очень занимательно и пестро, но где бы он ни бывал, ничто не могло в нем ослабить удивительное ощущение избранности. Таких слов, таких понятий и образов, какие создала Россия, не было в других странах,— и часто он доходил до косноязычия, до нервного смеха, пытаясь объяснить иноземцу, что такое „оскомина“ или „пошлость“. Ему листила влюблённость англичан в Чехова, влюблённость немцев в Достоевского».

Здесь, в этом эксплицитно «русофильском» пассаже (уникальном для метаромана только скорее своей эксплицитностью, чем по сути дела), гордость за неповторимую родину приводит набоковского героя даже к симпатии по отношению к Достоевскому как соплеменнику, и этот момент гордости тем более запоминается, что в русском детстве герой получил безупречное англофильское воспитание, прошел курс учтивости, сдержанности и даже бесчувственности. Софья Дмитриевна, мать Мартына, находила русскую сказку «Аляпиной», злой и убогой, русскую песню — бессмысленной, русскую загадку — дурацкой и плохо верила в пушкинскую няню, говоря, что поэт ее сам выдумал вместе с ее побасками, спицами и тоской».

В России европеец, Мартын в Европе оказался совершеннейшим русским, и этот парадокс так же характерен для «я» метароманного героя во всех его инвариантах, поскольку отражает неизбытный конфликт героя со средой, всегдашнюю его обособленность и отличность.

Англофильское детство стало в «Подвиге» тем раем, той начальной точкой отсчета, которые определили дальнейший путь героя. Однако в этом романе Набоков предпочел выбрать рай с трецинкой, приведшей к семейной драме. «Отец Мартына врачевал накожные болезни, был знаменит», — сообщает Набоков, при этом, однако, как и в «Зашите Лужина», снижая образ отца, изобразив его неустанным бабником, в результате чего случился развод.

Напротив, образ матери описан с нежной гордостью. «Это была розовая, веснушчатая, моложавая женщина... Еще недавно она сильно и ловко играла в теннис...» — важное для Набокова добавление. Эта веселая, спортивная женщина, столь не похожая на русских страдалиц, которыми богата отечественная литература (вообще объединенный культ молодости и спорта отличают метароман Набокова от предшествующей, очень «неспортивной» русской литературы), читала сыну английские книги с картинками, и маленького Мартына волновала мысль о сходстве между акварелью на стене и картинкой в книжке (речь шла в книжке о картинке, изображающей тропинку в лесу и висящей прямо над кроватью мальчика, который однажды как был, в ночной рубашке, перебрался с постели в картину, на тропинку, уходящую в глубь леса). Этот образ неосторожной потери «постельного» рая тревожил Мартына и позже, в юности, когда он спрашивал себя, «не случилось ли и впрямь так, что с изголовья кровати он однажды прыгнул в картину, и не было ли это началом того счастливого и мучительного путешествия, которым обернулась вся его жизнь». Здесь можно сомневаться относительно слова «счастливое», рассматривать его как дань известному оптимизму героя, но любопытно отметить, что уход из рая осуществлялся не в подлинную жизнь, а в картину (искусственное измерение, имеющее лишь видимость жизни).

Смерть во время революции отца, «которого он любил мало», потрясла и Мартына, и Софью Дмитриевну (род занятий отца — накожные болезни — так и остался лишь наклейкой, ничем не оправданной, наложенной вспыхах, для отчуждения от подлинной реальности). Размышление об этой смерти привело автора к редчайшему в метаромане случаю определения метафизического кредо героя, привитого, что важно, его матерью: «Была некая сила, в которую она крепко верила, столь же похожая на Бога, сколь похожи на никогда не виденного человека его дом, его вещи, его теплица и пасека, далекий голос его, случайно услышанный ночью в поле... Эта сила не вязалась с церковью, никаких грехов не отпускала и не карала, — но просто было иногда стыдно перед деревом, облаком, собакой, стыдно перед воздухом, так же бережливо и свято несущим дурное слово, как и доброе (замечательная особенность: отсутствие человека в этом перечне. — В. Е.)... С Мартыном она никогда прямо не говорила о вещах этого порядка, но всегда чувствовала, что все другое, о чем они говорят, создает для Мартына, через ее голос и любовь, такое же ощущение Бога, как то, что живет в ней самой».

Такое кредо, при всей его сдержанности и туманности, остается свидетельством метафизических рефлексий Набокова. В галактике его метаромана подобного рода рефлексии не кочуют из романа в роман, как у Достоевского, но вместе с тем, выраженные в одном месте, сохраняют свое значение для всей романной структуры в целом.

Вообще целостность структуры набоковского метаромана наводит на мысль о том, что только изучение метаромана как системы позволяет создать адекватное представление о каждом романе в отдельности, и речь идет не о значении каждого романа в школьском смысле, а об изучении особой системы художественной экономии, которая распространяется на все творчество писателя (в случае с Набоковым это только очевиднее, чем с другими).

Во всяком случае, «ощущение Бога», как оно передано в «Подвиге», очень важно для понимания того, как функционирует набоковская этика. Связь веры

с любовью к матери, передача веры через материнскую любовь превращает веру в смутное, но устойчивое, через всю жизнь длиющееся чувство.

Утрата рая (так сказать, окончательная) в «Подвиге» обозначена двумя вехами: смертью отца и революцией; и этот уже новый мир — в первые же дни отъезда в эмиграцию — открывает широкие объятия для братания с пошлостью.

На палубе грузового парохода, увозящего мать и сына в эмиграцию (двойник реального судна, на котором выехала из России семья Набоковых), Мартын знакомится с Аллой. Уже в «Машеньке» важным моментом фабулы рождающегося метаромана стала любовная связь героя с псевдоизбранницей, малоприятную роль которой сыграла Людмила, наделенная чертами сладострастной хищницы и полностью лишенная женской интуиции (хотя претендующая на обладание ею). В «Подвиге» вновь начинает звучать тема псевдоизбранницы: «Ей было двадцать пять лет, ее звали Аллой, она писала стихи, — три вещи, которые, казалось бы, не могут не сделать женщину пленительной».

Эта женщина, которую влюбляется Мартын со всем своим юношеским пылом, призывает героя «заглянуть в рай», но сквозь миражи чувственного рая (псевдорая, естественно) проступают черты безвкусицы и дурного тона, родившие Аллу с ее фантастически пошлым мужем, одним из наиболее могучих апостолов пошлости в набоковском творчестве: «Раздеваясь, Черносвитов вяло почесывался, во все нёбо зевал... Чрез некоторое время, уже в темноте, раздавался его голос, всегда одна и та же фраза: „Главное, молодой человек, прошу вас не портить воздух“. Бреясь по утрам, он неизменно говорил: „Мазь для лица Пришемор. В вашем возрасте необходима“».

Другую — европейскую — разновидность пошлости Мартын обнаружит в новом, швейцарском муже матери — Генрихе; это станет крайне болезненным для сына жизненным поражением матери (выйти замуж за пошлость!), и ей, пошедшей на компромисс во имя житейского комфорта, из обоснованной боязни превратиться на склоне лет в нищенку, останется только мечтать о том, что Россия вдруг «стряхнет дурной сон, полосатый шлагбаум поднимется, и все вернутся, зайдут прежние свои места,— и Боже мой, как подросли деревья, как уменьшился дом, какая грусть и счастье, как пахнет земля...».

Подлинная избранница героя — Соня — ставит под сомнение значение самого избранника: «У него есть по крайней мере талант,— говорит она Мартыну о своем приятеле, писателе-эмигранте,— а ты — ничто, просто путешествующий барчук».

Это ложное, но прекрасно стимулирующее сюжетную интригу заявление. И у того, у кого она находила литературный талант, таланта нет (повор для Набокова выставить бездарного коллегу-эмигранта в гротескном виде; повод для Мартынова злорадства), и сам Мартын представляется собой далеко не только барчука. Но последнее следует доказать, и, по-юношески уязвленный, герой стремится выказать свою пока еще не ясную другим исключительность, ошибается, колеблется, сомневается в себе, и этот подкованный страх, что «я» может не состояться, снимает с Мартына глянец самоуверенности, в целом свойственный набоковскому герою метаромана.

Правда, момент тайного торжества над английским приятелем Дарвином, который поначалу куда значительнее Мартына и которого Мартын в конечном счете перерастает (будучи заданным своей природой и скитальческой судьбой, в сущности «бесконечным», не находящим покоя ни в какой, пусть самой уютной бухте), свидетельствует о том, что дух соперничества и желание быть повсюду первым сохраняются и в «Подвиге», однако метароман обогащается здесь достоверной и трогательной картиной не всегда ловкого, а подчас комического юношеского самоутверждения, мечтой о подвиге.

Мартын поклялся себе (тема отказа от «мы» — константа у Набокова), что «никогда сам не будет состоять ни в одной партии, не будет присутствовать

ни на одном заседании, никогда не будет тем персонажем, которому предоставляется слово или который закрывает прения и чувствует при этом все восторги гражданственности».

Вместе с тем этот индивидуалист, так же, кстати, как и герой «Машеньки», в глубине души считает себя *спасителем России*. (Крайний индивидуализм набоковского героя роднит его с героем американского романа, вплоть до персонажей массовой литературы, которые — в одиночку, при благосклонном внимании своих нареченных — могут восторжествовать над бесчисленными полчищами врагов. Набоков без особого труда вписывается в американскую индивидуалистическую культуру.) Он принимает решение единолично отправиться в Советскую Россию. И вот возникает сладостное юношеское видение: близорукая, но очень любимая избранница осознала, кто талантлив, а кто нет, «и зарыдала, упервшись локтями в колени и опустив на ладони лицо. Потом — разогнулась, громко всхлипнула, словно задыхнувшись, переглотнула и вперемешку с рыданиями закричала: „Его убьют, Боже мой, ведь его убьют...“». Отец геройни недоумевает по поводу поступка Мартына, но с его губ срывается заповедное слово, вынесенное в название книги: «Я никак не могу понять, как молодой человек, довольно далекий от русских вопросов, скорее, знаете, иностранной складки, мог оказаться способен на... на подвиг, если хотите».

В чем сущность этого подвига — понять на самом деле невозможно, но зато можно представить себе, что он будет носить характер восстановления (уместнее сказать: реставрации) детского рая с одновременным обретением и невесты. Поступок безумный, романтический, возможно, савинковско-террористический, но смысл его заложен не в политической конкретике, а в доказательстве избранничества героя. Как и лужинское самоубийство, подвиг Мартына (в сущности, то же самоубийство) обретает значение вызова собственной судьбы.

Как складывались в дальнейшем творчество Набокова поиски рая?

В романе «Дар» (1937), пустившись вновь в знакомый и неизменный фабульный путь, Набоков, словно собравшись с духом, окончательно уверовав в свой талант, изобразил уже не редуцированный, как ранее, а полноценный и многогранный образ рая, поселив в него впервые идеального отца вместе с идеальной матерью, создав мир особого «волшебства». На этот раз герой максимально приближен к автору, в творческом смысле фактически идентифицируясь с ним: его стихи суть стихи самого Набокова (правда, в самом жесте передачи стихов герою содержится здесь скрытый элемент отчуждения от своей поэзии, чего, к примеру, нет в «Докторе Живаго»), а его памфлет о Чернышевском — продукт также набоковской мысли.

К концу романа герой одерживает победы на всех фронтах: прежде всего, творческом и любовном. Итог: «я здоров, счастлив». В «Даре» единственный раз на протяжении всего метаромана мы встречаемся с удовлетворительным исходом поисков рая, и этот исход несколько раздражает своей концепцией счастья.

В торжествующем герое содержатся все слабости эгоцентрического «я». Оно оказывается самодостаточным и потому не нуждается ни в сострадании, ни в любви читателя. Оно только и занимается — это признает герой — «обходом самого себя».

Вот ключевой парадокс набоковского метаромана: его герой слабее в своей силе, сильнее в своих слабостях.

Набоковский герой хорош — это видно в «Подвиге» — прежде всего в защите, в обороне (применим спортивные термины, столь любезные автору), в мучительный момент выживания, в противоборстве. Тогда в нем проявляется завидный стоицизм, сопротивление всем подлостям тоталитаризма, отказ от любой формы коллaborационизма, независимость духа и суждений, достойная защита своих идеалов, связанных с неразрушимыми «устоями» детства.

Герой Набокова слаб в момент успеха, когда, вместо трагического «я», воспринимающего жизнь как чужбину, учащегося и учащего презрению, его «я» стремится к экспансии, бойко и бодро рассуждающее, гедонистическое, загорелое, здоровое и счастливое, наделенное похотью тщеславия. Герой метаромана показал, что его концепция индивидуализма замечательно работает лишь в драматических условиях и не переживает своей победы. Иными словами, обретение рая является лишь иллюзией обретения, на самом деле становясь его окончательной утратой, в то время как в бесплодных поисках потерянного рая страждущая душа Мартына обретает достоинство. В своем положительном творчестве герой Набокова может лишь самовыразиться («я» = «я»), и тогда становится заметной общая слабость литературы, построенной на принципе самовыражения, без опоры на онтологическую реальность, без опоры на то, что выходит за пределы «земного рая».

Если Мартыну чувство ревности давало импульс к борьбе с соперником, в которой мужало его «я», то Цинциннат Ц.— героя последней «части» русского метаромана — «Приглашения на казнь» (1938) — ревность ведет прямиком в ад: «Вечная пытка: говорить за обедом с тем или другим ее любовником, казаться веселым, щелкать орехи, приговаривать,— смертельно бояться нагнуться, чтобы случайно под столом не увидеть нижней части туловища...— четырехногое нечто, свивающееся, бешеное... Я опустился в ад за оброненной салфеткой».

Тем не менее, несмотря на предательства, Цинциннат неистово любит жену, стремится сказать ей «два слова» наедине в своей камере смертника, пишет письмо, чтобы до нее дошло, что его убьют за его «гносеологическое» преступление, и чтобы она испугалась; и она испугалась — оказаться его «соучастницей». Но насколько подлиннее эта бессмысленная любовь любви Годунова-Чердынцева и его всепонимающей «соратницы» Зины («Дар»), ибо этот разрыв между чувством и смыслом подан в «Приглашении на казнь» как знак неизбывной муки земного существования, как порождение человеческой слабости и беспомощности.

Мир пошлости в этом романе оформился в тоталитарное измерение, приобрел орудия изощренных пыток, репрессивный аппарат. Теперь не герой, заираясь, играет с пошлостью, как то было в «Подвиге», а пошлость играет с героем как с игрушкой, крутит, вертит им и уничтожает. Роли поменялись. Из победителя пошлости, знатока и разоблачителя противника герой превращается в побежденного, и в таком униженном положении он приглашается к покаянию.

И здесь, вместо словесного мастерства и триумфа Годунова-Чердынцева, вообще впервые и единственный раз в творчестве Набокова, наступает крах стиля: Цинциннат лепечет, путается в словах, мир плывет перед глазами смертника, возникает косноязычие: «У меня лучшая часть слов в бегах,— признается Цинциннат Ц. в своих записях,— и не откликаются на трубу, а другие — калеки».

Вот этот мир слов-каlek, который до того использовался Набоковым только для передачи пошлых мыслей пошлых людей, в «Приглашении на казнь» становится единственным возможным средством самовыражения человека, над которым навис топор, и именно здесь, в выборе слов-каlek, Набоков сближается с теми чуждыми ему, как правило, направлениями в литературе, которые «взрывают» стиль как негодное средство. Ибо что такое стиль в экзистенциальном измерении? Стиль — это не просто человек, как утверждает формула Бюффона, но человек, нашедший общую меру между собой и миром, то есть человек, подчинивший и одомашнивший мир. Но когда нет общей меры, как ее нет в «Записках из подполья» или у обэрлеутов, то тогда стиль стремится к самоуничтожению, порождая стиль-калеку, обрывочный, рваный суррогат стиля, который отражает не приобретение мира, а потерю его.

Герой оказывается в предельном состоянии одиночества: «Нет в мире ни одного человека, говорящего на моем языке». По-прежнему, как и всегда, остается единственная опора на собственное «я»: «Я дохожу путем постепенного разоблачения до последней, неделимой, твердой, сияющей точки, и эта точка говорит: я есмы.. и мне довольно этой точки — собственно, больше ничего не надо».

Но, поскольку речь здесь идет о невыносимом страдании, сил на самолюбование больше нет: «Я не облизываюсь над своей личностью, не затеваю над своей душой жаркой возни в темной комнате». «Как мне страшно,— доносится до нас голос героя.— Как мне тошно. Но меня у меня не отнимет никто».

Эта вера в свое «я» оказывается, как это ни поразительно, сильнее и топора. Когда Цинциннат на плахе, при скоплении народа, отрубили голову, он подумал: «„Зачем я тут? Отчего так лежу?” — и, задав себе этот простой вопрос, он отвечал тем, что привстал и осмотрелся...

...Зрители были совсем прозрачны, и уже никуда не годились, и все подавались куда-то, шарагаясь,— только задние нарисованные ряды оставались на месте... Все расползлось, все падало. Винтовой вихрь забирал и крутит пыль, тряпки, крашеные щепки, мелкие обломки позлащенного гипса, картонные кирпичи, афиши; летела сухая мгла; и Цинциннат пошел среди пыли, и падших вещей, и трепетавших полотен, направляясь в ту сторону, где, судя по голосам, стояли существа, подобные ему».

Этот метафизический финал романа, он же финал всего русского метаромана (его «буквальное» продолжение уже немыслимо, и выход Набокова в другой язык был в известной степени освобождением от затянувшей его в свои сети фабулы, от навязчивого сюжета), производит революцию в системе набоковских ценностей явно определившимся стремлением к «мы» (у героя «Приглашения на казнь» нет соперника — соперники в экстремальной ситуации тоталитаризма перевелись,— а его интерес к тому, нет ли в тюрьме кроме него других заключенных, свидетельствует о возрастающем интересе к *сообщникам*), невозможным в этом мире, но горячо желанным, где-то там существующим.

Короче, «я» набоковского метагероя обретает истинную человеческую силу в момент слабости, сомнения в себе, любовной неудачи (Мартын), нервного перенапряжения (Лужин) и — бледнеет, меркнет, дурнеет в момент славы и самоутверждения (Федор Константинович Годунов-Чердынцев — вот это разросшееся «я», чью экспансию удачно и непроизвольно передает расползшееся на полстроки претенциозное имя героя).

Что же касается героини, то и здесь, когда она является лишь «лунным» отражением героя, его «женским» всепонимающим двойником, не создается необходимого напряжения, и взбалмошная Соня из «Подвига» или даже слабая на «передок» Марфинька торжествуют над верной Зиной.

В момент успеха «я» метагероя превращается в тождество, и эта самодостаточность вытесняет любое эмоциональное отношение к нему, кроме чувства преклонения (так смотрят на кумиров поклонники). В момент же страдания «я» метагероя становится действительно героическим, питаюсь теми соками, которые дало ему блаженное детство, не разрушаясь, ибо оно не способно к разрушению (лучше топор, чем измена собственному «я», — этическая аксиома метаромана).

«Я» метаромана дробится и множится, это — спутники, врачающиеся вокруг той планеты, которую можно назвать набоковским, авторским «я». Описание этой планеты и составляет содержание «Других берегов». Множественность «я» героя объясняется тем, что ни одна из его масок не исчерпывает глобального конфликта между «я» и миром. Этот конфликт становится жизненно важным предметом исследования со стороны автора, который видит мир в ипостаси мира — чужбины, иными словами, он рассматривает героя в изгнании,

и форма эмиграции оказывается лишь вынужденной метафорой глобального изгнанничества человека, его утраты «земного рая».

Именно потому Набоков возвысился не только в эмигрантской литературе, но возвысился и над эмигрантской литературой, что тема изгнанничества получила в его творчестве универсальный и экзистенциальный характер.

Призрачность мира, сгущаясь наконец в «Приглашении на казнь», обретает такую тоталитарную реальность, с которой герой не может совладать, становясь ее физической жертвой, но сохранив неделимость своего «я» в организованной набоковской этикой системе сопротивления.

И хотя в противоборстве с тоталитарной реальностью «я» теряет самое дорогое — «дар слова», впадает в косноязычие,— именно здесь, на пределе возможного, возникает новое измерение набоковской прозы, онтологическое прозрение.

Цинциннат Ц.— не творец, в отличие от Годунова-Чердынцева, но безвестный учитель дефективных детей — эта ипостась набоковского героя имеет огромное значение, и, не будь «Приглашения на казнь», метароман потерял бы важное измерение в поисках потерянного рая — поиски «мы», в сторону которых устремляется обезглавленный Цинциннат, поиски существ, «подобных ему».

Метароман, таким образом, завершается неожиданным взрывом систем его же ценностей, и этот взрыв неожиданно разворачивает Набокова в сторону русской литературной традиции.

Виктор Ерофеев

ДРУГИЕ БЕРЕГА

Посвящаю моей жене

ПРЕДИСЛОВИЕ К РУССКОМУ ИЗДАНИЮ

рекомендованная читателю автобиография обнимает период почти в сорок лет — с первых годов века по май 1940 года, когда автор переселился из Европы в Соединенные Штаты. Ее цель — описать прошлое с предельной точностью и отыскать в нем полнозначные очертания, а именно: развитие и повторение тайных тем в явной судьбе. Я попытался дать Мнемозине не только волю, но и закон.

Основой и отчасти подлинником этой книги послужило ее американское издание «Conclusive Evidence»¹. Совершенно владея с младенчества и английским и французским, я перешел бы для нужд сочинительства с русского на иностранный язык без труда, будь я, скажем, Джозеф Конрад, который, до того, как начал писать по-английски, никакого следа в родной (польской) литературе не оставил, а на избранном языке (английском) искусно пользовался готовыми формулами. Когда, в 1940 году, я решил перейти на английский язык, беда моя заключалась в том, что перед тем, в течение пятнадцати с лишком лет, я писал по-русски и за эти годы наложил собственный отпечаток на свое орудие, на своего посредника.

Переходя на другой язык, я отказывался таким образом не от языка Аванкума, Пушкина, Толстого — или Иванова, няни, русской публицистики — словом, не от общего языка, а от индивидуального, кровного наречия. Долголетняя привычка выражаться по-своему не позволяла довольствоваться на новоизбранном языке трафаретами, — и чудовищные трудности предстоявшего перевоплощения, и ужас расставания с живым, ручным существом ввергли меня сначала в состояние, о котором нет надобности распространяться; скажу только, что ни один стоящий на определенном уровне писатель его не испытывал до меня.

Я вижу невыносимые недостатки в таких моих английских сочинениях, как, например, «The Real Life of Sebastian Knight»², есть кое-что удовлетворяющее меня в «Bend Sinister»³ и некоторых отдельных рассказах, печатавшихся время от времени в журнале «The New Yorker». Книга «Conclusive Evidence» писалась долго (1946—1950), с

¹ «Убедительное доказательство» (англ.).

² «Истинная жизнь Себастьяна Найта» (англ.).

³ «Под знаком незаконнорожденных» (англ.).

особенно мучительным трудом, ибо память была настроена на один лад — музыкально недоговоренный, русский,— а навязывался ей другой лад, английский и обстоятельный. В получившейся книге некоторые мелкие части механизма были сомнительной прочности, но мне казалось, что целое работает довольно исправно — покуда я не взялся за безумное дело перевода «Conclusive Evidence» на прежний, основной мой язык. Недостатки объявились такие, как отвратительно таращилась иная фраза, так много было и пробелов и лишних пояснений, что точный перевод на русский язык был бы карикатурой Мнемозины. Удержав общий узор, я изменил и дополнил многое. Предлагаемая русская книга относится к английскому тексту, как прописные буквы к курсиву, или как относится к стилизованному профилю в упор глядящее лицо: «Позвольте представиться,— сказал попутчик мой без улыбки.— Моя фамилья N.». Мы разговорились. Незаметно пролетела дорожная ночь. «Так-то, сударь»,— закончил он со вздохом. За окном вагона уже дышался ненастный день, мелькали печальные перелески, белело небо над каким-то пригородом, там и сям еще горели, или уже зажглись, окна в отдаленных домах...

Вот звон путеводной ноты.

ГЛАВА ПЕРВАЯ

1

Колыбель качается над бездной. Заглушая шепот вдохновенных суеверий, здравый смысл говорит нам, что жизнь — только щель слабого света между двумя идеально черными вечностями. Разницы в их черноте нет никакой, но в бездну преджизненную нам свойственно вглядываться с меньшим смятением, чем в ту, к которой летим со скоростью четырех тысяч пятисот ударов сердца в час. Я знал, впрочем, чувствительного юношу, страдавшего хронофобией и в отношении к безграничному прошлому. С томлением, прямо паническим, просматривая домашнего производства фильм, снятый за месяц до его рождения, он видел совершенно знакомый мир, ту же обстановку, тех же людей, но сознавал, что его-то в этом мире нет вовсе, что никто его отсутствия не замечает и по нему не горюет. Особенно навязчив и страшен был вид только что купленной детской коляски, стоявшей на крыльце с самодовольной косностью гроба; коляска была пуста, как будто «при обращении времени в мнимую величину минувшего», как удачно выразился мой молодой читатель, самые кости его исчезли.

Юность, конечно, очень подвержена таким наваждениям. И то сказать: коли та или другая добротная догма не приходит в подмогу свободной мысли, есть нечто ребячливое в повышенной восприимчивости к обратной или передней вечности. В зрелом же возрасте рядовой читатель так привыкает к непонятности ежедневной жизни, что относится с равнодушием к обеим черным пустотам, между которыми ему улыбается мираж, принимаемый им за ландшафт. Так давайте же ограничим воображение. Его дивными и мучительными дарами могут наслаждаться только бессонные дети или какая-нибудь гениальная

развалина. Дабы восторг жизни был человечески выносим, давайте (говорит читатель) навяжем ему меру.

Против всего этого я решительно восстаю. Я готов, перед своей же земной природой, ходить с грубой надписью под дождем, как обиженный приказчик. Сколько раз я чуть не вывихивал разума, стараясь высмотреть малейший луч личного среди безличной тьмы по оба предела жизни! Я готов был стать единоверцем последнего шамана, только бы не отказаться от внутреннего убеждения, что себя я не вижу в вечности лишь из-за земного времени, глухой стеной окружающего жизнь. Я забирался мыслью в серую от звезд даль, но ладонь скользила все по той же совершенно непроницаемой глади. Кажется, кроме самоубийства, я перепробовал все выходы. Я отказывался от своего лица, чтобы проникнуть заурядным привидением в мир, существовавший до меня. Я мирился с унизительным соседством романисток, лепечущих о разных йогах и атлантидах. Я терпел даже отчеты о медиумистических переживаниях каких-то английских полковников индийской службы, довольно ясно помнящих свои прежние воплощения под ивами Лхассы. В поисках ключей и разгадок я рылся в своих самых ранних снах — и раз уж я заговорил о снах, прошу заметить, что безоговорочно отмечаю фрейдовщину и всю ее темную средневековую подоплеку, с ее маниакальной погоней за половой символикой, с ее угрюмыми эмбриончиками, подглядывающими из природных засад угрюмое родительское соитие.

В начале моих исследований прошлого я не совсем понимал, что безграничное, на первый взгляд, время есть на самом деле круглая крепость. Не умея пробиться в свою вечность, я обратился к изучению ее пограничной полосы — моего младенчества. Я вижу пробуждение самосознания, как череду вспышек с уменьшающимися промежутками. Вспышки сливаются в цветные просветы, в географические формы. Я научился счету и слову почти одновременно, и открытие, что я — я, а мои родители — они, было непосредственно связано с понятием об отношении их возраста к моему. Вот включаю этот ток — и, судя по густоте солнечного света, тотчас заливающего мою память, по лапчатому его очерку, явно зависящему от переслоений и колебаний лопастных дубовых листьев, промеж которых он падает на песок, полагаю, что мое открытие себя произошло в деревне, летом, когда, задав кое-какие вопросы, я сопоставил в уме точные ответы, полученные на них от отца и матери, — между которыми я вдруг появляюсь на пестрой парковой тропе. Всё это соответствует теории онтогенетического повторения пройденного. Филогенически же, в первом человеке осознание себя не могло не совпасть с зарождением чувства времени.

Итак, лишь только добытая формула моего возраста, свежезеленая тройка на золотом фоне, встретилась в солнечном течении тропы с родительскими цифрами, тенистыми тридцать три и двадцать семь, я испытал живительную встряску. При этом втором крещении, более действительном, чем первое (совершенное при воплях полуутопленного полувииктора, — звонко, из-за двери, мать успела поправить нерасторопного протоиерея Константина Ветвеницкого), я почувствовал себя

погруженным в сияющую и подвижную среду, а именно в чистую стихию времени, которое я делил — как делишь, плещась, яркую морскую воду — с другими купающимися в ней существами. Тогда-то я вдруг понял, что двадцатисемилетнее, в чем-то бело-розовом и мягким, создание, владеющее моей левой рукой,— моя мать, а создание тридцати трех летнее, в бело-золотом и твердом, держащее меня за правую руку,— отец. Они шли, и между ними шел я, то упруго семеня, то переступая с подковки на подковку солнца, и опять семеня, посреди дорожки, в которой теперь из смехотворной дали узнаю одну из аллей — длинную, прямую, обсаженную дубками,— прорезавших «новую» часть огромного парка в нашем петербургском имении. Это было в день рождения отца, двадцать первого, по нашему календарю, июля 1902 года: и, глядя туда со страшно далекой, почти необитаемой гряды времени, я вижу себя в тот день восторженно празднующим зарождение чувственной жизни. До этого оба моих водителя, и левый и правый, если и существовали в тумане моего младенчества, появлялись там лишь инкогнито, нежными анонимами; но теперь, при созвучии трех цифр, крепкая, облая, сдобно-блестящая кавалергардская кираса, обхватывавшая грудь и спину отца, взошла как солнце, и слева, как дневная луна, повис парасоль матери; и потом в течение многих лет я продолжал живо интересоваться возрастом родителей, справляясь о нем, как беспокойный пассажир, проверяя новые часы, справляется у спутников о времени.

Замечу мимоходом, что, отбыв воинскую повинность задолго до моего рождения, отец в тот знаменательный день, вероятно, надел свои полковые регалии ради праздничной шутки. Шутке, значит, я обязан первым проблеском полноценного сознания — что тоже имеет рекапитулярный смысл, ибо первые существа, почувствовавшие течение времени, несомненно были и первыми, умевшими улыбаться.

2

Первобытная пещера, а не модное лоно,— вот (венским мистикам наперекор) образ моих игр, когда мне было три-четыре года. Передо мной встает большой диван, с клеверным крапом по белому кретону, в одной из гостиных нашего деревенского дома: это массив, нагроможденный в эру доисторическую. История начинается неподалеку от него, с флоры прекрасного архипелага, там, где крупная гортензия в объемистом вазоне со следами земли наполовину скрывает за облаками своих бледно-голубых и бледно-зеленых соцветий пьедестал мраморной Дианы, на которой сидит муха.

Прямо над диваном висит батальная гравюра в раме из черного дерева, намечая еще один исторический этап. Стоя на пружинистом кретоне, я извлекал из ее смеси эпизодического и аллегорического разные фигуры, смысл которых раскрывался с годами; раненого барабанщика, трофеи, павшую лошадь, усачей со штыками и неуязвимого среди этой застывшей возни бритого императора в походном сюртуке на фоне пышного штаба.

С помощью взрослого домочадца (которому приходилось действо-

вать сначала обеими руками, а потом мощным коленом) диван несколько отодвигался от стены (здравствуйте, дырочки штепселя). Из диванных валиков строилась крыша; тяжелые подушки служили заслонами с обоих концов. Ползти на четвереньках по этому беспросветно-черному туннелю было сказочным наслаждением. Делалось душно и страшно, в колено впивался кусочек ореховой скорлупы, но я все же медлил в этой давящей тьме, слушая тупой звон в ушах, рассудительный звон одиночества, столь знакомый малышам, вовлеченным игрой в пыльные, грустно-укромные углы. Темнота становилась слепотой, слепота искрилась по-своему; и, весь вспыхнув как-то снутри, в трепете сладкого ужаса, стуча коленками и ладошками, я торопился к выходу и сбивал подушку. Мечтательнее и тоньше была другая пещерная игра,— когда, проснувшись раньше обыкновенного, я сооружал шатер из простыни и одеяла и давал волю воображению среди бледного света, полотняных и фланелевых лавин, в складках которых мне мерещились томительные допотопные дали, силуэты сонных зверей. Заодно воскресает образ моей детской кровати, с подъемными сетками из пушистого шнура по бокам, чтобы автор не выпал; и, в свою очередь, этот образ направляет память к другому утреннему приключению. Как, бывало, я упивался восхитительно крепким, гранатово-красным, хрустальным яйцом, уцелевшим от какой-то незапамятной Пасхи! Пожевав уголок простыни так, чтобы он хорошенко намок, я туго заворачивал в него граненое сокровище и, все еще подлизывая спленутые его плоскости, глядел, как горящий румянец постепенно просачивается сквозь влажную ткань со все возрастающей насыщенностью рдения. Непосредственное этого мне редко удавалось питаться красотой.

Допускаю, что я не в меру привязан к самым ранним своим впечатлениям, но как же не быть мне благодарным им? Они проложили путь в сущий рай осязательных и зрительных откровений. И все я стою на коленях — классическая поза детства! — на полу, на постели, над игрушкой, ни над чем. Как-то раз, во время заграничной поездки, посреди отвлеченной ночи, именно так я стоял на подушке у окна спального отделения: это было, должно быть, в 1903 году, между прежним Парижем и прежней Ривьерой, в давно не существующем тяжелозвонном *train de luxe*⁴, вагоны которого были окрашены по низу в кофейный цвет, а по верху — в сливочный. Должно быть, мне удалось отстегнуть и подтолкнуть вверх тугую тисненную шторку в головах моей койки. С неизъяснимым замираньем я смотрел сквозь стекло на горсть далеких алмазных огней, которые переливались в черной мгле отдаленных холмов, а затем как бы соскользнули в бархатный карман. Впоследствии я раздавал такие драгоценности героям моих книг, чтобы как-нибудь отделаться от бремени этого богатства. Загадочно-болезненное блаженство не изошло за полвека, если и ныне возвращаюсь к этим первичным чувствам. Они принадлежат гармонии моего совершеннейшего, счастливейшего детства,— и, в силу этой гармонии, они с волшебной легкостью, сами по себе, без поэтического участия, откладывают в памяти сразу перебеленными черно-

⁴ поезда-люкс (фр.).

виками. Привередничать и корячиться Мнемозина начинает только тогда, когда доходишь до глав юности. И вот еще соображение: сдается мне, что в смысле этого раннего набирания мира русские дети моего поколения и круга одарены были восприимчивостью поистине гениальной, точно судьба в предвидении катастрофы, которой предстояло убрать сразу и навсегда прелестную декорацию, честно пытаясь возместить будущую потерю, наделяя их души и тем, что по годам им еще не причиталось. Когда же все запасы и заготовки были сделаны, гениальность исчезла, как бывает оно с вундеркиндами в узком значении слова — с каким-нибудь кудрявым, смазливым мальчиком, управлявшим оркестром или укрощавшим гремучий, громадный рояль у пальмы, на освещенной, как Африка, сцене, но впоследствии становящимся совершенно второстепенным лысоватым музыкантом, с грустными глазами и какой-нибудь редкой внутренней опухолью и чем-то тяжелым и смутно-уродливым в очерке евнуших бедер. Пусть так, но индивидуальная тайна пребывает и не перестает дразнить мемуариста. Ни в среде, ни в наследственности не могу нащупать тайный прибор, оттиснувший в начале моей жизни тот неповторимый водянной знак, который сам различаю, только подняв ее на свет искусства.

3

Чтобы правильно расставить во времени некоторые мои ранние воспоминания, мне приходится равняться по кометам и затмениям, как делает историк, датирующий обрывки саг. Но в иных случаях хронология ложится у ног с любовью. Вижу, например, такую картину: карабкаюсь лягушкой по мокрым, черным приморским скалам; мисс Норкот, томная и печальная гувернантка, думая, что я следую за ней, удаляется с моим братом вдоль взморья; карабкаясь, я твержу, как некое истое, красноречивое, утоляющее душу заклинание, простое английское слово «чайльдхуд» (детство); знакомый звук постепенно становится новым, странным, и вконец завораживается, когда другие «худ»ы к нему присоединяются в моем маленьком, переполненном и кипящем мозгу — «Робин Худ», и «Литль Ред Райдинг Худ» (Красная Шапочка), и бурый куколь («худ») горбуньи-феи. В скале есть впадинки, в них стоит теплая морская водица, и, бормоча, я как бы колдуя над этими васильковыми купелями.

Место это, конечно, Аббация, на Адриатике. Накануне в кафе у фиумской пристани, когда уже нам подавали заказанное, мой отец заметил за ближним столиком двух японских офицеров, и мы тотчас ушли; однако я успел схватить целую бомбочку лимонного мороженого, которую так и унес в набухающем небной болью рту. Время, значит, 1904 год, мне пять лет. Лондонский журнал, который выписывает мисс Норкот, со смаком воспроизводит рисунки японских корреспондентов, изображающих, как будут тонуть совсем на вид детские — из-за стиля японской живописи — паровозы русских, если они вздумают провести рельсы по байкальскому льду.

У меня, впрочем, есть в памяти и более ранняя связь с этой войной. Как-то в начале того же года, в нашем петербургском особняке, меня

повели из детской вниз, в отцовский кабинет, показаться генералу Куропаткину, с которым отец был в коротких отношениях. Желая позабавить меня, коренастый гость высыпал рядом с собой на оттоманку десяток спичек и сложил их в горизонтальную черту, приговаривая: «Вот это — море — в тихую погоду». Затем он быстро сдвинул углом каждую чету спичек, так чтобы горизонт превратился в ломаную линию, и сказал: «А вот это — море в бурю». Тут он смешал спички и собрался было показать другой — может быть, лучший — фокус, но нам помешали. Слуга ввел его адъютанта, который что-то ему доложил. Суетливо крякнув, Куропаткин, в полтора, как говорится, приема, встал с оттоманки, причем разбросанные на ней спички подскочили ему вслед. В этот день он был назначен Верховным Главнокомандующим Дальневосточной армии.

Через пятнадцать лет маленький магический случай со спичками имел свой особый эпилог. Во время бегства отца из захваченного большевиками Петербурга на юг, где-то, снежной ночью, при переходе какого-то моста, его остановил седобородый мужик в овчинном тулупе. Старик попросил огонька, которого у отца не оказалось. Вдруг они узнали друг друга. Дело не в том, удалось ли или нет опростившемуся Куропаткину избежать советского конца (энциклопедия молчит, будто набрав крови в рот). Что любопытно тут для меня, это логическое развитие темы спичек. Те давнишние, волшебные, которые он мне показывал, давно затерялись; пропала и его армия; провалилось всё; провалилось, как провалились сквозь слюду ледка мои заводные паровозы, когда, помнится, я пробовал пускать их через замерзшие лужи в саду висбаденского отеля зимой 1904—1905 года. Обнаружить и проследить на протяжении своей жизни развитие таких тематических узоров и есть, думается мне, главная задача мемуариста.

4

Ездили мы на разные воды, морские и минеральные, каждую осень, но никогда не оставались так долго — целый год — за границей, как тогда, и мне, шестилетнему, довелось впервые по-настоящему испытать древесным дымом отдающий восторг возвращения на родину — опять же, милость судьбы, одна из ряда прекрасных репетиций, заменивших представление, которое, по мне, может уже не состояться, хотя этого как будто и требует музыкальное разрешение жизни.

Итак, переходим к лету 1905 года: мать с тремя детьми в петербургском имении; политические дела задерживают отца в столице. В один из коротких своих наездов к нам, в Выру, он заметил, что мы с братом читаем и пишем по-английски отлично, но русской азбуки не знаем (помнится, кроме таких слов, как «какао», я ничего по-русски не мог прочесть). Было решено, что сельский учитель будет приходить нам давать ежедневные уроки и водить нас гулять.

Каким веселым звуком, под стать солнечной и соленой ноте свистка, украшавшего мою белую матроску, зовет меня мое дивное детство на возобновленную встречу с бодрым Василием Мартыновичем! У

него было толстовского типа широконосое лицо, пушистая плесть, русые усы и светло-голубые, цвета моей молочной чашки, глаза с небольшим интересным наростом на одном веке. Рукопожатие его было крепкое и влажное. Он носил черный галстук, повязанный либеральным бантом, и люстриновый пиджак. Ко мне, ребенку, он обращался на вы, как взрослый к взрослому, то есть совершенно по-новому,— не с противной чем-то интонацией наших слуг и, конечно, не с особой пронзительной нежностью, звеневшей в голосе матери, когда мне случалось хвататься самого крохотного пассажира или оказывался у меня жар и она переходила на вы, словно хрупкое «ты» не могло бы выдержать груз ее обожания. Он был, как говорили мои тетки, шипением своего ужаса, как кипятком, ошпаривая человека, «красный»; мой отец его вытащил из какой-то политической истории (а потом, при Ленине, его, по слухам, расстреляли за эсерство). Брал он меня чудесами чистописания, когда, выводя «покой» или «люди», он придавал какую-то органическую густоту тому или другому сгибу, точно это были готовые ожить ганглии, чернилоносные сосуды. Во время полевых прогулок, завидя косарей, он сочным баритоном кричал им: «Бог помошь!» В дебрях наших лесов, горячо жестикулируя, он говорил о человеколюбии, о свободе, об ужасах войны и о тяжкой необходимости взрывать тиранов динамитом. Когда же он потчевал меня цитатами из «Долой оружье!» — благонамеренной, но бездарной Берты Зуттнер, я горячо восставал в защиту кровопролития, спасая свой детский мир пружинных пистолетов и Артуровых рыцарей.

С помощью Василия Мартыновича Мнемозина может следовать и дальше по личной обочине общей истории. Спустя года полтора после Выборгского взвивания (1906) отец провел три месяца в Крестах, в удобной камере, со своими книгами, мюллеровской гимнастикой и складной резиновой ванной, изучая итальянский язык и поддерживая с моей матерью беззаконную корреспонденцию (на узких свиточках туалетной бумаги), которую переносил преданный друг семьи А. И. Каминка. Мы были в деревне, когда его выпустили; Василий Мартынович руководил торжественной встречей, украсив проселочную дорогу арками из зелени — и откровенно красными лентами. Мать ехала с отцом со станции Сиверской, а мы, дети, выехали им навстречу; и, вспоминая именно этот день, я с праздничной ясностью восстановлю родной, как собственное крьвообращение, путь из нашей Выры в село Рождествено, по ту сторону Оредежи: красноватую дорогу, — сперва шедшую между Старым парком и Новым, затем колоннадой толстых берез, мимо некошеных полей; — а дальше: поворот, спуск к реке, искрящейся промеж парчовой тины; мост, вдруг разговорившийся под копытами; ослепительный блеск жестянки, оставленной удильщиком на перилах; белую усадьбу дяди на муравчатом холму; другой мост, через рукав Оредежи; другой холм, с липами, розовой церковью, мраморным склепом Рукавишниковых; наконец, — шоссейную дорогу через село, окаймленную по-русски бобриком светлой травы с песчаными проплешинаами да сиреневыми кустами вдоль замшелых изб; флаги перед новым, каменным, зданием сельской

школы рядом со старым, деревянным; и, при стремительном нашем проезде, черную, белозубую собачонку, выскочившую откуда-то с невероятной скоростью, но в совершенном молчании, сберегавшую лай до того мгновения, когда она очутится вровень с коляской.

5

В это первое необыкновенное десятилетие века фантастически перемешивалось новое со старым, либеральное с патриархальным, фатальная нищета с фаталистическим богатством. Не раз случалось, что во время завтрака в многооконной, орехом обшитой столовой вырского дома буфетчик Алексей наклонялся с удрученным видом к отцу, шепотом сообщая (при гостях шепот становился особенно шепеляв), что пришли мужики и просят его выйти к ним. Быстро переведя салфетку с колен на скатерь и извинившись перед моей матерью, отец покидал стол. Одно из восточных окон выходило на край сада у парадного подъезда; оттуда доносилось учтивое жужжанье, невидимая гурьба приветствовала барина. Из-за жары окна были затворены, и нельзя было разобрать смысл переговоров: крестьяне, верно, просили разрешенья скосить или срубить что-нибудь, и если, как часто бывало, отец немедленно соглашался, гул голосов поднимался снова, и его, по старинному русскому обычаю, дюжие руки раскачивали и подкидывали несколько раз.

В столовой между тем братцу и мне велено было продолжать есть. Мама, готовясь снять двумя пальцами с вилки комочек говядины, заглядывала вниз, под волны скатерти, там ли ее сердитая и капризная такса. «*Un jour ils vont le laisser tomber*»⁵, — замечала м-lle Golay, чопорная старая пессимистка, бывшая гувернантка матери, продолжавшая жить у нас в доме, всегда кислая, всегда в ужасных отношениях с детскими англичанками и француженками. Внезапно, глядя с моего места в восточное окно, я становился очевидцем замечательного случая левитации. Там, за стеклом, на секунду являлась в лежачем положении, торжественно и удобно раскинувшись на воздухе, крупная фигура моего отца; его белый костюм слегка зыбился, прекрасное невозмутимое лицо было обращено к небу. Дважды, трижды он возносился, под уханье и ура незримых качальщиков, и третий взлет был выше второго, и вот в последний раз вижу его покоящимся навзничь и как бы навек на кубовом фоне знайного полдня, как те внушительных размеров небожители, которые, в непринужденных позах, в ризах, поражающих обилием и силой складок, парят на церковных сводах в звездах, между тем как внизу одна от другой загораются в смертных руках восковые свечи, образуя рой огней в мрении ладана, и иерей читает о покое и памяти, и лоснящиеся траурные лилии застят лицо того, кто лежит там, среди плывущих огней, в еще не закрытом гробу.

⁵ Когда-нибудь они его уронят (фр.).

ГЛАВА ВТОРАЯ

1

Я всегда был подвержен чему-то вроде легких, но неизлечимых галлюцинаций. Одни из них слуховые, другие зрительные, а проку от них нет никакого. Вещие голоса, останавливавшие Сократа и понукавшие Жанну Д'Арк, сводятся в моем случае к тем обрывочным пустякам, которые, подняв телефонную трубку, тотчас прихлопываешь, не желая подслушивать чужой вздор. Так, перед отходом ко сну, но в полном еще сознании, я часто слышу, как в смежном отделении мозга непринужденно идет какая-то странная однобокая беседа, никак не относящаяся к действительному течению моей мысли. Присоединяется, иначе говоря, неизвестный абонент, безличный паразит; его трезвый, совершенно посторонний голос произносит слова и фразы, ко мне не обращенные и содержания столь плоского, что не решаюсь привести пример, дабы нечаянно не заострить хоть слабым смыслом тупость этого бубнения. Ему есть и зрительный эквивалент — в некоторых предсонных образах, донимающих меня, особенно после кропотливой работы. Я имею в виду, конечно, не «внутренний снимок» — лицо умершего родителя, с телесной ясностью возникающее в темноте по приложении страстного, герического усилия; не говорю я и о так называемых *muscae volitantes*⁶ — тенях микроскопических пылинок в стеклянной жидкости глаза, которые проплывают прозрачными узелками наискось по зрительному полю и опять начинают с того же угла, если перемигнешь. Ближе к ним — к этим гипногогическим увеселениям, о которых идет неприятная речь, — можно, пожалуй, поставить красочную во мраке рану продленного впечатления, которую наносит, прежде чем пасть, свет только что отсеченной лампы. У меня вырастали из рубиновых оптических стигматов и Рубенсы, и Рембрандты, и целые пылающие города. Особого толчка, однако, не нужно для появления этих живописных призраков, медленно и ровно развивающихся перед закрытыми глазами. Их движение и смена происходят вне всякой зависимости от воли наблюдателя и, в сущности, отличаются от сновидений только какой-то клейкой свежестью, свойственной переводным картинкам, да еще тем, конечно, что во всех их фантастических фазах отдаешь себе полный отчет. Они подчас уродливы: привязывается, бывало, средневековый, грубый профиль, распаленный вином карла, нагло растущее ухо или нехорошая ноздря. Но иногда, перед самым забытьем, пухлый пепел падает на краски, и тогда фотизмы мои успокоительно расплываются, кто-то ходит в плаще среди ульев, лиловеют из-за паруса дымчатые острова, валит снег, улетают тяжелые птицы.

Кроме всего, я наделен в редкой мере так называемым *audition colorée* — цветным слухом. Тут я мог бы невероятными подробностями взбесить самого покладистого читателя, но ограничусь только не-

⁶ перелетающих мухах (лат.)

сколькими словами о русском алфавите: латинский был мною разобран в английском оригиналe этой книги.

Не знаю, впрочем, правильно ли тут говорить о «слухе»: цветное ощущение создается, по-моему, осязательным, губным, чуть ли не вкусовым путем. Чтобы основательно определить окраску буквы, я должен букву просмаковать, дать ей набухнуть или излучиться во рту, пока воображаю ее зрительный узор. Чрезвычайно сложный вопрос, как и почему малейшее несовпадение между разноязычными начертаниями единозвучной буквы меняет и цветовое впечатление от нее (или, иначе говоря, каким именно образом сливаются в восприятии буквы ее звук, окраска и форма), может быть как-нибудь причастен понятию «структурных» красок в природе. Любопытно, что большей частью русская, инакописная, но идентичная по звуку, буква отличается тускловатым тоном по сравнению с латинской.

Черно-бурую группу составляют: густое, без галльского глянца, А; довольно ровное по сравнению с рваным R; P, крепкое каучуковое Г; Ж, отличающееся от французского J, как горький шоколад от молочного; темно-коричневое, отполированное Я. В белесой группе буквы Л, Н, О, Х, Э представляют, в этом порядке, довольно бледную диету из вермишили, смоленской каши, миндального молока, сухой булки и шведского хлеба. Группу мутных промежуточных оттенков образуют клистирное Ч, пушисто-сизое Щ и такое же, но с прожелтью, Щ.

Переходя к спектру, находим: красную группу с вишнево-кирпичным Б (гуще, чем В), розово-фланелевым М и розовато-телесным (чуть желтее, чем V) В; желтую группу с оранжеватым Ё, охряным Е, палевым Д, светло-палевым И, золотистым У и латуневым Ю; зеленую группу с гуашевым П, пыльно-ольховым Ф и пастельным Т (все это суще, чем их латинские однозвучия); и наконец, синюю, переходящую в фиолетовое, группу с жестяным Ц, влажно-голубым С, черничным К и блестяще-сиреневым З. Такова моя азбучная радуга (ВЁЕПСКЗ).

Исповедь синэстета назовут претенциозной те, кто защищен от таких просачиваний и смешений чувств более плотными перегородками, чем защищен я. Но моей матери все это показалось вполне естественным, когда мое свойство обнаружилось впервые: мне шел шестой или седьмой год, я строил замок из разноцветных азбучных кубиков — и вскользь заметил ей, что покрашены они неправильно. Мы тут же выяснили, что мои буквы не всегда того же цвета, что ее; согласные она видела довольно неясно, но зато музыкальные ноты были для нее как желтые, красные, лиловые стеклышки, между тем как во мне они не возбуждали никаких хроматизмов. Надобно сказать, что у обоих моих родителей был абсолютный слух: но, увы, для меня музыка всегда была и будет лишь произвольным нагромождением варварских звучаний. Могу по бедности понять и принять цыгановатую скрипку или какой-нибудь влажный перебор арфы в «Богеме», да еще всякие испанские спазмы и звон, но концертное фортепиано с фальдами и решительно все духовые хоботы и анаконды в небольших дозах вызывают во мне скуку, а в больших — оголение всех нервов и даже понос.

Моя нежная и веселая мать во всем потакала моему ненасытному

зрению. Сколько ярких акварелей она писала при мне, для меня! Какое это было откровение, когда из легкой смеси красного и синего вырастал куст персидской сирени в райском цвету! Какую муку и горе я испытывал, когда мои опыты, мои мокрые, мрачно-фиолетово-зеленые картины ужасно коробились или свертывались, точно скрываясь от меня в другое, дурное, измерение! Как я любил кольца на материинской руке, ее браслеты! Бывало, в петербургском доме, в отдаленнейшей из ее комнат, она вынимала из тайника в стене целую груду драгоценностей, чтобы позанять меня перед сном. Я был тогда очень мал, и эти струящиеся диадемы и ожерелья не уступали для меня в загадочном очаровании табельным иллюминациям, когда в ватной тишине зимней ночи гигантские монограммы и венцы, составленные из цветных электрических лампочек — сапфирных, изумрудных, рубиновых,— глухо горели над отороченными снегом карнизами домов.

2

Частые детские болезни особенно сближали меня с матерью. В детстве, до десяти, что ли, лет, я был отягощен исключительными, и даже чудовищными, способностями к математике, которые быстро потускнели в школьные годы и вовсе пропали в пору моей, на редкость бездарной во всех смыслах, юности (от пятнадцати до двадцати пяти лет). Математика играла грозную роль в моих ангинах и скарлатинах, когда, вместе с расширением термометрической ртути, беспощадно пухли огромные шары и многозначные цифры у меня в мозгу. Неосторожный гувернер поторопился объяснить мне в восемь лет логарифмы, а в одном из детских английских журналов мне попалась статейка про феноменального индуса, который ровно в две секунды мог извлечь корень семнадцатой степени из такого, скажем, приятного числа, как 3529471145760275132301897342055866171392 (кажется, 212, но это не важно). От этих монстров, откормленных на моем бреду и как бы вытеснявших меня из себя самого, невозможно было отделаться, и в течение безнадежной борьбы я поднимал голову с подушки, силясь объяснить матери мое состояние. Сквозь мои смещенные логикой жара слова она узнавала все то, что сама помнила из собственной борьбы со смертью в детстве, и каким-то образом помогала моей разрывающейся вселенной вернуться к Ньютонову классическому образцу.

Будущему узкому специалисту-словеснику будет небезынтересно проследить, как именно изменился при передаче литературному герою (в моем романе «Дар») случай, бывший и с автором в детстве. После долгой болезни я лежал в постели, размаянный, слабый, как вдруг нашло на меня блаженное чувство легкости и покоя. Мать, я знал, поехала купить мне очередной подарок: планомерная ежедневность приношений придавала медленным выздоравливаниям и прелесть и смысл. Что предстояло мне получить на этот раз, я не мог угадать, но сквозь магический кристалл моего настроения я со сверхчувственной ясностью видел ее санки, удалявшиеся по Большой Морской по направлению к Невскому (ныне Проспекту какого-то Октября, куда вли-

вается удивленный Герцен). Я различал все: гнедого рысака, его храп, ритмический щелк его молотыни и твердый стук комьев мерзлой земли и снега об передок. Перед моими глазами, как и перед материнскими, ширился огромный, в синем сборчатом ватнике, кучерской зад, с путевыми часами в кожаной оправе на кушаке; они показывали двадцать минут третьего. Мать, в вуали, в котиковской шубе, поднимала муфту к лицу грациозно-гравюрным движением нарядной петербургской дамы, летящей в открытых санях; петли медвежьей полости были сзади прикреплены к обоим углам низкой спинки, за которую держался, стоя на запятах, выездной с кокардой.

Не выпуская санок из фокуса ясновидения, я остановился с ними перед магазином Треймана на Невском, где продавались письменные принадлежности, аппетитные игральные карты и безвкусные безделушки из металла и камня. Через несколько минут мать вышла оттуда в сопровождении слуги: он нес за ней покупку, которая показалась мне обыкновенным фаберовским карандашом, так что я даже удивился и ничтожности подарка, и тому, что она не может нести сама такую мелочь. Пока выездной запахивал опять полость, я смотрел на пар, выдыхаемый всеми, включая коня. Видел и знакомую ужимку матери: у нее была привычка вдруг надуть губы, чтобы отлепилась слишком тесная вуалетка, и вот сейчас, написав это, нежное сетчатое ощущение ее холодной щеки под моими губами возвращается ко мне, летит, ликя, стремглав из снежно-синего, синеоконного (еще не спустили штор) прошлого.

Вот она вошла ко мне в спальню и остановилась с хитрой полуулыбкой. В объятиях у нее большой удлиненный пакет. Его размер был так сильно сокращен в моем видении оттого, может быть, что я делал подсознательную поправку на отвратительную возможность, что от недавнего бреда могла остаться у вещей некоторая склонность к гигантизму. Но нет: карандаш действительно оказался желто-деревянным гигантом, около двух аршин в длину и соответственно толстый. Это рекламное чудовище висело в окне у Треймана, как дирижабль, и мать знала, что я давно мечтаю о нем, как мечтал обо всем, что нельзя было или не совсем можно было за деньги купить (приказчику пришлось сначала снести с неким доктором Либнером, точно дело было и впрямь врачебное). Помню секунду ужасного сомнения: из графита ли острье, или это подделка? Нет, настоящий графит. Мало того, когда несколько лет спустя я просверлил в боку гиганта дырку, то с радостью убедился, что становой графит идет через всю длину: надообно отдать справедливость Фаберу и Либнеру, с их стороны это было сущее «искусство для искусства».

«О, еще бы,— говорила мать, когда, бывало, я делился с нею тем или другим необычайным чувством или наблюдением,— еще бы, это я хорошо знаю...» И с жутковатой простотой она обсуждала телепатию, и сны, и потрескивающие столики, и странные ощущения «уже раз виденного» (*le déjà vu*). Среди отдаленных ее предков, сибирских Рукавишниковых (коих не должно смешивать с известными московскими купцами того же имени), были староверы, и звучало что-то твердо-сектантское в ее отталкивании от обрядов православной церк-

ви. Евангелие она любила какой-то вдохновенной любовью, но в опоре догмы никак не нуждалась; страшная беззащитность души в вечности и отсутствие там своего угла просто не интересовали ее. Ее проникновенная и невинная вера одинаково принимала и существование вечного, и невозможность осмыслить его в условиях временного. Она верила, что единственно доступное земной душе — это ловить далеко впереди, сквозь туман и грезу жизни, проблеск чего-то *настоящего*. Так люди, дневное мышление которых особенно неуимчиво, иногда чуют и во сне, где-то за щекочущей путаницей и нелепицей видений,— стройную действительность прошедшей и предстоящей яви.

3

Любить всей душой, а в остальном доверяться судьбе — таково было ее простое правило. «Вот запомни»,— говорила она с таинственным видом, предлагая моему вниманию заветную подробность: жаворонка, поднимающегося в мутно-перламутровое небо бессолнечного весеннего дня, вспышкиочных зарниц, снимающих в разных положениях далекую рощу, краски кленовых листьев на палитре мокрой террасы, клинопись птичьей прогулки на свежем снегу. Как будто предчувствуя, что вещественная часть ее мира должна скоро погибнуть, она необыкновенно бережно относилась ко всем вешкам прошлого, рассыпанным и по ее родовому имению, и по соседнему поместью свекрови, и по земле брата за рекой. Ее родители оба скончались от рака, вскоре после ее свадьбы, а до этого умерло молодыми семеро из девяти их детей, и память обо всей этой обильной далекой жизни, мешаясь с веселыми велосипедами и крокетными дужками ее девичества, украшала мифологическими виньетками Выру, Батово и Рождество на детальной, но несколько несбыточной карте. Таким образом я унаследовал восхитительную фата-моргану, все красоты неотторжимых богатств, призрачное имущество — и это оказалось прекрасным закалом от предназначенных потерь. Материнские отметины и зарубки были мне столь же дороги, как и ей, так что теперь в моей памяти представлена и комната, которая в прошлом отведена была ее матери под химическую лабораторию, и отмеченный — тогда молодой, теперь почти шестидесятилетней липою подъем в деревню Грязно, перед поворотом на Даймищенский большак, — подъем столь крутой, что приходилось велосипедистам спешиваться, — где, поднимаясь рядом с ней, сделал ей предложение мой отец, и старая тенисная площадка, чуть ли не каренинских времен, свидетельница благопристойных перекидок, а к моему детству заросшая плевелами и поганками.

Новая тенисная площадка — в конце той узкой и длинной прорыади черешчатых дубков, о которых я уже говорил, — была выложена по всем правилам грунтового искусства рабочими, выписанными из Восточной Пруссии. Вижу мать, отдающую мяч в сетку и топающую ножкой в плоской белой туфле. Майерсовское руководство для игры в лоун-тенис перелистывается ветерком на зеленой скамейке. С добросовестными и глупыми усилиями бабочки-белянки пробивают себе путь в проволочной ограде вокруг корта. Воздушная блузка и узкая пи-

кейная юбка матери (она играет со мной в паре против отца и брата, и я сержусь на ее промахи) принадлежат к той же эпохе, как фланелевые рубашки и штаны мужчин. Поодаль, за цветущим лугом, окружающим площадку, проезжие мужики глядят с почтительным удивлением на ревность господ, точно так же, как глядели на волан или серсо в восемнадцатом веке. У отца сильная прямая подача в классическом стиле английских игроков того времени, и, сверяясь с упомянутой книгой, он все справляется у меня и у брата, сошла ли на нас благодать — отзывается ли драйв у нас от кисти до самого плеча, как полагается.

Мать любила и всякие другие игры, особенно же головоломки и карты. Под ее умело витающими руками из тысячи вырезанных кусочков постепенно складывалась на ломберном столе картина из английской охотничьей жизни, и то, что казалось сначала лошадиной ногой, оказывалось частью ильма, а никуда не входившая пупочка (материнское слово для всякой кругловатой штучки) вдруг приходилась к крапчатому крупу, удивительно ладно восполнения пробел — вернее просинь, ибо ломберное сукно было голубое. Эти точные восполнения доставляли мне, зрителю, какое-то и отвлеченное и осознательное удовольствие.

В начале второго десятилетия века у нее появилась страсть к азартным играм, особенно к покеру; последний был занесен в Петербург радением дипломатического корпуса, но, по пути из далекой Америки пройдя через сравнительно близкий Париж, он пришел к нам оснащенный французскими названиями комбинаций, как, например, brelan и couleur⁷. Технически говоря, это был так называемый draw poker⁸ с довольно частыми jackpotами и с джокером, заменяющим любую карту. Мать иногда играла до четырех часов утра и впоследствии вспоминала с наивным ужасом, как шофер дожидался ее всю морозную ночь, на самом деле чай с ромом в сочественной кухне значительно скрывал эти вигилии⁹.

Любимейшим ее летним удовольствием было хождение по грибы. В оригинал этой книги мне пришлось подчеркнуть само собою понятное для русского читателя отсутствие гастрономического значения в этом деле. Но, разговаривая с москвичами и другими русскими провинциалами, я заметил, что и они не совсем понимают некоторые тонкости, как, например, то, что сыроежки или там рыжики и вообще все низменные агарики с пластиночной бухтармой совершенно игнорировались знатоками, которые брали только классически прочно и округло построенные виды из рода Boletus, боровики, подберезовики, подосиновики. В дождливую погоду, особенно в августе, множество этих чудных растений вылезало в парковых дебрях, насыщая их тем сырым, сытным запахом — смесью моховины, прелых листьев и фиалкового перегноя,— от которого вздрагивают и раздуваются ноздри петербуржца. Но в иные дни приходилось подолгу всматриваться и шарить, покуда не сыщется семейка боровичков в тесных чепчиках, или мра-

⁷ Мастер покера (фр.).

⁸ Покер (англ.).

⁹ Вигилии — бдения (от лат. vigil — бдительный).

мористый «гусар», или болотная форма худосочного белесого березовика.

Под моросящим дождиком мать пускалась одна в долгий поход, запасаясь корзинкой — вечно запачканной лиловым снутри от чьих-то черничных сборов. Часа через три можно было увидеть с садовой площадки ее небольшую фигуру в плаще с капюшоном, приближавшуюся из тумана аллеи; бисерная морось на зеленовато-бурой шерсти плаща образовывала вокруг нее подобие дымчатого ореола. Вот, выйдя из-под капающей и шуршащей сени парка, она замечает меня, и немедленно лицо ее принимает странное, огорченное выражение, которое, казалось бы, должно означать неудачу, но на самом деле лишь скрывает ревниво сдержанное упоение, грибное счастье. Дойдя до меня, она испускает вздох преувеличенной усталости, и рука и плечо вдруг обвисают, чуть ли не до земли опуская корзинку, дабы подчеркнуть ее тяжесть, ее сказочную полноту.

Около белой, склизкой от сырости садовой скамейки со спинкой она выкладывает свои грибы концентрическими кругами на круглый железный стол со сточной дырой посередине. Она считает и сортирует их. Старые, с рыхлым исподом, выбрасываются; молодым и крепким уделяется всяческая забота. Через минуту их унесет слуга в неведомое и неинтересное ей место, но сейчас можно стоять и тихо любоваться ими. Выпадая в червонную бездузу из ненастных туч, перед самым заходом, солнце, бывало, бросало красочный луч в сад, и лоснились на столе грибы: к иной красной или янтарно-коричневой шляпке пристала травинка; к иной подштрихованной, изогнутой ножке прилип родимый мох; и крохотная гусеница геометриды, идя по краю стола, как бы двумя пальцами детской руки все мерила что-то и изредка вытягивалась вверх, ища никому не известный куст, с которого ее сбили.

4

Всё, что относилось к хозяйству, занимало мою мать столь же мало, как если бы она жила в гостинице. Не было хозяйственной жилки и у отца. Правда, он заказывал завтраки и обеды. Этот ритуал совершался за столом, после сладкого. Буфетчик приносил черный альбомчик. С легким вздохом отец раскрывал его и, поразмысливши, своим изящным, плавным почерком вписывал меню на завтра. У него была привычка давать химическому карандашу или перу-самотеку быстро-быстро трепетать на воздухе, над самой бумагой, покуда он обдумывал следующую зыбельку слов. На его вопросительные наименования блюд мать отвечала неопределенными кивками или морщилась. Официально в экономках числилась Елена Борисовна, бывшая няня матери, древняя, очень низенького роста старушка, похожая на унылую черепаху, большеногая, малоголовая, с совершенно потухшим, мутно-карим взглядом и холодной, как забытое в кладовой яблочко, кожей. Про Бову она мне что-то не рассказывала, но и не пила, как пивала Арина Родионовна (кстати, взятая к Оленьке Пушкиной с Сайды, неподалеку от нас). Она была на семьдесят лет старше меня, от нее шел легкий, но нестерпимый запах — смесь кофе и тлена, и за последние годы в ней появилась патологическая склонность, по мере развития которой был потихоньку от нее введен другой домашний поря-

док, учрежденный в лакейской. Ее сердце не выдержало бы, узнай она, что власть ее болтается в пространстве, с ее же ключничьего кольца, и мать старалась лаской отогнать подозрение, заплывавшее в слабеющий ум старушки. Та правила безраздельно каким-то своим, далеким, затхлым, маленьkim царством — вполне отвлеченным, конечно, иначе бы мы умерли с голоду; вижу, как она терпеливо топает туда по длинным желтым коридорам, под насмешливым взглядом слуг, унося в тайную кладовую сломанный пети-бер, найденный ею где-то на тарелке. Между тем, при отсутствии всякого надзора над штатом в полсотни с лишком человек, и в усадьбе и в петербургском доме шла веселая воровская свистопляска. По словам пронырливых старых родственниц, заправилами были повар Николай Андреевич да старый садовник Егор. Оба необыкновенно положительные на вид люди, в очках, с седеющими висками — словом, прекрасно загrimированные под преданных слуг. Доносам старых родственниц никто не верил, но, увы, они говорили правду. Николай Андреевич был закупочным гением и, как выяснилось однажды, довольно известным в петербургских спиритических кругах медиумом; Егор (до сих пор слышу его черноземно-шпинатный бас, когда он на огороде пытался отвести мое прожорливое внимание от ананасной земляники к простой клубнике) торговал под шумок господскими цветами и ягодами так искусно, что нажил новенький дом на Сиверской. Мой дядя Рукавишников как-то ездил посмотреть и вернулся с удивленным выражением. При ровном наплыве чудовищных и необъяснимых счетов мой отец испытывал, в качестве юриста и государственного человека, особую досаду от неумения разрешить экономические нелады у себя в доме. Но всякий раз, как обнаруживалось явное злоупотребление, что-нибудь непременно мешало расправе. Когда здравый смысл велел прогнать жулика-камердинера, тут-то и оказывалось, что его сын, черноглазый мальчик моих лет, лежит при смерти,— и всё заслонялось необходимостью консилиума из лучших докторов столицы. Отвлекаемый то тем, то другим, мой отец оставил в конце концов хозяйство в состоянии неустойчивого равновесия и даже научился смотреть на это с юмористической точки зрения, между тем как мать радовалась, что этим повторством спасен от гибели сумасшедший мир старой ее няньки, уносящей в свою вечность по темнеющим коридорам уже даже не бисквит, а горсть сухих крошек. Мать хорошо понимала боль разбитой иллюзии. Малейшее разочарование принимало у нее размеры роковой беды. Как-то в Сочельник, месяца за три до рождения ее четвертого ребенка, она оставалась в постели из-за легкого недомогания. По английскому обычаю, гувернантка привязывала к нашим кроваткам в рождественскую ночь, пока мы спали, по чулку, набитому подарками, а будила нас по случаю праздника сама мать и, деля радость не только с детьми, но и с памятью собственного детства, наслаждалась нашими восторгами при шуршащем развертывании всяких волшебных мелочей от Пето. В этот раз, однако, она взяла с нас слово, что в девять утра непочатые чулки мы принесем разбирать в ее спальню. Мне шел седьмой год, брату шестой, и, рано проснувшись, я с ним быстро посовещался, заключил безумный союз,— и мы оба бросились к чулкам, повешенным на изножье. Руки сквозь натянутый уголками и бугорками шелк на-

шупали сегменты содергимого, похрустывавшего афишной бумагой. Всё это мы вытащили, развязали, развернули, осмотрели при смуглоснежном свете, проникавшем сквозь складки штор,— и, снова запаковав, засунули обратно в чулки, с которыми венный срок мы и явились к матери. Сидя у нее на освещенной постели, ничем не защищенные от ее довольных глаз, мы попытались дать требуемое публикой представление. Но мы так перемяли шелковистую розовую бумагу, так уродливо перевязали ленточки и так по-любительски изображали удивление и восторг (как сейчас, вижу брата, закатывающего глаза и восклицающего с интонацией нашей француженки «Ah, que c'est beau!»¹⁰), что, понаблюдавши нас с минуту, бедный зритель разразился риданиями.

Прошло десятилетие. В первую мировую войну (Пуанкаре в краях, слякоть, здравия желаем, бедняжка-наследник в черкеске, крупные, ужасно одетые его сестры в больших застенчивых шляпах, с тысячей своих частных шуточек) моя мать очень добросовестно, но довольно неумело соорудила собственный лазарет, по примеру других петербургских дам. И вот помню ее, в ненавистной ей форме сестры, рыдающей теми же детскими слезами над фальшью модного милосердия, над мучительной, каменной, совершенно непроницаемой кротостью искалеченных мужиков. И еще позже — о, гораздо позже, — перебирая в изгнании прошлое, она часто винила себя (по-моему, несправедливо), что менее была чутка к обилию человеческого горя на земле, чем к бремени чувств, спихиваемому человеком на все безвинно-безответное, как, например, старые аллеи, старые лошади, старые псы.

Мои тетки критиковали ее пристрастие к коричневым таксам. В фотографических альбомах, подробно иллюстрирующих ее молодые годы, среди пикников, крокетов, это не вышло, спортсменок в рукавах буфами и канотье, старых слуг с руками по швам, ее в колыбели, каких-то туманных елок, каких-то комнатных перспектив, — редкая группа обходилась без таксы, с расплывшейся от темперамента задней частью гибкого тела и всегда с тем странным, психопатически-звездным взглядом, который у этой породы бывает на семейных снимках. В раннем детстве я еще застал на садовом угреве Лулу и Бокса Первого, мать и сына, столь дряхлых, что давно забылся кровосмесительный их союз, озадачивший былых детей. Около 1904 года отец привез с Мюнхенской выставки рыжего щенка, из которого выросла удивительной таксичьей красоты Трэйни. В 1915 году у нее отнялись задние ноги, и, пока мать не решилась ее усыпить, бедная собака уныло ездила по паркетам, как *cul-de-jatte*¹¹. Затем кто-то подариł нам внучка или правнука чеховских Хины и Брома. Этот окончательный таксик (представляющий одно из немногих звеньев между мною и русскими классиками) последовал за нами в изгнание, и еще в 1930 году в Праге, где моя овдовевшая мать жила на крохотную казенную пенсию, можно было видеть ковыляющего по тусклой зимней улице далеко позади своей задумчивой хозяйки этого старого, все еще серди-

¹⁰ «Ah, какая красота!» (фр.).

¹¹ безногая (фр.).

того Бокса Второго,— эмигрантскую собаку в длинном проволочном наморднике и заплатанном пальтеце.

Я жил далеко от матери, в Германии или Франции, и не мог часто ее навещать. Не было меня при ней и когда она умерла, в мае 1939 года. Всякий раз, что удавалось посетить Прагу, я испытывал в первую секунду встречи ту боль, ту растерянность, тот провал, когда приходится сделать усилие, чтобы нагнать время, ушедшее за разлуку вперед, и восстановить любимые черты по нестареющему в сердце образцу. Квартира, которую она делила с внуком и Евгенией Константиновной Г., самым близким ее другом, была донельзя убогой. Клеенчатые тетради, в которые она списывала в течение многих лет нравившиеся ей стихи, лежали на кое-как собранной ветхой мебели. Ужасно скоро треплющиеся томики эмигрантских изданий соседствовали со слепком отцовской руки. Около ее кушетки, ночью служившей постелью, ящик, поставленный вверх дном и покрытый зеленою матерью, заменял столик, и на нем стояли маленькие мутные фотографии в разваливающихся рамках. Впрочем, она едва ли нуждалась в них, ибо оригинал жизни не был утерян. Как бродячая труппа всюду возит с собой, поскольку не забыты реплики, и дюны под бурей, и замок в тумане, и очарованный остров,— так носила она в себе все, что душа отложила про этот серый день. Совершенно ясно вижу ее, сидящую за чайным столом и тихо созерцающую, с одной картой в руке, какую-то фазу в раскладке пасьянса; другой рукой она облокотилась об стол и в ней же, прижав сгиб большого пальца к краю подбородка, держит близко ко рту папирюс собственной набивки. На четвертом пальце правой руки — теперь опускающей карту — горит блеск двух золотых колец: обручальное кольцо моего отца, слишком для нее широкое, привязано черной ниточкой к ее собственному кольцу.

Когда мне снятся умершие, они всегда молчаливы, озабочены, смутно подавлены чем-то, хотя в жизни именно улыбка была сутью их дорогих черт. Я встречаюсь с ними без удивления, в местах и обстановке, в которых они никогда не бывали при жизни — например, в доме у человека, с которым я познакомился только потом. Они сидят в сторонке, хмуро опустив глаза, как если бы смерть была темным пятном, постыдной семейной тайной. И, конечно, не там и не тогда, не в этих косматых снах, дается смертному редкий случай заглянуть за свои пределы, а дается этот случай нам наяву, когда мы в полном блеске сознания, в минуты радости, силы и удачи — на матче, на перевале, за рабочим столом... И хоть мало различаешь во мгле, все же блаженно верится, что смотришь туда, куда нужно.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

1

Восемнадцати лет покинув Петербург, я (вот пример галлицизма) был слишком молод в России, чтобы проявить какое-либо любопытство к моей родословной; теперь я жалею об этом — из соображений технических: при отчетливости личной памяти неотчетливость семей-

ной отражается на равновесии слов. Уже в эмиграции кое-какими занятными сведениями снабдил меня двоюродный мой дядюшка Владимир Викторович Голубцов, большой любитель таких изысканий. У него получалось, что старый дворянский род Набоковых произошел не от каких-то псковичей, живших как-то там в сторонке, *на обочье*, и не от кривобокого, *набокого*, как хотелось бы, а от обрусовшего шестьсот лет тому назад татарского князька по имени Набок. Бабка же моя, мать отца, рожденная баронесса Корф, была из древнего немецкого (вестфальского) рода и находила простую прелест в том, что в честь предка-крестоносца был будто бы назван остров Корфу. Корфы эти обрусили еще в восемнадцатом веке, и среди них энциклопедии отмечают много видных людей. По отцовской линии мы стоим в разнообразном родстве или свойстве с Аксаковыми, Шишковыми, Пушкиными, Данзасами. (Думаю, что было уже почти темно, когда по скрипучему снегу внесли раненого в геккернскую карету.) Среди моих предков много служилых людей; есть усыпанные бриллиантовыми знаками участники славных войн; есть сибирский золотопромышленник и миллионщик (Василий Рукавишников, дед моей матери Елены Ивановны); есть ученый президент медико-хирургической академии (Николай Козлов, другой ее дед); есть герой Фридляндского, Бородинского, Лейпцигского и многих других сражений, генерал от инфантерии Иван Набоков (братья моего прадеда), он же директор Чесменской богадельни и комендант С.-Петербургской крепости — той, в которой сидел супостат Достоевский (рапорты доброго Ивана Александровича царю напечатаны — кажется, в Красном Архиве); есть министр юстиции Дмитрий Николаевич Набоков (мой дед); и есть, наконец, известный общественный деятель Владимир Дмитриевич (мой отец).

Набоковский герб изображает собой нечто вроде шашечницы с двумя медведями, держащими ее с боков: приглашение на шахматную партию, у камина, после облавы в майоратском бору; рукавишниковский же, поновее, представляет стилизованный домен. Любопытно, что уральские прииски, Алапаевские заводы, аллитеративные паи в них — все это давно уже рухнуло, когда, в тридцатых годах сего века, в Берлине, многочисленным потомкам композитора Грауна (главным образом каким-то немецким баронам и итальянским графам, которым чуть не удалось убедить суд, что все Набоковы вымерли) досталось, после всех девальваций, кое-что от замаринованных впрок доходов с его драгоценных табакерок. Этот мой предок, Карл-Генрих Граун (1701—1759), талантливый карьерист, автор известной оратории «Смерть Иисуса», считавшейся современными ему немцами непревзойденной, и помощник Фридриха Великого в писании опер, изображен с другими приближенными (среди них — Вольтер) слушающим королевскую флейту, на пресловутой картине Менцеля, которая преследовала меня, эмигранта, из одного берлинского пансиона в другой. В молодости Граун обладал замечательным тенором; однажды, выступая в какой-то опере, написанной брауншвейгским капельмейстером Шурманом, он на премьере заменил не нравившиеся ему места ариями собственного сочинения. Только тут чувствую какую-то вспышку родства между мной и этим благополучным музыкальным деятелем.

Гораздо ближе мне другой мой предок, Николай Илларионович Козлов (1814—1889), патолог, автор таких работ, как «О развитии идеи болезни» или «Сужение яремной дыры у людей умопомешанных и самоубийц», — в каком-то смысле служащих забавным прототипом и литературных и лепидо-pterологических моих работ. Его дочь Ольга Николаевна была моей бабушкой; я был младенцем, когда она умерла. Его другая дочь, Прасковья Николаевна, вышла за знаменитого сифилидолога Тарновского и сама много писала по половым вопросам; она умерла в 1913 году, кажется, и ее странные, ясно произнесенные последние слова были: «Теперь понимаю: всё — вода». О ней и о разных диковинных, а иногда и страшных Рукавишниковых у матери было много воспоминаний... Я люблю сцепление времен: когда она гостила девочкой у своего деда, старика Василья Рукавишникова, в его крымском имении, Айвазовский, очень посредственный, но очень знаменитый маринист того времени, рассказывал в ее присутствии, как он, юношей, видел Пушкина и его высокую жену, и пока он это рассказывал, на серый цилиндр художника белилами испражнилась пролетавшая птица. Его моря темно сизели по разным углам петербургского (а после — деревенского) дома, и Александр Бенуа, проходя мимо них, и мимо мертвичины своего брата-академика Альберта, и мимо «Проталины» Крыжицкого, где не таяло ничего, и мимо громадного прилизанного Перовского «Прибоя» в зале, делал шоры из рук и как-то музыкально-смугло мычал: «Non, non, non, c'est affreux¹², какая чушь, задерните чем-нибудь» — и с облегчением переходил в кабинет моей матери, где его действительно прелестные дождем набухшая «Бретань» и рыже-зеленый «Версаль» соседствовали с «вкусными», как тогда говорилось, «Турками» Бакста и сомовской акварельной «Радугой» среди мокрых берез.

2

Две баронессы Корф оставили след в судебных летописях Парижа: одна, кузина моего прапращура, женатого на дочке Грауна, была та русская дама, которая, находясь в Париже в 1791 году, одолжила и паспорт свой и дорожную карету (только что сделанный на заказ, великолепный, на высоких красных колесах, обитый снутри белым уtrechtским бархатом, с зелеными шторами и всякими удобствами, шестиместный берлин) королевскому семейству для знаменитого бегства в Варенн (Мария-Антуанетта ехала как Мадам де Корф или как ее камеристка, король — не то как гувернер ее двух детей, не то как камердинер). Другая моя прабабка полвека спустя была причастна менее трагическому маскараду, а вычитал я эту историю из довольно пошлого французского журнала «Illustration» за 1859 год (С. 251). Граф де Морни давал бал-маскарад; на него он пригласил — цитирую источник: «...une noble dame que la Russie a prêtée cet hiver à la France»¹³, баронессу Корф с двумя дочками. Мужа, Фердинанда Корфа (1805—

¹² «Нет, нет, нет, это ужасно!» (фр.).

¹³ «...благородную даму, которую Россия одолжила на эту зиму Франции» (фр.).

1869) — праправнука Грауна по женской линии, по-видимому, не было близко, но зато тут находился друг дома и жених одной из дочек — Марии Фердинандовны (1842—1926), а мой будущий дед — Дмитрий Набоков (1827—1904). Для девиц были заказаны к балу костюмы цветочниц, по 225 франков за каждый, что тогда представляло, по явно подрывательски-марксистскому замечанию репортера, шестьсот сорок три дня «de nourriture, de loyer et d'entretien du père Crépin» (стоимости пропитания, жилья и обуви); видимо, рабочему человеку жилось тогда дешево. Однако баронессе костюмы показались слишком открытыми, и она отказалась принять их. Портниха прислала «huis-sier» — судебного пристава, после чего моя прабабка, женщина страстного нрава (и не столь добродетельная, как можно было бы заключить из ее возмущения низким вырезом), подала на портниху в суд, жалуясь, что наглые мамзели, принесшие наряды, в ответ на ее слова, что такие декольте не подходят благородным девицам — «se sont permis d'exposer des théories égalitaires du plus mauvais goût», — позволили себе высказать превульгарные демократические теории. К этому она добавляла, что поздно было заказывать другие костюмы, — и рыдающие дочки не пошли на бал; что пристав и его сподручные развалились в креслах, предоставив дамам стулья; а главное, что этот пристав смел грозить арестом господину Набокову — «Conseiller d'Etat, homme sage et plein de mesure» — статскому советнику, человеку рассудительному и уравновешенному, только потому, что тот попробовал пристава выбросить из окна. Не знаю, как это случилось, но портниха дело проиграла, причем ей не только пришлось вернуть деньги за костюмы, но еще отвалить истице тысячу франков за моральный ущерб. Счет же за дивную колымагу, поданный каратником весной 1791 года (5944 ливров), так и остался неоплаченным.

В 1878 году Дмитрий Николаевич был назначен министром юстиции. Одной из заслуг его считается закон 12 июня 1884 года, который на время прекратил натиск на суд присяжных со стороны реакционеров. Когда в 1885 году он вышел в отставку, Александр Третий предложил ему на выбор либо графский титул, либо денежное вознаграждение; благородный Набоков выбрал второе. В том же году «Вестник Европы» выразился о его деятельности так: «Он действовал как капитан корабля во время сильной бури — выбросил за борт часть груза, чтобы спасти остальное», — что в отношении контрапункта изящно перекликается с началом его карьеры, когда будущий законник чуть не выбросил сгоряча представителя закона за окно.

К концу жизни рассудок Дмитрия Николаевича помутился. Он понимал, что тяжело болен, но верил, что все образуется, коль скоро он останется жить на Ривьере; врачи же полагали, что ему нужен горный или северный климат. Где-то в Италии он бежал из-под надзора доктора и довольно долго блуждал, как некий Лир, понося детей своих на радость случайным прохожим. В 1903 году моя мать, единственный человек, с чьим присмотром он мирился, ходила за ним в Ниццу; брат и я — ему шел четвертый, а мне пятый год — жили там же, с англичанкой мисс Норкот. Помню, как в блеске утра оконницы дребезжали на упругом морском ветру, и какая это была чудовищная, ни с чем не

сравнимая боль, когда капля растопленного сургуча упала мне на руку. При помоши свечки, пламя которой было изумительно бледно на солнце, заливавшем каменные плиты, я только что так хорошо занимался превращением плавких колоритных брусков в дивно пахнущие карминовые, изумрудные, бронзовые кляксы. Мисс Норкот была в саду с братом; на мой истошный рев прибежала, шурша, мама, и где-то поодаль, на той же или смежной террасе, мой дед в двухколесном кресле был концом трости по звонким плитам. Ей приходилось с ним нелегко. Он бранился похабными словами. Служителя, катаившего его по Promenade des Anglais¹⁴, он все принимал за нелюбимого сослуживца — Лорис-Меликова, умершего пятнадцать лет тому назад в той же Ницце. «Qui est cette femme? Chassez-1a!»¹⁵ — кричал он моей матери, указывая трясущимся перстом на бельгийскую или голландскую королеву, остановившуюся, чтобы справиться о его здоровье. Смутно вижу себя подбегающим к его креслу, чтоб показать ему красивый камушек, который он медленно осматривает и медленно кладет себе в рот. Ужасно жалею, что мало расспрашивал мать впоследствии об этой странной поре на начальной границе моего сознания и на конечном пределе сознания дедовского.

Всё дольше и дольше становились припадки забытья. Во время одного такого затмения всех чувств он был перевезен в Россию. Моя мать закамуфлировала комнату под его спальню в Ницце. Подыскали похожую мебель, наполнили вазы выписанными с юга цветами и тот уголок стены (мне особенно нравится эта подробность), который можно было наискось разглядеть из окна, покрасили в блестяще-белый цвет, так что при каждом временном прояснении рассудка больной видел себя в безопасности, среди блеска и мимоз иллюзорной Ривьеры, художественно представленной моей матерью, и умер он мирно, не слыша голых русских берез, шумящих мартовским прутяным шорохом вокруг дома.

3

Отец вырос в казенных апартаментах против Зимнего дворца. У него было три брата, Дмитрий (женатый первым браком на Фальц-Фейн), Сергей (женатый на Тучковой) и Константин (к женщинам равнодушный, чем поразительно отличался ото всех своих братьев). Из пяти их сестер Наталья была за Петерсоном, Вера — за Пыхачевым, Нина — за бароном Раушем фон Траубенбергом (а затем за адмиралом Коломейцевым), Елизавета — за князем Витгенштейном, Надежда — за Вонлярлярским. К началу второго десятилетия века у меня было, так сказать, данных, то есть вошедших в сферу моего родового сознания и установившихся там знакомым звездным узором, тринадцать двоюродных братьев (с большинством из которых я был в разное время дружен) и шесть двоюродных сестер (в большинство из которых я был явно или тайно влюблен). С некоторыми из этих семейств, по взаимной ли симпатии или по соседству земель, мы ви-

¹⁴ Название набережной в Ницце (фр.).

¹⁵ Кто эта женщина? Прогоните ее! (фр.).

делись значительно чаще, чем с другими. Пикники, спектакли, бурные игры, наш таинственный вырский парк, прелестное бабушкино Батово, великолепные витгенштейновские имения — Дружноселье за Сиверской и Каменка в Подольской губернии — всё это осталось идиллически гравюрным фоном в памяти, находящей теперь схожий рисунок только в совсем старой русской литературе.

4

Со стороны матери у меня был всего один близкий родственник — ее единственный оставшийся в живых брат Василий Иванович Рукавишников; был он дипломат, как и его свояк Константин Дмитриевич Набоков, которого я упомянул выше и теперь хочу подробнее воскресить в мыслях,— до вызова более живого, но в грустном и тайном смысле одностихийного образа Василья Ивановича.

Константин Дмитриевич был худощавый, чопорный, с тревожными глазами, довольно меланхоличный холостяк, живший на клубной квартире в Лондоне, среди фотографий каких-то молодых английских офицеров, и не очень счастливо воевавший с соперником по посольскому первенству Саблиным. Ответив как-то «Нет, спасибо, мне тут рядом», а в другом случае изменив планы и возвратив билет, он дважды в жизни избег необыкновенной смерти: первый раз, в Москве, когда его предложил подвезти вел [икий] кн [язы] Сергей Александрович, обреченный через минуту встретиться с Каляевым; другой раз, когда он собрался было плыть в Америку на «Титаник», обретенном встретиться с айсбергом. Умер он в двадцатых годах от сквозняка в продувном лондонском госпитале, где поправлялся после легкой операции. Он опубликовал довольно любопытные «Злоключения дипломата» и перевел на английский язык «Бориса Годунова». Однажды, в 1940 году, в Нью-Йорке, где сразу по прибытии в Америку мне посчастливилось окунуться в сущий рай научных исследований, я спустился на лифте с пятого этажа Американского музея естествоведения, где проводил целые дни в энтомологической лаборатории, и вдруг — с мыслью, что, может быть, я переутомил мозг,— увидел свою фамилию, выведенную большими золотыми русскими литерами на фресковой стене в вестибюльном зале. При более внимательном рассмотрении фамилия приложилась к изображению Константина Дмитриевича: молодой, прикрашенный, с эспаньолкой, он участвует, вместе с Витте, Коростовцом и японскими делегатами, в подписании Портсмутского мира под благодушной эгидой Теодора Рузельта, в память которого и построен музей. Но вот Василий Иванович Рукавишников нигде не изображен, и тут наступает его очередь быть обрисованным хотя бы моими цветными чернилами.

Его alexandrovskих времен усадьба, белая, симметричнокрылая, с колоннами и по фасаду и по антифронтону, высилась среди лип и дубов на крутом муравчатом холме за рекой Оредежь, против нашей Выры. В раннем детстве дядя Вася и все, что принадлежало ему, множество фарфоровых пятнистых кошек в зеркальном предзальнике его дома, его перстни и запонки, невероятные фиолетовые гвоздики в его

оранжерее, урны в романтическом парке, целая роща черешен, застекленная в защиту от климата петербургской губернии, и самая тень его, которую, применяя секретный, будто бы египетский, фокус, он умел заставлять извиваться на песке без малейшего движения со стороны собственной фигуры,— всё это казалось мне причастным не к взрослому миру, а к миру моих заводных поездов, клоунов, книжек с картинками, всяких детских одушевленных вещиц, и такое бывало чувство, как когда в нарядном загородном городе, под лучистым от уличных огней дождем, вдруг набредешь, ребенком, в коричневых лайковых перчатках, на совершенно сказочный магазин игрушек или бабочек. Наезжал он в Россию только летом, да и то не всякий год, и тогда поднимался фантастических цветов флаг на его доме, и почти каждый день, возвращаясь с прогулки, я мог видеть, как его коляска прокатывает через мост на нашу сторону и летит вдоль ельника парка. За завтраком у нас всегда бывало много народа, потом все это переходило в гостиную или на веранду, а он, задержавшись в опустевшей солнечной столовой, садился на венский стул, стоявший на своем решетчатом отражении, брал меня на колени и со всякими смешными словечками ласкал милого ребенка. И почему-то я бывал рад, когда отец издали звал: «*Vasя, on vous attend*¹⁶» — и тут же слуги с наглыми лицами убирали со стола, и, страдая, Елена Борисовна норовила из-под них вытащить, чтобы унести и спрятать, пол-яблока, булочку, одиночную в луже редиску. Как-то, после перерыва в полтора года, я с братом и гувернером поехал встречать его на станцию. Мне, должно быть, шел одиннадцатый год, и вот вздохнули и стали длинные карие вагоны Норд-экспресса, который дядя подкупал, чтобы тот останавливался на дачной станции, и страшно быстро из багажного выносилось множество его сундуков. И вот он сам сошел по приставленным ковровым ступенькам и, мельком взглянув на меня, проговорил: «*Que vous êtes devenu jaune et laid, mon pauvre garçon!*» — как ты пожелтел, как подурнел, бедняг! В день же пятнадцатых моих именин он отвел меня в сторону и довольно хмуро, на своем порывистом, точном, старомодном французском языке объявил меня своим наследником. Он добавил, что сождет усадьбу до тла, ежели немцы — это было в 1914 году — когда-либо дойдут до наших мест. «А теперь,— сказал он,— можешь идти, аудиенция кончена, je n'ai plus rien à vous dire¹⁷».

Вижу, как на картине, его небольшую, тонкую, аккуратную фигуру, смугловатое лицо, серо-зеленые со ржавой искрой глаза, темные пышные усы, темный бобрик; вижу и очень подвижное между крахмальными отворотами адамово яблоко, и змеевидное, с опалом, кольцо вокруг узла светлого галстука. Опалы носил он и на пальцах, а вокруг черно-олосатой кисти — золотую цепочку. В петлице бледно-сизого, или еще какого-нибудь нежного оттенка, пиджака почти всегда была гвоздика, которую он, бывало, быстро нюхал — движением птицы, вздумавшей вдруг обшарить клювом плечевой пух. Как я уже говорил, он появлялся у нас в деревне только летом (помню не больше

¹⁶ вас ждут (фр.).

¹⁷ мне больше нечего вам сказать (фр.).

двух-трех заграничных с ним встреч), и сквозь этот-то жаркий перелив в дорогом камне минувшего времени мне теперь и представляется он — вот опустился на ступень веранды для еще одного снимка (как любили сниматься тогда, как пытались задержать уходящее!) и сидит с тенью лавров на белой фланели штанов, с руками, сложенными на набалдашнике трости, с солнцем на выпуклом, веснушчатом лбу в ореоле далеко назад сдвинутого канотье.

Осенью он возвращался за границу, в Рим, Париж, Биарриц, Лондон, Нью-Йорк; в свои южные именья — итальянскую виллу, пиренейский замок около Раи; и была знаменитая в летописях моего детства поездка его в Египет, откуда он мне ежедневно посыпал глянцевитые открытки с большеногими фараонами, сидящими рядом, и вечерними отражениями силуэтных пальм в розовом Ниле, через который резко и неопрятно шел его странно-некрасивый, весь в углах, дикий, *волящий* какой-то, то есть совсем не похожий на него самого, почерк. И опять в июне, на восхитительном севере, когда весело цвела имени безумного Батюшкова млечная черемуха, и солнце припекало после очередного ливня, крупные, иссиня-черные с белой перевязью бабочки (восточный подвид тополевой нимфы) низко плавали кругами над лакомой грязью дороги, с которой их спугивала его мчавшаяся к нам коляска. С обещанием дивного подарка в голосе, жеманно переступая маленькими своими ножками в белых башмаках на высоких каблуках, он подводил меня к ближайшей липке и, изящно сорвав листок, протягивал его со словами: «Pour ton neveu, la chose la plus belle au monde — une feuille verte¹⁸». Или же из Нью-Йорка он мне привозил собранные в книжки цветные серии — смешные приключения Buster Brown'a, теперь забытого мальчика в красноватом костюме с большим отложным воротником и черным бантом; если очень близко посмотреть, можно было различить совершенно отдельные малиновые точки, из которых составлялся цвет его блузы. Каждое приключение кончалось для маленького Брауна феноменальной поркой, причем его мать, дама с осиной талией и тяжелой рукой, брала что попало — туфлю, щетку для волос, разламывающийся от ударов зонтик, даже дубинку служивого полисмена,— и какие тучи пыли выколачивала она из жертвы, ничком перекинутой через ее колени! Так как меня в жизни никто никогда не шлепал, эти истязания казались мне диковинной, экзотической, но довольно однообразной пыткой — менее интересной, чем, скажем, закапывание врага с выразительными глазами по самую шею в песок кактусовой пустыни, как было показано на заглавном офорте одного из лондонских изданий Майн Рида.

5

Василий Иванович вел праздную и беспокойную жизнь. Дипломатические занятия его, главным образом при нашем посольстве в Риме, были довольно туманного свойства. Он говорил, впрочем, что мастер разгадывать шифры на пяти языках. Однажды мы его подвергли испытанию, и в самом деле, он очень быстро обратил «5.13 24.11 13.16 9.13.5 5.13 24.11» в начальные слова известного монолога Гамлета.

¹⁸ Моему племяннику — прекраснейшая вещь в мире: зеленый листок (фр.).

В розовом фраке, верхом на взмывающей через преграды громадной гнедой кобыле, он участвовал в лисьих охотах в Италии, в Англии. Закутанный в меха, он однажды попытался проехать на автомобиле из Петербурга в По, но завяз в Польше. В черном плаще (спешил на бал) он летел на фанерно-проволочном аэроплане и едва не погиб, когда аппарат разбился о Бискайские скалы (я все интересовался, как реагировал, очнувшись, несчастный летчик, сдававший машину. «Il sanglotait»¹⁹, — подумавши, ответил дядя). Он писал романсы — меланхолически-журчашую музыку и французские стихи, причем хладнокровно игнорировал все правила насчет учета немого «е». Он был игрок, и исключительно хорошо блефовал в покере.

Его изъяны и странности раздражали моего полнокровного и прямолинейного отца, который был очень сердит, например, когда узнал, что в каком-то иностранном притоне, где молодого Г., неопытного и небогатого приятеля Василя Ивановича, обыграл шулер, Василий Иванович, знаяший толк в фокусах, сел с шулером играть и преспокойно передернул, чтобы выручить приятеля. Страдая нервным заиканием на губных звуках, он не задумался переименовать своего кучера Петра в Льва — и мой отец обозвал его крепостником. По-русски Василий Иванович выражался с нарочитым трудом, предпочитая для разговора замысловатую смесь французского, английского и итальянского. Всякий его переход на русский служил средством к издевательству, заключавшемуся в том, чтобы исковеркать или некстати употребить простонародный оборот, прибаутку, красное словцо. Помню, как за столом, подытоживая всяческие свои горести — замучила сенная лихорадка, улетел один из павлинов, пропала любимая борзая, — он вздыхал и говорил: «Je suis comme une²⁰ — былинка в поле!» — с таким видом, точно и впрямь могла такая поговорка существовать.

Он уверял, что у него неизлечимая болезнь сердца и что для облегчения припадка ему необходимо бывает лечь навзничь на пол. Никто, даже мнительная моя мать, этого не принимал всерьез, и когда зимой 1916 года, всего сорока пяти лет от роду, он действительно помер от грудной жабы — совсем один, в мрачной лечебнице под Парижем, — с каким щемящим чувством вспомнилось то, что казалось пустым чудачеством, глупой сценой — когда, бывало, входил с послеобеденным кофе на расписанном пионами подносе непредупрежденный буфетчик и мой отец косился с досадой на распростертное посреди ковра тело шурина, а затем, с любопытством, на начавшуюся пляску подноса в руках у всё еще спокойного на вид слуги.

От других, более сокровенных терзаний, донимавших его, он искал облегчения — если я правильно понимаю эти странные вещи — в религии: сначала, кажется, в какой-то отрасли русского сектантства, а потом, по-видимому, в католичестве; лет за пять до его смерти моя мать и кузина отца Екатерина Дмитриевна Данзас однажды не могли заснуть в своем отделении от рокота и рева латинских гимнов, заглу-

¹⁹ «Он рыдал» (фр.).

²⁰ Я как... (фр.)

шавших шум поезда,— и несколько опешили, узнав, что это поет на сон грядущий Василий Иванович в смежном купе. А помошь ему с его натурой была, верно, до крайности нужна. Его красочной неврастении подобало бы совмещаться с гением, но он был лишь светский дилетант. В юные годы он много натерпелся от Ивана Васильевича — его странного, тяжелого, безжалостного к нему отца. На старых снимках это был благообразный господин с цепью мирового судьи, а в жизни тревожно-размашистый чудак с дикой страстью к охоте, с разными затеями, с собственной гимназией для сыновей, где преподавали лучшие петербургские профессора, с частным театром, на котором у него играли Варламов и Давыдов, с картинной галереей, на три четверти полной всякого темного вздора. По позднейшим рассказам матери, бешеный его нрав угрожал чуть ли не жизни сына, и ужасные сцены разыгрывались в мрачном его кабинете. Рождественская усадьба — купленная им собственно для старшего, рано умершего сына — была, говорили, построена на развалинах дворца, где Петр Первый, знаяший толк в отвратительном тиранстве, заточил Алексея. Теперь это был очаровательный, необыкновенный дом. По истечении почти сорока лет я без труда восстановлю и общее ощущение и подробности его в памяти: шашечницу мраморного пола в прохладной и звучной зале, небесный сверху свет, белые галерейки, саркофаг в одном углу гостиной, орган в другом, яркий запах тепличных цветов повсюду, лиловые занавески в кабинете, рукообразный предметик из слоновой кости для чесания спины — и уже относящуюся к другой главе в этой книге незабвенную колоннаду заднего фасада, под романтической сенью которой сосредоточились в 1915 году счастливейшие часы моей счастливой юности.

После 1914 года я больше его не видал. Он тогда в последний раз уехал за границу и спустя два года там умер, оставив мне миллионное состояние и петербургское свое имение Рождествоено с этой белой усадьбой на зеленом холму, с дремучим парком за ней, с еще более дремучими лесами, синеющими за нивами, и с несколькими стами десятин великолепных торфяных болот, где водились замечательные виды северных бабочек да всякая аксаково-тургенево-толстовская дичь. Не знаю, как в настоящее время, но до второй мировой войны дом, по донесениям путешественников, все еще стоял на художественно-исторический показ иностранному туристи, проезжающему мимо моего холма по Варшавскому шоссе, где — в шестидесяти верстах от Петербурга — расположено за одним рукавом реки Оредежь село Рождествоено, а за другим — наша Выра. Река местами подернута парчой нитчатки и водяных лилий, а дальше, по ее излучинам, как бы врастают в облачно-голубую воду совершенно черные отражения еловой глуши по верхам крутых красных берегов, откуда вылетают из своих нор стрижи, и веет черемухой; и если двигаться вниз, вдоль высокого нашего парка, достигаешь, наконец, плотины водяной мельницы — и тут, когда смотришь через перила на бурно текущую пену, такое бывает чувство, точно плывешь все назад да назад, стоя на самой корне времени.

В сем месте американской и великобританской версий нынешней книги, в назидание беспечному иностранцу, получившему в свое время через умных пропагандистов и дураков-попутчиков чисто советское представление о нашем русском прошлом (или просто потерявшему деньги в каком-нибудь местном банковском крахе и потому полагающему, что «понимает» меня), я позволил себе небольшое отступление, которое привожу здесь только для полноты; суть его покажется слишком очевидной русскому читателю — по крайней мере свободному русскому читателю моего поколения:

«Мое давнишнее расхождение с советской диктатурой никак не связано с имущественными вопросами. Презираю россиянина-зубра, ненавидящего коммунистов потому, что они, мол, украли у него деньжата и десятины. Моя тоска по родине лишь своеобразная гипертрофия тоски по утраченному детству».

И еще:

Выговариваю себе право тосковать по экологической нише — в горах Америки моей вздыхать по северной России.

Мне было семнадцать лет; вторая любовь и первые паузники занимали все мои досуги, о материальном строе жизни я не помышлял — да и на фоне общего благополучия семьи никакое наследство не могло особенно выделиться; но теперь мне вчуже странно, и даже немного противно, думать, что в течение короткого года, пока я владел этим обретенным наследством, я слишком был поглощен общими местами юности — уже терявшей свою первородную самоцветность, — чтобы испытать какое-либо добавочное удовольствие от вещественного владения домом и добрями, которыми и так владела душа, или какую-либо досаду, когда большевистский переворот это вещественное владение уничтожил в одну ночь. Мне это противно — точно я поступил неблагодарно по отношению к дяде Васе, взглянул на него, чудака, с улыбкой снисхождения, с которой на него смотрели даже те, кто его любил. И уже с совершенной обидой вспоминаю, как наш швейцарец-гувернер, коренастый и обычно добродушный Нуазье, брызгал ядовитым сарказмом, разбирая однажды французские стихи и музыку дяди — «Octobre», — лучший его роман. Он сочинил эту, может быть, и банальную, но певуче-ручьистую вещь как-то осенью, в своем замке около По, в Нижних Пиренеях, недалеко, помнится, от имения Ростана, мимо которого мы проезжали по дороге из Биаррица. Имение называлось Перпинья, — он его завещал какому-то итальянцу. Глядя с террасы на виноградники, желтеющие внизу по скатам, на горы, лиловеющие вдали, терзаемый астмой, сердечными перебоями, озном, каким-то прустовским обнажением всех чувств (он лицом несколько походил на Пруста), бедный Рука — как звали его друзья-иностранны — отдал мучительную дань осенним краскам — «chapelle ardente de

feuilles aux tons violents»²¹, как выпелось у него,— и единственный, кто запомнил роман от начала до конца, был мой брат, непривлекательный тогда увалень в очках, которого Василий Иванович едва замечал и который за смертью не может ныне помочь мне восстановить забытые мною слова.

L'air transparent fait monter de la plaine...²² —

высоким тенором пел Василий Иванович, приехавший к завтраку, а пока что присевший у белого рояля, наполовину отраженного в палевом паркете вырской гостиной,— и ежели я, со своей рампеткой из зеленої кисеи, шел в эту минуту домой через парк (вдоль которого по ломаной линии молодого ельника только что пронесся ассирийский профиль дядиного кучера,— бархатный бюст, малиновые рукава,— и дядино каноТЬе), ужасно жалобные и переливчатые звуки:

un vol de tourterelles strie le ciel tendre,
Les chrysanthèmes se parent pour la Toussaint...²³ —

доплывали до меня в петлистых тенях дышащей в такт аллеи, и в ее конце открывался мне красный песок садовой площадки с углом зеленої усадьбы, из бокового окна которой, как из раны, лилась эта музыка, это пенье.

8

Заклинать и оживлять былое я научился Бог весть в какие ранние годы — еще тогда, когда, в сущности, никакого былого и не было. Эта страстная энергия памяти не лишена, мне кажется, патологической подоплеки — уж чересчур ярко воспроизводятся в наполненном солнцем мозгу разноцветные стекла веранды, и гонг, зовущий к завтраку, и то, что всегда тронешь, проходя,— пружинистое круглое место в голубом сукне карточного столика, которое при нажатии большого пальца с приятной спазмой мгновенно выгоняет тайный ящичек, где лежат красные и зеленые фишki и какой-то ключик, отделенный навеки от всеми забытого, может быть, и тогда уже не существовавшего замка. Полагаю, кроме того, что моя способность держать при себе прошлое — черта наследственная. Она была и у Рукавишниковых, и у Набоковых. Было одно место в лесу на одной из старых троп в Батово, и был там мосток через ручей, и было подгнившее бревно с края, и была точка на этом бревне, где пятого по старому календарю августа 1883 года вдруг села, раскрыла шелковисто-багряные с павлиньями глазками крылья и была поймана ловким немцем-губернером этих предыдущих набоковских мальчиков исключительно редко попадавшаяся в наших краях ванесса. Отец мой как-то даже горячился, когда мы с ним задерживались на этом мостике, и он перебирал и разыгрывал всю сцену с начала, как бабочка сидела, дыша, как ни он, ни братья не решались

²¹ «часовня из огнецветных листьев» (фр.).

²² Прозрачный воздух доносит с равнинами... (фр.).

²³ Голубина стая штирухует нежнее небо,

Хризантемы наряжаются к Празднику Всех Святых... (фр.).

ударить рампеткой и как в напряженной тишине немец ощупью выбирал у него из рук сачок, не сводя глаз с благородного насекомого.

На адиатической вилле, которую летом 1904 года мы делили с Петерсонами (я узнаю ее до сих пор по большой белой башне на видовых открытках Аббации), предаваясь мечтам во время сиесты, при спущенных шторах, в детской моей постели, я, бывало, поворачивался на живот,— и старательно, любовно, безнадежно, с художественным совершенством в подробностях (трудно совместимым с нелепо малым числом сознательных лет), пятилетний изгнаник, чертил пальцем на подушке дорогу вдоль высокого парка, лужу с сережками и мертвым жуком, зеленые столбы и навес подъезда, все ступени его и непременно почему-то блестящую между колеями драгоценную конскую подкову вроде той, что посчастливилось мне раз найти,— и при этом у меня разрывалась душа, как и сейчас разрывается. Объясните-ка вы, нынешние шуты-психологи, эту пронзительную репетицию ностальгии!

А вот еще помню. Мне лет восемь. Василий Иванович поднимает с кущетки в нашей классной книжку из серии *Bibliothéque Rose*. Вдруг, блаженно застонав, он находит в ней любимое им в детстве место: «*Sophie n'était pas jolie...*»²⁴; и через сорок лет я совершенно так же застонал, когда в чужой детской случайно набрел на ту же книжку о мальчиках и девочках, которые сто лет тому назад жили во Франции тою стилизованной *vie de château*²⁵, на которую *m-me de Ségrur, née Rastopchine*²⁶ добросовестно перекладывала свое детство в России,— почему и налаживалась, несмотря на вульгарную сентиментальность всех этих *«Les Malheurs de Sophie»*, *«Les Petites Filles Modèles»*, *«Les Vacances»*²⁷, тонкая связь с русским усадебным бытом. Но мое положение сложнее дядиного, ибо, когда читаю опять, как Софи отстригла себе брови или как ее мать в необыкновенном кринолине на приложенной картинке необыкновенно аппетитными манипуляциями вернула кукле зрение и потом с криком утонула во время кораблекрушения по пути в Америку, а кузен Поль под необитаемой пальмой высосал из ноги капитана яд змеи,— когда я опять читаю всю эту чепуху, я не только переживаю щемящее упоение, которое переживал дядя, но еще ложится на душу мое воспоминание о том, как он это переживал. Вижу нашу деревенскую классную, бирюзовые розы обоев, угол изразцовой печки, отворенное окно: оно отражается вместе с частью наружной водосточной трубы в овальном зеркале над канапе, где сидит дядя Вася, чуть ли не рыдая над растрепанной розовой книжкой. Ощущение предельной беззаботности, благоденствия, густого летнего тепла затопляет память и образует такую сверкающую действительность, что по сравнению с нею паркерово перо в моей руке и самая рука с глянцем на уже веснушчатой коже кажутся мне довольно аляповатым обманом. Зеркало насыщено июльским днем. Лиственная тень играет по белой с голубыми мельницами печке. Вле-

²⁴ «Соня не была хороша собой...» (фр.).

²⁵ усадебной жизнью (фр.).

²⁶ мадам де Сегюр, рожд. Растопчина (фр.).

²⁷ «Сониных проказ», «Примерных девочек», «Каникул» (фр.).

тевший шмель, как шар на резинке, ударяется во все лепные углы потолка и удачно отскакивает обратно в окно. Все так, как должно быть, ничто никогда не изменится, никто никогда не умрет.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

1

В обиходе таких семей, как наша, была давняя склонность ко всему английскому: это слово, кстати сказать, произносилось у нас с классическим ударением (на первом слоге), а бабушка М. Ф. Набокова говорила уже совсем по старинке: аглицки. Дегтярное лондонское мыло, черное как смоль в сухом виде, а в мокром — янтарное на свет, было скользким участником ежеутренних обливаний, для которых служили раскладные резиновые ванны — тоже из Англии. Дядька намыливал всего мальчика от ушей до пят при помощи особой оранжево-красной губки, а затем несколько раз обливал теплой водой из большого белого кувшина, вокруг которого обвивалась черная фаянсовая лоза. Этот мой резиновый tub я взял с собой в эмиграцию, и он, уже заплатанный, был мне сущим спасением в моих бесчисленных европейских пансионах: грязнее французской общей ванной нет на свете ничего, кроме немецкой.

За брекфастом яркий паточный сироп, golden syrup, наматывался блестящими кольцами на ложку, а оттуда сползал змеей на деревенским маслом намазанный русский черный хлеб. Зубы мы чистили лондонской пастой, вышедшей из тубочки плоскою лентой. Бесконечная череда удобных, добрых изделий, да всякие ладные вещи для разных игр, да снедь текли к нам из Английского магазина на Невском. Тут были и кексы, и нюхательные соли, и покерные карты, и какао, и в цветную полоску спортивные фланелевые пиджаки, и чудные скрипучие кожаные футбольы, и белые, как тальк, с девственным пушком, теннисные мячи в упаковке, достойной редкостных фруктов. Эдемский сад мне представлялся британской колонией.

Я научился читать по-английски раньше, чем по-русски; некоторая неприятная для непетербургского слуха — да и для меня самого, когда слышу себя на пластинке, — брезгливость произношения в разговорном русском языке сохранилась у меня и по сей день (помню, при первой встрече, в 1945-м, что ли, году, в Америке, биолог Добжанский наивно мне заметил: «А здорово, батенька, вы позабыли родную речь»). Первыми моими английскими друзьями были незамысловатые герои грамматики — коричневой книжки с синяком кляксы во всю обложку: Ben, Dan, Sam и Ned. Много было какой-то смутной возни с установлением их личности и местопребывания. «Who is Ben?», «He is Dan», «Sam is in bed», «Is Ned in bed?»²⁸ и тому подобное. Из-за того, что в начале составителю мешала необходимость держаться односложных слов, представление об этих лицах получилось у меня и сбивчивое и сухое, но затем воображение пришло на помощь, и я увидел их. Тупо-

²⁸ «Кто такой Бэн?», «Это — Дэн», «Сэм в постели», «В постели ли Нэд?» (англ.).

лицые, плоскоступные, замкнутые оболтусы, болезненно гордящиеся своими немногими орудиями (*Ben has an axe*), они вялой подводной походкой медленно шагают вдоль самого заднего задника сценической моей памяти; и вот перед дальноворкими моими глазами вырастают буквы грамматики, как безумная азбука на таблице у оптика.

Классная разрисована ломаными лучами солнца. Брат смиренно выслушивает отповедь англичанки. В запотевшей стеклянной банке под марлей несколько пестрых, с шипами, гусениц методично пасется на крапивных листьях, изредка выделяя интересные зеленые цилиндрики помета. Клетчатая kleenka на круглом столе пахнет kleем. Чернила пахнут черносливом. Виктория Артуровна пахнет Викторией Артуровной. Кроваво-красный спирт в столбике большого наружного градусника восхищенно показывает 24 Реомюра в тени. В окно видать поденщиц в платках, выпалывающих ползком, то на корточках, то на четвереньках, садовые дорожки: до рытья государственных каналов еще далеко. Иволги в зелени издают свой золотой, торопливый, четырехзвукный крик.

Вот прошел Ned, посредственно играя младшего садовника. На дальнейших страницах слова удлинялись, а к концу грамматики настоящий связный рассказец развивался взрослыми фразами в награду маленькому читателю. Меня сладко волновала мысль, что и я могу когда-нибудь дойти до такого блестательного совершенства. Эти чары не выдохлись,— и когда ныне мне попадается учебник, я первым делом заглядываю в конец — в будущность прилежного ученика.

2

Летние сумерки («сумерки» — какой это томный сиреневый звук!). Время действия: тающая точка посреди первого десятилетия нашего века. Место: пятьдесят девятый градус северной широты, считая от экватора, и сотый восточной долготы, считая от кончика моего пера. Июньскому дню требовалась вечность для угасания: небо, высокие цветы, неподвижные воды — все это как-то повисало в бесконечном замирании вечера, которое не разрешалось, а продлевалось еще и еще грустным мычанием коровы на далеком лугу или грустнейшим криком птицы за речным низовьем, с широкого туманного мохового болота, столь недосыгаемого и таинственного, что еще дети Рукавишниковы прозвали его: Америка.

Брата уже уложили; мать, в гостиной, читает мне английскую сказку перед сном. Подбираясь к страшному месту, где Тристана ждет за холмом неслыханная, может быть роковая, опасность, она замедляет чтение, многозначительно разделяя слова, и, прежде чем перевернуть страницу, таинственно кладет на нее маленькую белую руку с перстнем, украшенным алмазом и розовым рубином; в прозрачных гранях которых, кабы зорче тогда гляделось мне в них, я мог бы различить ряд комнат, людей, огни, дождь, площадь — целую эру эмигрантской жизни, которую предстояло прожить на деньги, вырученные за это кольцо.

Были книги о рыцарях, чьи ужасные — но удивительно свободные от инфекции — раны омывались молодыми дамами в гротах. Со скалы,

на средневековом ветру, юноша в трико и волнистоволосая дева смотрели вдаль на круглые Острсы Блаженства. Была одна пугавшая меня картинка с каким-то зеркалом, от которой я всегда так быстро отворачивался, что теперь не помню ее толком! Были нарочито трогательные, возвышенные аллегорические повести, скроенные малоизвестными англичанками для своих племянников и племянниц. Особенно мне нравилось, когда текст, прозаический или стихотворный, лишь комментировал картинки. Живо помню, например, приключения американского Голивога. Он представлял собою крупную, мужского пола куклу в малиновых панталонах и голубом фраке, с черным лицом, широкими губами из красной байки и двумя бельевыми пуговицами вместо глаз. Пять деревянных, суставчатых кукол составляли его скромный гарем. Из них две старшие смастерили себе платья из американского флага: Пегги взяла себе матронистые полоски, а Сарра Джейн — грациозные звезды, и тут я почувствовал романтический укол, ибо нежно-голубая ткань особенно женственно облекала ее нейтральный стан. Две другие куклы, близнецы, и пятая, крохотная Миджет, остались совершенно нагими и, следовательно, бесполыми.

В рождественскую ночь проснулись игрушки и так далее. Сарру Джейн испугал и, по-видимому, ушиб какой-то лохматый наглец, взвившийся на пружинах из своей разукрашенной коробки, и это было неприятно (бывало, в гостях нравившаяся мне какая-нибудь девочка, прищемив палец или шлепнувшись, вдруг превращалась в страшного багрового урода — ревущий рот, морщины). Затем им попался на встречу печальный восточный человечек, тосковавший в чужой Америке. Выйдя на улицу, наши друзья бросались снежками. В других сериях они совершали велосипедную поездку в страну бежевых каннибалов или катались на проглотившем аршин красном автомобиле тех времен (около 1906 года), причем Сарра Джейн была наряжена в изумрудную вуаль, окончательно меня покорившую. Однажды Голивог построил себе и четырем из своих кукол дирижабль из желтого шелка, а миниатюрному Миджету — собственный маленький воздушный шар. Как ни было увлекательно путешествие голивогской группы, меня волновало другое: со страстной завистью я смотрел на лилипутового аэронавта, ибо в гибельной черной бездне, среди снежинок и звезд, счастливец плыл совершенно отдельно, совершенно один.

3

Затем вижу: посреди дома, вырастая из длинного залоподобного помещения или внутренней галереи, сразу за вестибюлем, поднимается на второй этаж, широко и полого, чугунная лестница; паркетная площадка второго этажа, как палуба, обрамляет пролет с четырех сторон, а наверху — стеклянный свод и бледно-зеленое небо. Мать ведет меня к лестнице за руку, и я отстаю, пытаюсь ехать за нею, шаркая и скользя по плитам зала; смеясь, она подтягивает меня к балюстраде; тут я любил пролезать под ее заворот между первым и вторым столбиком, и с каждым летом плечам и хребту было теснее, больнее: ныне и призрак мой, пожалуй бы, не протиснулся.

Следующая часть вечернего обряда заключалась в том, чтобы подниматься по лестнице с закрытыми глазами: «Step» (ступенька), — приговаривала мать, медленно ведя меня вверх. «Step, step», — и в самодельной темноте лунатически сладко было поднимать и ставить ногу. Очарование становилось все более щекотным, ибо я не знал, не хотел знать, где кончается лестница. «Step», — говорила мать все тем же голосом, и, обманутый им, я лишний раз — высоко-высоко, чтоб не споткнуться, — поднимал ногу, и на мгновение захватывало дух от призрачной упругости отсутствующей ступеньки, от неожиданной глубины достигнутой площадки. Страшно подумать, как «растолковал» бы мрачный кретин-фрейдист эти тонкие детские вдохновения.

С удивительной систематичностью я умел оттягивать укладыванье. На верхней площадке, по четырем сторонам которой белелись двери многочисленных покоев, мать сдавала меня Виктории Артуровне или француженке. В доме было пять ванных комнат, а кроме того много старомодных комодообразных умывальников с педалями: помню, как, бывало, после рыданий, стыдясь красных глаз, я отыскивал такого старца в его темном углу и как, при нажатии на ножную педаль, слепой фонтанчик из крана нежно нащупывал мои опухшие веки и заложенный нос. Клоузы, как везде в Европе, были отдельно от ванн, и один из них, внизу, в служебном крыле дома, был до странности роскошен, но и угрюм, со своей дубовой отделкой, тронной ступенью и толстым пурпурово-бархатным шнуром: потяньши книзу за кисть, и сдержанно-музыкально журчало и переглатывало в глубинах; в готическое окно можно было видеть вечернюю звезду и слышать соловьев в старых неэндемичных тополях за домом; и там, в годы сирени и тумана, я сочинял стихи — и впоследствии перенес все сооружение в первую свою повесть, как через океан перевозится разобранный замок. Но в раннюю пору, о которой сейчас идет речь, мне отведено было значительно более скромное место на втором этаже, довольно случайно расположенное в нише коридорчика, между плетеной бельевой корзиной с крышкой (как вспомнился ее скрип!) и дверью в ванную при детской. Эту дверь я держал полуотворенной и играл ею, глядя сонными глазами на пар, поднимающийся из приготовленной ванны, на расписанное окно за ней с двумя рыцарями, состоящими из цветных прямоугольников, на долиннеевскую ночницу, ударявшуюся о жестяной рефлектор керосиновой лампы, желтый свет которой, сквозь пар, сказочно озарял флотилью в ванне: большой, приятный, плавучий градусник в деревянной оправе, с отсыревшей веревкой, продетой в глазок ручки, целлулоидового лебедя, лодочку, меня в ней с тристановой арфой. Наклоняясь с насиженной доски, я прилаживал лоб к удивительно удобной краевой грани двери, слегка двигая ее туда-сюда своей прижатой головой. Сонный ритм проникал меня всего; капал кран, барабанила бабочка; и впрок сопрягая звуковые узоры со зрительными, я упирался взглядом в линолеум и находил в ступенчатом рисунке его лабиринта щиты, и стяги, и зубчатые стены, и шлемы в профиль. Обращаюсь ко всем родителям и наставникам: никогда не говорите ребенку: «Поторопись!»

Последний этап моего путешествия наступал, когда, вымытый, вы-

тертый, я доплывал наконец до островка постели. С веранды, где шла без меня обольстительная жизнь, мать поднималась проститься со мной. Стоя коленями на подушке, в которой через полминуты предстояло потонуть моей звенящей от сонливости голове, я без мысли говорил английскую молитву для детей, предлагавшую — в хореических стихах с парными мужскими рифмами — кроткому Иисусу благословить малого дитятю. В соединении с православной иконкой в головах, на которой виднелся смуглый святой в прорези темной фольги, все это составляло довольно поэтическую смесь. Горела одна свеча, и передо мной, над иконкой, на зыбкой стене колыхалась тень камышовой ширмы, и то туманился, то летел ко мне акварельный вид — сказочный лес, через стройную глуши которого вилась таинственная тропинка; мальчик в сказке перенесся на такую нарисованную тропинку прямо с кровати и углубился в глушь на деревянном коньке; и, дробя молитву, присаживаясь на собственные икры, млея в припудренной, преддремной, блаженной своей мгле, я соображал, как перелезу с подушки в картину, в зачарованный лес — куда, кстати, в свое время я и попал.

4

Несоразмерно длинная череда английских бонн и гувернанток — одни бессильно ломая руки, другие загадочно улыбаясь — встречает меня при моем переходе через реку лет, словно я бодлеровский Дон-Жуан, весь в черном. Был я трудный, своенравный, до прекрасной крайности избалованный ребенок (балуйте детей побольше, господа, вы не знаете, что их ожидает!). Могу себе представить, как этим бедным воспитательницам иногда бывало скучно со мной, какие длинные письма писали они в тишине своих скучных комнат. Я теперь читаю курс по европейской литературе в американском университете трехстам студентам.

Мисс Рэчель, простую толстуху в переднике, помню только по английским бисквитам (в голубой бумагой оклеенной жестянной коробке, со вкусными, миндалевыми наверху, а пресно-сухаристыми — внизу), которыми она нас — трехлетнего и двухлетнего — кормила перед сном (а вот, кстати, слово «корм», «кормить» вызывает у меня во рту ощущение какой-то теплой сладкой кашицы — должно быть, совсем древнее, русское няньевское воспоминание). Я уже упоминал о довольно строгонькой мисс Клэйтон, Виктории Артуровне: бывало, разваливаюсь или горблюсь, а она тык меня костяшками руки в поясницу, или еще сама противно расправит и выгнет стан, показывая, значит, как надоно держаться. Была томная, черноволосая красавица с синими морскими глазами, мисс Норкот, однажды потерявшая на пляже в Ницце белую лайковую перчатку, которую я долго искал среди всякой пестрой гальки, да ракушек, да совершенно округленных и облагороженных морем бутылочных осколков; она оказалась лесбиянкой, и с ней расстались в Аббации. Была небольшая, кислая, малокровная и близорукая мисс Хант, чье недолгое у нас пребывание в Висбадене окончилось в день, когда мы, пятилетний и четырехлет-

ний, бежали из-под ее надзора и каким-то образом проникли в толпе туристов на пароход, который унес нас довольно далеко по Рейну, покуда нас не перехватили на одной из пристаней. Потом была опять Виктория Артуровна. Помню еще ужасную старуху, которая читала мне вслух повесть Марии Корелли «Могучий атом» о том, что случилось с хорошим мальчиком, из которого нехорошие родители хотели сделать безбожника. Были и другие. Их череда заходит за угол и пропадает, и воспитание мое переходит во французские и русские руки. Немногие часы, остававшиеся на английскую стихию, посвящались урокам с мистером Бэрнесом и мистером Куммингсом, которые не жили у нас, а приходили на дом в Петербурге, где у нас был на Морской (№ 47) трехэтажный, розового гранита, особняк с цветистой полоской мозаики над верхними окнами. После революции в него вселилось какое-то датское агентство, а существует ли он теперь — не знаю. Я там родился — в последней (если считать по направлению к площади, против номерного течения) комнате, на втором этаже — там, где был тайничок с материнскими драгоценностями: швейцар Устин лично повел к нему восставший народ через все комнаты в ноябре 1917 года.

5

Бэрнес был крупного сложения, светлоглазый шотландец с прямыми желтыми волосами и с лицом цвета сырой ветчины. По утрам он преподавал в какой-то школе, а на остальное время набирал больше частных уроков, чем день мог вместить. При переезде с одного конца города в другой он всецело зависел от несчастных, шлепающих рысцой ванек, и хорошо, если попадал на первый урок с опозданием в четверть часа, а на второй опаздывал вдвое; к четырехчасовому он добирался уже около половины шестого. Всё это отягощало ожидание; уроки его были прескучные, и я всегда надеялся, что хоть на этот раз сверхчеловеческое упорство запоздалого ездока не одолеет серой стены бурана, струящейся перед ним. Это было всего лишь своеобразное восьмилетнему возрасту чувство, возобновление которого едва ли предвидишь в зрелые лета; однако мне пришлось испытать нечто очень похожее спустя четверть века, когда в чужом, ненавистном Берлине, будучи сам вынужден преподавать английский язык, я, бывало, сидел у себя и ждал одного особенно упрямого и бездарного ученика, который с каменной неизбежностью наконец появлялся (и необыкновенно аккуратно складывал пальто на добротной подкладке этаким пакетом на стуле), несмотря на все баррикады, которые я мысленно строил поперек его длинного и трудного пути.

Самая темнота зимних сумерек, заволакивающих улицу, казалась мне побочным продуктом тех усилий, которые делал мистер Бэрнес, чтобы добраться до нас. Приходил камердинер, звучно включал электричество, неслышно опускал пышно-синие шторы, с перестуком колец затягивал цветные гардины и уходил. Крупное тиканье степенных стенных часов с медным маятником в нашей классной постепенно приобретало томительную интонацию. Короткие штаны жали в паху,

а черные рубчатые чулки шерстили под коленками, и к этому примешивался скромный позыв, который я ленился удовлетворить. Мне было — как выражалась няня сестер, следовавшая их англичанке в технических вопросах,— необходимо «набавáн» (number one, в отличие от более основательного «набатú», number two — да не посетует чопорный русский читатель на изобилие гигиенических подробностей в этой главе: без них нет детства). Нудно проходил целый час — Бэрнеса все не было. Брат уходил в комнату Mademoiselle, и она ему там читала уже знакомого мне «Генерала Дуракина». Покинув верхний, «детский», этаж, я лениво обнимал лаковую балюстраду и в мутном трансе, полуразинув рот, соскальзывал вдоль по накалявшимся перилам лестницы на второй этаж, где находились апартаменты родителей (интересно, клюнет ли тут с гнилым мозгом фрейдист). Обычно они в это время отсутствовали — мать много выезжала, отец был в редакции или на заседании,— и в сумеречном оцепенении его кабинета молодые мои чувства подвергались — не знаю, как выразиться,— телеологическому, что ли, «целеобусловленному» воздействию, как будто собравшиеся в полутьме знакомые предметы сознательно и дальновидно стремились создать тот определенный образ, который у меня теперь запечатлен в мозгу; эту тихую работу вещей надо мной я часто чувствовал в минуты пустых, неопределенных досугов. Часы на столе смотрели на меня всеми своими фосфорическими глазками. Там и сям, бликом на бронзе, бельмом на черном дереве, блеском на стекле фотографий, глянцем на полотне картин, отражался в потемках случайный луч, проникавший с улицы, где уже горели лунные глобусы газа. Тени, точно тени самой метели, ходили по потолку. Нервы заставляя «полыхнуть» сухой стук о мрамор столика — от падения лепестка пожилой хризантемы.

У будуара матери был навесный выступ, так называемый фонарь, откуда была видна Морская до самой Мариинской площади. Прижимая губы к тонкой узорчатой занавеске, я постепенно лакомился сквозь тюль холодом стекла. Всего через одно десятилетие, в начальные дни революции, я из этого фонаря наблюдал уличную перестрелку и впервые видел убитого человека: его несли, и свешивалась нога, и с этой ноги норовил кто-то из живых стащить сапог, а его грубо отгоняли; но сейчас нечего было наблюдать, кроме приглушенной улицы, лиловово-темной, несмотря на линию ярких лун, висящих над нею; вокруг ближней из них снежинки проплывали, едва вращаясь каким-то изящным, почти нарочито замедленным движением, показывая, как это делается и как это все просто. Из другого фонарного окна я заглядывался на более обильное падение освещенного снега, и тогда мой стеклянный выступ начинал подыматься, как воздушный шар. Экипажи проезжали редко; я переходил к третьему окну в фонаре, и вот извозчики сани останавливались прямо подо мной, и мелькала неприличная лисья шапка Бэрнеса.

Предупреждая его набег, я спешил вернуться в классную и уже оттуда слышал, как по длинному коридору приближаются энергичные шаги испытанного скорохода. Какой бы ни был мороз на дворе, его лоб весь блестел перловым потом. Урок состоял в том, что в продолже-

ние первой четверти он молча исправлял заданное в прошлый раз упражнение, вторую четверть посвящал диктовке, исправлял ее, а затем, лихорадочно сверив свои жилетные часы со стеными, принимался писать быстрым, округлым почерком, со страшной энергией нажимая на плюющееся перо, очередное задание. Перед самым его уходом я выпрашивал у него любимую пытку. Держа в своем похожем на окорок кулаке мою небольшую руку, он говорил лимерик (нечто вроде пятистрочной частушки весьма строгой формы) о lady from Russia, которая кричала, screamed, когда ее сдавливали, crushed her, и прелость была в том, что при повторении слова «screamed» Бэрнес все крепче и крепче сжимал мне руку, так что я никогда не выдерживал лимерика до конца. Вот перефразировка по-русски:

Есть странная дама из Krakova:
орет от пожатия всякого,
орет наперед
и все время орет —
но орет не всегда одинаково.

6

Тихий, сутулый, бородатый, со старомодными манерами, мистер Куммингс, носивший заместо демисезонного пальто зеленовато-бурый плащ-лоден, был когда-то домашним учителем рисования моей матери и казался мне восьмидесятилетним старцем, хотя на самом деле ему не было и сорока пяти в те годы — 1907—1908,— когда он приходил мне давать уроки перспективы (небрежным жестом смахивая оттерты гуттаперчи и необычайно элегантно держа карандаш, который волшебными штрихами стягивал в одну бесконечно отдаленную точку даль дивной, но почему-то совершенно безмебельной залы). В Россию он, кажется, попал в качестве иностранного корреспондента-иллюстратора лондонского Graphic'a. Говорили, что его личная жизнь омрачена несчастьями. Грусть и кротость скрадывали скучность его таланта. Маленькие его акварели — полевые пейзажи, вечерняя река и тому подобное, — приобретенные членами нашей семьи и домочадцами, прозябали по углам, оттесняемые все дальше и дальше, пока их совсем не скрывала холодная компания копенгагенских зверьков или новообрамленные снимки. После того что я научился тушевать бок куба и при стирании резинкой не превращать с треском бумагу в гармонику, симпатичный старец довольствовался тем, что просто писал при мне свои райски яркие виды. Впоследствии, с десяти лет и до пятнадцати, мне давали уроки другие художники: сперва известный Яремич, который заставлял меня посмелее и порасплюзуватнее, «широкими мазками», воспроизводить в красках какие-то тут же кое-как им слепленные из пластилина фигурки: а затем — знаменитый Добужинский, который учил меня находить соотношения между тонкими ветвями голого дерева, извлекая из этих соотношений важный, драгоценный узор, и который не только вспоминался мне в зрелые годы с благодарностью, когда приходилось детально рисовать, окунувшись в микроскоп, какуюнибудь еще никем не виданную структуру в органах бабочки, — но

внушил мне кое-какие правила равновесия и взаимной гармонии, быть может пригодившиеся мне и в литературном моем сочинительстве. С чисто же эмоциональной стороны, в смысле *веселости* красок, столь сродной детям, старый Куммингс пребывает у меня в красном углу памяти. Еще лучше моей матери умел он все это делать — с чудным проворством навертывал на мокрую черную кисточку несколько красок сряду, под аккомпанемент быстрого дребезжания белых эмалевых чашечек, в которых некоторые подушечки, красные, например, и желтые, были с глубокими выемками от частого пользования. Набрав разноцветного меда, кисточка переставала витать и тыкаться и двумя-тремя сочными обмазами пропитывала бристоль ровным слоем оранжевого неба, через которое, пока оно еще было чуть влажно, прокладывалось длинное акулье облако фиолетовой черноты: «And that's all, dearie,— и это всё, голубок мой, никакой мудрости тут нет».

Увы, однажды я попросил его нарисовать мне международный экспресс. Я наблюдал через его угловатое плечо за движениями его умелого карандаша, выводившего веерообразную снегочистку или скотоловку, и передние слишком нарядные фонари такого паровоза, который, пожалуй, мог быть куплен для Сибирской железной дороги после того, что он пересек Америку через Ютаху в шестидесятых годах. За этим паровиком последовало пять вагонов, которые меня сильно разочаровали своей простотой и бедностью. Покончив с ними, он вернулся к локомотиву, тщательно оттенил обильный дым, валивший из преувеличенной трубы, склонил набок голову и, полюбовавшись на свое произведение, протянул мне его, приятно смеясь. Я старался казаться очень довольным. Он забыл тендер.

Через четверть века мне довелось узнать две вещи: что покойный Бэрнес, который, кроме диктанта да глупой частушки, казалось, не знал ничего, был весьма ценимым *единбургскими* знатоками переводчиком русских стихов, тех стихов, которые уже в отрочестве стали моим алтарем, жизнью и безумием; и что мой кроткий Куммингс, которому я щедро давал в современники самых дремучих Рукавишниковых и дряхлого слугу Казимира с бакенбардами (того, который умел и любил откусывать хвосты новорожденным щенкам-фокстерьерам), счастливо женился *dans la force de l'age*²⁹, то есть в моих теперешних летах, на молодой эстонке около того времени, когда я женился сам (в 1925 году). Эти вести меня странно потрясли, как будто жизнь покусилась на мои творческие права, на мою печать и подпись, продлив свой извилистый ход за ту личную мою границу, которую Мнемозина провела столь изящно, с такой экономией средств.

ГЛАВА ПЯТАЯ

1

В холодной комнате, на руках у беллетриста умирает Мнемозина. Я не раз замечал, что, стоит мне подарить вымышленному герою живую мельочь из своего детства, и она уже начинает тускнеть и стираться в моей

²⁹ в расцвете сил (*фр.*).

памяти. Благополучно перенесенные в рассказ целые дома рассыпаются в душе совершенно беззвучно, как при взрыве в немом кинематографе. Так вкрапленный в начало «Защиты Лужина» образ моей французской гуввернантки погибает для меня в чуждой среде, навязанной сочинителем. Вот попытка спасти что еще осталось от этого образа.

Мне было шесть лет, брату пять, когда, в 1905 году, к нам приехала *Mademoiselle*. Показалась она мне огромной, и в самом деле она была очень толста. Вижу ее пышную прическу, с непризнанной сединой в темных волосах, три, — и только три, но какие! — морщины на суровом лбу, густые мужские брови над серыми — цвета ее же стальных часиков — глазами за стеклами пенсне в черной оправе; вижу ее толстые ноздри, зачаточные усы и ровную красноту большого лица, сгущающуюся, при наплыте гнева, до багровости в окрестностях третьего и обширнейшего ее подбородка, который так величественно располагается прямо на высоком скате ее многосборчатой блузы. Вот, готовясь читать нам, она придвигает к себе толчками, незаметно пробуя его прочность, верандовое кресло и приступает к акту усадки: ходит студень под нижнею челюстью, осмотрительно опускается чудовищный круп с тремя костяными пуговицами на боку, и напоследок она разом сдает всю свою колышимую массу камышовому сиденью, которое со страха разражается скрипом и треском.

Зима, среди которой она приехала к нам, была единственной прошедшей нами в деревне, и все было ново и весело — и валенки, и снеговики, и гигантские синие сосульки, свисающие с крыши красного амбара, и запах мороза и смолы, и гул печек в комнатах усадьбы, где в разных приятных занятиях тихо кончалось бурное царство мисс Робинсон. Год, как известно, был революционный, с бунтами, надеждами, городскими забастовками, и отец правильно рассчитал, что семье будет покойнее в Выре. Правда, в окрестных деревнях были, как и везде, и хулиганы, и пьяницы, — а в следующем году даже так случилось, что зимние озорники вломились в запертый дом и выкрали из киотов разные безделицы, — но в общем отношения с местными крестьянами были идиллические: как и всякий бескорыстный барин-либерал, мой отец делал великое количество добра в пределах рокового неравенства.

Я не поехал встречать ее на Сиверскую, железнодорожную остановку в девяти верстах от нас; но теперь высылаю туда призрачного представителя и через него вижу ясно, как она выходит из желтого вагона в сумеречную глуши небольшой оснеженной станции в глубине гипербoreйской страны и что она чувствует при этом. Ее русский словарь состоял из одного короткого слова — того же, ничем не обросшего, неразмененного слова, которое спустя десять лет она увезла обратно, в родную Лозанну. Это простое словечко, «где», превращалось у нее в «гиди-э», и, полниясь магическим смыслом, звучало граем потрявшаяся птицы, оно набирало столько вопросительной и заклинательной силы, что удовлетворяло всем ее нуждам. «Гиди-э, гиди-э?» — заливалась она, не только добиваясь определения места, но выражая бездну печали — одиночество, страх, бедность, болезнь и мольбу доставить ее в обетованный край, где ее наконец поймут и оценят.

Бесплотный представитель автора предлагает ей невидимую руку.

На ней пальто из поддельного котика и шляпа с птицей. По перрону извивается заметь. Куда идти? Изредка дверь ожидальни отворяется с дрожью и воем в тон стуже; оттуда вырывается светлый пар, почти столь же густой, как тот, который валит из трубы шумно ухающего павловоза. «Et je me tenais là abandonnée de tois, pareille à la Comtesse Karénine»³⁰, — красноречиво, если и не совсем точно, жаловалась она впоследствии. Но вот появляется настоящий спаситель, наш кучер Захар, рослый, выщербленный оспой человек, в черных усах, похожий на Петра Первого, чудак, любитель прибауток, одетый в нагольный овечий туалет, с рукавицами, засунутыми за красный кушак. Слыши, добросовестно скрипит под его валенками снег, пока он возится с багажом «мадмазели», с упряжью, позываящей в темноте, и с собственным носом, который, обходя сани, он мощно облегчает отечественным приемом зажима и стряха. Медленно, грузно, томимая мрачными предчувствиями, путешественница, держась за помощника, усаживается в утные сани. Вот она всунула кулаки в плюшевую муфту, вот чмокнул Захар, вот переступили, напрягая мышцы, вороные Зойка и Зинка, и вот Mademoiselle подалась всем корпусом назад — это дернулись сани, вырываясь из мира вещей и плоти, чтобы плавно потечь прочь, едва касаясь отрешенной от трения снежной стези.

Мимолетом, благодаря свету провожающего нас фонаря, чудовищно преувеличенная тень — с муфтой и в шляпе, похожей на лебедя, — несется в обгон по сугробу, затем обгоняется вторичной тенью, там, где перенимает санки другой, последний, фонарь, и всё исчезает: путешественницу поглощает то, что потом, рассказывая свои приключения, она называла с содроганьем «степью». И действительно, чем не la jeune Sibérienne?³¹ В неведомой мгле желтыми волчьими глазами кажутся переменчивые огни (сейчас мы проедем ветхую деревеньку в овраге, перед которой четко стоит — с 1840 года, что ли, — на слегка подгнившей, но крепкой доске: 116 душ, — хотя и тридцати не наберется). Бедная иностранка чувствует, что замерзает «до центра мозга» — ибо она взмывает на крыльях глупейших гипербол, когда не придерживается благоразумнейших общих мест. Порою она оглядывается, дабы удостовериться, что другие сани, с ее черным сундуком и шляпной картонкой, следуют сзади, не приближаясь и не отставая, как те компаниеские призраки кораблей, которые нам описали полярные мореходы.

Не забудем и полной луны. Вот она — легко и скоро скользит, зеркалистая, из-под каракулевых тучек, тронутых радужной рябью. Дивное светило наводит глазурь на голубые колеи дороги, где каждый сверкающий ком снега подчеркнут вспухнувшей тенью.

Совершенно прелестно, совершенно безлюдно. Но что же я-то тут делаю, посреди стереоскопической феерии? Как попал я сюда? Точно в дурном сне, удалились сани, оставив стоящего на страшном русском снегу моего двойника в американском пальто на викуньевом меху. Саней нет как нет; бубенчики их — лишь раковинный звон крови у меня в ушах. Домой — за спасительный океан! Однако двойник медлит. Все тихо, все околовано светлым диском над русской пустыней

³⁰ «И вот я стояла, всеми брошенная, совсем как графиня Каренина» (фр.).

³¹ юная сибирячка (фр.).

моего прошлого. Снег — настоящий на ощупь; и, когда наклоняюсь, чтобы набрать его в горсть, полвека жизни рассыпается морозной пылью у меня промеж пальцев.

2

В гостиную вплывает керосиновая лампа на белом лепном пьедестале. Она приближается — и вот опустилась. Рука Мнемозины, теперь в нитяной перчатке буфетчика Алексея, ставит ее, в совершенстве заправленную, с огнем, как ирис, посередине круглого стола. Ее венчает розовый абажур с воланами, кругосветно украшенный по шелку полу-прозрачными изображенными маркизовыми зимними играми. Дверь отворена в проходной кабинетик, и оттуда низвергается желтый паркет из овального зеркала над карельской березы диваном (всем этим я не раз меблировал детство героев). За столом мы рисуем. На шкатулке в простенке лоснистым хребтом горбится бледно-серая обезьяна из фарфора с бледно-серым фруктом в руке, необыкновенно похожая на А. Ф. Кони, поедающего яблоко. Подвески люстры изредка позвякивают, вероятно, оттого, что наверху передвигают что-то в будущей комнате *Mademoiselle*. Старая Робинсон, которой я не терплю (но всё лучше неизвестной француженки), отложив книгу, смотрит на часы: навалило много снегу, и вообще много чего ждет заместительнице.

Лиловый карандаш стал так короток от частого употребления, что его трудно держать. Синий проводит горизонт любого моря. Голубой ужасно ломок: его шатающийся молочный кончик подпирается выступом выщепки. Зеленый спиральным движением производит липу — или дым из домишко, где варят шпинат. Желтый безнадежно сломан. Оранжевый создает солнце, садящееся за морской горизонт. Красный малыш едва ли не короче лилового. И из всех карандашей только белый сохранял свою девственную длину — пока я не догадался, что этот альбинос, будто бы не оставляющий следа на бумаге, на самом деле орудие идеальное, ибо, водя им, можно было вообразить незримое запечатление настоящих, взрослых картин, без вмешательства собственной младенческой живописи.

Увы, эти карандаши я тоже раздарил вымыщенным детям. Как всё размазалось, как всё поблекло! Не помню, одолживал ли я кому Бокса Первого, любимца ключницы, пережившего свою Лулу-Иокасту. Он спит на расшитой подушке, в углу козетки. Седоватая морда с таксичьей бородавкой у рта заткнута под бедро, и время от времени его всё еще крутенькую грудную клетку раздувает глубокий вздох. Он так стар, так устлан изнутри сновидениями о запахах прошлого, что не шевелится, когда сани с путешественницей и сани с ее багажом подъезжают к дому и оживает гулкий, в чугунных узорах вестибюль. А как я надеялся, что она не доедет!

3

Совсем другой, не комнатный, пес, благодушный родонаучальник свирепой, но продажной семьи цепных дотов, выпускаемых только по ночам, сыграл приятную для него роль в происшествии, имевшем

место чуть ли не через день после прибытия Mademoiselle. Случилось так, что мы с братом Сергеем оказались на полном ее попечении. Мать неосторожно уехала на несколько дней в Петербург,— она была встревожена событиями того года, а кроме того ожидала четвертого ребенка и была очень нервна. Робинсон, вместо того, чтобы помочь Mademoiselle устряться, не то уехала тоже, не то была унаследована трехлетней моей сестрой — у нас мальчики и девочки воспитывались совершенно отдельно, как в старину. Чтобы показать наше недовольство, я предложил покладистому брату повторить висбаденскую эскападу, когда, шурша подошвами в ярких сухих листьях, мы так удачно бежали к пристани от мисс Хант и потом врали Бог знает что каким-то американкам на рейнском пароходике. Но теперь, вместо нарядной осени, кругом расстилалась снежная пустыня, и не помню, как я себе представлял переход из Выры на Сиверскую, где, по-видимому (как нахожу, порывшись заново у себя в памяти), я замышлял сесть с братом в петербургский поезд. Дело было на склоне дня, мы только что вернулись с первой нашей прогулки в обществе Mademoiselle и кипели негодованием и ненавистью. Бороться с малознакомым нам языком да еще быть лишенными всех привычных забав — с этим, как я объяснил брату, мы примириться не могли. Несмотря на солнце и безветрие, она заставила нас нацепить вещи, которых мы не носили и в пургу — какие-то страшные гетры и башлыки, мешавшие двигаться. Она не позволила нам ходить по пухлым, белым округлостям, заменившим летние клумбы, или подлезать под волшебное бремя елок и трясти их. *La bonne promenade*³², которую она нам обещала, свелась к чинному хождению взад и вперед по усыпанной песком снежной площадке сада. Вернувшись с прогулки, мы оставили ее пыхтеть и снимать ботики в парадной, а сами промчались через весь дом к противоположной веранде, откуда опять выбежали на двор, правильно рассчитав, что она будет долго искать нас за шкапами и диванами еще мало ей известных комнат. Упомянутый дог как раз примеривался к ближнему сугробу, но его желтые глаза нас заметили — и, радостно скача, он присоединился к нам.

Втроем пройдя по полуупротоптанной тропинке, мы вскоре свернули через пушистый снег к проезжей дороге и двинулись окружным путем по направлению так называемой Песчанки, откуда можно было пройти к станции, минуя село Рождествено. Меж тем солнце село, и очень скоро стало совсем темно. Братец стал жаловаться, что прдорог и устал, и я помог ему сесть верхом на дога, единственного члена экспедиции, который был по-прежнему весел. Брат в совершенном молчании все сваливался со своего неудобного коня, и, как в страшной сказке, лунный свет пересекался черными тенями придорожных гигантов-деревьев. Вдруг нас нагнал слуга с фонарем, посадил на дровни и повез домой. Mademoiselle стояла на крыльце и выкрикивала свое безумное «гиди-э». Я скользнул мимо нее. Брат расплакался и сдался. Дог, которого, между прочим, звали Турка, вернулся к своим прерванным исследованиям в отношении удобных и осведомительных сугробов.

³² Славная прогулка (фр.).

В детстве мы лучше видим руки людей, ибо они, эти знакомые руки, витают на уровне нашего роста; мадемузелины были неприятны мне каким-то лягушечьим лоском тугой кожи по тыльной стороне, усыпанной уже старческой горчицей. До нее никто никогда не трепал меня по щеке — это было отвратительное иностранное ощущение,— она же именно с этого и начала — в знак мгновенного расположения, что ли. Все ее ужимки, столь новые для меня после довольно однообразных и сдержаных жестов наших англичанок, ясно вспоминаются мне, как только воображаю ее руки: манера чинить карандаш к себе, к своей огромной бесплодной груди, облеченной в зеленую шерсть безрукавной кофточки поверх блузы; способ чесать в ухе — вдруг совала туда мизинец, и он как-то быстро-быстро там трепетал. И еще — обряд, соблюдавшийся при выдаче чистой тетрадки: со всеми легким астматическим пыхтением, округлив по-рыбы рот, она наотмашь раскрывала тетрадку, делала в ней поле, т. е. резко проводила ногтем большого пальца вертикальную черту и по ней сгибалась страницу, после чего тетрадка одним движением обращалась вокруг оси, чтобы поместиться передо мной. В любимую мою сердоликовую ставку она для меня всовывала новое перо и с сырьим присвистом слюнила его блестящее острие, прежде чем деликатно обмакнуть его в чернильницу. Ручка с еще чисто-серебряным, только наполовину посиневшим, пером наконец передавалась мне, и, наслаждаясь отчетливостью выводимых букв — особенно потому, что предыдущая тетрадь безнадежно кончилась всякими перечеркиваниями и безобразием,— я надписывал «*Dictée*», покамест *Mademoiselle* выискивала в учебнике что-нибудь потруднее да подлиннее.

5

Декорация между тем переменилась. Инейистое дерево и кубовый сугроб убраны безмолвным бутафором. Сад в бело-розово-фиолетовом цвету, солнце натягивает на руку ажурный чулок аллеи — всё цело, всё прелестно, молоко выпито, половина четвертого, *Mademoiselle* читает нам вслух на веранде, где циновки и плетеные кресла пахнут из-за жары вафлями и ванилью. Летний день, проходя сквозь ромбы и квадраты цветных стекол, ложится драгоценной росписью по беленым подоконникам и оживляет арлекиновыми заплатами сизый коленкор одного из длинных диванчиков, расположенных по бокам веранды. Вот место, вот время, когда *Mademoiselle* проявляет свою сокровенную суть.

Какое неимоверное количество томов и томиков она перечла нам на этой веранде, у этого круглого стола, покрытого клеенкой! Ее изящный голос тек да тек, никогда не ослабевая, без единой заминки; это была изумительная чтеческая машина, никак не зависящая от ее больных бронхов. Так мы прослушали и мадам де Сегюр, и Додэ, и длиннейшие, в распадающихся бумажных переплетах, романы Дюма, и Жюля Верна в роскошной брошюровке, и Виктора

Гюго, и еще много всякой всячины. Она сливалась со своим креслом столь же плотно, столь же органически, как, скажем, верхняя часть кентавра с нижней. Из неподвижной горы струился голос; только губы да самый маленький — но настоящий — из ее подбородков двигались. Ее чеховское пенсне окружало черными ободками два опущенных глаза с веками, очень похожими на этот подбородок-подковку. Иногда муха садилась ей на лоб, и тогда все три морщины разом подскакивали; но ничто другое не возмущало этого лица, которое, таясь, я так часто рисовал, ибо его простая симметрия гораздо сильнее притягивала мой карандаш, чем ваза с анютиними глазками, будто служившая мне моделью.

Мое внимание отвлекалось — и тут-то выполнял свою настоящую миссию ее на редкость чистый и ритмичный голос. Я смотрел на крутое летнее облако — и много лет спустя мог отчетливо воспроизвести перед глазами очерк этих сбитых сливок в летней синеве. Запомнились навек длинные сапоги, картуз и расстегнутая жилетка садовника, подпирающего зелеными шестиками пионы. Трясогузка пробегала несколько шажков по песку, останавливалась, будто что вспомнив, и семенила дальше. Откуда ни возьмись, бабочка-полигония, сев на верхнюю ступень веранды, расправляла плашмя на припеке свои вырезные бронзовые крылья, мгновенно захлопывала их, чтобы показать белую скобочку на аспидном исподе, вспыхивала опять — и была такова. Постояннейшим же источником очарования в часы чтения на вырской веранде были эти цветные стекла, эта прозрачная арлекинада! Сад и опушка парка, пропущенные сквозь их волшебную призму, исполнялись какой-то тишины и отрешенности. Посмотришь сквозь синий прямоугольник — и песок становился пеплом, траурные деревья плавали в тропическом небе. Сквозь зеленый параллелепипед зелен елок была зеленее лип. В желтом ромбе тени были как крепкий чай, а солнце как жидкий. В красном треугольнике темно-рубиновая листва густела над розовым мелом аллеи. Когда же после всех этих роскошеств обратишься, бывало, к одному из немногих квадратиков обыкновенного пресного стекла, с одиноким комаром или хромой карамарой в углу, это было так, будто берешь глоток воды, когда не хочется пить, и трезво белела скамья под знакомой хвоей; но из всех оконец в него-то мои герои-изгнанники мучительно жаждали посмотреть.

Mademoiselle так и не узнала никогда, как могущественны были чары ее ровно журчавшего голоса. В дальнейшем, по возвращении ее в Швейцарию, ее притязания на минувшее оказались совсем другими: «Ah, comme on s'aimait!»³³ — вздыхала она, вспоминая: «Как мы веселились вместе! А как, бывало, ты поверял мне щепотом свои детские горести» (Никогда!), «А уютный уголок в моей комнате, куда ты любил забиваться, так тебе было там тепло и покойно...».

Комната Mademoiselle, и в Выре и в Петербурге, была странным и даже жутким местом. В едком тумане этой теплицы, где глухо пахло, из-под прочих испарений, ржавчиной яблок, тускло светилась

³³ «Ах, как мы любили друг друга!» (фр.).

лампа, и необыкновенные предметы поблескивали на столиках: лаковая шкатулка с лакричными брусками, которые она распиливала перочинным ножом на черные кусочки — одно из любимых ее лакомств; самой Помоной украшенная округлая жестянка со слипшимися монпансье — другая ее страсть; толстый слоистый шар, слепленный из серебряных бумажек с тех несметных шоколадных плиток и кружков, которые она ела в постели; цветной снимок — швейцарское озеро и замок с крупицами перламутра вместо окон; несколько кабинетных фотографий — покойного племянника, его матери (расписавшейся «*Mater Dolorosa*³⁴), таинственного усача, Monsieur de Marante, которого семья заставила жениться на богатой вдове; глянцевировал же над ними портрет в усыпанной поддельными каменьями рамке: на нем была снята вполоборота стройная молодая брюнетка в плотно облегающем бюст платье, с твердой надеждой в глазах и грбнем в роскошной прическе. «Коса до пят и вот такой толщины», — говорила с пафосом Mademoiselle — ибо эта бодрая матовая барышня была когда-то ею, но тщетно недоверчивый глаз силился извлечь из ее теперешних стереоптических очертаний ими поглощенный тонкий силуэт. Нам с братом, увы, были даны как раз обратные откровения: то, чего не могли видеть взрослые, наблюдавшие лишь облаченную в непроницаемые доспехи, дневную Mademoiselle, видели мы, всезнающие дети, когда, бывало, тому или другому из нас приснился дурной сон, и, разбуженная звериным воплем, она появлялась из соседней комнаты, босая, простоволосая, подняв перед собою свечу, миганьем своим обращавшую в чешую золотые блестки на ее кроваво-красном капоте, который не прикрывал ее чудовищных колыханий: в эту минуту она казалась сущим воплощением Иезавели из «Athalie», дурацкой трагедии Расина, куски которой мы, конечно, должны были знать наизусть вместе со всяkim другим лжеклассическим бредом.

6

Всю жизнь я засыпал с величайшим трудом и отвращением. Люди, которые, отложив газету, мгновенно и как-то запросто начинают храпеть в поезде, мне столь же непонятны, как, скажем, люди, которые куда-то баллотируются, или вступают в масонские ложи, или вообще примыкают к каким-либо организациям, дабы в них энергично раствориться. Я знаю, что спать полезно, а вот не могу привыкнуть к этой измене рассудку, к этому еженочному, довольно анекдотическому разрыву со своим сознанием. В зрелые годы у меня это свелось приблизительно к чувству, которое испытываешь перед операцией с полной анестезией, но в детстве предстоявший сон казался мне палачом в маске, с топором в черном футляре и с добродушно-бессердечным помощником, которому беспомощный король прокусывает палец. Единственной опорой в темноте была щель слегка приоткрытой двери в соседнюю комнату, где горела одна лампочка из потолочной группы и куда Mademoiselle из своего дневного логова часов в десять

³⁴ «Скорбящая мать» (фр.).

приходила спать. Без этой вертикали кроткого света мне было бы не к чему прикрепиться в потемках, где кружилась и как бы таяла голова. Удивительно приятной перспективой была мне субботняя ночь, та единственная ночь в неделе, когда Mademoiselle, принадлежавшая к старой школе гигиены и видевшая в наших английских привычках лишь источник простуд, позволяла себе роскошь и риск ванны — чем продлевалось чуть ли не на час существование моей хрупкой полоски света. В петербургском доме ей отведенная ванная находилась в конце дважды загибающегося коридора, в каких-нибудь двадцати ударах сердца от моего изголовья, и, разрываясь между страхом, что ей вздумается сократить свое торжественное купанье, и завистью к мирному посапыванию брата за ширмой, я никогда не успевал воспользоваться лишним временем и заснуть, пока световая щель в темноте все еще оставалась залогом хоть точки моего я в бездне. И наконец они раздавались, эти неумолимые шаги: вот они тяжело приближаются по коридору и, достигнув последнего колена, заставляют невесело брякать какой-нибудь звонкий предметик, деливший у себя на полке мое бдение. Вот — вошла в соседнюю комнату. Происходит быстрый пересмотр и обмен световых ценностей: свечка у ее кровати скромно продолжает дело лампы, которая, со стуком взбежав на две ступени дивного добавочного света, тут же отменяет его и с таким же стуком тухнет. Моя вертикаль еще держится, но как она тускла и ветха, как неприятно содрогается всякий раз, что скрипит мадемузелина кровать... Наступает период упадка: она читает в постели Бурже. Слышу серебристый шелест оголяемого шоколада и чирканье фруктового ножа, разрезающего страницы новой *Revue des Deux Mondes*³⁵.

Я даже различаю знакомый зернистый присвист ее дыханья. И всё время, в ужасной тоске, я стараюсь приманить ненавистный сон, ибо знаю, что сейчас будет. Ежеминутно открываю глаза, чтобы проверить, там ли мой мутный луч. Рай — это место, где бессонный сосед читает бесконечную книгу при свете вечной свечи! И тут-то оно и случается: защелкивается футляр пенсне; шуркнув, журнал перемещается на ночной столик; Mademoiselle бурно дует; с первого раза подшибленное пламя выпрямляется вновь; при втором порыве свет гибнет. Бархатный убийственный мрак ничем не прерван, кроме моих частных беззвучных фейерверков, и я теряю направление, постель тихо вращается, в паническом трепете сажусь и всматриваюсь в темноту. Господи, ведь знают же люди, что я не могу уснуть без точки света,— что бред, сумасшествие, смерть и есть вот эта совершенно черная чернота! Но вот, постепенно принаршиваясь к ней, взгляд отделяет действительное мерцание от энтоптического шлака, и продолговатые бледноты, которые, казалось, плывут куда-то в беспамятстве, пристают к берегу и становятся слабо, но бесценно светящимися вогнутостями между складками гардин, за которыми бодрствуют уличные фонари.

Непонятными, ничтожными казались этиочные невзгоды в те восхитительные утра, когда не только ночь, но и зима проваливались

³⁵ «Ревю де де монд» — название французского толстого журнала.

в мокрую синь Невы, и веяло в лицо лирической шероховатой весной северной палеарктики, и можно было с полушибка на бобровом меху перейти на синее пальто с якорьками на медных пуговицах. Сияли крыши, гремел Исакий, и нигде я не видел такой фиолетовой слякоти, как на петербургских мостовых. *On se promenait en voiture* — или *en équibrage*³⁶, как говорилось по-старинке в русских семьях. Черносливового цвета плюш величественно холмится на груди у *Mademoiselle*, расположившейся на заднем сиденье открытого ланда с моим торжествующим и заплаканным братцем, которого я, сидя напротив, иногда напоследок лягаю под общим пледом — мы еще дома повздорили; впрочем, обижал я его не часто, но и дружбы между нами не было никакой — настолько, что у нас не было даже имен друг для друга — Володя, Сережа, — и со странным чувством думается мне, что я мог бы подробно описать всю свою юность, ни разу о нем не упомянув. Ланда катится, машисто бегут лошади, свежо шея, и немного поташнивает; и, надуваясь ветром высоко над улицей, на канатах, поперек Морской, у Арки, три полосы полупрозрачных полотнищ — бледно-красная, бледно-голубая и просто линялая — усилиями солнца и беглых теней лишаются случайной связи с каким-то неприсутственным днем, но зато теперь, в столице памяти, несомненно празднуют они пестроту того весеннего дня, стук копыт по торцам, начало кори, распущенное невским ветром крыло птицы, с одним красным глазком, на шляпе у *Mademoiselle*.

7

Она провела с нами около восьми лет, и уроки становились всё реже, а характер ее всё хуже. Незыблемой скалой кажется она по сравнению с приливом и отливом английских гувернанток и русских воспитателей, перебывавших у нас; со всеми ними она была в дурных отношениях. Предпосылки ее обид отличались тончайшими оттенками. Летом редко садилось меньше двенадцати человек за стол, а в дни именин и рождений бывало по крайней мере втрое больше, и вопрос, где ее посадят, был для нее жгуч. Из Батова в тарантасах и шарабанах приезжали Набоковы, Лярские, Рауши, из Рождествена — Василий Иванович, держась за кушак кучера (что отец мой считал неприличным), из Дружноселья — Витгенштейны, из Митюшина — Пыхачевы; были тут и разные отцовские и материнские дальние родственники, компаньонки, управляющие, гувернантки и гувернеры. Рождественский доктор прикатывал на своих легоньких дрожжах, запряженных крутошней цирковой понькой с гривкой, как зубная щетка; и в прохладном вестибюле звучно сморкался и всё это упаковывал в платок, и проверял в высоких зеркалах свой белый шелковый галстук милый Василий Мартынович, принесший, в зависимости от сезона, любимые цветы матери или отца — зеленоватые влажные ландыши в туго скрипучем букете или крупный пук словно синенных васильков, перевязанных алоей лентой. Интересно, кто заметит, что этот параграф построен на интонациях Флобера.

³⁶ Ездили кататься в коляске — или в экипаже (*фр.*).

Особенно зорко следила Mademoiselle за одной из беднейших набоковских родственниц, Надеждой Ильиничной Назимовой, старой девой, кочевавшей всякое лето из одного поместья в другое и слывшей художницей,— она выжигала цветные русские тройки по дереву и переписывалась славянской вязью с сочленами какого-то черносотенного союза. Жидковолосая, с челкой, с громадным, земляничного цвета, лицом, которое было столь склонено набок, вследствие застуженного в печальной молодости флюса, что речь ее, как бы рупорная, казалась направленной в собственное левое ухо, она была уродлива и очень толста, фигурой походя на снежную бабу, т. е. была менее хорошо распределена, чем Mademoiselle.

Когда, бывало, эти две дамы плыли одна навстречу другой по широкой аллее парка и безмолвно разминались — Надежда Ильинична с лопухом, пришпиленным ради свежести к волосам, а Mademoiselle под муаровым зонтиком, обе в кушачках и объемистых юбках, которые ритмично со стороны на сторону мели подолами по песку, они очень напоминали те два пузатых электрических вагона, которые так однообразно и невозмутимо расходились посреди ледяной пустыни Невы. «*Je suis une sylphide à côté de ce monstre*³⁷», — презрительно говорила Mademoiselle. Когда же той удавалось пересесть ее за праздничным столом, губы Mademoiselle от обиды складывались в дрожащую ироническую усмешку, и если при этом какой-нибудь простодушный ее визави отзывался любезной улыбкой, то она быстро мотала головой, будто выходя из глубокой задумчивости, и произносила: «*Excusez-moi, je souriais à mes tristes pensées*³⁸».

Природа постаралась ее наградить всем тем, что обостряет уязвимость. К концу ее пребывания у нас она стала глухнуть. За столом, случалось, мы с братом замечали, как две крупные слезы сползают по ее большим щекам. «Ничего, не обращайте внимания», — говорила она и продолжала есть, пока слезы не затопляли ее; тогда, с ужасным всхлипом, она вставала и чуть ли не ощупью выбиралась из столовой. Добивались очень постепенно пустячной причины ее горя: она, например, все более убеждалась, что если общий разговор временами и велся по-французски, то делалось это поговору ради дьявольской забавы — не давать ей направлять и украшать беседу. Бедняжка так торопилась влиться в понятную ей речь до возвращения разговора в русский хаос, что неизменно попадала впросак. «А как поживает ваш парламент, Monsieur Nabokoff?» — бодро выпаливала она, хотя уж много лет прошло со времени Первой Думы. А не то ей покажется, что разговор коснулся музыки, и многозначительно она преподносila: «Помилуйте, и в тишине есть мелодия! Однажды, в дикой альпийской долине, я — вы не поверите, но это факт — слышала тишину». Невольным следствием таких реплик — особливо когда слабеющий слух подводил ее и она отвечала на мнимый вопрос — была мучительная пауза, а вовсе не вспышка блестящей, легкой causerie³⁹.

³⁷ Я сильфиды по сравнению с этим чудовищем (фр.).

³⁸ Простите, я улыбалась своим грустным мыслям (фр.).

³⁹ беседы (фр.).

Между тем сам по себе ее французский язык был так обаятелен! Неужто нельзя было забыть поверхность ее образования, плоскость суждений, озлобленность нрава, когда эта жемчужная речь журчала и переливалась, столь же лишенная истинной мысли и поэзии, как стишки ее любимцев Ламартина и Коппе! Настоящей французской литературе я приобщился не через нее, а через рано открытые мною книги в отцовской библиотеке; тем не менее хочу подчеркнуть, сколь многим обязан я ей, сколь возводительно и плодотворно действовали на меня прозрачные звуки ее языка, подобного сверканью тех кристаллических солей, кои прописываются для очищения крови. Потому-то так грустно думать теперь, как страдала она, зная, что никем не ценится словесный голос, исходящий из ее слоновьего тела. Она зажилась у нас, все надеясь, что чудом превратится в некую *grande précieuse*⁴⁰, царящую в золоченой гостиной и блеском ума чарующую поэтов, вельмож, путешественников.

Она бы продолжала ждать и надеяться, если бы не Ленский, розовый, полнолицый студент с рыжеватой бородкой, голубой обритой головою и добрыми близорукими глазами, который в десятых годах жил у нас в качестве репетитора. У него было несколько предшественников, ни одного из них *Mademoiselle* не любила, но про Ленского говорила, что это *le comble*⁴¹ — дальше иди некуда. Он был довольно неотесанный одессит с чистыми идеалами и, преклоняясь перед моим отцом, откровенно осуждал кое-что в нашем обиходе, как, например, лакеев в синих ливреях, реакционных приживалок, «снобичность» некоторых забав и, увы, французский язык, неуместный, по его мнению, в доме у демократа. *Mademoiselle*, которой за все время их совместного прозябания ни разу не пришло в голову, что Ленский не знает ни слова по-французски, решила, что если он на все ей отвечает мычанием (чудак, за неимением других прикрас, старался по крайней мере его германизировать); то делает он это с намерением ее грубо оскорбить и осадить при всех — ведь никто за нее не заступится. Это были незабываемые сцены, и постоянное повторение их не делало чести уму ни той, ни другой стороне. Сладчайшим тоном, но уже со зловещим подрагиванием губ *Mademoiselle* просила соседа передать ей хлеб, а сосед кивал, бурча что-то вроде «их денке zo аух», и спокойно продолжал хлебать суп; при этом в Надежде Ильиничне, не жаловавшей *Mademoiselle* за сожжение Москвы, а Ленского за распятие Христа, злорадство боролось с сочувствием. Наконец, преувеличенно широким движением, *Mademoiselle* ныряла через тарелку Ленского по направлению к корзинке с французской булкой и втягивалась обратно через него же, крикнув «*Merci, Monsieur!*» с такой сокрушительной интонацией, что пушком поросшие уши Ленского становились алее герани. «Скот! Наглец! Нигилист!» — всхлипывая, жаловалась она моему брату, смирно сидевшему на ее постели, которая давно переехала из смежной с нами комнаты в ее собственную.

⁴⁰ хозяйку светского салона (*фр.*).

⁴¹ переходит все границы (*фр.*).

В нашем петербургском особняке был небольшой водяной лифт, который всползал по бархатистому канату на третий этаж вдоль медленно спускавшихся подтеков и трещин на какой-то внутренней желтоватой стене, странно разнящейся от гранита фронтона, но очень похожей на другой, тоже наш, дом со стороны двора, где были службы и сдавались, кажется, какие-то конторы, судя по зеленым стеклянным колпакам ламп, горящих среди ватной темноты в тех скучных потусторонних окнах. Оскорбительно намекая на ее тяжесть, этот лифт часто бастовал, и Mademoiselle бывала принуждена, со многими астматическими паузами, подниматься по лестнице. К ней навстречу по этим ступеням тяжеловато, но резво сбегал, бывало, Ленский, и в течение двух зим она доказывала, что, проходя, он непременно толкнет ее, пихнет, събьет с ног, растопчет ее безжизненное тело. Все чаще и чаще уходила она из-за стола,— и какой-нибудь пломбир или профитроль, о котором она бы пожалела, дипломатично посыпался ей вдогонку. Из глубины как бы все удалявшейся комнаты своей она писала матери письма на шестнадцати страницах, и мать спешила наверх и заставала ее трагически укладывающей чемодан в присутствии удрученного Сережи. И однажды ей дали доуложиться.

8

Она переехала куда-то, мы еще иногда виделись, а в самом начале первой мировой войны она вернулась в Швейцарию. Советская революция переместила нас на полтора года в Крым, а оттуда мы навсегда уехали за границу. Я учился в Англии, в Кембриджском университете, и как-то во время зимних каникул, в 1921 году, что ли, поехал с товарищем в Швейцарию на лыжный спорт — и на обратном пути, в Лозанне, посетил Mademoiselle.

Еще потолстевшая, совсем поседевшая и почти совершенно глухая, она встретила меня бурными изъявлениями любви. Ей, должно быть, было лет семьдесят — возраст свой она всегда скрывала с какой-то страстью и могла бы сказать: «*l'age est mon seul trésor*»⁴². Изображение Шильонского замка заменила аляповатая тройка, выженная на крышке лаковой шкатулки. Она с таким же жаром вспоминала свою жизнь в России, как если бы это была ее утерянная родина. И то сказать: в Лозанне проживала целая колония таких бывших гувернанток, ушедших на покой; они жались друг к дружке и ревниво щеголяли воспоминаниями о прошлом, образуя странно ностальгический островок среди чуждой стихии: «Аргентинцы изнасиловали всех наших молодых девушек», — уверяла все еще красноречивая Mademoiselle. Лучшим ее другом была теперь сухая старушка, похожая на мумию подростка, бывшая гувернантка моей матери, Mlle Golay, которая тоже вернулась в Швейцарию. Причем они не разговаривали друг с другом, пока обе жили у нас. Человек всегда чувствует себя дома в своем прошлом, чем отчасти и объясняется как бы посмертная любовь этих бедных созданий к далекой и, между нами говоря,

⁴² «Годы — мое единственное сокровище» (*фр.*).

довольно страшной стране, которой они по-настоящему не знали и в которой никакого счастья не нашли.

Так как беседа мучительно осложнялась глухотой Mademoiselle, мы с приятелем решили принести ей в тот же день аппарат, на который ей явно не хватало средств. Сначала она неправильно приладила сложный инструмент; что, впрочем, не помешало ей сразу же поднять на меня влажный взгляд, посыльно изображавший удивление и восторг. Она клялась, что слышит даже мой шепот. Между тем этого не могло быть, ибо, озадаченный и огорченный поведением машинки, я не сказал ни слова, а если бы заговорил, то предложил бы ей поблагодарить моего товарища, заплатившего за аппарат. Быть может, она слышала то самое молчание, к которому прислушивалась когда-то в уединенной долине: тогда она себя обманывала, теперь меня.

Прежде чем покинуть Лозанну, я вышел пройтись вокруг озера холодным, туманным вечером. В одном месте особенно унылый фонарь разбавлял мглу, и, проходя через его тускую ауру, туман обращался в бисер дождя. Вспомнилось: «Il pleut toujours en Suisse»⁴³ — утверждение, которое некогда доводило Mademoiselle до слез. «Mais non,— говорила она,— il fait si beau, si beau»⁴⁴, — и от обиды не могла определить точнее это «beau». За парапетом шла по воде крупная рябь, почти волна — когда-то поблизости чуть не погибла в бурю Жюли де Вольмар. Вглядываясь в тяжело плещущую воду, я различил что-то большое и белое. Это был старый, жирный, неуклюжий, похожий на удода лебедь. Он пытался забраться в причаленную шлюпку, но ничего у него не получалось. Беспомощное хлопанье его крыльев, скользкий звук его тела о борт, колыханье и чмоканье шлюпки, kleenчатый блеск черной волны под лучом фонаря — всё это показалось мне насыщенным странной значительностью, как бывает во сне, когда видишь, что кто-то прижимает перст к губам, а затем указывает в сторону, но не успеваешь досмотреть и в ужасе просыпаешься.

Память об этой пасмурной прогулке вскоре заслонилась другими впечатлениями; но когда года два спустя я узнал о смерти сироты-старухи (удалось ли мне вызволить ее из моих сочинений, не знаю), первое, что мне представилось, было не ее подбородки, и не ее полнота, и даже не музыка ее французской речи, а именно тот бедный, поздний, тройственный образ: лодка, лебедь, волна.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

1

Проснешься, бывало, летним утром и сразу, в отроческом трепете, смотришь: какова щель между ставнями? Ежели водянисто-бледна, то валившись назад на подушки: не стоит и растворять ставни, за которыми заранее видишь всю досадную картину — свинцовое небо,

⁴³ «В Швейцарии всегда идет дождь» (*фр.*).

⁴⁴ Да нет же, погода там такая хорошая (*фр.*).

рябую лужу, потемневший гравий, коричневую кашицу опавших соцветий под кустами сирени и прежде временно блеклый древесный листок, плоско прилипший к мокрой садовой скамейке! Но если ставни щурились от ослепительно-росистого сверканья, я тотчас принуждал окно выдать свое сокровище: одним махом комната раскальвалаась на свет и на тень. Пропитанная солнцем, березовая листва поражала взгляд прозрачностью, которая бывает у светло-зеленого винограда; еловая же хвоя бархатно выделялась на синеве, и эта синева была такой насыщенности, какою мне довелось опять насладиться только много лет спустя в горно-боровой зоне Колорадо.

Сыздетства утренний блеск в окне говорил мне одно, и только одно: есть солнце — будут и бабочки. Началось все это, когда мне шел седьмой год, и началось с довольно банального случая. На персидской сирени у веранды флигеля я увидел первого своего махаона — до сих пор аоническое обаяние этих голых гласных наполняет меня каким-то восторженным гулом! Великолепное бледно-желтое животное в черных и синих ступенчатых пятнах, с попугаечным глазком над каждой из парных черно-палевых шпор, свешивалось с наклоненной малиново-лиловой грозди и, упиваясь ею, все время судорожно хлопало своими громадными крыльями. Я стонал от желанья. Один из слуг — тот самый Устин, который был швейцаром у нас в Петербурге, но почему-то оказался тем летом в Выре,— ловко поймал бабочку в форменную фуражку, и эта фуражка с добычей была заперта в платяной шкаф, где пленнице полагалось за ночь умереть от нафтилина; но когда на другое утро Mademoiselle отперла шкаф, чтобы взять что-то, бабочка, с мощным шорохом, вылетела ей в лицо, затем устремилась к растворенному окну, и вот, ныряя и рея, уже стала превращаться в золотую точку, и всё продолжала лететь на восток, над тайгой и тундрой, на Вологду, Вятку и Пермь, а там — за суровый Урал, через Якутск и Верхнеколымск, а из Верхнеколымска — где она потеряла одну шпору — к прекрасному острову Св. Лаврентия, и через Аляску на Доусон, и на юг, вдоль Скалистых Гор, где, наконец, после сорокалетней погони, я настиг ее и ударам рампетки «сбрил» с ярко-желтого одуванчика, вместе с одуванчиком, в ярко-зеленой роще, вместе с рощей, высоко над Боулдером.

Бывало, влетев в комнату, пускалась

цветная бабочка в шелку,
порхать, шуршать и трепетать
по голубому потолку —

цитирую по памяти изумительные стихи Бунина (единственного русского поэта, кроме Фета, «видевшего» бабочек). Бывало, большая глянцевито-красная гусеница переходила тропинку и оглядывалась на меня. А вскоре после шкапной истории, я нашел крупного замшевого, с цепкими лапками, сфинкса на окне парадного крыльца, и моя мать усыпила его при помощи эфира. Впоследствии я применял разные другие средства, но и теперь малейшее дуновение, отдающее тем первым снадобьем, сразу распахивает дверь прошлого; уже будучи взрослым юношей и находясь под эфиром во время операции аппен-

дицита, я в наркотическом сне увидел себя ребенком с неестественно гладким пробором, в слишком нарядной матроске, напряженноправлявшим под руководством чересчур растроганной матери свежий экземпляр глазчатого шелкопряда. Образ был подчеркнуто ярок, как на коммерческой картинке, приложенной к полезной забаве, хотя ничего особенно забавного не было в том, что расправлен и распорот был, собственно, я, которому снилось все это — промокшая, пропитанная ледяным эфиром вата, темнеющая от него, похожая на ушастую беличью мордочку, голова шелкопряда с перистыми сяжками, и последнее содроганье его расчлененного тела, и тугой хряск булавки, правильно проникающей в мохнатую спинку, и осторожное втыканье довольно увесистого существа в пробковую щель расправилки, и симметричное расположение под приколотыми полосками чертежной бумаги широких, плотных, густо опыленных крыльев, с матовыми оконцами и волнистой росписью орхидейных оттенков.

2

В петербургском доме была у отца большая библиотека; постепенно туда переходило кое-что и из вырского, где стены внутренней галереи, посреди которой поднималась лестница, были уставлены полками с книгами; добавочные залежи находились в одном из чуланов верхнего палубообразного этажа. Мне было лет восемь, когда, роясь там, среди Живописного обозрения и Graphic'a в мраморных переплетах, гербариев с плоскими фиалками и шелковистыми эдельвейсами, альбомов, из которых со стуком выпадали твердые, с золотым обрезом, фотографии неизвестных людей в орденах, и всяких пыльных разрозненных игр вроде хальмы, я нашел чудные книги, приобретенные бабушкой Рукавишниковой в те дни, когда ее детям давали частные уроки зоолог Шимкевич и другие знаменитости. Помню такие курьезы, как исполинские бурые фолианты монументального произведения Альбертуса Себа «Locupletissimi Rerum Naturalium Thesauri Accurata Descriptio...»⁴⁵ (Амстердам, около 1750 года): на их желтоватых, грубо шершавых страницах гравированы были и змеи, и раковины, и странно-голенастые бабочки, и в стеклянной банке за шею подвешенный зародыш эфиопского младенца женского пола; часами я разглядывал гидру на таблице СII — ее семь драконовых голов на семи длинных шеях, толстое тело с пупырками и витой хвост. Из волшебного чулана я в объятиях нес к себе вниз, в угловой кабинетик, бесценные тома: тут были и прелестные изображения суринамских насекомых в труде Марии Сибиллы Мериан (1647—1717), и «Die Schmetterlinge» (Эрланген, 1777) гениального Эспера, и Буадювалевы «Icones Historiques de Lepidoptères ou Peu Connus» (Париж, 1832 года и позже). Еще сильнее волновали меня работы, относящиеся ко второй половине девятнадцатого столетия — «Natural History of British Butterflies and Moths» Ньюмена, «Die Gross-Schmetterlinge Europas» Гофмана⁴⁶,

⁴⁵ Заглавие ученого труда по зоологии (лат.).

⁴⁶ Заглавия трудов по чешуекрылым (фр., англ., нем.).

замечательные *Memoires* вел [икого] кн [язя] Николая Михайловича и его сотрудников, посвященные русско-азиатским бабочкам, с несравненно-прекрасными иллюстрациями кисти Кавригина, Рыбакова, Ланга, и классический труд великого американца Скуддера, *Butterflies of New England*.

Уже отроком я зачитывался энтомологическими журналами, особенно английскими, которые тогда были лучшими в мире. То было время, когда систематика подвергалась коренным сдвигам. До того, с середины прошлого столетия, энтомология в Европе приобрела великую простоту и точность, ставши хорошо поставленным делом, которым заведовали немцы: верховный жрец, знаменитый Штаудингер, стоял во главе крупнейшей из фирм, торговавших насекомыми, и в его интересах было не усложнять определений бабочек; даже и поныне, через полвека после его смерти, среднеевропейской, а также и русской лепидоптерологии (почти несуществующей, впрочем, при Советах) далеко не удалось сбросить гипнотическое иго его авторитета. Штаудингер был еще жив, когда его школа начала терять свое научное значение в мире. Между тем как он и его приверженцы консервативно держались видовых и родовых названий, освященных долголетним употреблением, и классифицировали бабочек лишь по признакам, доступным голому глазу любителя, англо-американские работники вводили номенклатурные перемены, вытекавшие из строгого применения закона приоритета, и перемены таксономические, основанные на кропотливом изучении сложных органов под микроскопом. Немцы силились не замечать новых течений и продолжали снижать энтомологию едва ли не до уровня филателии. Забота штаудингерьянцев о «рядовом собирателе», которого не следует заставлять препарировать, до смешного похожа на то, как современные издатели романов пестуют «рядового читателя», которого не следует заставлять думать.

Обозначилась в ту пору и другая, более общая, перемена. Викториансское и штаудингеровское понятие о виде как о продукте эволюции, подаваемом природой коллекционеру на квадратном подносе, т. е. как о чем-то замкнутом и сплошном по составу, с кое-какими лишь внешними разновидностями (полярными, островными, горными), сменилось новым понятием о многообразном, текучем, тающем по краям виде, органически состоящем из географических рас (подвидов); иначе говоря, вид включил разновидности. Этими более гибкими приемами классификации лучше выражалась эволюционная сторона дела, и одновременно с этим биологические исследования чешуекрылых были усовершенствованы до неслыханной тонкости — и заводили в те тупики природы, где нам мерещится основная тайна ее. В этом смысле загадка «мимикрии» всегда пленяла меня — и тут английские и русские ученые делят лавры — я чуть не написал «ларвы» — поровну. Как объяснить, что замечательная гусеница буковой ночницы, наделенной во взрослой стадии странными членистыми придатками и другими особенностями, маскирует свою гусеничную сущность тем, что принимается «играть» двойную роль какого-то длинноногого, корчащегося насекомого и муравья, будто бы поедающего его,— комбинация, рассчитанная на отвод птичьего глаза? Как объяснить, что южноамериканская бабочка-притворщица, в точности похожая и внеш-

ностью и окраской на местную синюю осу, подражает ей и в том, что ходит по-осиному, нервно шевеля сяжками? Таких бытовых актеров среди бабочек немало. А что вы скажете о художественной совести природы, когда, не довольствуясь тем, что из сложенной бабочки каллимы она делает удивительное подобие сухого листа с жилками и стебельком, она, кроме того, на этом «осеннем» крыле прибавляет сверхштатное воспроизведение тех дырочек, которые проедают именно в таких листьях жучьи личинки? Мне впоследствии привелось высказать, что «естественный подбор» в грубом смысле Дарвина не может служить объяснением постоянно встречающегося математически невероятного совпадения хотя бы только трех факторов подражания в одном существе — формы, окраски и поведения (то есть костюма, грима и мимики); с другой же стороны, и «борьба за существование» ни при чем, так как подчас защитная уловка доведена до такой точки художественной изощренности, которая находится далеко за пределами того, что способен оценить мозг гипотетического врага — птицы, что ли, или ящерицы: обманывать, значит, некого, кроме разве начидающего натуралиста. Таким образом, мальчиком я уже находил в природе то сложное и «бесполезное», которого я позже искал в другом восхитительном обмане — в искусстве.

3

В отношении множества человеческих чувств — надежды, мешающей заснуть, роскошного ее исполнения, несмотря на снег в тени, тревог тщеславия и тишины достигнутой цели — полвека моих приключений с бабочками, и ловитвенных, и лабораторных, стоит у меня на почетнейшем месте. Если в качестве сочинителя единственную отраду нахожу в личных молниях и посильном их запечатлении, а славой не занимаюсь, то — признаюсь — вскипаю непонятным волнением, когда перебираю в уме свои энтомологические открытия — изнурительные труды, изменения, внесенные мной в систематику, революцию с казнями коллег в светлом кругу микроскопа, образ и вибрацию во мне всех редкостных бабочек, которых я сам и поймал и описал, и свою отныне бессмертную фамилию за придуманным мною латинским названием или ее же, но с малой буквы и с окончанием на латинское «*i*» в обозначении бабочек, названных в мою честь. И как бы на горизонте этой гордыни, сияют у меня в памяти все те необыкновенные, баснословные места — северные трясины, южные степи, горы в четырнадцать тысяч футов вышины, — которые с кисейным сачком в руке я исходил и стройным ребенком в соломенной шляпе, и молодым человеком на веревочных подошвах, и пятидесятилетним толстяком в трусиках.

Я рано понял то, что так хорошо поняла мать в отношении подберезовиков: что в таких случаях надо быть одному. В течение всего моего детства и отрочества я маниакально боялся спутников, и, конечно, ничто в мире, кроме дождя, не могло помешать моей утренней пятычасовой прогулке. Мать предупреждала гувернеров и гувернанток, что утро принадлежит мне всецело, — и они благоразумно держались в стороне. По этому поводу вспоминаю: был у меня в Тенищевском училище трогательный товарищ, мешковатый заика с длинным блед-

ным лицом; другие дразнили его, а мне, с моими крепкими кулаками, нравилось защищать его из спортивного щегольства. Как-то летом, поздно вечером, весь в пыли, с разбитым коленом, он неожиданно явился к нам в Выру. Его отец недавно умер, семья была разорена, и за недостатком денег на железнодорожный билет, бедняжка проделал верст сорок на велосипеде. На другое утро, встав спозаранку, я сделал все возможное, чтоб покинуть дом без его ведома. Отчаянно тихо я собрал свои охотничьи принадлежности — сачок, зеленую жестянку на ремне, конвертики и коробочки для поимок — и через окно классной выбрался наружу. Углубившись в чащу, я почувствовал, что спасен, но все продолжал быстро шагать, с дрожью в икрах, со слезами в глазах, и сквозь жгучую призму стыда представлял себе кроткого гостя с его большим бледным носом и траурным галстуком, валащающимся в саду, треплющим от нечего делать пыхтящих от зноя собак и старающимся как-нибудь оправдать мое жестокое отсутствие.

Кажется, только родители понимали мою безумную, угрююю страсть. Бывало, мой столь невозмутимый отец вдруг с искаженным лицом врывался ко мне в комнату с веранды, хватал сачок и кидался обратно в сад, чтоб минут десять спустя вернуться с продолжительным стоном на «А-а-а-а» — упустил дивного эльальбума! Потому ли, что «чистая наука» только томит или смешит интеллигентного обывателя, но, исключив родителей, вспоминаю по отношению к моим бабочкам только непонимание, раздражение и глум. Если даже такой записной любитель природы, как Аксаков, мог в бездарнейшем «Собирании бабочек» (приложение к студенческим «Воспоминаниям») уснastить свою благонамеренную болтовню всякими нелепицами (не знаю, был ли он более сведущ насчет всяких славянофильских чирков и язей), можно себе представить темноту рядового образованного человека в этом вопросе. До сих пор вспоминаю с беспомощной досадой, как наш сельский врач, милейший доктор Розанов, которому, как человеку ученому, я, доверчивый десятилетний мальчик, оставил на попечение драгоценные синеватые куколки редкой совки (боялся взять их с собой в заграничное путешествие), преспокойно написал мне в Биарриц, что они отлично выпутились,— но на самом деле их, вероятно, пожрала мышь, ибо по моем возвращении обманщик торжественно преподнес мне каких-то потертых крапивниц, почему-то обложенных ватой, которых крестьянские ребята, верно, наловили ему в его же саду. Мне рано открылось и другое обстоятельство, а именно то, что энтомолог, смиренно занимающийся своим делом, непременно возбуждает что-то странное в своих близких. Бывало, собираемся на пикник с кузенами, и я, памятуя, что рядом с избранной рощей есть замечательный заповедничек, тихо, никому не мешая, но уже чувствуя, что действую домашним на нервы, заранее несу свои скромные принадлежности в шарабан, отдающий дегтем, или красный автомобиль, отдающий чаэм (так пах бензин в 1910 году), и какая-нибудь пожилая родственница или чужая гувернантка с усами говорит: «*Vraiment, Volo-dya*⁴⁷», оставил бы сетку дома хоть этот раз. Ведь будете играть в

⁴⁷ Право, Володя... (фр.).

каш-каш и казаки-разбойники — при чем тут бабочки? Неужели тебе нравится портить всем удовольствие?» У придорожного знака «Nach Bodenlaube» в Бад Киссингене (Бавария), только что я догнал вышедших на прогулку отца и монументального, бледнолицего Муромцева, недавнего председателя Первой Думы, как он обратил ко мне свою мраморную голову и важно проговорил: «Смотри, мальчик, только не гоняться за бабочками: это портит ритм прогулки». На тесной от душистых кустов тропинке, спускавшейся из Гаспры (Крым) к морю, ранней весной 1918 года какой-то большевицкий часовой, колченогий дурень с серьгой в одном ухе, хотел меня арестовать за то, что, дескать, сигнализирую сачком английским судам. Летом 1929 года, когда я собирал бабочек в Восточных Пиренеях, не было, кажется, случая, чтобы, шагая с сачком через деревушку, я оглянулся и не увидел каменеющих по мере моего прохождения поселян, точно я был Содом, а они — жены Лота. Еще через десять лет, в Приморских Альпах, я однажды заметил, как за мной извилисто-тихо, по-земному, зыблятся трава, и, пойдя назад, наступил на жирного полевого жандарма, который полз на животе, уверенный, что я беззаконно ловлю певчих птиц для продажи. Америка выказала, пожалуй, еще больше нездорового интереса по отношению ко мне. Угрюмые фермеры молчаливым жестом указывали мне на надпись «Удить воспрещается»; из проносившихся по шоссе автомобилей доносился изdevательский рев; сонные собаки, равнодушные к зловоннейшему бродяге, настораживались и, рыча, шли на меня; малютки надрывно спрашивали — что же это такое? — у своих озадаченных мам; старые опытные туристы хотели знать, не рыболов ли я, собирающий кузнецов для насадки; журнал «Лайф» звонил, спрашивая, не хочу ли я быть снятым в красках преследующим популярных бабочек, с популярным объяснительным текстом; и однажды, в пустыне, где-то в Новой Мексике, среди высоких юкк в лилейном цвету и натуженных кактусов, за мною шла в продолжение двух-трех миль огромная вороная кобыла.

4

Когда, отряхнув погоню, я сворачивал с рыхлой красной дороги в парк, чтобы добраться через него до полей и леса, оживление и блеск молодого лета были как трепет сочувствия ко мне со стороны единодушной природы. Тут весной, высоко и слабо, между елок вился шелковисто-лазоревый аргиол; едва заметный, темный, на зеленой подкладке, хвостатик посещал цветущую чернику; мчалась через прогалины белая, с оранжевыми кончиками, аврора; теперь же, в июне, тихо порхала, где тень и трава, вдоль троп и у мостииков, черная со ржавчиной эребия, появлявшаяся с таинственным постоянством только каждый второй год; и тут же грелась, раскрывшись, на листьях молодых осинок, красно-черная, испещренная мелом, евфидриада. Вот сложилась полупрозрачная, в графитных жилках, боярышница, присевшая на расцветший от одного взгляда памяти придорожный репейник, и с него же снялись, стрельнув вверх один за другим,

два самца червонной лицены: выше и выше поднимаются они, дерясь, а затем победитель возвращается на свой цветок, где уже боярышнику сменила резвая, рыжая, изумрудно-перламутровая с исподу, аглай. Все это были обычные насекомые, но всякую минуту могло перебить стук сердца появление чего-нибудь давно мечтавшегося, необычайного. Помню, как однажды я заметил на веточке у калитки парка имевшуюся у меня только в купленных экземплярах, драгоценнейшую, темно-коричневую, украшенную тонким белым зигзагом с изнанки, тэклу. Ее наблюдали в губернии лишь раз до меня, и вообще это была прелестная редкость. Я замер. Ударить по ней мне было не с руки,— она сидела у самого моего правого плеча, и я с бесконечными предосторожностями стал переводить сачок за спиной из одной руки в другую; тэкла между тем ждала с хитреньким выражением крыльев: они были плотно сжаты, и нижние, снабженные усикоподобными хвостиками, терлись друг о друга дружку дискообразным движением — быть может, производя стрепет, слишком высокий по тону, чтобы человек мог его уловить. Наконец, с размаху, я свистнул по ней рампеткой. Мы все слыхали стон теннисиста, когда, на краю победы промазав легкий мяч, он в ужасной муке вытягивается на цыпочках, откинув голову и приложив ладонь ко лбу. Мы все видели лицо знаменитого гроссмейстера, вдруг подставившего ферзя местному любителю, Борису Исидоровичу Шаху. Но никто не присутствовал при том, как я вытряхивал веточку из сетки и глядел на дырку в кисее.

5

Утреннюю неудачу иногда возмещала ловля в сумерки или ночью. На крайней дорожке парка лиловизна сирени, перед которой я стоял в ожидании бражников, переходила в рыхлую пепельность по мере медленного угасания дня, и молоком разливался туман по полям, и молодая луна цвета Ю висела в акварельном небе цвета В. Во многих садах этак стаивал я впоследствии — в Афинах, Антибах, Атланте, Лос-Анджелесе,— но никогда, никогда не изнывал я от таких колдовских чувств, как тогда, перед сереющей сиренью. И вот начиналось: ровное гудение переходило от цветка к цветку, и мерцающим призраком повисал розово-оливковый сфинкс, как колибри, перед венчиком, который он с воздуха пытал длинным хоботком. Его красавица-гусеница, миниатюрная кобра с очковыми пятнами на передних сегментах, которые она умела забавно раздувать, водилась в августе в сырых местах, на высоких розовых цветах царского чая (эпилобия). Так всякое время дня и года отличалось другим очарованием. В угрюмые ночи, поздней осенью, под ледяным дождем, я ловил ночниц на приманку, вымазав стволы в саду душистой смесью патоки, пива и рома: среди мокрого черного мрака мой фонарь театрально освещал липко-блестящие трещины в дубовой коре, где, по три-четыре на каждый ствол, сказочно прекрасные катокалы впитывали пьяную сладость коры, нервно подняв, как дневные бабочки, крупные полураскрытые крылья и показывая невероятный, с черной перевязью и белой оборкой, ярко-малиновый атлас задних из-под

лишаеватых передних. «Катокала адультера!» — восторженно орал я по направлению освещенного окна и, спотыкаясь, бежал в дом показывать отцу улов.

Парк, отделявший усадьбу от полей и лесов, был дик и дремуч в приречной своей части. Туда захаживали лоси, что менее сердило нашего сторожа Ивана, степенного широкоплечего старика с окладистой бородой, чем беззаконное внедрение случайных дачников. Были и прямые тропинки, и вьющиеся, и все это переплеталось, как в лабиринте. Еще в первые годы изгнания моя мать и я могли без труда обойти весь парк, и старую и новую его часть, по памяти, но теперь замечаю, что Мнемозина начинает плутать и растерянно останавливается в тумане, где там и сям, как на старинных картах, виднеются дымчатые, таинственные пробелы: терра инкогнита.

В некошеных полях за парком воздух переливался бабочками среди чудного обилья ромашек, скабиоз, колокольчиков — все это скользит у меня сейчас цветным маревом перед глазами, как те пролетающие мимо широких окон вагона-ресторана бесконечно обольстительные луга, которых никогда не обследовать пленному пассажиру. А за полями поднимался, как темная стена, лес. Часами блуждая по трущобе, я любил выискивать мелких пядениц, принадлежащих к роду «евпитеций»: эти нежныеочные существа, размером с ноготок, днем плотно прикладываются к древесной коре, распластав бледные крыльца и приподняв крохотное брюшко. Видов их описано огромное количество, и если природа подтешевала этих бабочек под сероватые поверхности (точно обособив, впрочем, узорную ливрею каждого вида), зато их гусенички, живущие на низких растениях, окрашены в яркие тона цветочных лепестков. Медленно кружась в солнечной зелени, осматривая со всех сторон ствол за стволом,— о, как я мечтал в те годы открыть новый вид евпитеции! Мое пестрое воображение, как бы заискивая передо мной и потворствуя ребенку (а на самом деле, где-то за сценой, в заговорщицкой тиши, тщательно готовя распределение событий моего далекого будущего), преподносило мне призрачные выписки мелким шрифтом: «Единственный известный экземпляр Eupithecia petropolitana был взят русским школьником (или „молодым собирателем...“, или, еще лучше, „автором...“) в Царскосельском уезде Петербургской губернии, в 1912., 1913., 1914 годах».

А затем наступило одно беспокойное июньское утро, когда я почувствовал потребность хорошенъко исследовать обширную болотистую местность, простиравшуюся за Оредежью. Пройдя пять-шесть верст вдоль реки, я наконец перешел ее по узкому упруго-дощатому мостику, откуда видать было избенки по ближнему песчаному скату, черемуху, желтые бревна на зеленом бережку и красочные пятна одежд, скинутых деревенскими девчонками, которые, блестя и белея в мелкой воде, кричали, окунались, плескались, столь же мало заботясь о прохожем, как если бы он был моим нынешним бесплотным послом.

На противоположном низком берегу, где начиналась арктика, густое сбоще мелких бабочек, состоявшее главным образом из самцов голубянок, пьянировало на черной грязи, жирно растоптанной и унавоженной коровами, и весь лазоревый рой поднялся на воздух из-под моих ног и, померцав, снова опустился по моем прохождении.

Продравшись сквозь растрепанный, низкорослый сосняк, я достиг моего мохового, седого и рыжеватого рая. Не успел слух уловить характерный зуд двухкрылых, кочковое чмоканье, приглушенный кряк дупеля, как я был уже окружен теми полярными бабочками, которых знал только по ученым описаниям, ибо всякие шметтерлингсбухи с картинками для среднеевропейских простаков, если вообще упоминали эти северные редкости, не считали нужным их иллюстрировать, «потому что рядовой любитель вряд ли когда-либо на них набредет», — фраза, которая меня бесит и в пошлых ботанических атласах в применении к редким растениям. Теперь же я видел их не только воочию, не только вживе, а в естественном гармоническом взаимоотношении с их родимой средой. Мне кажется, что это острое и чем-то приятно волнующее ощущение экологического единства, столь хорошо знакомое современным натуралистам, есть новое или, по крайней мере, по-новому осознанное чувство и что только тут, по этой линии, парадоксально намечается возможность связать в синтез идею личности и идею общности.

Над кустиками голубики, как-то через зрение вяжущей рот матовостью своих дремных ягод; над карим блеском до боли холодных мочажек, куда вдруг погружалась нога; над мхом и валежником; над дивными, одиноко праздничными, стоящими, как свечи, ночными фиалками темно-коричневая с лиловизной болория скользила низким полетом, проносилась гонобоблевая желтянка, отороченная черным и розовым, порхали между корявыми сосенками великолепные смуглые сатириды-энейсы. Едва замечая уколы комаров, которые, как паюсной икрой, вдруг покрывали голую по локоть руку, я становился на одно колено, чтобы с мычанием сладчайшего удовлетворения сжать двумя пальцами сквозь кисею сачка трепетную грудку синей, с серебряными точками с исподу, диковинки и любовно высвободить сверкающего маленьского мертвеца из складок сетки, — даже на нее садились обезумевшие от моей близости комары. Мои пальцы пахли бабочками — ванилью, лимоном, мускусом, — ноги промокли до пахов, губы запеклись, колотилось сердце, но я все шел да шел, держа наготове сачки. Наконец я добрался до конца болота. Подъем за ним весь пламенил местными цветами — лупином, аквилией, пенстемоном; лилия-марипоза сияла под пондерозовой сосной; вдали и в вышине, над границей древесной растительности, округлые тени летних облаков бежали по тускло-зеленым горным лугам, а за ними вздымался скалисто-серый, в пятнах снега, Longs Peak⁴⁸.

Далеко я забрел, однако былое у меня всё под боком, и частица грядущего тоже со мной. В цветущих зарослях аризонских каньонов, высоко на рудоносных склонах Сан-Мигуэльских гор, на озерах Тे-

⁴⁸ Название горной вершины в Колорадо.

тонского уорчища и во многих других суровых и прекрасных местностях, где все тропы и яруги мне знакомы, каждое лето летают и будут летать мною открытые, мною описанные виды и подвиды. «Именем моим названа» — нет, не река, а бабочка в Аляске, другая в Бразилии, третья в Ютахе, где я взял ее высоко в горах, на окне лыжной гостиницы — та *Eupithecia nabokovi McDunnough*, которая таинственно завершает тематическую серию, начавшуюся в петербургском лесу. Признаюсь, я не верю в мимолетность времени — легкого, плавного, персидского времени! Этот волшебный ковер я научился так складывать, чтобы один узор приходился на другой. Споткнется или нет дорогой посетитель, это его дело. И высшее для меня наслаждение — вне дьявольского времени, но очень даже внутри божественного пространства — это наудачу выбранный пейзаж, все равно в какой полосе, тундровой, или полынной, или даже среди остатков какого-нибудь старого сосняка у железной дороги между мертвыми в этом контексте Олбани и Скенектеди (там у меня летает один из любимейших моих крестников, мой голубой *samuelis*) — словом, любой уголок земли, где я могу быть в обществе бабочек и кормовых их растений. Вот это — блаженство, и за блаженством этим есть нечто не совсем поддающееся определению. Это вроде какой-то мгновенной физической пустоты, куда устремляется, чтобы заполнить ее, все, что я люблю в мире. Это вроде мгновенного трепета умиления и благодарности, обращенной, как говорится в американских официальных рекомендациях, *to whom it may concern* — не знаю, к кому и к чему, — гениальному ли контрапункту человеческой судьбы или благосклонным духам, балующим земного счастливца.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

1

В железнодорожном агентстве на Невском была выставлена двухаршинная модель коричневого спального вагона: международные составы того времени красились под дубовую обшивку, и эта дивная, тяжелая с виду вещь с медной надписью над окнами далеко превосходила в подробном правдоподобии все мои, хорошие, но явно жестяные и обобщенные, заводные поезда. Мать пробовала ее купить; увы, бельгиец-служащий был неумолим. Во время утренней прогулки с гувернанткой или воспитателем всегда останавливался и молился на нее. Иметь в таком портативном виде, держать в руках так запросто вагон, который почти каждую осень нас уносил за границу, почти равнялось тому, чтобы быть и машинистом, и пассажиром, и цветными огнями, и пролетающей станцией с неподвижными фигурами, и отшлифованными до шелковистости рельсами, и туннелем в горах. Снаружи сквозь витрину модель была доступнее влюбленному взгляду, чем изнутри магазина, где мешали какие-то плакаты. Можно было разглядеть в проёмах ее окон голубую обивку диванчиков, красноватую шлифовку и тисненную кожу внутренних стенок, вделанные в них зеркала, тюльпанообразные лампочки... Широкие окна чередовались

с более узкими, то одиночными, то парными. В некоторых отде-
лениях уже были сделаны на ночь постели.

Тогдашний величественный Норд-экспресс (после первой мировой войны он уже был не тот), состоявший исключительно из таких международных вагонов, ходил только два раза в неделю и доставлял пассажиров из Петербурга в Париж; я сказал бы, прямо в Париж, если бы не нужно было — о, не пересаживаться, а быть переводи-
мым — в совершенно такой же коричневый состав на русско-немецкой границе (Вержболово — Эйдкунен), где бокастую русскую колею заменял узкий европейский путь, а березовые дрова — уголь.

В памяти я могу распутать по крайней мере пять таких путеше-
ствий в Париж, с Ривьерой или Биаррицем в конце. Выбираю относящееся к 1909-му году. Мне кажется, что сестры — шестилет-
няя Ольга и трехлетняя Елена — остались в Петербурге под надзором нянь и теток. (По словам Елены, я не прав: они тоже участвовали в поездке.) Отец в дорожной кепке и замшевых перчатках сидит с книгой в купе, которое он делит с Максом, тогдашним нашим гувернером. Брат Сергей и я отделены от них проходной туалетной каморкой. Следующее купе, смежное с нашим, занимает мать со своей пожилой горничной Наташей и расстроенной таксой. Нечетный Осип, отцовский камердинер (лет через десять педантично расстре-
янный большевиками за то, что угнал к себе наши велосипеды, а не передал их народу), делит четвертое купе с посторонним — фран-
цузским актером Фероди.

В апреле того года Пиро дошел до Северного полюса. В мае
пел в Париже Шаляпин. В июне, озабоченный слухами о новых
выводках цеппелинов, американский военный министр объявил, что Соединенные Штаты намерены создать воздушный флот. В июле
Блерио на своем монопланчике перелетел из Кале в Дувр (сделав лишний крюк — заблудился). Теперь был август. Ели и болота северо-западной России прошли своим чередом и на другой день, при некотором увеличении скорости, сменились немецкими соснами и вереском. На подъемном столике мать играет со мной в дурачки. Хотя день еще не начал тускнеть, наши карты, стакан, соли в лежачем флакончике и — на другом оптическом плане — замки чемодана демонстративно отражаются в оконном стекле. Через поля и леса, и в неожиданных оврагах, и посреди убегающих домишек, призрачные, частично представленные картижники играют на никелевые и стеклянные ставки, ровно скользящие по ландшафту. Любопытно, что сейчас, в 1953-м году, в Орегоне, где пишу это, вижу в зеркале отельного номера эти же самые кнопки того же именно, теперь пятидесятилетнего, материнского несессера из свиной кожи с монограммой, который мать брала еще в свадебное путешествие и который через полвека вожу с собой: то, что из прежних вещей уцелели только дорожные, и логично и символично.

«Не будет ли? Ты ведь устал», — говорит мать, а затем задумывается, медленно тася карты. Дверь в коридор отворена, и в коридорное окно видны телеграфные проволоки — шесть тонких черных проволок на бледном небе, — которые поднимаются все выше,

с трогательным упорством, вот-вот готовы достигнуть верхнего края оконницы, но всякий раз их сбивает одним махом злостный столб, и приходится им опять подниматься с самого низа.

Когда на таких поездках Норд-экспрессу случалось замедлить ход, чтобы величаво влечиться через большой немецкий город, где он чуть не задевал фронтоны домов, я испытывал двойкое наслаждение, которое тупик конечного вокзала мне доставить не мог. Я видел, как целый город, со своими игрушечными трамваями, зелеными липами на круглых земляных подставках и кирзовыми стенами с лупящимися старыми рекламами мебельщиков и перевозчиков, вплывает к нам в купе, поднимается в простеночных зеркалах и до краев наполняет коридорные окна. Это соприкосновение между экспрессом и городом еще давало мне повод вообразить себя вон тем пешеходом и за него пьянеть от вида длинных кари романтических вагонов, с черными промежуточными гармониками и огненными на низком солнце металлическими буквами («*Compagnie Internationale...*»), неторопливо переходящих через будничную улицу и постепенно заворачивающих, со вспышкой всех окон, за последний ряд домов.

Иногда эта переслойка зрительных впечатлений мстила мне. За длинной чередой качких узких голубых коридоров, уклоняющихся от ног, нарядные столики в широкооконном вагоне-ресторане, с белыми конусами сложенных салфеток и аквамариновыми бутылками минеральной воды, сначала представлялись прохладным и стойким убежищем, где все прельщало — и пропеллер вентилятора на потолке, и деревянные болванки швейцарского шоколада в лиловых обертках у приборов, и даже запах и зыбь глазчатого бульона в толстогубых чашках; но по мере того как дело подходило к роковому последнему блюду, все назойливее становилось ощущение, что прозрачный вагон со всем содержимым, включая потных кренящихся эквилибрристов-лакеев (как ужасно напирал один на стол, пропуская сзади другого!), неряшливо и неосторожно вправлен в ландшафт, причем этот ландшафт находится сам в сложном многообразном движении,— дневная луна бойко едет рядом, бровень с тарелкой, плавным веером раскрываются луга вдалеке, ближние же деревья несутся навстречу на невидимых качелях и вдруг совершенно другим аллюром ускакивают, превращаясь в зеленых кенгуру, между тем как параллельная колея слидается с другой, а затем с нашей, и за ней насыпь с мигающей травой томительно поднимается, поднимается — пока вся эта мешанина скоростей не заставляла молодого наблюдателя вернуть только что поглощенный им омлет с горячим вареньем.

Только ночью оправдывалось вполне волшебное название: «*Compagnie Internationale des Wagons-Lits et des Grandds Express Européens*⁴⁹». С моей постели под койкой брата (спал ли он? был ли он там вообще?) я наблюдал в полутираке отделения, как опасливо шли и никуда не доходили предметы, части предметов, тени, части теней. Деревянное что-то потрескивало и скрипало. У двери в уборную

⁴⁹ Международное общество спальных вагонов и европейских экспрессов дальнего следования.

покачивалась на крюке одежда или тень одежды, и в такт ей моталась кисть синего двухстворчатого колпака, снизу закрывавшего потолочную лампу, которая бодрствовала за лазурью материи. Эти пошатывания и переборы, эти нерешительные подступы и втягивания было трудно совместить в воображении с диким полетом ночи вовне, которая — я знал — мчалась там стремглав, в длинных искрах.

Я и дома старался, бывало, заманить сон тем, что пускал сознание по привычному кругу, видя себя, скажем, водителем поезда, а тут и вправду мчало меня. Реалия, замыкаясь дремотой, блаженно обтекала сознание по мере того, как я все так хорошо устраивал,— и беззаботные пассажиры (забота была моя, забота меня дурманила) гордились властителем-машинистом, покуривали, обменивались знающими улыбками, ложились, дремали, а поездная прислуга (которую мне, собственно, некуда было деть) после них пировала в вагоне-ресторане; сам же я, в гоночных очках и весь в масле и саже, высовывался из паровозной будки, стараясь высмотреть сквозь ветер рубиновую точку в черной дали. Но затем, уже во сне, я видел совсем-совсем другое — цветной стеклянный шарик, закатившийся под рояль, или игрушечный паровозик, упавший набок и все продолжавший работать бодро жужжащими колесами.

Течение моего сна иногда прерывалось тем, что ход поезда замедлялся. Тихо шагали мимо огни; проходя, каждый из них заглядывал в ту же щелку, и световой циркуль медленно мерил мрак купе. Поезд останавливался с протяжным вздохом вестингхаузовских тормозов. Сверху вдруг падало что-нибудь (например, братние очки). Небыкновенно интересно было подползти к изножию койки — в сопровождении вывороченного одеяла,— дабы осторожно отцепить шторку с нижней кнопки и откатить ее вверх до половины (далее не пускал край верхней койки). За стеклом был сказочный мир,— сказочный потому, что я его подглядывал нечаянно и беззаконно, без малейшей возможности принять в нем участие. Как сателлиты огромной планеты, бледные ночные бабочки вращались вокруг газового фонаря. Разъединенная на части газета ехала, погоняя толчками ветра, по вылощенной скамье. Где-то в вагоне слышались глухие голоса, уютное покашливанье. Ничего особенно замечательного не было в случайной части безымянной станции, невинно обнажившейся передо мной и стынувшей, как мои ноги, но почему-то я не мог оторваться от нее, покуда она сама не уезжала.

Боже мой, как гладко снимался с места мой волшебный Норд-экспресс.

На другое утро уже белела и мчалась мимо мутная Бельгия; кафе-оле с отвратительными пенками как-то шло виду в окне, мокрым полям, искалеченным ивам по радиусу канавы, шеренге тополей, перечеркнутых полосой тумана. Поезд приходил в Париж в четыре пополудни, и, даже если мы там только ночевали, я всегда успевал купить что-нибудь, например маленькую медную Эйфелеву башню, грубою покрытую серебряной краской,— прежде чем сесть в полдень на Зайд-экспресс, который, по пути в Мадрид, доставлял нас к десяти вечера в Биарриц, в нескольких километрах от испанской границы.

Биарриц в те годы еще сохранял свою тонкую сущность. Пыльные кусты ежевики и плевелистые terrains à vendre⁵⁰, полные прелестных геометрий, окаймляли белую дорогу, ведущую к нашей вилле. Карлтон тогда еще только строился, и суждено было пройти тридцати шести годам до того, как генерал Мак-Кроскей займет королевские апартаменты в Отель дю Пале, построенном на месте этого дворца, где в шестидесятых годах невероятно изгибчивый медиум Daniel Home был пойман, говорят, на том, что босой ступней («ладонью» вызванного духа) гладил императрицу Евгению по доверчивой щеке. На каменном променаде у казино видавшая виды пожилая цветочница с лиловатыми бровями ловко продевала в петлицу какому-нибудь потентату в штатском тугую дулю гвоздики — он скавивал взгляд на ее жеманные пальцы, и слева у него вспухала складка подбородка. Вдоль променада, по задней линии пляжа, глядящего в блеск моря, парусиновые стулья заняты были родителями детей, играющих впереди на песке. Делегату-читателю нетрудно будет высмотреть среди них и меня: стою на голых коленях и стараюсь при помощи увеличительного стекла поджечь найденную в песке гребенку. Щегольские белые штаны мужчин показались бы сегодня комически ссевшимися в стирке; дамы же в летний сезон того года носили бланжевые или гри-перлевые легкие манто с шелковыми отворотами, широкопольные шляпы с большими тулями, густые вышитые белые вуали, — и на всём были кружевные оборки — на блузках, рукавах, парасолях. От морского ветра губы становились солеными: пляж трепетал, как цветник, и безумно быстро через него проносилась залетная бабочка, оранжевая с черной каймой. Проходили продавцы разной соблазнительной дряни — орешков чуть сладче моря, витых золотых леденцов, засахаренных фиалок, нежно-зеленого мороженого и громадных, ломких, вогнутых вафель, содержавшихся в красном жестяном бочонке: старый вафельщик с этой тяжелой штукой на согнутой спине быстро шагал по глубокому мучнистому песку, а когда его подзывали, он, рванув ее за ремень, сваливал с плеча на песок иставил стойком свою красную посудину, затем стирал пот с лица и, получив один су, пальцем приводил в трескучее движение стрелку лотерейного счастья, вращающуюся по циферблату на крышке бочонка: фортуне полагалось определять размер порции, и чем больше выходил кусок вафли, тем мне жальче бывало торговца.

Ритуал купанья происходил в другой части пляжа. Профессиональные беньеры, дюжие баски в черных купальных костюмах, помогали дамам и детям преодолевать страх и прибой. Бенерь ставил клиента спиной к накатывающей волне и держал его за ручку, пока вращающаяся громада, зеленея и пенясь, бурно обрушивалась сзади, одним мощным ударом либо сбив клиента с ног, либо вознеся его к мокрому разбитому солнцу вместе с тюленем-спасителем. После нескольких таких схваток со стихией глянцевитый бенерь вел тебя — отдувающегося, влажно сопящего, дрожащего от холода — на укатанную от-

⁵⁰ участки для продажи (фр.).

ливами полосу песка, где незабвенная босоногая старуха с седой щетиной на подбородке, мифическая мать всех этих океанских банщиков, быстро снимала с веревки и накидывала на тебя ворсистый плащ с капюшоном. В пахнущей сосновой купальной кабинке перенимал тебя другой прислужник, горбун с лучистыми морщинками; он помогал выйти из набухшего водой, склизкого, отяжелевшего от прилипшего песка костюма и приносил таз с упоительно горячей водой для омовения ног. От него я узнал и навеки сохранил в стеклянной ячейке памяти, что бабочка на языке басков «мизери-колетэя».

3

Как-то, играя на пляже, я оказался действующим лопаткой рядом с французской девочкой Колетт. Ей должно было исполниться десять в ноябре, мне исполнилось десять в апреле. Она важно обратила мое внимание на зазубренный осколок фиолетовой раковинки, оцарапавший ее узкую длиннопалую ступню. «*Je suis Parisienne*, — объявила она, — et vous — *are you English?*»⁵¹ В ее светло-зеленоватых глазах располагались по кругу зрачка рыжие крапинки, словно переправляющаяся вплавь часть веснушек, которыми было усыпано ее несколько эльфовье, изящное, курносенькое лицо. Оттого что она носила по тогдашней английской моде синюю фуфайку и синие узкие вязаные штаны, закатанные выше колен, я еще накануне принял ее за мальчика, а теперь, слушая ее порывистый щебет, с удивлением видел браслетку на худенькой кисти,шелковистые спирали коричневых локонов, свисавших из-под ее матросской шапочки.

Двумя годами раньше, на этом самом пляже, я был горячо увлечен другой своей однолеткой — прелестной, абрикосово-загорелой, с родинкой под сердцем, невероятно капризной Зиной, дочкой сербского врача; а еще раньше, в Болье, когда мне было лет пять, что ли, я был влюблён в румынскую темноглазую девочку со странной фамилией Гика. Познакомившись же с Колетт, я понял, что вот это — настоящее. По сравнению с другими детьми, с которыми я игрывал на пляже в Биаррице, в ней было какое-то трогательное волшебство; я понимал, между прочим, что она менее счастлива, чем я, менее любима, синяк на ее тонко заштрихованном пушком запястье давал повод к ужасным догадкам. Как-то она сказала по поводу упущенного краба: «Он так же больно щипается, как моя мама». Я придумывал разные героические способы спасти ее от ее родителей — господина с нафабренными усами и дамы с овальным, «сделанным», словно эмалированным, лицом; моя мать спросила про них какого-то знакомого, и тот ответил, пожав плечом: «*Ce sont des bourgeois de Paris*»⁵². Я по-своему объяснил себе эту пренебрежительную оценку, зная, что они приехали из Парижа в Биарриц на своем сине-желтом лимузине (что не так уж часто делалось в 1909 году), а девочку с фокстерьером и английской гувернанткой послали в скучном «сидячем» вагоне обык-

⁵¹ «Я из Парижа... а вы — вы, англичанин?» (фр.).

⁵² «Они парижские буржуа» (фр.).

новенного *rapide*⁵³. Фокстерьер был экзальтированной сучкой с бубенчиком на ошейнике и виляющим задом. Из чистой жизнерадостности эта собачка, бывало, лакала морскую воду, набранную Колетт в синее ведерко: вижу яркий рисунок на нем — парус, закат и маяк,— но не могу припомнить имя собачки, и это мне так досадно.

За два месяца пребывания в Биаррице моя страсть к этой девочке едва ли не превзошла увлечения бабочками. Я видел ее только на пляже, но мечталось мне о ней беспрестанно. Если она являлась заплаканной, то во мне вскипало беспомощное страдание. Я не мог перебить комаров, искусавших ее тоненькую шею, но зато удачно отколотил рыжего мальчика, однажды обидевшего ее. Она мне совала горсточками теплые от ее ладони леденцы. Как-то мы оба наклонились над морской звездой, витые концы ее локонов защекотали мне ухо, и вдруг она поцеловала меня в щеку. От волнения я мог только пробормотать: «*Jou little monkey*»⁵⁴.

У меня была золотая монета, луидор, и я не сомневался, что этого хватит на побег. Куда же я собирался Колетт увезти? В Испанию? В Америку? В горы над Пиренеями? «*Là-bas, là-bas, dans la montagne*»⁵⁵, как пела Кармен в недавно слышанной опере. Помню странную, совершенно взрослую, прозрачно-бессонную ночь: я лежал в постели, прислушивался к покорному буханью океана и составлял план бегства. Океан приподнимался, слепо шарил в темноте и тяжело падал ничком.

О самом побеге мне почти нечего рассказать. В памяти только отдельные проблески: Колетт, с подветренной стороны хлопающей пальтишки, послушно надевает парусиновые туфли, пока я запихиваю в коричневый бумажный мешок складную рампетку для ловли андалузских бабочек. Убегая от погони, мы сунулись в кромешную темноту маленького кинематографа около казино,— что, разумеется, было совершенно незаконно. Там мы сидели, нежно соединив руки поверх фокстерьера, изредка позываявшего бубенчиком у Колетт на коленях, и смотрели судорожный, мигающий черным дождиком по белизне, но чрезвычайно увлекательный фильм — бой быков в Сан-Себастьяне. Последний проблеск: гувернер уводит меня вдоль променада: его длинные ноги шагают с грозной целеустремленностью; мой девятиверийский брат, которого он ведет другой рукою, то и дело забегает вперед и, подобный совенку в своих больших очках, вглядывается с ужасом и любопытством в невозмутимого преступника.

Среди безделушек, накупленных перед отъездом из Биаррица, я любил больше всего не бычка из черного камня, с золочеными рогами, и не ассортимент гулких раковин, а довольно символичный, как теперь выясняется, предметик,— вырезную пенковую ручку с хрусталиком, вставленным в микроскопическое оконце на противоположном от пера конце. Если один глаз зажмурить, а другой приложить к хрусталику, да так, чтобы не мешал лучистый перелив собственных ресниц, то можно было увидеть в это волшебное отверстие цветную фо-

⁵³ скорого поезда (*фр.*).

⁵⁴ «Ах ты обезьянка» (*фр.*).

⁵⁵ «Туда, туда, скорее — в горы» (*фр.*).

тографию залива и скалы, увенчанной маяком. И вот тут-то, при этом сладчайшем содрогании Мнемозины, случается чудо: я снова пытаюсь вспомнить кличуку фокстерьера,— и что же, заклинание действует! С дальнего того побережья, с гладко отсвечивающих вечерних песков прошлого, где каждый вдавленный пяткой Пятницы след заполняется водой и закатом, доносится, летит, отзывааясь в звонком воздухе: Флосс, Флосс, Флосс!

По дороге в Россию мы остановились на один день в Париже, куда уже успела вернуться Колетт. Там в рыжем, уже надевшем перчатки парке, под холодной голубизной неба, верно по словору между ее гувернанткой и нашим Максом, я видел Колетт в последний раз. Она явилась с обручем, и все в ней было изящно и ловко, в согласии с осеннею парижской *тепие-de-ville-pour-filletes*⁵⁶. Она взяла из рук гувернантки и передала моему довольною брату прощальный подарок — коробку драже, облитого крашеным сахаром миндаля, который, конечно, предназначался мне одному; и тотчас же, едва взглянув на меня, побежала прочь, палочкой подгоняя по гравию свой сверкающий обруч сквозь пестрые пятна солнца, вокруг бассейна, набитого листьями, упавшими с каштанов и кленов. Эти листья смешиваются у меня в памяти с кожей ее башмаков и перчаток, и была, помнится, какая-то подробность в ней — ленточка, что ли, на ее шотландской шапочки, или узор на чулках,— похожая на радужные спирали внутри тех маленьких стеклянных шаров, коими иностранные дети играют в агатики. И вот теперь я стою и держу этот обрывок самоцветности, не совсем зная, куда его приложить, а между тем она обегает меня всешибче, катя свой волшебный обруч, и, наконец, растворяется в тонких тенях, падающих на парковый гравий от переплета проволочных дужек, которыми огорожены асты и газон.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

1

Сейчас тут будут показывать волшебный фонарь, но сперва позвольте сделать небольшое вступление.

Я родился 10-го апреля 1899-го года по старому стилю в Петербурге, брат мой Сергей родился там же, 28-го февраля следующего года. При переходе нашем в отчество англичанок и француженок постепенно стали вытеснять отечественные воспитатели и репетиторы, причем, нанимая их, отец как будто следовал остроумному плану выбирать каждый раз представителя другого сословия или племени.

Доисторическим элементом в этом списке был милейший Василий Мартынович, сельский учитель, приходивший знакомить нас с русской грамотой летом 1905-го года. Он помогает мне связать всю серию, ибо мое последнее воспоминание о нем относится к пасхальным каникулам 1915-го года, когда брат и я приехали заниматься лыжным спортом в оснеженную нашу Выру с отцом и с неким Волгиным, пос-

⁵⁶ Городской наряд для девочек (*фр.*).

ледним и худшим нашим губернатором. Добрый Василий Мартынович пригласил нас «закусить»; закуска оказалась настоящим пиршеством, им самим приготовленным, вплоть до великолепного, желтоватого сливочного мороженого, для производства которого у него был особый снаряд. Ярко возникают у меня в памяти лепные морщины его раскрасневшегося лба и прекрасно подделанное выражение удовольствия на лице у моего отца при появлении мясного блюда — жаренного в сметане зайца,— которого он не терпел. Комната Василия Мартыновича в каменном здании образцовой школы, выстроенной отцом, была жарко натоплена. Мои новые лыжные сапоги оказывались по мере оттаивания не столь непромокаемыми, как предполагалось, и чувство сырости, сжимавшей щиколотки, неприятно совмещалось с теплом шерстяной рубашки. Глазами, еще слезившимися от ослепительного снега, я старался разобрать висевший на стене так называемый «типографический» портрет Льва Толстого, то есть портрет, составленный из печатного текста, в данном случае «Хозяина и работника», целиком пошедшего на изображение автора, причем получилось разительное сходство с самим Василием Мартыновичем. Мы уже приступили к злосчастному зайцу, как распахнулась дверь, и запыхавшийся, заиндейский, закутанный в бабий оренбургский платок, батовский слуга Христофор внес боком, с глупой улыбкой, большую корзину с торчащими бутылками и всякой снедью, которую бабушка, зимовавшая в своем Батове, по бес tactности сочла нужным послать нам на тот случай, если бы Василий Мартынович нас недокормил. Раньше чем хозяин мог успеть обидеться, отец велел лакею ехать обратно с нераспакованной корзиной и краткой запиской по-французски, удивившей, вероятно, бабушку, как удивляли ее все поступки сына. В крупьевых митенках, пышном шелковом пеньюаре, напудренная, с округленной под мушку черной родинкой на розовой щеке, она казалась стилизованной фигурой в небольшом историческом музее, и таким же экспонатом казалась ее голубая кушетка, на которой она лежала целый день, обмахиваясь веером из слоновой кости, поглощая круглые леденцы-бульдегомы и все сетяя о том, что некие темные силы, опутав любимейшего из ее сыновей, отвлекли его от блестящей чиновной карьеры. Особенно недоумевала она, как это мой отец, столь ценивший радости, доступные только при большом состоянии, может бояться рисковать, сделавшись либералом, то есть поборником революции, которая (как она совершенно правильно предугадала) должна в конце концов привести его к нищете.

2

Василий Мартынович был сыном плотника. Следующая картинка в моем волшебном фонаре изображает молодого человека, которого назову А, сына дьякона. На прогулках с братом и со мной, в холодноватое лето 1907-го года, он носил черный плащ с серебряной пряжкой у шеи. В лесных дебрях, на глухой тропе под тем деревом, где когда-то повесился таинственный бродяга, А нас забавлял довольно кощунственным представлением. Изображая нечто демоническое, хлопая

черными, вампировыми крыльями, он медленно кружился вокруг старой угрюмой осины, прямой участницы драмы. Как-то сырьим утром, во время этой пляски плаща, он ненароком смахнул с собственного носа очки, и, помогая их искать, я нашел у подножья дерева самца и самку весьма редкого в наших краях амурского бражника,— чету только что вылупившихся, восхитительно бархатистых, лиловато-серых существ, мирно висевших *in copula* с травяного стебля, за который они уцепились шеншилевыми лапками. Осенью того же года А поехал с нами в Биарриц и там же внезапно покинул нас, оставив на подушке вместе с прощальной запиской безопасную бритву «жиллет» раннего типа, большую новинку, которую мы ему подарили на именины. Со мною редко бывает, чтобы я не знал, какое воспоминание мое собственное, а какое только пропущено через меня и получено из вторых рук; тут я колеблюсь: многими годами позже моя мать, смеясь, рассказывала о пламенной любви, которую она нечаянно зажгла. Как будто припоминаю полуотворенную дверь в гостиную и там, посредине зеленого ковра, нашего А на коленях, чуть ли не ломающего руки перед моей оцепеневшей от удивления матерью; однако то обстоятельство, что я вижу сквозь жестикуляцию бедняги взмах его романтического плаща, наводит меня на мысль, не пересадил ли я лесной танец в солнечную комнату нашей биаррицской квартиры, под окнами которой, в отделенном канатом углу площади, местный воздухоплаватель Sigismond Lejoueux занимался надуванием огромного желтого шара.

Следующим нашим губернером — зимой 1907-го года — был украинец, симпатичный человек с темными усами и светлой улыбкой. Он тоже умел показывать штуки — например, чудный фокус с исчезновением монеты. Монета, положенная на лист бумаги, накрывается стаканом и мгновенно исчезает. Возьмите обыкновенный стакан. Аккуратно заклейте отверстие кружком клетчатой или линованной бумаги, вырезанной по его периферии. На такую же бумагу посреди стола положите двугривенный. Быстрым движением накройте монету приготовленным стаканом. При этом смотрите, чтобы клетки или полоски на бумажном листе и на стакане совпали. Иначе не будет иллюзии исчезновения. Совпадение узоров есть одно из чудес природы. Чудеса природы рано занимали меня. В один из его выходных дней с бедным фокусником случился на улице сердечный припадок, и, найдя его лежащим на тротуаре, неразборчивая полиция посадила его в холодную с десятком пьяниц.

Следующая картинка кажется вставленной вверх ногами. На ней виден третий губернер, стоящий на голове. Это был могучий латыш, который умел ходить на руках, поднимал высоко на воздух много мебели, играл огромными черными гирями и мог в одну секунду наполнить обыкновенную комнату запахом целой роты солдат. Ему иногда приходилось наказывать меня за ту или другую шалость (помню, например, как однажды, когда он спускался по лестнице, я с верхней площадки ловко уронил каменный шарик прямо на его привлекательную, необыкновенно твердую на вид и на звук голову); выбирая наказание, он пользовался не совсем обычным педагогическим приемом: весело предлагал, что мы оба натянем боевые перчатки и

попрактикуемся в боксе, после чего он ужасными, обжигающими и потрясающими ударами в лицо, похочатывая, парировал мой детский наиск и причинял мне невозможную боль. Хотя в общем я предпочитал эти неравные бои системе нашей бедной мадемаузель, для которой до судороги в кисти приходилось раз двести подряд переписывать штрафную фразу, вроде *Qui aime bien, châtie bien*⁵⁷, я не очень горевал, когда остроумный атлет отбыл после недолгого, но бурного пребывания.

Затем был поляк. Он был студент-медик, из родовитой семьи, щеголь и красавец собой, с влажными карими глазами и густыми гладкими волосами,— несколько похожий на знаменитого в те годы комика Макса Линдера, в честь которого я тут и назову его. Макс продержался с 1908-го по 1910-й год. Помню, какое восхищение он вызвал во мне зимним утром в Петербурге, когда внезапное площадное волнение перебило течение нашей прогулки: казаки с глупыми и свирепыми лицами, размахивая чем-то, вероятно нагайками, напирали на толпу каких-то людей, сыпались шапки, чернелась на снегу галоша, и была минута, когда казалось, один из конных дураков направляется на нас. Вдруг, с ребяческим наслаждением, я заметил, что Макс наполовину вытащил из кармана револьвер, но всадник повернулся в переулок. Менее интересным был другой перерыв в одной из наших прогулок, когда он нас повел знакомить со своим братом, изможденным ксендзом, чьи тонкие руки рассеянно витали над нашими православными вихрами, пока он с Максом обсуждал по-польски не то политические, не то семейные дела. Макс носил шелковые сиреневые носки и, кажется, был атеистом. Летом в Выре он состязался с моим отцом в стрельбе, решетя пулями ржавую вывеску «Охота воспрещается», прибитую прадедом Рукавишниковым к стволу вековой ели. Предприимчивый, ловкий и крепкий Макс участвовал во всех наших играх, и потому мы удивлялись, когда в середине лета 1909-го года он что-то стал ссылаться на мигрен и общую *lassitude*⁵⁸, отказываясь кидать со мною футбольный мяч или идти купаться на реку. Гораздо позже я узнал, что летом у него завязался роман с замужней дамой, жившей за несколько верст от нас; он вдруг оказался страстным собачником: то и дело в течение дня улучал минуту, чтобы посетить псарню, где кормил и улещивал сторожевых собак. Их спускали с цепи при наступлении ночи, и ему приходилось встречаться с ними под покровом темноты, когда он пробирался из дома в жасминовую и спирейную заросль, где его земляк, камердинер моего отца, припрятывал для него «дорожный» велосипед Дукс со всеми аксессуарами — карбидом для фонаря, звонками двух сортов, добавочным тормозом, насосом, треугольным кожаным футляром с инструментами и даже зажимчиками для призрачно-белых Максовых панталон. Обочинами проселочных дорог и горбатыми от поперечных корней лесными тропами отважный и пылкий Макс катил к далекому месту свидания — охотничьему павильону — по славной традиции светских измен. Его встречали на обратном пути студеные

⁵⁷ Кто крепко любит, тот строго карает (фр.).

⁵⁸ утомление (фр.)

туманы трезвого утра и четверка забывчивых псов, а уже около восьми мучительно начинался новый воспитательский день. Полагаю, что Макс не без некоторого облегчения покинул место своих еженощных подвигов, чтобы сопутствовать нам в нашей второй поездке в Биарриц. Там он взял двухдневный отпуск, чтобы совершить покаянное путешествие в священный Лурд, куда поехал, впрочем, в обществе смазливой и бойкой молодой ирландки, состоящей в гувернантках при моей маленькой пляжной подруге Колетт. Он перешел от нас на службу в одну из петербургских больниц, а позднее был, по слухам, известным врачом в Польше.

На смену католику явился лютеранин, притом еврейского происхождения. Назову его Ленским. Он с нами ездил в Германию в 1910-м году, после чего я поступил в Тенишевское училище, а брат — в Первую гимназию, и Ленский оставался помогать нам с уроками до 1913-го года. Он родился в бедной семье и охотно вспоминал, как между окончанием гимназии на юге и поступлением в Петербургский университет зарабатывал на жизнь тем, что украшал морскими видами плоские, отшлифованные волнами булыжники и продавал их как пресс-папье. Приехал он к нам с большим портретом петербургского педагога Гуревича, которого он весьма искусно, по волоску, нарисовал карандашом, но который почему-то отказался портрет приобрести, и портрет остался у нас висеть где-то в коридоре. «Я, конечно, импрессионист», — небрежно замечал Ленский, рассказывая это.

Меня, как начинаяющего художника, Ленский сразу поразил контрастом между довольно, в общем, стройным передом фигуры и толстоватой изнанкой. У него было розовое овальное лицо, миниатюрная рыжеватая бородка, точеный нос, ущемленный голым пенсне, светлые и тоже какие-то голые глаза, тонкие малиновые губы и бледно-голубая бритая голова со стыдливо пухлыми складками кожи на затылке. Он не сразу привык ко мне, и с огорчением я вспоминаю, как, вырвав у меня из рук «отвратительную карикатуру», он шагал, удаляясь, через комнаты вырского дома по направлению к веранде (являя мне именно то карпообразное очертание бокастого тела, которое я только что так верно нарисовал) и, бросив мою картинку на стол перед моей матерью, воскликнул: «Вот последнее произведение вашего дегенеративного сына!»

Внедрение новых наставников всегда сопровождалось у нас скандалами, но в данном случае мы с братом очень скоро смирились, открыв три основных свойства в Ленском: он был превосходный учитель; он был лишен чувства юмора; и в тонкое отличие от всех своих предшественников, он нуждался в особой нашей защите. В 1910-м году мы както с ним шли по аллее в Киссингене, а впереди шли два раввина, жарко разговаривая на жаргоне, — и вдруг Ленский, с какой-то судорожной и жесткой торжественностью, озадачившей нас, проговорил: «Вслушайтесь, дети, они произносят имя вашего отца!» У нас в доме Ленский чувствовал себя в «нравственной безопасности» (как он выражался), только пока один из наших родителей присутствовал за обеденным столом. Но когда они были в отъезде, это чувство безопасности могло быть мгновенно нарушено какой-нибудь выходкой со стороны лю-

бой из наших родственниц или случайного гостя. Для теток моих выступления отца против погромов и других мерзостей российской и мировой жизни были прихотью русского дворянина, забывшего своего царя, и я не раз подслушивал их речи насчет происхождения Ленского, происков кагала и попустительства моей матери, и, бывало, я грубыл им за это, и, потрясенный собственной грубостью, рыдал в клозете. Отрадная чистота моих чувств если отчасти и была внушена слепым обожанием, с которым я относился к родителям, зато подтверждается тем, что Ленского я совершенно не любил. Было нечто крайне раздражительное в его горловом голосе, педантичной правильности слога, изысканной аккуратности, манере постоянно подравнивать свои мягкие ногти какой-то особой машинкой. Он жаловался моей матери, что мы с братом — иностранцы, барчуки, снобы и патологически равнодушны к Гончарову, Григоровичу, Мамину-Сибиряку, которыми нормальные мальчики будто бы зачитываются. Добившись разрешения навязать нашему детскому быту более демократический строй, он в Берлине меня с братом перевел из Адлона в мрачный, буржуазный пансион Модерн на унылой Приватштрассе (притоке Потсдамской улицы), а изящные, устланые бобриком, лаково-зеркальные, полные воспоминаний детства, страстно любимые мной Норд-экспресс и Ориент-экспресс были заменены гнусно-грязными полами и сигарной вонью укачливых и громких шнельцугов или вялым уютом русских казенных вагонов, с какими-то половыми вместо кондукторов. В заграничных городах, как, впрочем, и в Петербурге, он замирал перед утилитарными витринами, нисколько не занимавшими нас. Собираясь жениться и не имея ничего, кроме жалованья, он с неимоверно щательным расчетом старался перебороть против него настроенную судьбу, когда планировал свой будущий обиход. Время от времени необдуманные порывы нарушали его бюджет. В этом педанте жил и мечтатель, и авантюрист, и антрепренер, и старомодный наивный идеалист. Заметив на Фридрихштрассе какую-то потаскую, пожирающую глазами шляпу с пунцовыми плерезом в окне модного магазина, он эту шляпу тут же ей купил — и долго не мог отделаться от потрясенной немки. В собственных приобретениях он действовал более осмотрительно. Сергей и я терпеливо выслушивали его подробные мечтания, когда он, бывало, расписывал каждый уголок в комфортабельной, хоть и скромной, квартире, которую он меблировал в уме для жены и себя. Однажды его блуждающая мечта сосредоточилась на дорогой люстре в магазине Александра на Невском, торговавшем безвкуснейшими предметами буржуазной роскоши. Не желая, чтобы приказчик догадался, какой именно товар он обхаживает, Ленский сказал нам, что возьмет нас посмотреть на люстру, только если мы обещаем воздержаться от восхищений восторга и слишком красноречивых взглядов. Со всем возможными предосторожностями и нарочито восхищаясь какой-то посторонней этажеркой, он подвел нас под ужасающего бронзового осьминога с гранатовыми глазами и только тогда мурлычащим вздохом дал нам понять, что это и есть облюбованная им вещь. С такими же предосторожностями, понижая голос, дабы не разбудить враждебного рока, он сказал, что познакомит нас в Берлине, куда выписал ее,

со своей невестой. Мы увидели небольшую, изящную барышню в черном, с глазами газели под черной вуалькой, с букетом фиалок, пришпиленным к груди. Это было, помнится, перед аптекой на углу Потсдамер и Приватштрассе, и тихим голосом Ленский просил не сообщать нашим родителям о присутствии Мирры Григорьевны в Берлине, и человечек на механической рекламе в витрине без конца повторял у себя на картонной щеке по розовой дорожке, расчищенной от нарисованного мыла, движение бритья, и с грохотом проносились трамваи, и уже шел снег.

3

Мы теперь подходим вплотную к теме этой главы. Зимой 1911 или 12-го года Ленскому взбрела в голову дикая фантазия: нанять (у нуждающегося приятеля, Бориса Наумовича) волшебный фонарь («с длиннофокусным конденсатором», повторяет, как попугай, Мнемозина) и раза два в месяц по воскресеньям устраивать у нас на Морской сеансы общеобразовательного характера, обильно уснащенные чтением отборных текстов, перед группой мальчиков и девочек. Он считал, что демонстрация этих картин не только будет иметь воспитательное значение для всей группы, но, в частности, научит брата и меня лучше уживаться с другими детьми. Преследуя эту страшную и невоплотимую мечту, он собрал вокруг нас (двух замерших зайчиков — тут я брату был брат) рекрутов разных разрядов: наших кузенов и кузин; малоинтересных сверстников, с которыми мы встречались на детских балах и светских елках; школьных наших товарищей; детей наших слуг. Обслуживал аппарат таинственный Борис Наумович, очень грустный на вид человек, которого Ленский звучно звал «коллега». Никогда не забуду первого «сеанса». Послушник, сбежав из горного монастыря, бродит в рясе по кавказским скалам и осыпям. Как это обычно бывает у Лермонтова, в поэме сочетаются невыносимые прозаизмы с прелестнейшими словесными миражами. В ней семьсот с лишним строк, и это обилие стихов было распределено Ленским между всего лишь четырьмя стеклянными картинками (неловким движением я разбил пятую перед началом представления). По соображениям пожарного порядка выбрана была довольно большая комната, в углу которой находились ванна и котел с водой. Как театральная зала, она оказалась мала, и стулья пришлось тесно сдвинуть. Слева от меня сидела десятилетняя непоседа с длинными бледно-золотистыми волосами и нежным цветом лица, напоминающим розовый оттенок раковин; она сидела так близко, что я чувствовал верхнюю косточку ее бедра при каждом ее движении — она то теребила медальон, то продевала ладонь между затылком и дымом душистых волос, то со стуком соединяла коленки под шуршащим шелком желтого чехла, просвечивающим сквозь кружево платья, и это возбуждало во мне ощущения, на которые Ленский не рассчитывал. Впрочем, она скоро пересела. Справа от меня находился сын отцовского камердинера, совершенно неподвижный мальчик в матроске; он необыкновенно походил на Наследника и, по необыкновенному совпадению, страдал тем же трагическим недугом, гемофилией, так что по нескольку раз в год синяя придворная карета привозила

к нашему подъезду знаменитого доктора и подолгу ждала под косым снегом, который все шел да шел, и, если зацепиться взглядом за снежинку, спускающуюся мимо окна, можно было разглядеть ее грубо-ватую, неправильную форму и даже колыхание при тихом полете.

Потух свет. Ленский тоном бытовика-резонера приступил к чтению:

Немного лет тому назад
там, где, сливааясь, шумят,
обнявшись, будто две сестры,
струи Арагвы и Куры,
был монастырь.

Монастырь послушно появился на простыне и застыл там в красочном, но тупом оцепенении (хоть бы один стриж пронесся над ним!) на протяжении двухсот строк, после чего был заменен приблизительной грузинкой, обремененной этнографическим сосудом. Всякий раз, как невидимый коллега убирал — без спеха — пластинку из прожектора, картина соскальзывала с экрана очень даже прытко, как если бы общее увеличение влияло не только на изображение гор и грузин, но и на скорость их скольжения при изъятии. Этим ограничивалось волшебство фонаря. Деликатным движением палочки Ленский обращал внимание недоброжелательных зрителей на чрезвычайно вульгарные горы, даже не принадлежавшие системе пленительных лермонтовских высот, которые

...в час утренней зары
курилися, как алтари,

и когда молодой монах стал рассказывать другому затворнику постарше о своей борьбе с барсом, кто-то в публике иронически зарычал. Чем дальше трусили голос по мужским рифмам монотонного ямба, тем яснее становилось, что некоторая часть аудитории втихомолку глумится над Ленским и что мне предстоит услышать потом немало насмешливых отзывов по поводу всей затеи. Мне было и совестно и ужасно жаль героического комментатора — его упорного бубнения, очерка острого профиля и толстого затылка, иногда вторгавшегося в область озаренного полотна, и особенно его нервной палочки, на которую, при неосторожном ее приближении к экрану, съезжали световые краски, притрагиваясь к ее кончику с холодной игривостью кошачьей лапки. К концу сеанса скука разрослась донельзя; нерасторопный Борис Наумович долго искал последнюю пластинку, смешав ее с «просмотренными», и пока Ленский терпеливо ждал в темноте, некоторые из мальчиков стали довольно святотатственно отбрасывать на пустой светлый экран черные тени поднятых рук, а спустя еще несколько секунд один неприятный озорник (неужели это был я — невзирая на всю чувствительность?) ухитрился показать силуэт ноги, что, конечно, сразу вызвало шумное подражание. Но вот — пластинка нашлась и вспыхнула на полотне, — и неожиданно мне было пять лет, а не двенадцать, ибо случайная комбинация красок мне напомнила, как во время одной из ранних заграничных поездок экспресс, словно скрывшись от горной грозы, углубился в Сен-Готардский туннель, а когда с облегченной переменой шума вышел оттуда, —

о, как сквозили в вышине
в зелено-розовом огне,
где радуга задела ель,
скала и на скале газель!

4

За этим представлением последовали другие, еще более ужасные. Меня томили, между прочим, смутные отзвуки некоторых семейных рассказов, относящихся к дедовским временам. В середине восьмидесятых годов Иван Васильевич Рукавишников, не найдя для сыновей школы по своему вкусу, нанял превосходных преподавателей и собрал с десяток мальчиков, которым он предложил несколько лет бесплатного обучения в своем доме на Адмиралтейской набережной. Предприятие не имело большого успеха. Не всегда бывали говорчивы те знакомые его, чьи сыновья подходили, по его мнению, в товарищи его собственным, Василю (неврастенику, которого он тиранил) и Владимиру (даровитому отроку, любимцу семьи, которому предстояло в шестнадцать лет умереть от чахотки), а некоторые из тех мальчиков, которых ему удалось набрать (подчас даже платя деньги небогатым родителям), вскоре оказались питомцами неприемлемыми. С безотчетным отвращением я представлял себе Ивана Васильевича упрямо обследующим столичные гимназии и своими странными невеселыми глазами, столь знакомыми мне по фотографиям, выискивающим мальчиков, наиболее привлекательных по наружности среди первых учеников. По существу, рукавишниковские причуды ничем не походили на скромную затею Ленского, но случайная мысленная ассоциация побудила меня воспрепятствовать тому, чтобы Ленский продолжал являться на людях в глупом и навязчивом виде, и, после еще трех представлений («Медный всадник», «Дон-Кихот» и «Африка — страна Чудес»), мать сдалась на мои мольбы и, заработав свои сто или двести рублей, товарищ нашего добряка исчез со своим громоздким аппаратом навеки.

Однако я помню не только убожество, аляповатость, желатиновую несъедобность в зрительном плане этих картин на мокром полотне экрана (предполагалось, что влага делает их гляже); я помню и то, как прелестны были самые пластинки, вне всякой мысли о фонаре и экране,— если просто поднимешь двумя пальцами такое драгоценное стеклянное чудо на свет, чтобы в частном порядке, и даже не совсем законно, в таинственной оптической тишине, насладиться прозрачной миниатюрой, карманным раем, удивительно ладными мирками, проникнутыми тихим светом чистейших красок. Гораздо позже я вновь открыл ту же отчетливую и молчаливую красоту на круглом сияющем дне волшебной шахты — лабораторного микроскопа. Аарат на стеклянной пластинке уменьшением своим разжигал фантазию; орган насекомого под микроскопом был увеличен ради холодного изучения. Мне думается, что в гамме мировых мер есть такая точка, где переходят одно в другое воображение и знание, точка, которая достигается уменьшением крупных вещей и увеличением малых,— точка искусства.

Ленский был человек разносторонний, сведущий, умеющий разъяснить решительно все, что касалось школьных уроков; тем более нас поражали его постоянные университетские неудачи. Причиной их была, вероятно, совершенная его бездарность в области финансовой и государственной, то есть именно в той области, которую он избрал для изучения. Помню, в какой лихорадке он находился накануне одного из самых важных экзаменов. Я беспокоился не меньше его и в порыве деятельного сострадания не мог удержаться от соблазна подслушать у двери, как по его же просьбе мой отец проверяет в виде репетиции к экзамену его знание «Принципов политической экономии» Charles Gide. Листая книгу, отец спрашивал, например: в чем заключается разница между банкнотами и бумажными деньгами? — и Ленский как-то ужасно предпримчиво и даже радостно прочищал горло, а затем погружался в полное молчание, как будто его не было. После нескольких таких вопросов прекратилось и это его бойкое покашливание, и паузы нарушались только легким постукиванием отцовских ногтей по столу, и только раз с отчаянием и надеждой страдальц воскликнул: «Владимир Дмитриевич, я протестую. Этого вопроса в книге нет». Но вопрос в книге был. И наконец отец закрыл ее почти беззвучно и проговорил: «Голубчик, вы не знаете ничего». «Разрешите мне быть другого мнения», — ответил Ленский с достоинством. Сидя очень прямо, он выехал на нашем «бенце» в университет, оставил там долго, вернулся в извозчичьих санях, весь сгорбленный, среди невероятной снежной бури, и в немом отчаянии поднялся к себе.

В конце своего пребывания у нас он женился и уехал в свадебное путешествие на Кавказ, в лермонтовские места, после чего вернулся к нам на одну зиму. В его отсутствие, летом 1913-го года, Monsieur Noyer, коренастый швейцарец с пушистыми усами, читал нам «Сургано de Vegerges», виртуозно меняя голос сообразно с персонажами. Когда он первый раз поехал с нами верхом, его лошадь споткнулась, и он через ее голову упал в куст, как на старомодной карикатуре. Сервируя в тениске, он считал нужным стоять на самой линии, широко расставив толстые ноги в смятых парусиновых штанах, затем как-то приседал и ударял по подброшенному мячу со страшной силой, но ничего не получалось, — мяч попадал либо в сетку, либо в некошеное поле за решетчатой оградой, сквозь которую упорным полетом... — но об этих белых башнях я уже писал.

Весной 1914-го года, когда Ленский нас окончательно покинул, к нам поступил тот Волгин, которого я уже упоминал, сын обедневшего симбирского помещика, молодой человек обворожительной наружности, с задушевными интонациями и прекрасными манерами, но с душой пошляка и мерзавца. К этому времени я уже не нуждался в каком-либо надзоре, учебной же помочи он не мог мне оказать никакой, ибо был безнадежный неуч (проиграл мне, помню, великолепный кастет, побиввшись со мной об заклад, что письмо Татьяны начинается так: «Увидя почерк мой, вы, верно, удивитесь»), и все, что от него я получил (кроме кастета), были рассказы, которыми я сначала заслушивался,

о его похождениях с женщинами — рассказы, вскоре сменившиеся неприличными сплетнями о нашей семье: он их добывал у одной моложавой нашей родственницы, на которой впоследствии женился. При Советах этот бархатный Волгин был комиссаром — и вскоре устроился так, чтобы сбыть жену в Соловки. Не знаю, чем кончилась его карьера.

Но Ленского я не совсем потерял из вида. Еще когда он был с нами, он основал на где-то занятые деньги довольно фантастическое предприятие для скупки и эксплуатации разных необыкновенных патентов. Эти изобретения он не то чтобы выдавал за свои, но усыновлял с такой нежностью, что отцовство его бросалось всем в глаза, хотя было основано на чувствах, а не на фактах. Однажды он с гордостью пригласил нас испробовать на нашем автомобиле «изобретенный» им новый тип мостовой, состоявшей из каких-то переплетенных металлических полосок: мы попробовали — и лопнула шина. В первую мировую войну он поставил армии пробную партию лошадиного корма в виде плоских серых галет; он всегда носил с собой образчик, небрежно грыз его и предлагал грызть друзьям. От этих галет многие лошади тяжело болели. Затем, в 1918 году, когда мы уже были в Крыму, он нам писал, предлагая щедрую денежную помощь. Не знаю, успел ли бы он ее оказать, ибо какое-то наследство, им полученное, он вложил в увеселительный парк на Черноморском побережье, со скетинг-ринком, музыкой, каскадами, гирляндами красных и зеленых лампочек, но тут накатились большевики и потушили иллюминацию, а Ленский бежал за границу и в двадцатых годах, по слухам, жил в большой бедности на Ривьере, зарабатывая на жизнь тем, что расписывал морскими видами белые булыжники. Не знаю, что было с ним потом. Несмотря на некоторые свои странности, это был в сущности очень чистый, порядочный человек, тяжеловесные «диктанты» которого я до сих пор помню: «Что за ложь, что в театре нет лож! Колокололитейщики переколотили выкарабкавшихся выхухолей».

6

Когда воображаю чередование этих учителей, меня не столько поражают те забавные перебои, которые они вносили в мою молодую жизнь, сколько устойчивость и гармоническая полнота этой жизни. Я с удовлетворением отмечаю высшее достижение Мнемозины: мастерство, с которым она соединяет разрозненные части основной мелодии, собирая и стягивая ландышевые стебельки нот, повисших там и сям по всей черновой партитуре былого. И мне нравится представить себе, при громком лицующем разрешении собранных звуков, сначала какую-то солнечную пятнистость, а затем, в проясняющемся фокусе, праздничный стол, накрытый в аллее. Там, в самом устье ее, у песчаной площадки вырской усадьбы, пили шоколад в дни летних именин и рождений. На скатерти та же игра светотени, как и на лицах, под движущейся легендарной листвой лип, дубов и кленов, одновременно увеличенных до живописных размеров и уменьшенных до вместимости одного сердца, и управляет всем празднику дух вечного возвращения, который побуждает меня подбираться к этому столу (мы, призраки, так осто-

рожны!) не со стороны дома, откуда сошлись к нему остальные, а извне, из глубины парка, точно мечта, для того чтобы иметь право вернуться, должна подойти босиком, беззвучными шагами блудного сына, изнемогающего от волнения. Сквозь трепетную призму я различаю лица домочадцев и родственников, двигаются беззвучные уста, беззаботно произнося забытые речи. Мреет пар над шоколадом, синим блеском отливают тарталетки с черничным вареньем. Крылатое семя спускается, как маленький геликоптер, с дерева на скатерть, и через скатерть легла, бирюзовыми жилками внутренней стороны к переливчатому солнцу, голая рука девочки, лениво вытянувшаяся с раскрытой ладонью в ожидании чего-то — быть может, щипцов для орехов. На том месте, где сидит очередной гувернер, вижу лишь текущий, неясный, переменный образ, пульсирующий вместе с меняющимися тенями листвы. Вглядываюсь еще, и краски находят себе очертания, и очертания приходят в движение, точно по включении волшебного тока, врываются звуки: голоса, говорящие вместе, треск расколотого ореха, полу шаг небрежно переданных щипцов. Шумят на вечном вырском ветру старые деревья, громко поют птицы, а из-за реки доносится нестройный и восторженный гам купающейся деревенской молодежи, как дикие звуки растущих оваций.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

1

Мне было одиннадцать лет, когда отец решил, что получаемое мною домашнее образование может с пользой пополняться школой. В январе 1911-го года я поступил в третий семестр Тенишевского училища: семестров было всего шестнадцать, так что третий соответствовал первой половине второго класса гимназии.

Учебный год длился с начала сентября до первой трети мая, с обычными праздничными перерывами, во время которых гигантская елка касалась своей нежной звездой высокого, бледно-зелеными облаками расписанного потолка в одной из нижних зал нашего дома, или же сваренное вкрутую яйцо опускалось с овальным звуком в дымящуюся фиолетовую хлябь.

Когда камердинер, Иван Первый (затем забранный в солдаты) или Иван Второй (додержавшийся до тех времен, когда я его посыпал с романтическими поручениями), будил меня, смуглая мгла еще стояла за окнами, жужжало в ушах, поташнивало, и электрический свет в спальню резал глаза мрачным йодистым блеском. За какие-нибудь полчаса надобно было подготовить скрытый накануне от репетитора урок (о, счастливое время, когда я мог сфотографировать мозгом десять страниц в столько же минут!), выкупаться, одеться, побреяться. Таким образом, утра мои были скомканы, и пришлось временно отменить уроки бокса и фехтованья с удивительно гуттаперчевым французом Лустало. Он продолжал приходить почти ежедневно, чтобы боксировать и биться на рапирах с моим отцом, и, проглотив чашку какао в столовой на нижнем этаже, я оттуда кидался, уже на-де-

вая пальто, через зеленую залу (где мандаринами и бором пахло так долго после Рождества), по направлению к «библиотечной», откуда доносились топот и шарканье. Там я находил отца, высокого, плотно сложенного человека, казавшегося еще крупнее в своем белом стеганом тренировочном костюме и черной выпуклой решетчатой маске: он необыкновенно мощно фехтовал, передвигаясь то вперед, то назад по наканифоленному линолеуму, и возгласы проворного его противника — «*Battez!*», «*Rompez!*⁵⁹» — смешивались с лязгом рапир. Попыхивая, отец снимал маску с потного розового лица, чтобы поцеловать меня. В этой части обширной библиотеки приятно совмещались науки и спорт: кожа переплетов и кожа боксовых перчаток. Глубокие клубные кресла с толстыми сиденьями стояли там и сям вдоль книгами выложеных стен. В одном конце поблескивали штанги выписанного из Англии пунчинг-бола,— эти четыре штанги подпирали крышеобразную лакированную доску, с которой висел большой, грушевидный, туго надутый кожаный мешок для боксовых упражнений; при известной сноровке, можно было так по нему бить, чтобы производить пулеметное «ра-та-та-та» об доску, и однажды в 1917 году этот подозрительный звук привлек через сплошное окно ватагу до зубов вооруженных уличных бойцов, тут же удостоверившихся, впрочем, что я не урядник в засаде. Когда, в ноябре этого пулеметного года (которым, по-видимому, кончилась навсегда Россия, как в свое время кончились Афины или Рим), мы покинули Петербург, отцовская библиотека распалась, кое-что ушло на папиросную завертку, а некоторые довольно странные остаточки и бездомные тени появлялись,— как на спиритическом сеансе,— за границей. Так, в двадцатых годах, найденыш с нашим экслибрисом подвернулся мне на уличном лотке в Берлине, причем довольно кстати это оказалось «Войной миров» Уэллса. Прошли еще годы — и вот держу в руках обнаруженный в Нью-Йоркской публичной библиотеке экземпляр каталога отцовских книг, который был отпечатан еще тогда, когда они стояли, плотные и полнокровные, на дубовых полках, и застенчивая старуха-библиотекарша в пенсне работала над картотекой в неприметном углу. Он снова надевал маску, и возобновлялись топ, выпады и стрепет. Я же спешил обратно тем же путем, что пришел, словно репетируя сегодняшнее посещение. После густого тепла вестибюля, где за тяжелой решеткой, которую одной рукой мог поднять здоровенный сынок швейцара, трещали в камине березовые дрова, наружный мороз ледяной рукой сжимал легкие. Прежде всего я смотрел, который из двух автомобилей, «бенц» или «ульзлей», подан, чтобы мчать меня в школу. Первый из них состоял под управлением кроткого бледнолицего шофера Волкова; это был мышиного цвета ландолет. (А. Ф. Керенский просил его впоследствии для бегства из Зимнего дворца, но отец объяснил, что машина и слаба и стара и едва ли годится для исторических поездок,— не то что дивный рыдван прашурки, одолженный Людовику для бегства в Варенн). По сравнению с бесшумной электрической каретой, ему предшествовавшей, очерк этого «бенца» поражал своей динамичностью, но, в свою очередь, стал казаться старо-

⁵⁹ Фехтовальные термины (фр.).

модным и косно квадратным, как только новый длинный черный английский лимузин «роллс-ройсовых» кровей стал делить с ним гараж во дворе дома.

Начать день поездкой в новой машине значило начать его хорошо. Пирогов, второй шофер, был довольно независимый толстячок, покинувший царскую службу оттого, что не захотел быть ответственным за какой-то не нравившийся ему мотор. К рыжеватой комплекции пухлого Пирогова очень шла лисья шубка, надетая поверх его вельветиновой формы, и бутылкообразные оранжевые краги. Если задержка в уличном движении заставляла этого коротыша неожиданно затормозить — упруго упереться в педали, — его затылок, отделенный от меня стеклом перегородки, наливался кровью, что, впрочем, случалось и тогда, когда, пытаясь ему что-нибудь передать при помощи не очень разговорчивого рупора, я сжимал писклявую, бледно-серой материей и сеткой обтянутую грушу, сообщавшуюся с бледно-серым шнуром, ведущим к нему. Этой драгоценной городской машине он откровенно предпочитал красный, с красными кожаными сиденьями, «торпедо-опель», которым мы пользовались в деревне; на нем он возил нас по Варшавскому шоссе, открыв глушитель, со скоростью семидесяти километров в час, что тогда казалось упоительным, и как гремел ветер, как пахли прибитая дождем пыль и темная зелень полей, — а теперь мой сын, гарвардский студент, небрежно делает столько же в полчаса, запросто катя из Бостона в Альберту, Калифорнию или Мексику. Когда в 1915-м году Пирогова призвали, его заменил корявый, кривоногий, черный, с каким-то диким выражением желтых глаз, Цыганов, бывший гонщик, участвовавший в международных состязаниях и сломавший себе три ребра в Бельгии. Летом или осенью 1917 года он решил, несмотря на энергичные протесты отца, спасти страстно полюбившийся ему «уользлей» от возможной конфискации, для чего разобрал его на части, а части попрятал в различные, одному ему известные места, и, вероятно, был бы привлечен моим отцом к суду, если бы не помешали более важные события. Не знаю почему, но на петербургских торцах снег и гололедица не мешали так езде, как, скажем, в асфальтированном Бостоне сорок лет спустя, — на параллели Неаполя и при гораздо более совершенных машинах. Не помню, чтобы когда-либо погода помешала мне доехать до училища всего в несколько минут. Наш розовый гранитный особняк был № 47 на Большой Морской. За ним следовал дом Огинского (№ 45). Затем шли итальянское посольство (№ 43), немецкое посольство (№ 41) и обширная Мариинская площадь, после которой номера домов продолжали понижаться по направлению к Дворцовой площади. Слева от Мариинской площади, между ней и великолепным, но приедающимся Исаакием, был сквер, там однажды нашли в листве невиннейшей липы ухо террориста, павшего при неряшливой до легкомыслия перепаковке смертоносного свертка в снятой им комоде недалеко от площади. Те же самые деревья (филигранный серебряный узор над горкой, с которой мы громко скатывались ничком на плоских санках в детстве) были свидетелями того, как конные жандармы, укрощавшие первую революцию, сбивали удалыми выстрелами, точно хлопая по воробьям, ребятишек, вскарабкавшихся на ветки.

Повернув на Невский, автомобиль минут пять ехал по нему, и как весело бывало без усилия обгонять самых быстрых и храпливых коней,— какого-нибудь закутанного в шинель гвардейца в легких санях, запряженных парой вороных под синей сеткой. Мы сворачивали влево по улице с прелестным названием Караванная, навсегда связанной у меня с магазином игрушек Пето и с цирком Чинизелли, из круглой кремовой стены которого выпрашивались каменные лошадиные головы. Наконец за каналом мы сворачивали на Моховую и там останавливались у ворот училища. Перепрыгнув через подворотню, я бежал по туннельному проходу и пересекал широкий двор к дверям школы.

3⁶⁰

Став одним из лидеров Конституционно-демократической партии, мой отец тем самым презрительно отверг все те чины, которые так обильно шли его предкам. На каком-то банкете он отказался поднять бокал за здоровье монарха — и преспокойно поместил в газетах объявление о продаже придворного мундира. Училище, в которое он меня определил, было подчеркнуто передовое. Как мне пришлось более подробно объяснить в американском издании этой книги, классовые и религиозные различия в Тенишевском училище отсутствовали, ученики формы не носили, в старших семестрах преподавались такие штуки, как законоведение, и по мере сил поощрялся всякий спорт. За вычетом этих особенностей, Тенишевское не отличалось ничем от всех прочих школ мира. Как во всех школах мира (да будет мне позволено подделаться тут под толстовский дидактический говорок), ученики терпели некоторых учителей, а других ненавидели. Как во всех школах, между мальчиками происходил постоянный обмен непристойных острот и физиологических сведений; и как во всех школах, не полагалось слишком выделяться. Я был превосходным спортсменом; учился без особых потуг, балансируя между настроением и необходимостью; не отдавал школе ни одной крупицы души, сберегая все свои силы для домашних отрад,— своих игр, своих увлечений и причуд, своих бабочек, своих любимых книг,— и в общем не очень бы страдал в школе, если бы дирекция только поменьше заботилась о спасении моей гражданской души. Меня обвиняли в нежелании «приобщиться к среде», в надменном щегольстве французскими и английскими выражениями (которые попадали в мои русские сочинения только потому, что я ваял первое, что приходило на язык), в категорическом отказе пользоваться отвратительно мокрым полотенцем и общим розовым мылом в умывальной, в том, что я брезговал захватанным серым хлебом и чуждым мне чаем, и в том, что при драках я пользовался по-английски наружными костяшками кулака, а не нижней его стороной. Один из наиболее общественно настроенных школьных наставников, плохо разбиравшийся в многосторонних играх, хотя весьма одобрявший их группово-социальное значение, пристал ко мне однажды с вопросом, почему, играя в футбол, я (страстно ушедший в голкиперство, как иной уходит в суровое подвижничество) все стою

⁶⁰ В американском издании после 1-й части идет часть 3.

где-то «на задворках», а не бегаю с другими ребятами. Особой причиной раздражения было еще то, что шофер «в ливрее» привозит «барчук» на автомобиле, между тем как большинство хороших тенишевцев пользуется трамваем. Наибольшее негодование возбуждало то, что уже тогда я испытывал непреодолимое отвращение ко всяkim группировкам, союзам, объединениям, обществам. Помню, в какое бешенство приходил темпераментный В. В. Гиппиус, один из столпов училища, довольно необыкновенный рыжеволосый человек с острым плечом (тайный автор замечательных стихов), оттого что я решительно отказывался участвовать в каких-то кружках, где избиралось «правление» и читались исторические рефераты, а впоследствии происходили даже дискуссии на политические темы. Напряженное положение, создавшееся вследствие моего сопротивления этой скуче, этим бесплатным добавлениям к школьному дню, усугублялось тем, что мои общественно настроенные наставники — несомненно, прекраснейшие благонамеренные люди — с каким-то изуверским упорством ставили мне в пример деятельность моего отца.

Эту деятельность я воспринимал, как часто бывает с детьми знаменитых отцов, сквозь привычные семейные призмы, недоступные посторонним, причем в отношении моем к отцу было много разных оттенков, — безоговорочная, как бы беспредметная, гордость, и нежная снисходительность, и тонкий учет мельчайших личных его особенностей, и обтекающее душу чувство, что вот, независимо от его занятий (пишет ли он передовицу-звезду для «Речи», работает ли по своей специальности криминалиста, выступает ли как политический оратор, участвует ли в своих бесконечных собраниях), мы с ним всегда в заговоре, и посреди любого из этих внешне чуждых мне занятий он может мне подать — да и подавал — тайный знак своей принадлежности к богатейшему «детскому» миру, где я с ним связан был тем же таинственным ровесничеством, каким тогда был связан с матерью или как сегодня связан с сыном.

Заседания часто происходили у нас в доме, и о том, что такое заседание должно было состояться, всегда говорило доносившееся из швейцарской жужжанье особого снаряда, несколько похожего на зингеровскую машину, с колесом, которое за ручку вращал швейцар Устин, занимаясь бесконечной очинкой «комитетских» карандашей. Этот не раз мной упомянутый Устин казался — как столь многие члены нашей многочисленной челяди — примерным старым слугой, балагуром и добряком; женат он был на толстой эстонке, которая с пресмешным отрывистым шипом звала его из подвалной квартирки («Устя! Устя!»), откуда тепло пахло курицей. Но, по-видимому, постоянная нудная работа над этими красивыми карандашами незаметным образом повлияла на его нрав, до того его внутренне озлобив, что он, как впоследствии выяснилось, поступил на службу в тайную полицию и состоял в прибыльном контакте с безобидными, но надоедливыми шпиками, всегда вертевшимися в соседстве нашего дома.

Около восьми вечера в распоряжение Устина поступали многочисленные галоши и шубы. Похожий несколько на Теодора Рузвельта,

но в более розовых тонах, появлялся Милюков в своем целлULOидном воротничке. И. В. Гессен, потирая руки и слегка наклонив набок умную лысую голову, вглядывался сквозь очки в присутствующих. А. И. Каминка, с иссиня-черными зачесанными волосами и выражением предупредительного испуга в подвижных, круглых карих глазах, уже что-то жарко доказывал однопартийцу. Постепенно переходили в комитетскую, рядом с библиотекой. Там, на темно-красном сукне длинного стола, были разложены стройные карандаши, блестели стаканы, толпились на полках переплетенные журналы и стучали маятником высокие часы с вестминстерскими курантами. За этим помещением были сложные лабиринты, сообщавшиеся с какими-то чуланами и другими дебрями, куда, бывало, надолго уходил страдавший животом Лустало и где, во время игр с двоюродным братом, Юриком Раушем, я добирался до Техаса,— и там однажды, по слухам какого-то особого заседания, полиция поместила удивительно нерасторопного агента, толстого, тихого, подслеповатого господина, в общем довольно приличного вида, который, будучи обнаружен, неторопливо и тяжело опустился на колени перед старой нашей библиотекаршой, Людмилой Абрамовной Гринберг. Интересно, как бы я мог делиться всем этим с моими школьными товарищами и учителями.

4

Реакционная печать беспрестанно нападала на кадетов, и моя мать, с беспристрастностью ученого коллекционера, собирала в альбом образцы бесталанного русского карикатурного искусства (прямого исчадья немецкого). На них мой отец изображался с подчеркнутой «барской» физиономией, с подстриженными «по-английски» усами, с бобриком, переходившим в плешь, с полными щеками, на одной из которых была родинка, и с «набоковскими» (в генетическом смысле) бровями, решительно идущими вверх от переносицы римского носа, но теряющими на полпути всякий след растительности. Помню одну карикатуру, на которой от него и от многозубого котоусого Милюкова благодарное мировое еврейство (нос и бриллианты) принимает блюдо с хлеб-солью — матушку-Россию. Однажды (года точно не помню, вероятно 1911 или 1912-й) «Новое время» заказало какому-то проходимцу оскорбительную для отца статью. Так как ее автор (некто Снесарев, если память мне не изменяет) был личностью недуэлеспособной, мой отец вызвал на дуэль редактора газеты, Алексея Суворина, человека, вероятно, несколько более приемлемого в этом смысле. Переговоры длились несколько дней; я ничего не знал, но однажды в классе заметил, что какой-то открытый на определенной странице журнальчик ходит по рукам и вызывает смешки. Я перехватил его: журнальчик оказался площадным еженедельником, где в кафешантаных стишках расписывалась история вызова со всякими комментариями; из них я между прочим узнал, что в секунданты отец пригласил своего зятя, адмирала Коломейцева, героя японской войны: в Цусимском сражении капитану второго ранга Коломейцеву, командовавшему миноносцем,

удалось пришвартоваться к горящему флагманскому броненосцу и снять с него начальника эскадры, раненного в голову адмирала Рожественского, которого лично мой дядя не терпел. По окончании урока я установил, что журнальчик был принесен одним из моих лучших друзей. Я обвинил его в предательстве. В последовавшей драке он, упав навзничь на парту, зацепился ногой обо что-то. У него треснула щиколотка, после чего он пролежал в постели несколько недель, причем благородно скрыл и от семьи и от школьных учителей, мое участие в деле.

К ужасным чувствам, возбужденным во мне журнальчиком, болезненно примешивался образ бедного моего товарища, которого, как труп, нес вниз по лестнице другой товарищ, силач Попов, гориллообразный, бритоголовый, грязный, но довольно добродушный мужчина-гимназист,— с ним даже боксом нельзя было совладать,— который ежегодно «оставался», так что, вероятно, вся школа, класс за классом, прозрачно прошла бы через него, если бы в четырнадцатом году он не убежал на фронт, откуда вернулся гусаром. Как назло, в тот день автомобиль за мной не приехал, пришлось взять извозчика, и во время не-привычного, невероятно медленного унылого и холодного путешествия с Моховой на Морскую я многое успел передумать. Я теперь понимал, почему накануне мать не спустилась к обеду и почему уже третье утро приходил Тернан, фехтовальщик-тренер, считавшийся еще лучше, чем Лустало. Это не значило, что выбор оружья был решен,— и я мучительно колебался между клинком и пулевой. Мое воображение осторожно брало столь любимую, столь жарко дышащую жизнью фигуру фехтующего отца и переносило ее, за вычетом маски и защитной байки, в какой-нибудь сарай или манеж, где зимой дрались на шпажных дуэлях, и вот я уже видел отца и его противника в черных штанах, с обнаженными торсами, яростно бьющимися,— видел даже и тот оттенок энергичной неуклюжесть, которой элегантнейший фехтовальщик не может избежать в настоящем поединке. Этот образ был так отвратителен, так живо представлялся я себе спелую наготу бешено пульсирующего сердца, которое вот-вот проткнет шпага, что мне на мгновение захотелось, чтобы выбор пал на более механическое оружие. Но тотчас же мое отчаяние еще усилилось.

Пока сани, в которых я горбился, ползли толчками по Невскому, где в морозном тумане уже зажглись расплывчатые огни, я думал об увесистом черном браунинге, который отец держал в правом верхнем ящике письменного стола. Этот обольстительный предмет, к которому как на поклон я водил Юрика Рауша, был так же знаком мне, как остальные, более очевидные, украшения кабинета: модный в те дни брик-а-брак из хрусталя или камня; многочисленные семейные фотографии; огромный, мягко освещенный Перуджино; небольшие отливающие медвяным блеском под своими собственными лампочками голландские полотна; цветы и бронза; и, прямо за чернильницей огромного письменного стола, приделанный к его горизонту, розовато-дымчатый пастельный портрет моей матери работы Бакста: художник написал ее вполоборота, изумительно передав нежные черты, высокий зачес пепельных волос, сизую голубизну глаз, округлый очерк

лба, изящную линию шеи. Но когда я просил дряхлого, похожего на тряпичную куклу возницу ехать скорее, я натыкался на сложный, сонный обман: старик привычным полуувзмахом руки обманывал лошадь, показывая, будто собирается вытащить кнутышко из голенища правого валенка, а лошадь обманывала его тем, что, тряхнув головой, притворялась, что ускоряет трусцу. Я же в снежном оцепенении, в которое меня привела эта тихая езда, переживал все знаменитые дуэли, столь хорошо знакомые русскому мальчику. Грибоедов показывал свою окровавленную руку Якубовичу. Пистолет Пушкина падал дулом в снег. Лермонтов под грозовой тучей улыбался Мартынову. Я даже воображал, да простит мне Бог, ту бездарнейшую картину бездарного Репина, на которой сорокалетний Онегин целится в кучерявого Собинова. Кажется, нет ни одного русского автора, который не описал бы этих английских дуэлей à volonté⁶¹, и покамест мой дремотный ванька сворачивал на Морскую и полз по ней, в туманном моем мозгу, как в магическом кристалле, силуэты дуэлянтов сходились — в рощах старинных поместий, на Волковом поле, за Черной Речкой на белом снегу. И, как бы промеж этих наносных образов, бездной зияла моя нежная любовь к отцу — гармония наших отношений, теннис, велосипедные прогулки, бабочки, шахматные задачи, Пушкин, Шекспир, Флобер и тот повседневный обмен скрытыми от других семейными шутками, которые составляют тайный шифр счастливых семей.

Предоставив Устину заплатить рупь извозчику, я кинулся в дом. Уже в парадной донеслись до меня сверху громкие веселые голоса. Как в нарочитом апофеозе, в сказочном мире все разрешающих совпадений, Николай Николаевич Коломейцев в своих морских реалиях спускался по мраморной лестнице. С площадки второго этажа, где безрукая Венера высилась над малахитовой чашей для визитных карточек, мои родители еще говорили с ним, и он, спускаясь, со смехом оглядывался на них и хлопал перчаткой по балюстраде. Я сразу понял, что дуэли не будет, что противник извинился, что мир мой цел. Минуя дядю, я бросился вверх на площадку. Я увидел спокойное всегдашнее лицо матери, но взглянуть на отца я не мог. Мне удалось, в виде психологического алиби, пролепетать что-то о драке в школе, но тут мое сердце поднялось, — поднялось, как на зыби поднялся «Буйный», когда его палуба на мгновенье сровнялась со срезом «Князя Суворова», и у меня не было носового платка.

Все это было давно, — задолго до той ночи в 1922 году, когда в берлинском лекционном зале мой отец заслонил Милюкова от пули двух темных негодяев и, пока боксовым ударом сбивал с ног одного из них, был другим смертельно ранен выстрелом в спину; но ни тени от этого будущего не падало на нарядно озаренную лестницу петербургского дома, и, как всегда, спокойна была большая прохладная ладонь, легшая мне на голову, и несколько линий игры в сложной шахматной композиции не были еще слиты в этюд на доске.

⁶¹ Дуэль со стрельбой не по команде (фр.).

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

1

Как известно, книги капитана Майн Рида (1818—1883), в упрощенных переводах, были излюбленным чтением русских мальчиков и после того, как давно увяла его американская и англо-ирландская слава. Владея английским с колыбельных дней, я мог наслаждаться «Безглазым всадником» (перевожу точно) в несокращенном и довольно многословном оригинале. Двою друзей обмениваются одеждами, шляпами, конями, и злодей ошибается жертвой — вот главный завиток сложной фабулы. Бывшее у меня издание (вероятно, лондонское) осталось стоять на полке памяти в виде пухлой книги в красном коленкоровом переплете, с водянисто-серой заглавной картинкой, глянец которой был сначала подернут дымкой папиросной бумаги, предохранявшей ее от неизвестных посягательств. Я помню постепенную гибель этого защитного листика, который сперва начал складываться неправильно, по уродливой диагонали, а затем изорвался; самую же картинку, как бы выгоревшую от солнца жаркого отроческого воображения, я вспомнить не могу: верно, на ней изображался несчастный брат Луизы Пойндекстер, два-три койота, кактусы, колючий мескит,— и вот, вместо той картины, вижу в окно ранчо всамделишную юго-западную пустыню с кактусами, слышу утренний, нежно-жалобный крик венценосной Гамбелевой куропаточки и преисполняюсь чувством каких-то небывалых свершений и наград.

Из Варшавы, где его отец, барон Рауш фон Траубенберг, был генерал-губернатором, мой двоюродный брат Юрий приезжал гостить летом в наше петербургское имение, и с ним-то я играл в общизвестные майнридовские игры. Сначала для наших лесных поединков мы пользовались пружинными пистолетами, стреляющими с порядочной силой палочками длиной с карандаш, причем для пущей ревности мы сдирали с металлического кончика резиновую присоску; позднее же мы перешли на духовые ружья разнообразных систем и били друг в друга из них маленькими стальными ярко оперенными стрелами, производившими неглубокие, но чувствительные ранки, если попадали в щеку или руку. Читатель легко может себе представить все те забавы, которые два самолюбивых мальчика могли придумать, пытаясь перещеголять друг друга в смелости; раз мы переправились через реку у лесопилки, прыгая с одного плавучего бревна на другое; все это скользило, вертелось под ногами, и черно синела глубокая вода, и это для меня не представляло большой опасности, так как я хорошо плавал, между тем как не отстававший от меня Юрик плавать совершенно не умел, скрыл это и едва не утонул в двух саженях от берега.

Летом 1917 года, уже юношами, мы забавлялись тем, что каждый по очереди ложился навзничь на землю под низкую доску качелей, на которых другой, мощно реял, проскальзывая над самым носом лежащего, и покусывали в затылок муравьи, а через полтора года он пал во время конной атаки в крымской степи, и его мертвое тело при-

везли в Ялту хоронить: весь перед черепа был сдвинут назад силой пяти пуль, убивших его наповал, когда он один поскакал на красный пулемет. Может быть, я невольно подгоняю прошлое под известную стилизацию, но мне сдается теперь, что мой так рано погибший товарищ, в сущности, не успел выйти из воинственно-романтической майнридовой грэзы, которая поглощала его настолько полнее, чем меня, во время наших не таких уже частых и не очень долгих летних встреч.

2

Недавно в библиотеке американского университета я достал этого самого «The Headless Horseman», в столетнем, очень непривлекательном издании без всяких иллюстраций. Теперь читать это подряд невозможно, но проблески таланта есть, и намечается местами даже какая-то гоголевская красочность. Возьмем для примера описание бара в бревенчатом техасском отеле пятидесятых годов. Франт-бармен, без сюртука, в атласном жилете, в рубашке с рюшами, описан очень живо, и ярусы цветных графинов, среди которых «антiquарно тикают» голландские часы, «кажутся радугой, блестящей за его плечами, и как бы венчиком окружают его надущенную голову» (очень ранний Гоголь, конечно). «Из стекла в стекло переходят и лед, и вино, и мононгахила (сорт виски)». Запах мускуса, абсента и лимонной корки наполняет таверну, а резкий свет «канфиновых ламп подчеркивает темные астериски, произведенные экспекторацией (плевками) на белом песке, которым усыпан пол». Лет девяносто спустя, а именно в 1941-м году, я собирал в тех местах, где-то к югу от Далласа, баснословной весенней ночью, замечательных совок и пядениц у неоновых огней бессонного гаража.

В бар входит злодей, «рабосекущий миссисипец», бывший капитан волонтеров, мрачный красавец и братер Кассий Калхун. Он провозглашает грубый тост — «Америка для американцев, а проклятых ирландцев долой!», причем нарочно толкает героя нашего романа, Мориса Джеральда, молодого укротителя мустангов в бархатных панталонах и пунцовом нашейном шарфе: он, впрочем, был не только скромный коноторговец, а, как выясняется впоследствии к сугубому восхищению Луизы, баронет — сэр Морис. Не знаю, может быть, именно этот британский шик и был причиной того, что столь быстренько закатилась слава нашего романиста-ирландца в Америке, его второй родине.

Немедленно после толчка Морис совершает ряд действий в следующем порядке:

Ставит свой стакан с виски на стойку.

Вынимает шелковый платок (актер не должен спешить).

Отирает им с вышитой груди рубашки осквернившее ее виски.

Перекладывает платок из правой руки в левую.

Опять берет стакан со стойки.

Выхлестывает остаток виски в лицо Калхуну.

Спокойно ставит опять стакан на стойку.

Эту художественную серию действий я недаром помню так точно: много раз мы разыгрывали ее с двоюродным братом.

Дузель на шестизарядных кольтах (нам приходилось их заменять револьверами с восковыми пульками в барабанах) состоялась тут же в опустевшей таверне. Несмотря на интерес, возбуждаемый поединком («оба были ранены... кровь прыскала на песок пола»), уже в десять лет, а то и раньше, что-то неудержимо побуждало меня покинуть таверну, с ее уже ползущими на четвереньках дуэлянтами, и смешаться с затихшой перед таверной толпой, чтобы поближе рассмотреть «в душистом сумраке» неких глухо и соблазнительно упомянутых автором «сеньорит сомнительного звания». Еще с большим волнением читал я о Луизе Пойндекстер, белокурой кузине Калхуна и будущей лэди Джеральд, дочке сахарного плантатора. Эта прекрасная, незабвенная девица, почти креолка, является перед нами томимая муками ревности, хорошо известной мне по детским балам в Петербурге, когда какая-нибудь безумно любимая девочка с белым бантом почему-то вдруг начинала не замечать меня. Итак, Луиза стоит на плоской кровле своего дома, опершись белой рукой на каменный парапет, еще влажный от ночных рос, и чета ее грудей (так и написано — «twin breasts») поднимается и опускается, а лорнет направлен — этот лорнет я впоследствии нашел у Эммы Бовари, а потом его держала Анна Каренина, от которой он перешел к Даме с собачкой и был ею потерян на ялтинском молу. Ревнивой Луизой он был направлен в пятнистую тень под мескитами, где тайно любимый ею всадник вел беседу с не нравившейся ни мне, ни ему амazonкой, донной Айсидорой Коваруббио де Лос Ланос, дочкой местного помещика. Автор довольно противно сравнивал эту преувеличеннюю брюнетку с «хорошеньkim, усатеньkim молодым человеком», а ее шевелюру с «пышным хвостом дикого коня».

«Мне как-то случилось,— объяснил Морис Луизе, тайно любимой им всаднице,— оказать донне Айсидоре небольшую услугу, а именно избавить ее от шайки дерзких индейцев». «Небольшую услугу! — воскликнула Луиза.— Да знаете ли вы, что, кабы мужчина оказал мне такую услугу...»— «Чем же вы бы его наградили?» — спросил Морис с простительным нетерпением. «О, я бы его полюбила!» — крикнула откровенная креолка. «В таком случае, сударыня,— раздельно выговарил Морис,— я бы отдал полжизни, чтобы вы попали в лапы индейцев, а другую, чтобы вас спасли».

И тут наш романтик-капитан вкрапливает странное авторское признание. Перевожу его дословно: «Сладчайшее в моей жизни лобзание было то, которое имел я сидючи в седле, когда женщина — прекрасное создание, в отъезжем поле — перегнулась ко мне со своего седла и меня, конного, поцеловала».

Это увесистое «сидючи» (*as I sat*) придает, конечно, и плотность и продолжительность лобзанию, которое капитан так элегантно «имел» (*had*), но даже в одиннадцать лет мне было ясно, что такая кентаврская любовь поневоле несколько ограничена. К тому же Юрик и я знали одного лицеиста, который это испробовал на Островах, но лошадь его дамы спихнула его лошадь в канаву с водой. Истомлен-

ные приключениями в вырском чапарале, мы ложились на траву и говорили о женщинах. Невинность наша кажется мне теперь почти чудовищной при свете разных исповедей за те годы, приводимых Хавелок Эллисом, где идет речь о каких-то малютках всевозможных полов, занимающихся всеми греко-римскими грехами, постоянно и всюду, от ангlosаксонских промышленных центров до Украины (откуда имеется одно особенно вавилонское донесение от помещика). Трущобы любви были незнакомы нам. Заставив меня кровью (добытой перочинным ножом из большого пальца) подписать на пергаменте клятву молчания, тринацатилетний Юрик поведал мне о своейтайной страсти к замужней dame в Варшаве (ее любовником он стал только гораздо позже — в пятнадцать лет). Я был моложе его на два года, и мне нечем было ему платить за откровенность, ежели не считать нескольких бедных, слегка приукрашенных рассказов о моих детских увлечениях на французских пляжах, где было так хорошо, и мучительно, и прозрачно-шумно, да петербургских домах, где всегда так странно и даже жутко бывало прятаться и шептаться, и быть хватааем горячей ручкой во время общих игр в чужих незнаемых коридорах, в суровых и серых лабиринтах, полных неизвестных нянь, после чего глухо болела голова, и по каретным стеклам шли радуги от огней. Впрочем, в том самом году, который теперь постепенно освободил от шлака более ранних и более поздних впечатлений, нечто вроде романтического приключения с напылом первых мужских чувств мне все-таки довелось испытать. Я собираюсь продемонстрировать очень трудный номер, своего рода двойное сальто-мортале с так называемым «вализским» перебором (меня поймут старые акробаты), и посему прошу совершенной тишины и внимания.

3

Осенью 1910-го года брата и меня отправили с гувернером в Берлин на три месяца, дабы выправить нам зубы: у брата верхний ряд выпячивался из-под губы, а у меня они все росли как попало, один даже добавочный шел из середины неба, как у молодой акулы. Все это было прескучно. Знаменитый американский дантист в Берлине выкорчевал кое-что козьей ножкой, причиняя дикую неприличную боль, и как ужасен бывал у тогдашних дантистов пасмурный вид в окне перед взвинченным столом, и вата, вата, сухая, дьявольская вата, которую они накладывали пациенту за десны. Оставшиеся зубы этот жестокий американец перекрутил тесемками перед тем, как обезобразить нас платиновыми проволоками. Разумеется, мы считали, что нам полагается много развлечений в награду за эти адские утра Ин ден Цельтен ахтцен А,— вот вспомнил даже адрес и бесшумный ход наемного электрического автомобиля. Сначала мы много играли в теннис, а когда наступили холода, стали почти ежедневно посещать скетинг-ринк на Курфюрстендумме. Военный оркестр (Германия в те годы была страшной музыки) не мог заглушить механической воркотни неумолкаемых роликов. Существовала в России порода мальчиков (Вася Букетов, Женя Кан, Костя Мальцев,— где все они ныне?), которые мастерски

играли в футбол, в теннис, в шахматы, блистали на льду катков, перебирая на поворотах «через колено» бритвоподобными беговыми коньками, плавали, ездили верхом, прыгали на лыжах в Финляндии и немедленно научались всякому новому спорту. Я принадлежал к их числу и потому очень веселился на этом паркетном скейтинге. Было человек десять инструкторов в красной форме с бранденбургами, большинство из них говорило по-английски (я немецкому языку никогда не научился и в жизни не прочел ни одного литературного произведения по-немецки). Самый ловкий из них, мрачный молодой бандит из Чикаго, научил меня танцевать на роликах. Мой брат, мирный и неловкий, в очках, тихо ковылял в сторонке, никому не мешая, а гувернер пил кофе и ел торт мокко в кафе за бархатным барьером. Я вскоре заприметил группу изящных, стройных молодых американок; сначала они все сливались для меня в одно странно-привлекательное явление; но постепенно началась дифференциация. Как-то я тренировался в вальсе и, за несколько секунд до одного из самых болезненных падений, которое мне когда-либо пришлось потерпеть (расшиб все лицо), я услышал из этой обольстительной группы уже знакомый мне, полновзвучный, как удар по арфе, голос, выразивший мне одобрение. До сих пор медленно едет она у меня мимо глаз, эта высокая американочка в синем тайере, в большой черной шляпе, насквозь пронзенной сверкающей булавкой, в белых лайковых перчатках и лакированных башмаках, вооруженных какими-то особенными роликами. По ночам я не спал, воображая эту Луизу, ее стройный стан, ее голову, нежно-голубоватую шею, и удивлялся странному физическому неудобству, которое если и ощущалось мною раньше, то не в связи с какими-нибудь фантазиями, а только оттого, что натирали рейтзузы. Как-то я шел через вестибюль ринка, и около дорической колонны стояли она и мой роликовый инструктор, и этот гладко причесанный наглец типа Калхуна крепко держал ее за кисть и чего-то добывался, и она по-детски вертела так и сяк плененной рукой, и в ближайшую ночь я несколько раз подряд заколол его, застрелил, задушил.

Наш гувернер, тот Ленский, о котором я писал по другому поводу, высоконравственный и несколько наивный человек, был впервые за границей. Ему не всегда было легко согласовать свой страстный интерес к туристическим приманкам с педагогическим долгом, и в общем, нам с братом часто удавалось заводить его в места, куда родители нас бы, может быть, и не пустили. Так, например, он легко поддался приманчивости Винтергартена, и вот однажды мы очутились с ним сидящими в одной из передних лож под искусственным звездным небом этого знаменитого учреждения и через соломинки потягивающими из-под взбитых сливок гладкий и необыкновенно вкусный «айсшоколад».

Программа была обычная: был жонглер во фраке; была внушительного вида певица, которая вспыхивала поддельными каменьями, заливаясь ариями в переменных лучах зеленого и красного цвета прожекторов; затем был комик на роликах; между ним и велосипедным номером (о котором скажу в свое время) было в программе объявление: «Gala Girls», — и с потрясающей и постыдной внезапностью,

напомнившей мне падение на черной пылью подернутом катке, я уз-нал моих американских красавиц в гирлянде горластых «гёрлз», ко-торые, рука об руку, сплошным пышным фронтом переливались спра-ва налево и потом обратно, ритмически вскидывая то десяток ле-вых, то десяток правых одинаковых роковых ног. Я нашел лицо моей волоокой Луизы и понял, что все кончено, даже если и отличалась она какой-то грацией, каким-то отпечатком наносной неги от своих вульгарных товарок. Сразу перестать думать о ней я не мог, но испы-танное потрясение послужило толчком для индуктивного процесса, ибо я вскоре заметил в порядке новых отроческих чудес, что теперь уже не только она, но любой женский образ, позирующий академической рабыней моему ночному мечтанию, возбуждает знакомое мне, все еще загадочное неудобство. Об этих симптомах я просто-душно спросил родителей, которые как раз приехали в Берлин из Мюнхена или Милана, и отец деловито зашуршал немецкой газетой, только что им развернутой, и ответил по-английски, начиная — по-видимому, длинное — объяснение интонацией «мнимой цитаты», при помощи которой он любил разгоняться в речах: «Это, мой друг, всего лишь одна из абсурдных комбинаций в природе — вроде того, как связаны между собой смущение и заревшиеся щеки, горе и красные глаза, shame and blushes, grief and red eyes... Tolstoi vient de tou-гіг», вдруг перебил он самого себя другим, ошеломленным голосом, обращаясь к моей матери, тут же сидевшей у вечерней лампы. «Да что ты! — удрученно и тихо воскликнула она, соединив руки, и затем при-бавила: — Пора домой», — точно смерть Толстого была предвестником каких-то апокалиптических бед.

4

Вернемся теперь к велосипедному номеру — в моей версии. Летом следующего, 1911, года Юрик Рауш не приезжал, и я остался наедине с запасом смутных переживаний. Сидя на корточках перед неудобно низкой полкой в галерее усадьбы, в полуумраке, как бы умышленно мешающем мне в моих тайных исследованиях, я разыскивал зна-чение всяких темных, темно соблазнительных и раздражительных терминов в восьмидесятидвухтомной Брокгаузовской энциклопедии. В видах экономии заглавное слово замещалось на протяжении соот-ветствующей статьи его начальной буквой, так что к плохому осве-щению, пыли и мелкоте шрифта примешивалось маскарадное мелька-ние прописной буквы, означающей малоизвестное слово, которое пряталось в сером петите от молодого читателя и малиновой ижицы на его лбу. Ловлею бабочек и всякими видами спорта заполнялись солнечные часы летних суток, но никакое физическое утомление не могло унять беспокойство, ежевечерне высыпавшее меня в смутное путешествие. До обеда я ездил верхом, а на закате, надув шины до предельного напряжения, катил Бог весть куда на своем старом Эн-фильде или новом Свифте, рулевые рога которого я перевернул так, что их вулканитовые концы были ниже уровня седла и позволяли мне гнуть хребет по-гоночному. С чувством бесплотности я углублялся в цветной вечерний воздух и летел по парковой аллее, следя вчера-ш

нему оттиску моих же дунлоповых шин; тщательно объезжал коряжные корни и гуттаперчевых жаб; намечал издали палую веточку и с легким треском надламывал ее чуткой шиной; ловко лавировал между двумя листочками или между камушком и ямкой в земле, откуда мой же проезд выбил его накануне; мгновение наслаждался краткой гладью мостка над ручьем; тормозил и толчком переднего колеса отпахивал беленую калитку в конце Старого парка и затем, в упоении воли и грусти, стрекотал по твердой липкой обочине полевых дорог.

В то лето я каждый вечер проезжал мимо золотой от заката избы, на черном пороге которой всегда в это время стояла Поленька, однолетка моя, дочка кучера. Она стояла, опершись о косяк, мягко и свободно сложив руки на груди — воплощая и *rus* и *Русь*, — и следила за моим приближением издалека с удивительно приветливым сиянием на лице, но по мере того, как я подъезжал, это сияние сокращалось до полуулыбки, затем до слабой игры в углах ее сжатых губ и наконец выцветало вовсе, так что, поравнявшись с нею, я не находил просто никакого выражения на ее прелестном круглом лице, чуть тронутом оспой, и в косящих светлых глазах. Но как только я проезжал и оглядывался на нее, перед тем как взмыть в гору, уже опять намечалась тонкая впадинка у нее на щеке: опять лучились таинственным светом ее дорогие черты. Боже мой, как я ее обожал! Я никогда не сказал с ней ни слова, но после того как я перестал ездить по той дороге в тот низко-солнечный час, наше безмолвное знакомство время от времени еще возобновлялось в течение трех-четырех лет. Посещаю, бывало, хмурый, в крагах, со стеком, скотный двор или конюшню, и откуда ни возьмись она вдруг появляется, словно вырастая из золотистой земли, — и всегда стоит немного в сторонке, всегда босая, потирая подъем одной ноги об икру другой, или почесывая четвертым пальцем пробор в светло-русых волосах, и всегда прислоняясь к чему-нибудь, к двери конюшни, пока седлают мне лошадь, или к стволу липы в резко-яркое сентябрьское утро, когда всей оравой деревенская прислуга собиралась у парадного подъезда провожать нас на зиму в город. С каждым разом ее грудь под серым ситцем казалась мне мягче, а голые руки крепче, и однажды, незадолго до ее отъезда в далекое село, куда ее в шестнадцать лет выдали за пьяницу-кузнеца, я заметил как-то, проходя мимо, блеск нежной насмешки в ее широко расставленных светло-карих глазах. Странно сказать, но в моей жизни она была первой, имевшей колдовскую способность накипанием света и сладости прожигать сон мой насквозь (а достигала она этого тем, что не давала погаснуть улыбке), а между тем в сознательной жизни я и не думал о сближении с нею, да при этом пуще боялся испытать отвращение от запекшейся грязи на ее ногах и затхлого запаха крестьянского платья, чем оскорбить ее привильным господским ухаживанием.

5

Прежде чем расстаться с этим навязчивым образом, мне хотелось бы задержать перед глазами одновременно две картины. Одна из них долго жила во мне совершенно отдельно от скромной Поленьки, стоявшей на черной ступени золотой избы; оберегая собственный покой,

я отказывался отнести к ней то русалочное воплощение ее жалостной красоты, которое я однажды подсмотрел. Дело было в июне того года, когда нам обоим минуло тринадцать лет; я пробирался по берегу Оредежи, преследуя так называемых «черных» аполлонов (*Parnassius mnestes*), диковинных, древнего происхождения, бабочек с полу-прозрачными, глянцевитыми крыльями и пушистыми вербными брюшками. Погоня за этими чудными созданиями завела меня в заросль черемух и ольх у самого края холодной синей реки, как вдруг до-неслись крики и всплески, и я увидел из-за благоухающего куста Поленьку и трех-четырех других подростков, полоскавшихся нагишом у развалин свай, где была когда-то купальня. Мокрая, ахающая, задыхающаяся, с соплей под курносым носом, с крутыми детскими ребрами, резко намеченными под бледной, пупырчатой от холода кожей, с забрызганными черной грязью икрами, с круглым гребнем, горевшим в темных от влаги волосах, она спасалась от бритоголовой, тугопузой девчонки и бесстыдно возбужденного мальчишки с тесемкой вокруг чресл (кажется, против глазу), которые приставали к ней, хлеща и шлепая по воде вырванными стеблями водяных лилий.

Второй образ относится к святкам 1916-го года. Стоя в предвечерней тишине на устланной снегом платформе станции Сиверской, я смотрел на дальнюю серебряную рощу, постепенно становившуюся свинцовой под потухающим небом, и ждал, чтобы появился из-за нее гуашевый дым поезда, который должен был доставить меня обратно в Петербург после веселого дня лыжного спорта. Лиловый дым появился, и в эту же минуту Поленька прошла мимо меня с другою молодой крестьянкой,— обе были в толстых платках, в больших варенках, в бесформенных стеганых кофтах с ватой, торчавшей из прорванной черной материи, и Поленька, с синяком под глазом и вспухнувшей губой (говорили, что муж ее бьет по празднику), заметила, ни к кому не обращаясь, задумчиво и мелодично: «А барчук-то меня не признал». Только этот один раз и довелось мне услышать ее голос.

6

Этим голосом говорят со мною ныне те летние вечера, когда отроком я так беззвучно и быстро, бывало, катил мимо длинной тени ее низкой избы. В том месте, где полевая дорога вливалась в пустынное шоссе, я слезал с велосипеда и прислонял его к телеграфному столбу. На близком, целиком раскрывшемся небе медлил грозный в своем великолепии закат. Среди его незаметно меняющиеся нагромождений взглядел различал фуксином окрашенные структурные детали небесных организмов, и червонные трещины в темных массивах, и гладкие эфирные мели, и миражи райских островов. Я тогда еще не умел — как теперь отлично умею —правляться с такими небесами, переплавлять их в нечто такое, что можно отдать читателю, пускай он замирает; и тогдашнее мое неумение отвязаться от красоты усугубляло томление. Исполинская тень начинала заливать равнину, и в медвяной тишине ровно гудели столбы, и упруго стучала во мне кровь, и пытающиеся по ночам гусеницы некоторых бабочек начинали неторопливо всползать по стеблям своих кормовых растений. С едва улови-

мым хрустким звуком прелестный голубой червь в зеленую полоску работал челюстями по краю полевого листика, выедая в нем сверху вниз правильную лунку, разгибая шею и снова принимаясь грызть с верхней точки, чтобы углубить полуокруг. Машинально я переводил едока вместе с его цветком в одну из всегда бывших при мне коробочек, но мои мысли в кои-то веки были далеко от воспитания бабочек. Колетт, моя пляжная подруга; танцовщица Луиза; все те раскрасневшиеся, душевитоловые, в низко повязанных, ярких шелковых поясах девочки, с которыми я играл на детских праздниках; графиня Г., таинственная пассия моего двоюродного брата; Поленька, прислонившаяся с улыбкой странной муки к двери в огне моих новых снов — все это сливалось в один образ, мне еще не известный, но который мне скоро предстояло узнать.

Помню один такой вечер... Блеск его рдел на выпуклости велосипедного звонка. Над черными телеграфными струнами веерообразно расходились густо-лиловые ребра роскошных малиновых туч: это было как некое ликование с заменой кликов гулкими красками. Гул блекнул, гас воздух, темнели поля; но над самым горизонтом, над мелкими зубцами суживающегося к югу бора, в прозрачном, как вода, бирюзовом просвете, сверху оттененном слоями почерневших туч, глазу представлялась как бы частная даль, с собственными украшениями, которые только очень глупый читатель мог бы принять за запасные части данного заката. Этот просвет занимал совсем небольшую долю огромного неба, и была в нем та нежная отчетливость, которая свойственна предметам, если смотреть не с того конца в телескоп. Там, в миниатюрном виде, расположилось семейство ведряных облаков, скопление светлых воздушных завоев, анахронизм млечных красок: нечто очень далекое, но разработанное до последних подробностей; фантастически уменьшенный, но совсем уже готовый для сдачи мне мой завтрашний сказочный день.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

1

Я впервые увидел Тамару — выбираю ей псевдоним, окрашенный в цветочные тона ее настоящего имени,— когда ей было пятнадцать лет, а мне шестнадцать. Кругом как ни в чем не бывало сияло и зыбилось вырское лето. Второй год тянулась далекая война. Двумя годами позже пресловутой перемене в государственном строе предстояло убрать знакомую, кроткую усадебную обстановку,— и уже погромыхивал закулисный гром в стихах Александра Блока.

В начале того лета, и в течение всего предыдущего, имя Тамара появлялось (с той напускной наивностью, которая так свойственна повадке судьбы, приступающей к важному делу) в разных местах нашего имения. Я находил его написанным химическим карандашом на беленой калитке, или начерченным палочкой на красноватом песке аллеи, или недовырезанным на спинке скамьи, точно сама природа, минуя нашего старого сторожа, вечно воевавшего с вторжением

дачников в парк, таинственными знаками предваряла меня о приближении Тамары. В тот июльский день, когда я наконец увидел ее стоящей совершенно неподвижно (двигались только зрачки) в изумрудном свете березовой рощи, она как бы зародилась среди пятен этих акварельных деревьев с беззвучной внезапностью и совершенством мифологического воплощения.

Дождавшись того, чтобы сел невидимый мне овод, она прихлопнула его и, довольная, сквозь ожившую и заигравшую рощу, пустилась догонять сестру и подругу, отчетливо звавших ее; немного позже, с заросшего дикой малиной старого кладбища, боком, как калека, сходившего по крутым склону к реке, я увидел, как все три они шли через мост, одинаково постукивая высокими каблучками, одинаково засунув руки в карманы темно-синих жакеток и, чтобы отогнать мух, одинаково встряхивая головами, убранными цветами и лентами. Очень скоро путем слежки я выяснил, где мать ее снимала дачку: ее скрывала рощица яблонь. Ежедневно, верхом или на велосипеде, я проезжал мимо,— и на повороте той или другой дороги что-то ослепительно взрывалось под ложечкой, и я обгонял Тамару, с деятельно устремленным видом шедшую по обочине. Та же природная стихия, которая произвела ее в тающем блеске березняка, тихонько убрала сперва ее подругу, а потом ее сестру; луч моей судьбы явно сосредоточился на темной голове, то венке васильков, то с большим бантом черного шелка, которым была подвязана на затылке вдвое сложенная каштановая коса; но только 9-го августа по новому стилю я решился с ней заговорить.

Сквозь тщательно протертые стекла времени ее красота все так же близко и жарко горит, как горела бывало. Она была небольшого роста, с легкой склонностью к полноте, что благодаря гибкости стана да тонким щиколоткам не только не нарушило, но, напротив, подчеркивало ее живость и грацию. Примесью татарской или черкесской крови объянялся, вероятно, особый разрез ее веселых, черных глаз и рдяная смуглota щек. Ее профиль на свет был обрисован тем драгоценным пушком, которым подернуты плоды фруктовых деревьев миндалевой группы. Ее очаровательная шея была всегда обнажена, даже зимой,— каким-то образом она добилась разрешения не носить воротничка, который полагалось носить гимназисткам. У нее были всякие неожиданные прибаутки и огромный запас второстепенных стихов,— тут были и Жадовская, и Виктор Гофман, и К. Р., и Мережковский, и Мазуркевич, и Бог знает еще какие дамы и мужчины, на слова которых писались романсы, вроде «Ваш уголок я убрала цветами» или «Христос воскрес, поют во храме». Сказав что-нибудь смешное или черезсур лирическое, она, сильно дохнув через ноздри, говорила иронически: «Вот как хорошо!» Ее юмор, чудный беспечный смешок, быстрота речи, картавость, блеск и скользкая гладкость зубов, волосы, влажные веки, нежная грудь, старые туфельки, нос с горбинкой, дешевые сладкие духи — все это, смешавшись, составило необыкновенную, восхитительную дымку, в которой совершенно потонули все мои чувства. «Что ж, мы мещаночки, мы ничего, значит, и не знаем»,— говорила она с такой щелкающей усмешечкой, словно грызла семечки.

ки: но на самом деле она была и тоньше, и лучше, и умнее меня. Я очень смутно представлял себе ее семью: отец служил в другой губернии, у матери было отчество как в пьесе Островского. Жизнь без Тамары казалась мне физической невозможностью, но когда я говорил ей, что мы женимся, как только кончу гимназию, она твердила, что я очень ошибаюсь или нарочно говорю глупости.

Уже во второй половине августа пожелтели березы; сквозь рощи их тихо проплывали, едва взмахивая черным крылом, траурницы, большие бархатные бабочки с палевой каймой. Мы встречались за рекой, в парке соседнего имения, принадлежавшего моему дяде: в то лето он остался в Италии, и мы с Тамарой безраздельно владели и просторным этим парком с его мхами и урнами, и осенней лазурью, и русой тенью шуршащих аллей, и садом, полным мясистых, розовых и багряных георгинов, и беседками, и скамьями, и террасами запертого дома. Братний и мой гувернер, Волгин, которому по зрелости наших лет полагалось, конечно, ограничивать свое гувернество лишь участием в теннисе да писанием за нас тех бесовских школьных сочинений, которые задавались на лето (их за него писал какой-то его родственник), пробовал спрятаться в кусты и чуть ли не за версту следить за мной и Тамарой при помощи громоздкого телескопа, найденного им на чердаке вырского дома; дядин управляющий Евсей почтительно мне об этом доложил, и я пожаловался матери: она знала о Тамаре только по моим стихам, которыми я всегда с матерью делался, но, что бы она ни думала о наших с Тамарой свиданьях, куст и труба столь же оскорбили ее, как меня. Когда я по вечерам уезжал в сплошную черноту на верном моем Свифте, она только покачивала головой да велела лакею не забыть приготовить мне к возвращению простоквши и фруктов. В темноте журчал дождь. Я заряжал велосипедный фонарь магическими кусками карбида, защищал спичку от ветра и, заключив белое пламя в стекло, осторожно углублялся в мрак. Круг света выбирал влажный выглаженный край дороги между ртутным блеском луж посередине и сединой трав вдоль нее. Шатким призраком мой бледный луч вспрыгивал на глинистый скат у поворота и опять нащупывал дорогу, по которой, чуть слышно стрекоча, я съезжал к реке. За мостом тропинка, отороченная мокрым жасмином, круто шла вверх; приходилось слезать с велосипеда и толкать его в гору, и капало на руку. Наверху мертвенный свет карбида мелькал по лоснящимся колоннам, образующим портик с задней стороны дядиного дома. Там, в приютном углу у закрытых ставень окна, под аркадой, ждала меня Тамара. Я гасил фонарик и ощупью поднимался по скользким ступеням. В беспокойной тьме ночи столетние липы скрипели и шумно накипали ветром. Из сточной трубы, сбоку от благосклонных колонн, суетливо и неутомимо бежала вода, как в горном ущелье. Иногда случайный добавочный шорох, перебивавший ритм дождя в листве при соприкосновении двух мощных ветвей, заставлял Тамару обращать лицо в сторону воображаемых шагов, и тогда я различал ее таинственные черты, как бы при собственной их фосфористости; но это подкрадывался только дождь, и, тихо выпустив задержанное на мгновение дыхание, она опять закрывала глаза.

С наступлением зимы наш безрассудный роман был перенесен в городскую, гораздо менее участливую обстановку. Все то, что могло казаться — да и кажется многим,— просто атрибутами классической поэзии, вроде «лесной сени», «уединенности», «сельской неги» и прочих пушкинских галлюцизмов, внезапно приобрело весомость и значительность, когда мы в самом деле лишились нашего деревенского убежища. Меблированные комнаты, сомнительные, как говорится, гостиницы, отдельные кабинеты, весь трафарет французских влияний на родную словесность после Пушкина был, признаюсь, вне предела дерзаний шестнадцатилетнего тенишевца. Негласность свиданий, столь приятная и естественная в деревне, теперь обернулась против нас; и так как обоим нам была невыносима мысль встречаться у меня или у нее на дому, под неизбежным посторонним наблюдением, а лукавства у нас не хватало, чтобы предвидеть, как скоро мы бы с этим наблюдением справились, Тамара, в своей скромной серой шубке, и я, с касеттом в бархатном кармане пальто, принуждены были странствовать по улицам, по обледенелым петербургским садам, по закоулкам, где как-то разваливалась набережная, и где приходилось сталкиваться с хулиганьем,— и эти постоянные искания приюта порождали странное чувство бездомности: тут начинается тема бездомности,— глухое предисловие к позднейшим, значительно более суровым блужданиям.

Мы пропускали школу: не помню, как устраивалась Тамара, я же подкупал нашего швейцара Устина, заведовавшего нижним телефоном (24-43), и Владимир Васильевич Гиппиус, часто звонивший из школы, чтобы справиться о моем пошатнувшемся здоровье, не видал меня в классе, скажем, с понедельника до пятницы, а во вторник я опять начинал болеть. Мы сиживали на скамейках в Таврическом саду, сняв сначала ровную снежную попону с холодного сидения, а затем варежки с горячих рук. Мы посещали музеи. В будни по утрам там бывало дремотно и пусто, и климат был оранжерейный по сравнению с тем, что происходило в восточном окне, где красное, как апельсин-королек, солнце низко висело в замерзшем сизом небе. В этих музеях мы отыскивали самые отдаленные, самые неказистые зальца, с небольшими смуглыми голландскими видами конькобежных утех в тумане, с офортами, на которые никто не приходил смотреть, с палеографическими экспонатами, с тусклыми макетами, с моделями печатных станков и тому подобными бедными вещицами, среди которых посетителем забытая перчатка прямо дышала жизнью. Одной из лучших наших находок был незабвенный чулан, где сложены были лесенки, пустые рамы, щетки. В Эрмитаже, помнится, имелись кое-какие уголки,— в одной из зал среди витрин с египетскими прескверно стилизованными жуками, за саркофагом какого-то жреца по имени Нана. В Музее Александра Третьего, тридцатая и тридцать третья залы, где свято хранились такие академические никчемности, как, например, картины Шишкова и Харламова — какая-нибудь «Пропсека в бору» или «Голова цыганенка» (точнее не помню),— отличались закутами за высокими стеклянными шкапами с рисунками и ока-

зывали нам подобие гостеприимства,— пока не ловил нас грубый инвалид. Постепенно из больших и знаменитых музеев мы переходили в маленькие, в Музей Суворова, например, где, в герметической тишине одной из небольших комнат, полной дряхлых доспехов и рваных шелковых знамен, восковые солдаты в ботфортах и зеленых мундирах держали почетный караул над нашей безумной неосторожностью. Но, куда бы мы ни заходили, рано или поздно тот или другой седой сторож на замшевых подошвах присматривался к нам, что было нетрудно в этой глупши,— и приходилось опять переселяться куда-нибудь, в Педагогический музей, в Музей придворных карет, и на конец, в крохотное хранилище старинных географических карт,— и оттуда опять на улицу, в вертикально падающий крупный снег Мира искусства.

Под вечер мы часто скрывались в последний ряд одного из кинематографов на Невском, Пикадилли или Парициана. Фильмовая техника, несомненно, шла вперед. Уже тогда, в 1915-м году, были попытки усовершенствовать иллюзию внесением красок и звуков: морские волны, окрашенные в нездоровий синий цвет, бежали и разбивались об ультрамариновую скалу, в которой я со странным чувством узнавал *Rocher de la Vierge*⁶², Биарриц, прибой моего международного детства, и пока, как белье, полоскалось это море в синьке, специальная машина занималась звукоподражанием, издавая шипенье, которое почему-то никогда не могло остановиться одновременно с морской картиной, а всегда продолжалось еще две-три секунды, когда уже мигала следующая: бодренькие похороны под дождем в Париже, или хилые оборванные военнопленные с подчеркнутно нарядными нашими молодцами, захватившими их. Довольно часто почему-то название боевика служила целая цитата, вроде «Отцвели уж давно хризантемы в саду», или «И сердцем как куклой играя, он сердце как куклу разбил», или еще «Не подходите к ней с вопросами» (причем начиналось с того, что двое слишком любознательных интеллигентов с накладными бородками вдруг вскакивали со скамьи на бульваре, имени Достоевского скорее чем Блока, и, жестикулируя, теснили какую-то испуганную даму, подходя к ней, значит, с вопросами). В те годы у звезд женского пола были низкие лобики, роскошные брови, размашисто подведенные глаза. Одним из любимцев экрана был актер Мозжухин. Какое-то русское фильмовое общество приобрело нарядный загородный дом с белыми колоннами (несколько похожий на дядин, что трогало меня), и эта усадьба появлялась во всех картинах этого общества. По фотогеническому снегу к ней подъезжал на лихаче Мозжухин, в пальто с каракулевым воротником шалью, в каракулевом колпаке, и устремлял светло-стальной взгляд из темно-синевой глазницы на горящее окно, между тем как знаменитый желвачок играл у него под тесной кожей скулы.

Когда прошли холода, мы много блуждали лунными вечерами по классическим пустыням Петербурга. На просторе дивной площади беззвучно возникали перед нами разные зодческие призраки: я дер-

⁶² Название скалы в Биаррице (*фр.*).

жуясь лексикона, нравившегося мне тогда. Мы глядели вверх на гладкий гранит столпов, отполированных когда-то рабами, их вновь полировала луна, и они, медленно вращаясь над нами в полированной пустоте ночи, упливали в вышину, чтобы там подпереть таинственные округлости собора. Мы останавливались как бы на самом краю,— словно то была бездна, а не высота,— грозных каменных громад, и в лилипутовом благоговении закидывали головы, встречая на пути все новые видения,— десяток атлантов, или гигантскую урну у чугунной решетки, или тот столп, увенчанный черным ангелом, который в лунном сиянии безнадежно пытался дотянуться до подножья пушкинской строки.

Позднее, в редкие минуты уныния, Тамара говорила, что наша любовь как-то не справилась с той трудной петербургской порой и дала длинную тонкую трещину. В течение всех тех месяцев я не переставал писать стихи к ней, для нее, о ней — по две-три «пьески» в неделю; в 1916 году я напечатал сборник и был поражен, когда она мне указала, что большинство этих стихотворений — о разлуках и утратах, ибо странным образом начальные наши встречи в лирических аллеях, в деревенской глухи, под шорох листьев и шуршанье дождя, нам уже казались в ту беспризорную зиму невозвратным раем, а эта зима — изгнанием. Спешу добавить, что первая эта моя книжечка стихов была исключительно плохая, и никогда бы не следовало ее издавать. Ее по заслугам немедленно растерзали те немногие рецензенты, которые заметили ее. Директор Тенишевского училища, В. В. Гиппиус, писавший (под псевдонимом Бестужев) стихи, мне тогда казавшиеся гениальными (да и теперь по спине проходит трепет от некоторых запомнившихся строк в его удивительной поэме о сыне), принес как-то экземпляр моего сборника в класс и подробно его разнес при всеобщем, или почти всеобщем, смехе. Был он большой хищник, этот рыжебородый огненный господин, в странно узком двубортном жилете под всегда расстегнутым пиджаком, который как-то летал вокруг него, когда он стремительно шел по рекреационной зале, засунув одну руку в карман штанов и подняв одно плечо. Его значительно более знаменитая, но менее талантливая кузина Зинаида, встретившись на заседании Литературного фонда с моим отцом, который был, кажется, его председателем, сказала ему: «Пожалуйста, передайте вашему сыну, что он никогда писателем не будет», — своего пророчества она потом лет тридцать не могла мне забыть. Некто Л., журналист, человек хороший, нуждающийся и безграмотный, желая выразить свою благодарность моему отцу за какое-то пособие, написал восторженную статью о моих дрянных стишках, строк пятьсот, сочившихся приторными похвалами; отец успел перехватить ее и воспрепятствовать ее напечатанию, и я живо помню, как мы читали писарским почерком написанный манускрипт и производили звуки — смесь зубовного скрежета и тонкого стона — которым у нас в семье полагалось частным образом реагировать на безвкусницу, неловкость, пошлый промах. Эта история навсегда излечила меня от всякого интереса к единовременной литературной славе и была, вероятно, причиной того почти патологического равнодушия к «решениям», дурным и

хорошим, умным и глупым, которое в дальнейшем лишило меня многих острых переживаний, свойственных, говорят, авторским натурам.

Из всех моих петербургских весен та весна шестнадцатого года представляется мне самой яркой, когда вспоминаю такие образы, как: золотисто-розовое лицо моей красивой, моей милой Тамары в незнакомой мне большой белой шляпе среди зрителей футбольного состязания, во время которого редкая удача сопровождала мое голкиперство; вкрадчивый ветер и первую пчелу на первом одуванчике в двух шагах от сетки гола; гудение колоколов и темно-синью рябь свободной Невы; пеструю от конфетти слякоть Конно-гвардейского бульвара на Вербной неделе: писк, хлопанье, американских жителей, поднимающихся и опускающихся в сиреневом спирту в стеклянных трубках, вроде как лифты в прозрачных, насквозь освещенных небоскребах Нью-Йорка; бабочку-траурницу — ровесничу нашей любви,— вылетевшую после зимовки и греховную в луче апрельского солнца на спинке скамьи в Таврическом саду свои поцарапанные черные крылья с выцветшим до белизны кантом; и какую-то волнующую зыбь в воздухе, пьянение, слабость, нестерпимое желание опять увидеть лес и поле,— в такие дни даже Северянин казался поэтом. Тамара и я всю зиму мечтали об этом возвращении, но только в конце мая, когда мы, то есть Набоковы, уже переехали в Выру, мать Тамары, на конец, поддалась на ее уговоры и сняла опять дачку в наших краях, и при этом, помнится, было поставлено дочери одно условие, которое та приняла с кроткой твердостью андерсеновской русалочки. И немедленно по ее приезде нас упоительно обволокло молодое лето, и вот — вижу ее привставшую на цыпочки, чтобы потянуть книзу ветку черемухи со сморщенными ягодами, и дерево, и небо, и жизнь играют у нее в смеющемся взоре, и от ее веселых усилий на жарком солнце расплывается темное пятно по желтой чесуче платья под ее поднятой рукой. Мы забирались очень далеко, в леса за Рождествено, в мшистую глубину бора, и купались в заветном затоне, и клялись в вечной любви, и собирали кольцовские цветы для венков, которые она, как всякая русская русалочка, так хорошо умела сплести, и в конце лета она вернулась в Петербург, чтобы поступить на службу (это и было условие, поставленное ей), а затем несколько месяцев я не видел ее вовсе, будучи поглощен по душевной нерасторопности и сердечной бездарности разнообразными похождениями, которыми, я считал, молодой литератор должен заниматься для приобретения опыта. Эти переживания и осложнения, эти женские тени и измени, и опять стихи, и нелады с легкими, и санатория в снегах — все это сейчас, при восстановлении прошлого, мне не только ни к чему, но еще создает какое-то смешение фокуса, и как ни тереблю винтов наставленной памяти, многое уже не могу различить и не знаю, например, как и где мы с Тамарой расстались. Впрочем, для этого помутнения есть и другая причина: в разгар встреч мы слишком много играли на струнах разлуки. В то последнее наше лето, как бы упражняясь в ней, мы расставались навеки после каждого свидания, еженощно, на пепельной тропе или на старом мосту, со сложенными на нем тенями перил, между небесным месяцем и речным, я целовал ее теплые, мокрые веки и све-

жее от дождя лицо и, отойдя, тотчас возвращался, чтобы проститься с нею еще раз, а потом долго въезжал вверх, по крутой горе, к Выре, согнувшись вдвое, нажимая педали в упругий, чудовищно мокрый мрак, принимавший символическое значение какого-то ужаса и горя, какой-то зловеще поднимавшейся силы, которую нельзя было растопить.

С раздирающей душу угрюмой яркостью помню вечер в начале следующего лета, 1917-го года, при последних вспышках еще свободной, еще приемлемой России. После целой зимы необъяснимой разлуки, вдруг, в дачном поезде, я опять увидел Тамару. Всего несколько минут, между двумя станциями, мыостояли с ней рядом в тамбуре грохочущего вагона. Я был в состоянии никогда прежде не испытанного смятения; меня душила смесь мучительной к ней любви, сожаления, удивления, стыда, и я нес фантастический вздор; она же спокойно ела шоколад, аккуратно отламывая квадратные дольки толстой плитки, и рассказывала про контору, где работала. С одной стороны полотна, над синеватым болотом, темный дым горящего торфа сливался с дотлевшими развалинами широкого оранжевого заката. Интересно, мог ли я доказать ссылкой на где-нибудь напечатанное свидетельство, что как раз в тот вечер Александр Блок отмечал в своем дневнике этот дым, эти краски. Всем известно, какие закаты стояли знаменьями в том году над дымной Россией, и впоследствии, в полуавтобиографической повести, я почувствовал себя вправе связать это с воспоминанием о Тамаре; но тогда мне было не до того; никакая поэзия не могла украсить страдание. Поезд на минуту остановился. Раздался простодушный свирест кузнечика,— и, отвернувшись, Тамара опустила голову и сошла по ступеням вагона в жасмином насыщенной тьму.

3

...Зимой 1917 года демократия еще верила, что можно предотвратить большевистскую диктатуру. Мой отец решил до последней возможности оставаться в Петербурге. Семью же он отправил в еще жилой Крым. Мы поехали двумя партиями; брат и я ехали отдельно от матери и трех младших детей. Мне было восемнадцать лет. В ускоренном порядке, за месяц до формального срока, я сдал выпускные экзамены и рассчитывал закончить образование в Англии, а затем организовать энтомологическую экспедицию в горы Западного Китая: все было очень просто и правдоподобно, и, в общем, многое сбылось. Весьма длительная поездка в Симферополь началась в довольно еще приличной атмосфере, вагон первого класса был жарко натоплен, лампы были целы, в коридоре стояла барабанная по стеклу актриса, и у меня была с собой целая кипа беленьких книжечек стихов со всей гаммой тогдашних заглавий, то есть от простецкого «Ноктюрны» до изысканного «Пороша». Где-то в середине России настроение испортилось: в поезд, включая наш спальный вагон, набились какие-то солдаты, возвращавшиеся с какого-то фрон-

та восвояси. Мы с братом почему-то нашли забавным запереться в нашем купе и никого не впускать. Продолжая натиск, несколько солдат влезли на крышу вагона и пытались, не без некоторого успеха, употребить вентилятор нашего отделения в виде уборной. Когда замок двери не выдержал, Сергей, обладавший сценическими способностями, изобразил симптомы тифа, и нас оставили в покое. На третью, что ли, утро, едва рассвело, я воспользовался остановкой, чтобы выйти подышать свежим воздухом. Нелегко было пробираться по коридору через руки, лица и ноги вповалку спящих людей. Белесый туман висел над платформой безымянной станции. Мы находились где-то недалеко от Харькова. Я был, смешно вспомнить, в котелке, в белых гетрах, и в руке держал трость из прадедовской коллекции,— трость светлого, прелестного, веснушчатого дерева, с круглым коралловым набалдашником в золотой коронообразной оправе. Признаюсь, что, будь я на месте одного из тех трагических бродяг в солдатской шинели, я бы не удержался от соблазна схватить франта, прогуливавшегося по платформе, и уничтожить его. Только я собрался влезть обратно в вагон, как поезд дернулся, и от толчка тросточка моя выскользнула из рук и упала под поплавивший поезд. Особенно привязан к ней я не был (через пять лет, в Берлине, я ее по небрежности потерял), но на меня смотрели из окон, и пыл молодого самолюбия заставил меня сделать то, на что сегодня бы никак не решился. Я дал проползти вагону, сонным или насмешливым лицам, следующему вагону, третьему, четвертому, всему составу (русские поезда, как известно, очень постепенно набирали скорость), и когда, наконец, обнаружились рельсы, поднял лежавшую между ними трость и бросился догонять уменьшавшиеся, как в кошмаре, буфера. Крепкая пролетарская рука, следя правилам сентиментальных романов наперекор наитиям марксизма, помогла мне взобраться на площадку последнего вагона. Но если бы я поезда не догнал или был бы нарочно выпущен из этих веселых объятий, правила жанра, может быть, не были бы нарушены, ибо я оказался бы недалеко от Тамары, которая уже переехала на юг и жила на хуторе, в каких-нибудь ста верстах от места моего глупого приключения.

4

О ее местопребывании я неожиданно узнал через месяц после того, как мы осели в Гаспре, около Кореиза. Крым показался мне совершенно чужой страной: всё было нерусское, запахи, звуки, потемкинская флора в парках побережья, сладковатый дымок, разлитый в воздухе татарских деревень, рев осла, крик муэдзина, его бирюзовая башенка на фоне персикового неба; все это решительно напоминало Багдад,— и я немедленно окунулся в пушкинские ориенталии. И вот вижу себя стоящим на кремнистой тропинке над белым, как мел, руслом ручья, отдельные струйки которого прозрачными дрожащими полосками оплетали яйцеподобные камни, через которые они текли,— и держащим в руках письмо от Тамары. Я смотрел на крутой обрыв Яйлы, по самые скалы венца обросший каракулем таврической сосны,

на дубняк и магнолии между горой и морем; на вечернее перламутровое небо, где с персидской яркостью горел лунный серп и рядом звезда,— и вдруг, с не меньшей силой, чем в последующие годы, я ощутил горечь и вдохновение изгнания. Тут не только влияли пушкинские элегии и привозные кипарисы, тут было настоящее; порукой этому было подлинное письмо невымышленной Тамары, и с тех пор на несколько лет потеря родины оставалась для меня равнозначной потере возлюбленной, пока писание, довольно, впрочем, неудачной, книги («Машенька») не утолило томления.

Между тем жизнь семьи коренным образом изменилась. За исключением некоторых драгоценностей, случайно захваченных и хитроумно склоненных в жестянках с туалетным тальком, у нас не оставалось ничего. Но не это было, конечно, существенно. Местное татарское правительство смели новенькие Советы, из Севастополя прибыли опытные пулеметчики и палачи, и мы попали в самое скучное и унизительное положение, в котором могут быть люди,— то положение, когда вокруг все время ходят идиотская преждевременная смерть, оттого что хозяинчиают человекоподобные и обижаются, если им что-нибудь не по ноздре. Тупая эта опасность плелась за нами до апреля 1918 года. На ялтинском молу, где Дама с собачкой потеряла когда-то лорнет, большевистские матросы привязывали тяжести к ногам арестованных жителей и, поставив спиной к морю, расстреливали их; год спустя водолаз докладывал, что на дне очутился в густой толпе стоящих навытяжку мертвцев. Избежав всяческих опасности на севере: отец к тому времени присоединился к нам, и, вероятно, в конце концов до него бы добрались; какая-то странная атмосфера беспечности обволакивала жизнь. В своей Гаспре графиня Панина представила нам отдельный домик через сад, а в большом жили ее мать и отчим, Иван Ильич Петрункевич, старый друг и сподвижник моего отца. На террасе так недавно — всего каких-нибудь пятнадцать лет назад — сидели Толстой и Чехов. В некоторые ночи, когда особенно упорными становились слухи о грабежах и расстрелях, отец, брат и я почему-то выходили караулить сад. Однажды, в январе, что ли, к нам подкралась разбойничья фигура, которая оказалась нашим бывшим шофером Цыгановым: он не задумался проехать от самого Петербурга на буфере, по всему пространству ледяной и звериной России, только для того, чтобы доставить нам деньги, посланные друзьями. Привез он и письма, пришедшие на наш петербургский адрес (неистребимость почты всегда поражала меня), и среди них было то первое письмо от Тамары, которое я читал под каплей звезды. Прожив у нас с месяцем, Цыганов заявил, что крымская природа ему надоела, и отправился тем же способом на север, с большим мешком за плечами, набитым различными предметами, которые мы бы с удовольствием ему отдали, зная мы, что ему приглянулись все этиочные сорочки, пикейные жилеты, теннисные туфли, дорожные часы, утюг, неуклюзий пресс для штанов, еще какая-то чепуха: полный список мы получили от горничной, чьих бледных чар он, кажется, тоже не пощадил. Любопытно, что, сразу разгадав секрет туалетного талька,

он уговорил мать перевести эти кольца и жемчуга в более классическое место и сам вырыл для них в саду яму, где они оказались в полной сохранности после его отъезда.

Розовый дымок цветущего миндаля уже оживлял прибрежные склоны, и я давно занимался первыми бабочками, когда большевики исчезли и скромно появились немцы. Они кое-что подправили на вилах, откуда эвакуировались комиссары, и отбыли в свою очередь. Их сменила Добровольческая армия. Отец вошел министром юстиции в Крымское краевое правительство и уехал в Симферополь, а мы переселились в Ливадию. Ялта ожила. Как почему-то водилось в те годы, немедленно возникли всякие театральные предприятия, начиная с удручающе вульгарных кабаре и кончая киносъемками «Хаджи-Мурата». Однажды, поднимаясь на Ай-Петри в поисках местного подвида испанской сатириды, я встретился на горной тропе со странным всадником в черкесске. Его лицо было удивительным образом расписано желтой краской, и он, не переставая, неуклюже и гневно дергал поводья лошади, которая, не обращая никакого внимания на всадника, спускалась по крутой тропе с сосредоточенным выражением гостя, решившего по личным соображениям покинуть шумную вечеринку. В несчастном Хаджи я узнал столь знакомого нам с Тамарой актера Мозжухина, которого лошадь уносила со съемки. «Держите проклятое животное», — сказал он, увидев меня, но в ту же минуту, с хрустом и грохотом осьпи, поддельного Хаджи нагнало двое настоящих татар, а я со своей рампеткой продолжал подниматься сквозь бор и буковый лес к зубчатым скалам.

В течение всего лета я переписывался с Тамарой. Насколько прекраснее были ее удивительные письма витиеватых и банальных стишков, которые я когда-то ей посвящал; с какой силой и яркостью воскрешала она северную деревню! Слова ее были бедны, слог был обычным для восемнадцатилетней барышни, но интонация... интонация была исключительно чистая и таинственным образом превращала ее мысли в особенную музыку. «Боже, где оно — все это далекое, светлое, милое!» Вот этот звук дословно помню из одного ее письма, — и никогда впоследствии не удалось мне лучше ее выразить тоску по прошлому.

Этим письмам ее, этим тогдашним мечтам о ней я обязан особому оттенку, в который с тех пор окрасилась тоска по родине. Она впилась, эта тоска, в один небольшой уголок земли, и оторвать ее можно только с жизнью. Ныне, если воображаю колтунную траву Яйлы, или Уральское ущелье, или солончаки за Аральским морем, я остаюсь столь же холоден в патриотическом и ностальгическом смысле, как в отношении, скажем, полынной полосы Невады или рододендронов Голубых Гор; но дайте мне, на любом материке, лес, поле и воздух, напоминающие Петербургскую губернию, и тогда душа вся переворачивается. Каково было бы в самом деле увидеть опять Выру и Рождество, мне трудно представить себе, несмотря на большой опыт. Часто думаю: вот, съезжу туда с подложным паспортом, под фамильей Никербокер. Это можно было бы сделать.

Но вряд ли я когда-либо сделаю это. Слишком долго, слишком праздно, слишком расточительно я об этом мечтал. Я промотал мечту. Разглядыванием мучительных миниатюр, мелким шрифтом, двойным светом я безнадежно испортил себе внутреннее зрение. Совершенно так же я истратился, когда в 1918 году мечтал, что к зиме, когда по-кончу с энтомологическими прогулками, поступлю в Деникинскую армию и доберусь до Тамариного хуторка; но зима прошла — и я все еще собирался, а в марте Крым стал крошиться под напором красных и началась эвакуация. На небольшом греческом судне «Надежда» с грузом сушеных фруктов, возвращавшемся в Пирей, мы в начале апреля вышли из севастопольской бухты. Порт уже был захвачен большевиками, шла беспорядочная стрельба, ее звук, последний звук России, стал замирать, но берег все еще вспыхивал, не то вечерним солнцем в стеклах, не то беззвучными отдаленными взрывами, и я старался сосредоточить мысли на шахматной партии, которую играл с отцом (у одного из коней не хватало головы, покерная фишка заменила недостающую ладью), и я не знаю, что было потом с Тамарой.

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

1

Летом 1919-го года мы поселились в Лондоне. Отец и раньше бывал в Англии, а в феврале 1916 года приезжал туда, с пятью другими видными деятелями печати (среди них были Алексей Толстой, Немирович-Данченко, Чуковский), по приглашению британского правительства, желавшего показать им свою военную деятельность, которая недостаточно оценивалась русским общественным мнением. Были обеды и речи. Во время аудиенции у Георга Пятого Чуковский, как многие русские преувеличивавший литературное значение автора «Портрета Дориана Грея», внезапно, на невероятном своем английском языке, стал добиваться у короля, нравится ли ему произведения — «дзи воркс» — Оскара Уайльда. Застенчивый и туповатый король, который Уайльда не читал, да и не понимал, какие слова Чуковский так старательно и мучительно выговаривает, вежливо выслушал его и спросил на французском языке, не намного лучше английского языка собеседника, как ему нравится лондонский туман — «бруар»? Чуковский только понял, что король меняет разговор, и впоследствии с большим торжеством приводил это как пример английского ханжества, — замалчивания гения писателя из-за безнравственности его личной жизни.

Об этом и о других забавных недоразумениях отец замечательно рассказывал за обеденным столом, но в его книжке «Из воюющей Англии» (Петроград, 1916 г.) я нахожу мало примеров его обычного юмора: он не был писателем, и я не слышу его голоса, например, в описании посещения английских окопов во Фландрии, где гостеприимство хозяев любезно включило даже взрыв немецкого снаряда вблизи посетителей. Отчет этот сначала печатался в «Речи»; в одной из статей отец рассказал, с несколько старосветским простодушием,

о том, как он подарил свое вечное перо Swan адмиралу Джеллико, который за завтраком занял его, чтобы автографировать меню, и похвалил его плавность. Неуместное обнародование названия фирмы получило немедленный отклик в огромном газетном объявлении от фирмы Mabie, Todd & Co., Ltd., которая цитировала отца и изображала его на рисунке предлагающим ее изделие командиру флота под хаотическим небом морского сражения.

Но теперь, три года спустя, не было ни речей, ни банкетов. После года пребывания в Лондоне отец с матерью и тремя младшими детьми переехал в Берлин (где до своей смерти 28-го марта 1922 года редактировал с И. В. Гессеном антисоветскую газету «Руль»), между тем как брат мой и я поступили осенью 1919-го года в Кембриджский университет — он в Christ's College, а я в Trinity.

2

Помню мутный, мокрый и мрачный октябрьский день, когда с неловким чувством, что участвуя в каком-то ряженье, я в первый раз надел тонкотканый иссиня-черный плащ средневекового покроя и черный квадратный головной убор с кисточкой, чтобы представиться Гаррисону, моему «тьютору», наставнику, следящему за успехами студента. Обойдя пустынnyй и туманный двор колледжа, я поднялся по указанной мне лестнице и постучал в слегка приоткрытую массивную дверь. Далекий голос отрывисто пригласил войти. Я миновал небольшую прихожую и попал в просторный кабинет. Сумерки опередили меня; в кабинете не было света, кроме пышущего огня в большом камине, около которого сидела темная фигура. Я подошел со словами: «Моя фамилья —» и вступил в чайные принадлежности, стоявшие на ковре около низкого камышового кресла Гаррисона. С недовольным кряком он наклонился с сиденья и зачерпнул с ковра в небрезгливую горсть, а затем шлепнул обратно в чайник черное месиво чайных листьев. Так студенческий цикл моей жизни начался с неловкости, и этим предопределилась длинная серия неуклюжестей, ошибок и всяского рода неудач и глупостей, включая романтические, которые преследовали меня в продолжение трех-четырех последовавших лет.

Гаррисону показалась блестящей идея дать мне в сожитии другого White Russian⁶³, так что сначала я делил квартирку в Trinity Lane с несколько озадаченным соотечественником, который все советовал мне, дабы восполнить непонятные пробелы в моем образовании, почитать «Протоколы Сионских мудрецов» да какую-то вторую книгу, попавшуюся ему в жизни, кажется «L'homme qui Assassina»⁶⁴ Фаррера. В конце года он, не выдержав первокурсных экзаменов, вынужден был согласно регламенту покинуть Кембридж, и остальные два года я жил один. Апартаменты, которые я занимал, поражали меня своим убожеством по сравнению с обстановкой моего русского детства, ибо, — как теперь мне ясно, — я, метя в Англию, рассчитывал по-

⁶³ «Белого» русского (англ.).

⁶⁴ «Человек, который убил» (фр.).

пасть не в какое-то неизвестное продолжение юности, а назад, в кра-
сочное младенчество, которому именно Англия, ее языки, книги и вещи
придавали нарядность и сказочность. Вместо этого был просижен-
ный, пылью пахнущий диван, мещанские подушечки, тарелки на стене,
раковины на камине, и, на видном месте, ветхая пианола с грыжей,
ужасные, истощные и трудные звуки которой квартирная хозяйка
позволяла и даже просила выдавливать в любой день, кроме воск-
ресений. То, что кто-то совершенно посторонний мог мне что-нибудь
позволять или запрещать, было мне настолько внове, что сначала я
был уверен, что штрафы, которыми толстомордые колледжевые швей-
цары в котелках грозили, скажем, за гулянье по мураве,— просто
традиционная шутка. Мимо моего окна шел к службам пятисотлет-
ний переулочек, вдоль которого серела глухая стена. В спальню не
полагалось топить. Из всех щелей дуло, постель была как глетчер, в
кувшине за ночь набирался лед, не было ни ванны, ни даже проточной
воды; приходилось поэтому по утрам совершать унылое паломни-
чество в ванное заведение при колледже, иди по моему переулочку
среди туманной стужи, в тонком халате поверх пижамы, с губкой в
клеенчатом мешке под мышкой. Я часто простужался, но ничто в
мире не могло бы заставить меня носить те нательные фуфайки, чуть
ли не из медвежьей шерсти, которые англичане носили под сорочкой,
после чего поражали иностранца тем, что зимой гуляли без пальто.
Рядовой кембриджский студент носил башмаки на резиновых по-
дошвах, темно-серые фланелевые панталоны, бурый вязаный жилет
с рукавами (джемпер) и спортивный пиджак с хлястиком. Модники
предпочитали пиджак от хорошего костюма, ярко-желтый джемпер,
бледно-серые фланелевые штаны и старые бальны туфли. Пора моих
онегинских забот длилась недолго, но живо помню, как было приятно
открыть существование рубашек с пришитыми воротничками и не-
обязательность подвязок. Не буду продолжать описание этих маскарадных
впечатлений. Настоящая история моего пребывания в английском уни-
верситете есть история моих потуг удержать Россию. У меня было чув-
ство, что Кембридж и все его знаменитые особенности,— величес-
твенные ильмы, расписные окна, башенные часы с курантами, аркада,
серо-розовые стены в пиковых тузах плюща,— не имеют сами по себе
никакого значения, существуя только для того, чтобы обрамлять и
подпирать мою невыносимую ностальгию. Я был в состоянии чело-
века, который, только что потеряв нетребовательную, нежно к нему
относившуюся старую родственницу, вдруг понимает, что из-за какой-
то лености души, усыпанной дурманом жителейского, он как-то ни-
когда не удосужился узнать покойную по-настоящему и никогда не
высказал своей, тогда мало осознанной, любви, которую теперь уже
ничем нельзя было разрешить и облегчить. Под бременем этой любви
я сидел часами у камина, и слезы навертывались на глаза от напора
чувств, от разымчивой банальности тлеющих углей, одиночества, от-
даленных курантов,— и мучила мысль о том, сколько я пропустил в
России, сколько я бы успел рассовать по всем карманам души и увезти
с собой, кабы предвидел разлуку.

Некоторым моим собратьям по изгнанию эти чувства были столь очевидны и знакомы, что заговорить о них даже в том приглушенном тоне, которого стараюсь придерживаться сейчас, показалось бы лишним и неприличным. Когда же мне случалось беседовать о том о сем с наиболее темными и реакционными из русских в Англии, я замечал, что патриотизм и политика сводились у них к животной злобе, направленной против Керенского скорей, чем Ленина, и зависевшей исключительно от материальных неудобств и потерь. Тут особенно разговаривать было нечего; гораздо сложнее обстояло дело с теми английскими моими знакомыми, которые считались,— и которых я сам считал,— культурными, тонкими, человеколюбивыми, либеральными людьми, но которые, несмотря на свою духовную изысканность, начинали нести гнетущий вздор, как только речь заходила о России. Мне особенно вспоминается один студент, прошедший через войну и бывший года на четыре старше меня: он называл себя социалистом, писал стихи без рифм и был замечательным экспертом по (скажем) египетской истории. Это был долговязый великан, с зачаточной лысиной и лошадиной челюстью, и его медлительные и сложные манипуляции трубки раздражали собеседника, не соглашавшегося с ним, но в другое время пленяли своей комфорtabельностью. Странно вспомнить, я в те годы «спорил о политике»,— много и мучительно спорил с ним о России, в которой он, конечно, никогда не был; горечь исчезала, как только он начинал говорить о любимых наших английских поэтах; ныне он у себя на родине крупный ученый; назову его Бомстон, как Руссо назвал своего дивного лорда.

Говорят, что в ленинскую пору сочувствие большевизму со стороны английских и американских передовых кругов основано было на соображениях внутренней политики. Мне кажется, что в значительной мере оно зависело от простого невежества. То немногое, что мой Бомстон и его друзья знали о России, пришло на запад из коммунистических мутных источников. Когда я допытывался у гуманнейшего Бомстона, как же он оправдывает презренный и мерзостный террор, пытки, и расстрелы, и всякую другую полуумную расправу,— Бомстон выбивал трубку о чугун очага, менял положение громадных скрещенных ног и говорил, что, не будь союзной блокады, не было бы и террора. Всех русских эмигрантов, всех врагов Советов, от меньшевика до монархиста, он преспокойно сбивал в кучу «царистских элементов» и, что бы я ни кричал, полагал, что князь Львов — родственник государя, а Милюков — бывший царский министр. По его мнению, то, что он довольно жеманно называл «некоторое единобразие политических убеждений» при большевиках, было следствием «отсутствия всякой традиции свободомыслия» в России. Особенно меня раздражало отношение Бомстона к самому Ильичу, который, как известно всякому образованному русскому, был совершенный мещанин в своем отношении к искусству, знал Пушкина по Чайковскому и Белинскому и «не одобрял модернистов», причем под «модернистами» понимал Луначарского и каких-то шумных итальянцев; но для Бомстона и его друзей, столь тонко судивших о Донне и Хопкинсе, столь хорошо понимавших

разные прелестные подробности в только что появившейся главе об искусе Леопольда Блума, наш убогий Ленин был чувствительнейшим, проницательнейшим знатоком и поборником новейших течений в литературе, и Бомстон только снисходительно улыбался, когда я, продолжая кричать, доказывал ему, что связь между передовым в политике и передовым в поэтике — связь чисто словесная (чем, конечно, радостно пользовалась советская пропаганда) и что на самом деле чем радикальнее русский человек в своих политических взглядах, тем обыкновенно консервативнее он в художественных.

Я нашел способ расшевелить немножко невозмутимость Бомстона, только когда я стал развивать ему мысль, что русскую историю можно рассматривать с двух точек зрения: во-первых, как своеобразную эволюцию полиции (странный безличной и как бы даже отвлеченной силы, иногда работающей в пустоте, иногда беспомощной, а иногда превосходящей правительство в зверствах — и ныне достигшей такого расцвета); а во-вторых, как развитие изумительной, вольнолюбивой культуры. Эти труизмы встречались английскими интеллигентами с удивлением, досадой и насмешкой, между тем как молодые англичане ультраконсервативные (как, например, двое высокородных двоюродных братьев Бомстона) охотно поддерживали меня, но делали это из таких грубо реакционных соображений и орудовали такими простыми черносотенными понятиями, что мне было только неловко от их презренной поддержки. Я, кстати, горжусь, что уже тогда, в моей туманной, но независимой юности, разглядел признаки того, что с такой страшной очевидностью выяснилось ныне, когда постепенно образовался некий семейный круг, связывающий представителей всех наций: ювелирных строителей империи на своих просеках среди джунглей; немецких мистиков и палачей; матерых погромщиков из славян; жилистого американца-линчера; и, на продолжении того же семейного круга, тех одинаковых, мордастых, довольно бледных и пухлых автоматов с широкими квадратными плечами, которых Советская власть производит ныне в таком изобилии после тридцати с лишним лет искусственного подбора.

3

Очень скоро я бросил политику и весь отдался литературе. Из моего английского камина заполыхали на меня те червленые щиты и синие молнии, которыми началась русская словесность. Пушкин и Толстой, Тютчев и Гоголь встали по четырем углам моего мира. Я зачитывался великолепной описательной прозой великих русских естествоиспытателей и путешественников, открывавших новых птиц и насекомых в Средней Азии. Однажды, на рыночной площади посреди Кембриджа, я нашел на книжном лотке среди подержанных Гомеров и Горациев Толковый словарь Даля в четырех томах. Я приобрел его за полкроны и читал его, по несколько страниц ежевечерне, отмечая прелестные слова и выражения: «ольял» — будка на баржах (теперь уже поздно, никогда не пригодится). Страх забыть или засорить

единственное, что успел я выцарапать, довольно, впрочем, сильными когтями, из России, стал прямо болезнью. Окруженный не то романтическими развалинами, не то донкихотским нагромождением томов (тут был и Мельников-Печерский, и старые русские журналы в мраморных переплетах), я мастерил и лакировал мертвые русские стихи, которые вырастали и отвердевали, как блестящие опухоли, вокруг какого-нибудь словесного образа. Как я ужаснулся бы, если бы тогда увидел, что сейчас вижу так ясно,— стилистическую зависимость моих русских построений от тех английских поэтов, от Марвелля до Хаусмана, которыми был заражен самый воздух моего тогдашнего быта. Но, Боже мой, как я работал над своим ямбами, как пестовал их пеоны — и как радуюсь теперь, что так мало из своих кембриджских стихов напечатал. Внезапно, на туманном ноябрьском рассвете, я приходил в себя и замечал, как тихо, как холодно. Тошило от выкуренных двадцати турецких папирос. И все же я долго еще не мог заставить себя перейти в спальню, боясь не столько бессонницы, сколько сердечных перебоев да того редкого, хоть и пустого недуга, которому я всегда был подвержен, *anxietas tibiarum* — когда ноги «тянет», как у беременной женщины. В камине что-то еще тлело под пеплом: зловещий закат сквозь лишиа бора; — и, подкинув еще угля, я устраивал тягу, затянув пасть камина сверху донизу двойным листом лондонского «Таймса». Начиналось приятное гудение за бумагой, тугой, как барабанная шкура, и прекрасной, как пергамент на свет. Гуд превращался в гул, а там и в могучий рев, оранжево-темное пятно появлялось посередине страницы, оно вдруг взрывалось пламенем, и огромный горящий лист с фырчащим шумом освобожденного феникса улетал в трубу к звездам. Приходилось платить несколько шиллингов штрафа, если властям доносили об этой жар-птице.

Литературная братия, Бомстон и его несколько упадочный кружок, и какие-то молодые люди, пишущие триолеты, весьма сочувствовали моим ночных трудам, но зато не одобряли множества других моих интересов, как, например: энтомология, местные красавицы и спорт. Я особенно увлекался футболом, тем, что называли футболом в России и старой Англии, а в Америке называют соккер. Как иной рождается гусаром, так я родился голкипером. В России и вообще на континенте, особенно в Италии и в Испании, доблестное искусство вратаря искони окружено ореолом особого романтизма. В его одиночности и независимости есть что-то байроническое. На знаменитого голкипера, идущего по улице, глазеют дети и девушки. Он соперничает с матадором и с гонщиком в загадочном обаянии. Он носит собственную форму; его вольного образца свитер, фуражку, толстозабинтованные колени, перчатки, торчащие из заднего кармана трусиков, резко отделяют его от десяти остальных одинаково полосатых членов команды. Он белая ворона, он железная маска, он последний защитник. Во время матча фотографы по близости гола, благоговейно преклонив одно колено, снимают его, когда он ласточкой ныряет, чтобы концами пальцев чудом задеть и парировать молниеносный удар «шут» в угол, или когда, чтобы обнять мяч, он бросается головой вперед под

яростные ноги нападающих,— и каким ревом исходит стадион, когда герой остается лежать ничком на земле перед своим незапятнанным голом.

Увы, в Англии, на родине футбола, некоторая угрюмость, сопряженная со всяким спортом, национальный страх перед показным блеском и слишком большое внимание к солидной сыгранности всей команды мало поощряли причудливые стороны голкиперского искусства. По крайней мере, этими соображениями я старался объяснить мое, не столь удачное, как мечталось, участие в университете футболе. Мне не везло,— а кроме того, мне все совали в обременительный пример моего предшественника и соотечественника Хомякова, действительно изумительного вратаря,— вроде того, как чеховского Тригорина критики донимали ссылками на Тургенева. О, разумеется, были блестательные бодрые дни на футбольном поле, запах земли и травы, волнение важного состязания,— и вот вырывается и близится знаменитый форвард противника, и ведет новый желтый мяч, и вот с пущечной силой бьет по моему голу,— и жужжит в пальцах огонь от отклоненного удара. Но были и другие, более памятные, более эзотерические дни, под тяжелыми зимними небесами, когда пространство перед моими воротами представляло собой сплошную жижу черной грязи, и мяч был точно обмазан салом, и болела голова после бесконной ночи, посвященной составлению стихов, погибших к утру. Изменял глазомер,— и, пропустив второй гол, я с чувством, что жизнь вздор, вынимал мяч из задней сетки. Затем наша сторона начинала напирать, игра переходила на другой конец поля. Накрапывал нудный дождь, переставал, как в «Скупом рыцаре», и шел опять. С какой-то воркующей нежностью кричали галки, возясь в безлиственном ильме. Собирался туман. Игра сводилась к неясному мельканью силузтов у едва зримых ворот противника. Далекие невнятные звуки пинков, свисток, опять мутное мельканье — все это никак не относилось ко мне. Сложив руки на груди и прислонившись к левой штанге ворот, я позволял себе роскошь закрыть глаза, и в таком положении слушал плотный стук сердца, и ощущал слепую морось на лице, и слышал звуки все еще далекой игры, и думал о себе как об экзотическом существе, переодетом английским футbolистом и сочиняющем стихи, на никому не известном наречии, о заморской стране. Неудивительно, что товарищи мои по команде не очень меня жаловали.

Но странно: что-то было такое в Кембридже... Не[~] футбол, не крики газетчиков в сгущающейся темноте, не крепкий чай с розовыми и зелеными пирожными,— словом, не преходящая мода и не чувствам доступные подробности, а тонкая сущность, которую я теперь бы определил как приволье времени и простор веков. На что ни посмотришь кругом, ничто не было стеснено или занавешено по отношению к стихии времени; напротив, всюду зияли отверстия в его сизую стихию, так что мысль привыкала работать в особенно чистой и вольной среде. Из-за того что в физическом пространстве это было не так, то есть тело стесняли узкий переулок, стенами заставленный газон, темные прохлады и арки, душа особенно живо воспринимала свободные

дали времени и веков. У меня не было ни малейшего интереса к истории Кембриджа или Англии, и я был уверен, что Кембридж никак не действует на мою душу; однако именно Кембридж снабжал меня и мое русское раздумье не только рамой, но и ритмом. На независимого юношу среда только тогда влияет, когда в нем уже заложена восприимчивая частица; такой частицей было во мне все то английское, чем питалось мое детство. Мне впервые стало это ясно в последнюю мою кембриджскую весну, когда я почувствовал себя в таком же естественном соприкосновении с непосредственной средой, в каком я был с моим русским прошлым, и этого состояния гармонии я достиг в ту минуту, когда то, чем я только и занимался три года, кропотливая реставрация моей, может быть, искусственной, но восхитительной России, была наконец закончена, то есть я уже знал, что закрепил ее в душе навсегда. Один из немногих «утилитарных» грехов на моей совести — это то, что я употребил (очень, правда, небольшую) долю этого драгоценного материала для легкой и успешной сдачи экзаменов. Едва ли не самым замысловатым вопросом было предложение описать сад Плюшкина,— тот сад, который Гоголь так живописно завалил всем, что набрал из мастерских русских художников в Риме.

4

Не стыжусь нежности, с которой вспоминаю задумчивое движение по кембриджской узкой и излучистой реке, сладостный гавайскийвой граммофонов, плывший сквозь тень и свет, и ленивую руку той или другой Виолетты, вращавшей свой цветной парасоль, откинувшись на подушки своеобразной гондолы, которую я неспешно подвигал при помощи шеста. Белые и розовые каштаны были в полном цвету: их громады толпились по берегам, вытесняя небо из реки, и особое сочетание их листьев и конусообразных соцветий составляло картину, как бы вытканную en escalier. Теплый воздух пропитан был до странности крымскими запахами, чуть ли не мушмулой. Три арки каменного, венецианского вида мостика, перекинутого через узкую речку, образовали в соединении со своими отражениями в воде три волшебных овала, и в свою очередь вода наводила переливающийся отсвет на внутреннюю сторону свода, под который скользила моя гондола. Порою лепесток, роняемый цветущим деревом, медленно падал и со странным чувством, что, наперекор жрецам, подсматриваешь нечто такое, чего ни богомольцу, ни туристу видеть не следует, я старался схватить взглядом отражение этого лепестка, которое значительно быстрее, чем он падал, поднималось к нему навстречу; и было страшно, что фокус не выйдет, что благословленное жрецами масло не загорится, что отражение промахнется и лепесток без него поплынет по течению; но всякий раз очарованное соединение удавалось,— с точностью слов поэта, которые встречают на поплути его или читательское воспоминание.

Вновь посетив Англию после семнадцатилетнего перерыва, я допустил грубую ошибку, а именно, отправился в Кембридж не в тихо сияющий майский день, а под ледяным февральским дождем, который всего лишь напомнил мне мою старую тоску по родине. Милорд Бомстон, теперь профессор Бомстон, с рассеянным видом повел меня завтракать в ресторан, который я хорошо знал и который должен был обдатить меня воспоминаниями, но переменилась вся обстановка, даже потолок перекрасили, и окно в памяти не отворилось. Бомстон бросил курить. Его черты смягчились, его мысли полиняли. В этот день его занимало какое-то совершенно постороннее обстоятельство (что-то насчет его незамужней сестры, жившей у него в экономках,— она, кажется, заболела, и ее должны были оперировать в этот день), и, как бывает у однодумов, эта побочная забота явно мешала ему хорошенько сосредоточиться на том очень важном и спешном деле, в котором я так надеялся на его совет. Мебель была другая, форма у подавальщиц была другая, без тех фиолетовых бантов в волосах, и ни одна из них не была и наполовину столь привлекательна, как та, в пыльном луче прошлого, которую я так живо помнил. Разговор разваливался, и Бомстон уцепился за политику. Дело было уже в конце тридцатых годов, и бывшие попутчики из эстетов теперь поносили Сталина (перед которым, впрочем, им еще предстояло умилиться в пору второй мировой войны)... Гром «чисток», который ударил в «старых большевиков», героев его юности, потряс Бомстона до глубины души, чего в молодости, во дни Ленина, не могли сделать с ним никакие стоны из Соловков и с Лубянки. С ужасом и отвращением он теперь произносил имена Ежова и Ягоды, но совершенно не помнил их предшественников, Урицкого и Дзержинского. Между тем как время исправило его взгляд на текущие советские дела, ему не приходило в голову пересмотреть, и может быть осудить, восторженные и невежественные предубеждения его юности, оглядываясь на короткую ленинскую эру, он все видел в ней нечто вроде *quinquennium Neronis*⁶⁵.

Бомстон посмотрел на часы, и я посмотрел на часы тоже, и мы расстались, и я пошел бродить под дождем по городу, а затем посетил знаменитый парк моего бывшего колледжа и в черных ильмах нашел знакомых галок, а в дымчато-бисерной траве — первые крокусы, словно крашенные посредством пасхальной химии. Снова гуляя под этими столь воспетыми деревьями, я тщетно пытался достичь по отношению к своим студенческим годам того же пронзительного и трепетного чувства прошлого, которое тогда, в те годы, я испытывал к своему отечеству.

Ненастный день сузился до бледно-желтой полоски на сером западе, когда, решив перед отъездом посетить моего старого тьютора Гаррисона, я направился через знакомый двор, где в тумане проходили призраки в черных плащах. Я поднялся по знакомой лестнице, уз-

⁶⁵ нероновского пятилетия (лат.).

навая подробности, которых не вспоминал семнадцать лет, и автоматически постучал в знакомую дверь. Только тут я подумал, что напрасно я не узнал у Бомстона, не умер ли Гаррисон,— но он не умер, на мой стук отозвался издалека знакомый голос. «Не знаю, помните ли вы меня»,— начал я, идя через кабинет к тому месту, где он сидел у камина. «Кто же вы?» — произнес он, медленно поворачиваясь в своем низком кресле. «Я как будто не совсем...» Тут, с отвратительным треском и хрустом, я вступил в поднос с чайной посудой, стоявшей на ковре у его кресла. «Да, конечно,— сказал Гаррисон,— конечно, я вас помню».

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

1

Сpirаль — одухотворение круга. В ней, разомкнувшись и высвободившись из плоскости, круг перестает быть порочным. Пришло мне это в голову в гимназические годы, и тогда же я придумал, что бывшая столица популярной в России гегелевская триада, в сущности, выражает всего лишь природную спиральность вещей в отношении ко времени. Завои следуют один за другим, и каждый синтез представляет собой тезис следующей тройственной серии. Возьмем простейшую спираль, то есть такую, которая состоит из трех загибов или дуг. Назовем тезисом первую дугу, с которой спираль начинается в некоем центре. Антитезисом будет тогда дуга покрупнее, которая противополагается первой, продолжая ее; синтезом же будет та, еще более крупная, дуга, которая продолжает предыдущую, заворачиваясь вдоль наружной стороны первого загиба.

Цветная спираль в стеклянном шарике — вот модель моей жизни. Дуга тезиса — это мой двадцатилетний русский период (1899—1919). Антитезисом служит пора эмиграции (1919—1940), проведенная в Западной Европе. Те четырнадцать лет (1940—1954), которые я провел уже на новой моей родине, намечают как будто начавшийся синтез. Позвольте мне заняться антитезисом. Оглядываясь на эти годы вольного зарубежья, я вижу себя и тысячи других русских людей ведущими несколько странную, но не лишенную приятности жизнь в вещественной нищете и духовной неге, среди не играющих ровно никакой роли призрачных иностранцев, в чьих городах нам, изгнанникам, доводилось физически существовать. Туземцы эти были как прозрачные, плоские фигуры из целлофана, и хотя мы пользовались их постройками, изобретениями, огородами, виноградниками, местами увеселения и т. д., между ними и нами не было и подобия тех человеческих отношений, которые у большинства эмигрантов были между собой. Но, увы, призрачные нации, сквозь которые мы и русские музы беспечно скользили, вдруг отвратительно содрогались и отвердевали; студень превращался в бетон и ясно показывал нам, кто, собственно, бесплотный пленник, и кто жирный хан. Наша безнадежная физическая зависимость от того или другого государства становилась особенно очевидной, когда приходилось добывать или продлевать

какую-нибудь дурацкую визу, какую-нибудь шутовскую карт д'идантите, ибо тогда немедленно жадный бюрократический ад норовил засосать просителя, и он изнывал и чах, пока пухли его досье на полках у всяких консулов и полицейских чиновников. Бледно-зеленый несчастный нансенский паспорт был хуже волчье билета; переезд из одной страны в другую бывал сопряжен с фантастическими затруднениями и задержками. Английские, немецкие, французские власти где-то, в мутной глубине своих гланда, хранили интересную идею, что, как бы, дескать, плоха ни была исходная страна (в данном случае, Советская Россия), всякий беглец из своей страны должен априори считаться презренным и подозрительным, ибо он существует вне какой-либо национальной администрации. Не все русские эмигранты, конечно, кротко соглашались быть изгоями и привидениями. Некоторым из нас сладко вспоминать, как мы осаживали или обманывали всяких высших чиновников, гнусных крыс, в разных министерствах, префектурах и полицейпрезидиумах.

2

Американские мои друзья явно не верят мне, когда я рассказываю, что за пятнадцать лет жизни в Германии я не познакомился близко ни с одним немцем, не прочел ни одной немецкой газеты или книги и никогда не чувствовал ни малейшего неудобства от незнания немецкого языка. Перебирая в памяти мои очень немногие и совершенно случайные встречи с берлинскими туземцами, я выделил в английской версии этих заметок немецкого студента, которому я, кажется, исправлял какие-то письма, посыпавшиеся им кузине в Америку. Это был тихий, приличный, благополучный молодой человек в очках, изучавший гуманитарные науки в университете. Кто только не измывался в Эпоху Разума над собирателями бабочек — тут и Лабрюйер, в шестом издании (1691) своих «Характеров» презрительно отмечающий, что иной модник любит насекомых и рыдает над умершей гусеницей, тут и пудреные англичане Гей и Поп, небрежно упоминающие в стихах о глуповатых философах, доводящих науку до абсурда тем, что гоняются за красивыми насекомыми, которых столь ценят любознательные немцы. И вот интересно, что бы сказали эти моралисты о коньке молодого немца моего улова в 1930-м году: он коллекционировал фотографические снимки казней. Уже при второй встрече он показал мне купленную им серию («Ein bißchen retuschiert»⁶⁶, — грустно сказал он, наморщив веснушчатый нос), изображавшую разные моменты заурядной декапитации в Китае; он с большим знанием дела указывал на красоту роковой сабли и на прекрасную атмосферу той полной кооперативности между палачом и пациентом, которая, на очень ясном снимке, заканчивалась феноменальным гейзером дымчато-серой крови. Небольшое состояние позволяло молодому собирателю довольно много разъезжать. Он жаловался, впрочем, что ему не везет. На Балканах он присутствовал при двух-трех посредственных повешениях, а на Бульваре Араго в плenительном Париже

⁶⁶ Слегка ретушировано... (нем.).

на широко рекламированной, но оказавшейся весьма убогой и механической «гильотинаде» (как он выражался, думая, что это по-французски) как-то всегда так выходило, что ему было плохо видно, пропадали детали, и не удавалось ничего интересного снять дорогим аппаратиком, спрятанным в рукаве макинтоша. Несмотря на сильнейшую простуду, он недавно ездил в Регенсбург, где казнь совершилась по старинке, при помощи топора; он ожидал многого от этого зрелища, но, к величайшему разочарованию, осужденному, по-видимому, дали наркотическое средство, вследствие чего дурень едва реагировал, только вяло шлепался об землю, борясь с неловкими, падающими на него, помощниками палача. Дитрих, так звали молодого любителя, надеялся когда-нибудь попасть в Америку, чтобы посмотреть электропокуцию, и, мечтательно хмуясь, спрашивал себя, неужели правда, что во время этой операции сенсационные облачки дыма выходят из природных отверстий содрогающегося тела. При третьей и, к сожалению, последней встрече (сколько еще было штрихов в этом Дитрихе, которые мне хотелось добрать и сохранить для писательских нужд!) он, не сердясь,— хотя было на что сердиться,— а напротив, с кроткой печалью рассказал, что недавно провел целую ночь, терпеливо наблюдая за приятелем, который решил покончить собой и после некоторых уговоров согласился проделать это в присутствии Дитриха, но, увы, приятель оказался бесчестным обманщиком и вместо того, чтобы выстрелить себе в рот, как было обещано, грубо напился и к утру был в самом наглом настроении — хохотал и брился. Я давно потерял из виду милого Дитриха, но вполне ясно представляю себе выражение совершенного удовлетворения и облегчения («...наконец-то...») в его светлых форелевых глазах, когда он нынче, в гемютном немецком городке, избежавшем бомбежки, в кругу других ветеранов гитлеровских походов и опытов, демонстрирует друзьям, которые с гоготом добродушного восхищения («Дизер Дитрих!») бьют себя ладонью по ляжке, те абсолютно вундербар фотографии, которые так неожиданно и дешево ему за те годы посчастливилось снять.

3

Почти все, что могу сказать о берлинской поре моей жизни (1922—1937), издержано мной в романах и рассказах, которые я тогда же писал. Сначала эмигрантских гонораров не могло хватать на жизнь.

Я усердно давал уроки английского и французского, а также и тенниса. Много переводил — начиная с «Alice in Wonderland»⁶⁷ (за русскую версию которой получил пять долларов) и кончая всем, чем угодно, вплоть до коммерческих описаний каких-то кранов. Однажды, в двадцатых годах, я составил для «Руля» новинку,— шараду, вроде тех, которые появлялись в лондонских газетах,— и тогда-то я и придумал новое слово «крестословица», столь крепко вошедшее в обиход.

О «Руле» вспоминаю с большой благодарностью. Иосиф Владимирович Гессен был моим первым читателем. Задолго до того, как

⁶⁷ «Алиса в Стране Чудес» (англ.).

в его же издательстве стали выходить мои книги, он с отеческим попустительством мне давал питать «Руль» незрелыми стихами. Синева берлинских сумерек, шатер углового каштана, легкое головокружение, бедность, влюблённость, мандариновый оттенок преждевременной световой рекламы и животная тоска по еще свежей России,— всё это в ямбическом виде волоклось в редакторский кабинет, где И. В. близко подносил лист к лицу. Уже в конце двадцатых годов стали приносить приличные деньги переводные права моих книг, и в 1929 году мы с тобой поехали ловить бабочек в Пиренеях. В конце тридцатых годов мы и вовсе покинули Германию, а до того, в течение нескольких лет, я навещал Париж для публичных чтений и тогда обычно стоял у Ильи Исидоровича Фондаминского. Политические и религиозные его интересы мне были чужды, нрав и навыки были у нас совершенно различные, мою литературу он больше принимал на веру,— и все это не имело никакого значения. Попав в сияние этого человечнейшего человека, всякий проникался к нему редкой нежностью и уважением. Одно время я жил у него в маленьком будуаре рядом со столовой, где часто происходили по вечерам собрания, на которые хозяин благородизмо меня не пускал. Замешкав с уходом, я иногда невольно попадал в положение пленного подслушивателя; помнится, однажды двое литераторов, спозаранку явившихся в эту соседнюю столовую, заговорили обо мне. «Что, были вчера на вечере Сирина?» — «Был». — «Ну, как?» — «Да так, знаете». Диалог, к сожалению, прервал третий гость, вошедший с приветствием: «Бонжур, мсье-дам»: почему-то выражения, свойственные французским почтальонам, казались нашим поэтам тонкостями парижского стиля. Русских литераторов набралось за границей чрезвычайно много, и я знал среди них людей бескорыстных и героических. Но были в Париже и особые группы, и там не все могли сойти за Алеш Карамазовых. Даровитый, но безответственный глава одной такой группировки совмещал лирику и расчет, интуицию и невежество, бледную немочь искусственных катакомб и роскошную античную томность. В этом мирке, где царили грусть и гнильца, от поэзии требовалось, чтобы она была чем-то соборным, круговым, каким-то коллективом тлеющих лириков, общим местом с наружным видом плеяды,— и меня туда не тянуло. Кроме беллетристики и стихов, я писал одно время посредственные критические заметки,— кстати, хочу тут покаяться, что слишком придрался к ученическим недостаткам Поплавского и недооценил его обаятельных достоинств. С писателями я видался мало. Однажды с Цветаевой совершил странную лирическую прогулку, в 1923 году, что ли, при сильном весеннем ветре, по каким-то пражским холмам. В тридцатых годах помню Куприна, под дождем и желтыми листьями поднимающего издали в виде приветствия бутылку красного вина. Ремизова, необыкновенной наружностью напоминавшего мне шахматную ладью после несвоевременной рокировки, я почему-то встречал только во французских кругах, на скучнейших сборищах *Nouvelle Revue Française*⁶⁸, и par Paulhan зазвал его и меня на загородную дачу

⁶⁸

Название французского журнала.

какого-то мецената, одного из тех несчастных дойных господ, которые, чтобы печататься, должны платить да платить.

Душевную приязнь, чувство душевного удобства возбуждали во мне очень немногие из моих собратьев. Проницательный ум и милая сдержанность Алданова были всегда для меня полны очарования. Я хорошо знал Айхенвальда, человека мягкой души и твердых правил, которого я уважал как критика, терзившего Брюсовых и Горьких в прошлом. Я очень сошелся с Ходасевичем, поэтический гений которого еще не понят по-настоящему. Презирая славу и со страшной силой обрушившаяся на продажность, пошлость и подлость, он нажил себе немало влиятельных врагов. Вижу его так отчетливо, сидящим со скрещенными худыми ногами у стола и вправляющим длинными пальцами половинку «Зеленого Капорала» в мундштук.

Книги Бунина я любил в отрочестве, а позже предпочитал его удивительные струящиеся стихи той парчовой прозе, которой он был знаменит. Когда я с ним познакомился в эмиграции, он только что получил Нобелевскую премию. Его болезненно занимали текучесть времени, старость, смерть,— и он с удовольствием отметил, что держится прямее меня, хотя на тридцать лет старше. Помнится, он прегасил меня в какой-то — вероятно, дорогой и хороший — ресторан для задушевной беседы. К сожалению, я не терплю ресторанов, водочки, закусочек, музычки — и задушевных бесед. Бунин был озадачен моим равнодушием к рыбчику и раздражен моим отказом распахнуть душу. К концу обеда нам уже было невыносимо скучно друг с другом. «Вы умрете в страшных мучениях и совершенном одиночестве», — сказал он мне, когда мы направились к вешалкам. Худенькая девушка в черном, найдя наши тяжелые пальто, пала, с ними в объятьях, на низкий прилавок. Я хотел помочь стройному старику надеть пальто, но он остановил меня движением ладони. Продолжая учиво бороться — он теперь старался помочь мне, — мы медленно выплыли в бледную пасмурность зимнего дня. Мой спутник собрался было застегнуть воротник, как вдруг его лицо перекосилось выражением недоумения и досады. Общими усилиями мы вытащили мой длинный шерстяной шарф, который девица засунула в рукав его пальто. Шарф выходил очень постепенно, это было какое-то разматывание мумии, и мы тихо вращались друг вокруг друга. Закончив эту египетскую операцию, мы молча продолжали путь до угла, где простились. В дальнейшем мы встречались на людях довольно часто, и почему-то завелся между нами какой-то удручающе-шутливый тон, — и в общем до искусства мы с ним никогда и не договорились, а теперь поздно, и герой выходит в очередной сад, и полыхают зарницы, а потом он едет на станцию, и звезды грозно и дивно горят на гробовом бархате, и чем-то горьковатым пахнет с полей, и в бесконечно отзывчивом отдалении нашей молодости опеваю ночь петухи.

с обычновенной игрой, с борьбой на доске, оно связано только в том смысле, как, скажем, одинаковыми свойствами шара пользуется и жонглер, чтобы выработать в воздухе свой хрупкий художественный космос, и теннисист, чтобы как можно скорее и основательнее разгромить противника. Характерно, что шахматные игроки — равно простые любители и гроссмейстеры — мало интересуются этими изящными и причудливыми головоломками и, хотя чувствуют прелест хитрой задачи, совершенно не способны задачу сочинить.

Для этого сочинительства нужен не только изощренный технический опыт, но и вдохновение, и вдохновение это принадлежит к какому-то сборному, музыкально-математически-поэтическому типу. Бывало, в течение мирного дня, промеж двух пустых дел, в кильватере случайно проплывшей мысли, внезапно, без всякого предупреждения, я чувствовал приятное содрогание в мозгу, где намечался зачаток шахматной композиции, обещавшей мне ночь труда и отрады. Внезапный проблеск мог относиться, например, к новому способу слить в стратегическую схему такую-то засаду с такой-то защитой; или же перед глазами на миг появлялось в стилизованном, и потому неполном, виде расположение фигур, которое должно было выразить труднейшую тему, до того казавшуюся невоплотимой. Но чаще всего это было просто движение в тумане, маневр привидений, быстрая пантомима, и в ней участвовали не разные фигуры, а бесплотные силовые единицы, которые, вибрируя, входили в оригинальные столкновения и союзы. Ощущение было, повторяю, очень сладостное, и единственное мое возражение против шахматных композиций, это то, что я ради них загубил столько часов, которые тогда, в мои наиболее плодотворные, кипучие годы, я беспечно отнимал у писательства.

Знатоки различают несколько школ задачного искусства: англо-американская сочетает чистоту конструкции с ослепительным тематическим вымыслом; сказочным чем-то поражают оригинально-уродливые трехходовки готической школы; неприятны своей пустотой и ложным лоском произведения чешских композиторов, ограничивших себя искусственными правилами; в свое время Россия изобрела гениальные этюды, ныне же прилежно занимается механическим нагромождением серых тем в порядке ударного перевыполнения бездарных заданий. Меня лично прельяли в задачах миражи и обманы, доведенные до дьявольской тонкости, и, хотя в вопросах конструкции я старался по мере возможности держаться классических правил, как, например, единство, чеканность, экономия сил, я всегда был готов пожертвовать чистотой рассудочной формы требованиям фантастического содержания.

Одно — загореться задачной идеей, другое — построить ее на доске. Умственное напряжение доходит до бредовой крайности; понятие времени выпадает из сознания: рука строителя нашаривает в коробке нужную пешку, сжимает ее, пока мысль колеблется, нужна ли тут затычка, можно ли обойтись без преграды,— и, когда разжимается кулак, оказывается, что прошло с час времени, истлевшего в накаленном до сияния мозгу составителя. Постепенно доска перед ним становится магнитным полем, звездным небом, сложным и точным прибором,

системой нажимов и вспышек. Прожекторами двигаются через нее слоны. Конь превращается в рычаг, который пробуешь, и прилагаешь, и пробуешь опять, доводя композицию до той точки, в которой чувство неожиданности должно слиться с чувством эстетического удовлетворения. Как мучительна бывала борьба с ферзем белых, когда нужно было ограничить его мощь во избежание двойного решения! Дело в том, что соревнование в шахматных задачах проходит не между белыми и черными, а между составителем и воображаемым разгадчиком (подобно тому, как в произведениях писательского искусства настоящая борьба ведется не между героями романа, а между романистом и читателем), а потому значительная часть ценности задачи зависит от числа и качества «иллюзорных решений», — всяких обманчиво-сильных первых ходов, ложных следов и других подвохов, хитро и любовно приготовленных автором, чтобы поддельной нитью лже-Ариадны опутать вошедшего в лабиринт. Но чего бы я ни сказал о задающем творчестве, я вряд ли бы мог до конца объяснить блаженную суть работы. В этом творчестве есть точки соприкосновения с сочинительством, и в особенности с писанием тех невероятно сложных по замыслу рассказов, где автор в состоянии ясного ледяного безумия ставит себе единственное в своем роде правила и преграды, преодоление которых и дает чудотворный толчок к оживлению всего создания, к переходу его от граней кристалла к живым клеткам. Когда же составление задачи подходит к концу и точеныe фигуры, уже зrimые и нарядные, являются на генеральную репетицию авторской мечты, мучение заменяется чувством чуть ли не физической усадьбы, в состав которого входит, между прочим, то безымянное ощущение «ладности», столь знакомое ребенку, когда он в постели мысленно проходит — не урок, а подробный образ завтрашней забавы, и чувствует, как очертания воображенной игрушки удивительно точно и приятно прилагаются к соответствующим уголкам и лункам в мозгу. В расставлении задачи есть та же приятность: гладко и удобно одна фигура заходит за другую, чтобы в тени и тайне тонкой засады заполнить квадрат, и есть приятное скольжение хорошо смазанной и отполированной машинной части, легко и отчетливодвигающейся так и эдак под пальцами, поднимающими и опускающими фигуру.

Мне вспоминается одна определенная задача, лучшее мое произведение, над которым я работал в продолжение двух-трех месяцев весной 1940-го года в темном оцепеневшем Париже. Настала наконец та ночь, когда мне удалось воспроизвести диктованную тему, над которой я бился. Попробую эту тему объяснить не знающему шахмат читателю.

Те, кто вообще решает шахматные задачи, делятся на простаков, умников и мудрецов, — или, иначе говоря, на разгадчиков начинающих, опытных и изощренных. Моя задача была обращена к изощренному мудрецу. Простак-новичок совершенно бы не заметил ее пuanты и довольно скоро нашел бы ее решение, минуя те замысловатые мучения, которые в ней ожидали опытного умника; ибо этот опытный умник пренебрег бы простотой и попал бы в узор иллюзорного решения, в

«блестящую» паутину ходов, основанных на теме весьма модной и «передовой» в задачном искусстве (состоящей в том, чтобы в процессе победы над черными белый король парадоксально подвергался шаху); но это передовое «решение», которое очень тщательно, со множеством интересных вариантов, автор подложил разгадчику, совершенно уничтожалось скромным до нелепости ходом едва заметной пешки черных. Умник, пройдя через этот адский лабиринт, становился мудрецом и только тогда добирался до простого ключа задачи, вроде того как если бы кто искал кратчайший путь из Петербурга в Нью-Йорк и был шутником послан туда через Канзас, Калифорнию, Азию, Северную Африку и Азорские острова. Интересные дорожные впечатления, веллингтонии, тигры, гонги, всякие красочные местные обычаи (например, свадьба где-нибудь в Индии, когда жених и невеста трижды обходят священный огонь в земляной жаровне,— особенно если человек этнограф) с лихвой возмещают постаревшему путешественнику досаду, и, после всех приключений, простой ключ доставляет мудрецу художественное удовольствие.

Помню, как я медленно выплыл из обморока шахматной мысли, и вот на громадной английской сафьяновой доске в бланжевую и красную клетку безупречное положение было сбалансировано, как созвездие. Задача действовала, задача жила. Мои Staunton'ские шахматы (в 1920-м году дядя Константин подарил их моему отцу), великолепные массивные фигуры на байковых подошвах, отягощенные свинцом, с пешками в шесть сантиметров ростом и королями почти в десять, важно сияли лаковыми выпуклостями, как бы сознавая свою роль на доске. За такой же доской, как раз уместившейся на низком столике, сидели Лев Толстой и А. Б. Гольденвейзер 6-го ноября 1904-го года по старому стилю (рисунок Морозова, ныне в Толстовском музее в Москве), и рядом с ними, на круглом столе под лампой, виден не только открытый ящик для фигур, но и бумажный ярлычок (с подписью Staunton), приkleенный к внутренней стороне крышки. Увы, если присмотреться к моим двадцатилетним (в 1940 году) фигурам, можно было заметить, что отлетел кончик уха у одного из коней и основания у двух-трех пешек чуть подломаны, как край гриба, ибо много и далеко я их возил, сменив больше пятидесяти квартир за мои европейские годы; но на верхушке королевской ладьи и на челе королевского коня все еще сохранился рисунок красной коронки, вроде круглого знака на лбу у счастливого индуса.

Мои часы — ручеек времени по сравнению с оледенелым его озером на доске — показывали половину третьего утра. Дело было в мае — около 19-го мая 1940-го года. Накануне, после нескольких месяцев ходатайств, просьб и браней, удалось вприснуть взятку в нужную крысу в нужном отделе и этим заставить ее выделить нужную visa de sortia⁶⁹, которая в свою очередь давала возможность получить разрешение на въезд в Америку. Глядя на мою шахматную задачу, я вдруг почувствовал, что с окончанием работы над ней целому периоду

⁶⁹ выездную визу (фр.).

моей жизни благополучно пришел конец. Кроме скуки и отвращения, Европа не возбуждала во мне ничего. Кругом было очень тихо. Облегчение, которое я испытывал, придавало тишине некоторую нежность. Из-под дивана выглядывал игрушечный грузовичок. В соседней комнате ты и наш маленький сын мирно спали. Лампа на столе была в чепце из голубой сахарной бумаги (военная предосторожность), и вследствие этого электрический свет окрашивал лепной от табачного дыма воздух в лунные оттенки. Непроницаемые занавески отделяли меня от притушенного Парижа. Лежавшая на диване газета сообщала крупными литерами о нападении Германии на Голландию.

Передо мной лист скверной бумаги, на котором в ту лиловов-черную парижскую ночь я нарисовал диаграмму моей задачи. Белые: Король, a7; Ферзь, b6; Ладья, f4 и h5; Слоны, e4 и h8; Кони, d8 и e6; Пешки, b7 и g3. Черные: Король, e5; Ладья, g7; Слон, h6; Кони, e2 и g5; Пешки, c3, c6, d7. Белые начинают и дают мат. в два хода. Решение дано в следующей главе. Ложный же след, иллюзорная комбинация: пешка идет на b8 и превращается в коня, после чего белые тремя разными, очаровательными матами отвечают на три по-разному раскрытых шаха черных; но черные разрушают всю эту блестящую комбинацию тем, что, вместо шахов, делают маленький, никчемный с виду, выжидательный ход в другом месте доски. В одном углу листа с диаграммой стоит тот же штемпель, которым чья-то неутомимая и бездельная рука украсила все книги, все бумаги, вывезенные мной из Франции в мае 1940-го года. Это — круглый пуговичный штемпель, и цвет его — последнее слово спектра: *violet de bureau*⁷⁰. В центре видны две прописные буквы, большое «R» и большое «F», инициалы Французской Республики. Из других букв, несколько меньшего формата, составляются по периферии штемпеля интересные слова «*Contrôle des Informations*»⁷¹. Эту тайную информацию я теперь могу обнародовать.

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

1

«О, как гаснут — по степи, по степи, удаляясь, годы!» Годы гаснут, мой друг, и когда удалятся совсем, никто не будет знать, что знаем мы да я. Наш сын растет; розы Пестума, туманного Пестума, отцевели; люди неумные, с большими способностями к математике, лихо добираются до тайных сил природы, которые краткие, в ореоле седин, и тоже не очень далекие физики предсказали (к тайному своему удивлению). А потому, пожалуй, пора, мой друг, просмотреть древние снимочки, пещерные рисунки поездов и аэропланов, залежи игрушек в чулане.

Заглянем еще дальше, а именно вернемся к майскому утру в 1934-м году, в Берлине. Мы ожидали ребенка. Я отвез тебя в больницу около Байришерплац и в пять часов утра шел домой, в Грюневальд. Весенние цветы украшали крашеные фотографии Гинденбурга и Гитле-

⁷⁰ канцелярская лиловизна (фр.).

⁷¹ «Контроль информации» (фр.).

ра в витринах рамочных и цветочных магазинов. Левацкие группы воробьев устраивали громкие собрания в сиреневых кустах палисадников и в притротуарных липах. Прозрачный рассвет совершенно обнажил одну сторону улицы, другая же сторона вся еще синела от холода. Тени разной длины постепенно сокращались, и свежо пахло асфальтом. В чистоте и пустоте незнакомого часа тени лежали с непривычной стороны, получалась полная перестановка, не лишенная некоторого изящества, вроде того, как отражается в зеркале у парикмахера отрезок панели с беспечными прохожими, уходящими в отвлеченный мир,— который вдруг перестает быть забавным и обдает душу волною ужаса. Когда я думаю о моей любви к кому-либо, у меня привычка проводить радиусы от этой любви, от нежного ядра личного чувства к чудовищно ускользающим точкам вселенной. Что-то заставляет меня как можно сознательнее примеривать личную любовь к безличным и неизмеримым величинам,— к пустотам между звезд, к туманностям (самая отдаленность коих уже есть род безумия), к ужасным западням вечности, ко всей этой беспомощности, холоду, головокружению, крутизnam времени и пространства, непонятным образом переходящим одно в другое. Так, в бессонную ночь, раздражаешь нежный кончик языка, без конца проверяя острую грань сломавшегося зуба,— или вот еще, коснувшись чего-нибудь,— дверного косяка, стены,— должен невольно пройти через целый строй прикосновений к разным плоскостям в комнате, прежде чем привести свою жизнь в прежнее равновесие. Тут ничего не поделаешь — я должен осознать план местности и как бы отпечатать себя на нем. Когда этот замедленный и беззвучный взрыв любви происходит во мне, разворачивая свои тающие края и обволакивая меня сознанием чего-то значительно более настоящего, нетленного и мощного, чем весь набор вещества и энергии в любом космосе, тогда я мысленно должен себя ушипнуть, не спит ли мой разум. Я должен проделать молниеносный инвентарь мира, сделать все пространство и время соучастниками в моем смертном чувстве любви, дабы, как боль, смертность унять и помочь себе в борьбе с глупостью и ужасом этого унизительного положения, в котором я, человек, мог развить в себе бесконечность чувства и мысли при конечности существования.

Так как в метафизических вопросах я враг всяких объединений и не желаю участвовать в организованных экскурсиях по антропоморфическим парадизам, мне приходится полагаться на собственные свои слабые силы, когда думаю о лучших своих переживаниях: о страстной заботе, переходящей почти в куваду, с которой я отнесся к нашему ребенку с первого же мгновения его появления на свет. Вспомним все наши открытия (есть такая *idée grecue*⁷² — «все родители делают эти открытия»): идеальную форму миниатюрных ногтей на младенческой руке, которую ты мне без слов показывала у себя на ладони, где она лежала, как отливом оставленная маленькая морская звезда; эпидерму ноги или щеки, которую ты предлагала моему вниманию дымчато-отда-

⁷² Общее место (фр.).

ленным голосом, точно нежность осязания могла быть передана только нежностью живописной дали; расплющатое, ускользающее нечто в си-нем оттенке радужной оболочки глаза, удержаншей как будто тени, впитанные в древних баснословных лесах, где было больше птиц, чем тигров, больше плодов, чем шипов, и где, в пестрой глубине, зародился человеческий разум; а также первое путешествие младенца в следующее измерение, новую связь, установившуюся между глазом и предметом, таинственную связь, которую думают объяснить те бездарности, которые делают «научную карьеру» при помощи лабиринтов с тренирован-ными крысами.

Ближайшее подобие зарождения разума (и в человеческом роде, и в особи), мне кажется, можно найти в том дивном толчке, когда, глядя на путаницу сучков и листьев, вдруг понимаешь, что дотоле при-нимаемое тобой за часть этой ряби есть на самом деле птица или насекомое. Для того, чтобы объяснить начальное цветение человечес-кого рассудка, мне кажется, следует предположить паузу в эволюции природы, животворную минуту лени и неги. Борьба за существование — какой вздор! Проклятие труда и битв ведет человека обратно к кабану. Мы с тобой часто со смехом отмечали маньякальный блеск в глазу у хозяйственной дамы, когда в пищевых и распределительных за-мыслах она этим стеклянистым взглядом блуждает до морту мясной. Пролетарии, разъединяйтесь! Старые книги ошибаются. Мир был создан в день отдыха.

2

В годы младенчества нашего мальчика в Германии громкого Гитлера и во Франции молчаливого Мажино мы вечно нуждались в деньгах, но добрые друзья не забывали снабжать нашего сына всем самым лучшим, что можно было достать. Хотя сами мы были бессильны, мы с беспокойством следили, чтобы не наметилось разрыва между ве-щественными благами в его младенчестве и нашем. Впрочем, наука выращивания младенцев сделала невероятные успехи: в девять месяцев я, например, не получал на обед целого фунта протертого шпината, не получал сок от дюжины апельсинов в один день; и тобою заведенная педиатрическая рутина была несравненно художественнее и тща-тельнее, чем все, что могли бы придумать няньки и бонны нашего детства.

Обобщенный буржуа прежних дней, патер фамилиас прежнего формата, вряд ли бы понял отношение к ребенку со стороны свобод-ного, счастливого и нищего эмигранта. Когда, бывало, ты поднимала его, напитанного теплой кашицей и важного, как идол, и держала его в ожидании рыжка, прежде чем превратить вертикального ребенка в горизонтального, я участвовал и в терпеливости твоего ожидания, и в стесненности его насыщенности, преувеличивая и то и другое, а потому испытывал восхитительное облегчение, когда тупой пузыrek поднимался и лопался и ты с поздравительным шепотом низко нагибалась, чтобы опустить младенца в белые сумерки постель-

ки. Я до сих пор чувствую в кистях рук отзывы той профессиональной сноровки, того движения, когда надо было легко и ловко вжать поручни, чтобы передние колеса коляски, в которой я его катал по улицам, поднялись с асфальта на тротуар. У него сначала был великолепный, мышиного цвета, бельгийский экипажик, с толстыми, чуть ли не автомобильными, шинами, такой большой, что не входил в наш мозгливый лифт; этот экипажик плыл по панели с пленным младенцем, лежащим навзничь под пухом, шелком и мехом: только его зрачки двигались, выжидательно, и порою обращались кверху с быстрым взмахом нарядных ресниц, дабы проследить за скользившей в узорах ветвей голубизной, а затем он бросал на меня подозрительный взгляд, как бы желая узнать, не принадлежат ли эти дразнящие узоры листвы и неба к тому же порядку вещей, как его погремушки и родительский юмор. За колымагой последовала более легкая беленская повозка, и в ней он пытался встать, натягивая до отказа ремни. Он добирался до борта и с любопытством философа смотрел на выброшенную им подушку и однажды сам выпал, когда лопнул ремень. Еще позже я катал его в особом стульчике на двух колесах (мальпостике): с первоначально упругих и верных высот ребенок спустился совсем низко и теперь, в полтора года, мог коснуться земли, съезжая с сиденья мальпостика и стуча по панели каблучками в предвкушении отпуска на свободу в городском саду. Вздулась новая волна эволюции и опять начала его поднимать. В два года, на рождение, он получил серебряной краской выкрашенную алюминиевую модель гоночного «мерседеса» в два аршина длины, которая подвигалась при помощи двух органных педалей под ногами, и в этой сверкающей машине, чудным летом, полуголы, загорелый, золотоволосый, он мчался по тротуарам Курфюрстендана, с насосными и гремящими звуками, работая ножками, виртуозно орудуя рулем, а я бежал сзади, и из всех открытых окон доносился хриплый рев диктатора, бившего себя в грудь, нечленораздельно ораторствовавшего в Неандертальской долине, которую мы с сыном оставили далеко позади.

Вместо дурацких и дурных фрейдистических опытов с кукольными домами и куколками в них («Что ж твои родители делают в спальне, Жоржик?») стоило бы, может быть, психологам постараться выяснить исторические фазы той страсти, которую дети испытывают к колесам. Мы все знаем, конечно, как венский шарлатан объяснял интерес мальчиков к поездам. Мы оставим его и его попутчиков трястись в третьем классе науки через тоталитарное государство полового мифа (какую ошибку совершают диктаторы, игнорируя психоанализ, которым целые поколения можно было бы развертить). Молодой рост, стремительность мысли, американские горы кровообращения, все виды жизненности, суть виды скорости, и не удивительно, что развивающийся ребенок хочет перегнать природу и наполнить минимальный отрезок времени максимальным пространственным наслаждением. Глубоко в человеческом духе заложена способность находить удовольствие в преодолении земной тяги. Но чем бы любовь к колесу ни объяснялась, мы с тобой будем вечно держать и защищать, на этом ли или другом поле сражения, те мосты, на которых мы проводили часы с двухлет-

ним, трехлетним, четырехлетним сыном в ожидании поезда. С безграничным оптимизмом он надеялся, что щелкнет семафор и вырастет локомотив из точки вдали, где столько сливалось рельс между черными спинами домов. В холодные дни на нем было мерлушковое пальто с такой же ушастой шапочкой, и то и другое пестровато-коричневого цвета с инсистым оттенком, и эта оболочка и жар его веры в паровоз держали его в плотном тепле и согревали тебя тоже, ибо, чтоб не дать пальцам замерзнуть, надо было только зажать то один, то другой кулачок в своей руке,— и мы диву давались, какое количество тепла может развить эта печка — тело крупного дитяти.

3

Еще есть в каждом ребенке стремление к перелепке земли, к прямому влиянию на сыпучую среду. Вот почему дети так любят копаться в песке, строить шоссе и туннели для любимых игрушек. У него было больше ста маленьких автомобилей, и он брал то один, то другой с собой в сквер: солнце придавало медовый оттенок его голой спине, на которой скрещивались бридошки его вязанных, темно-синих штанишек (при погружении в вечернюю ванну этот икс бридоочек и штанишки были представлены соответствующим узором белизы). Никогда прежде я так много не сиживал на стольких скамьях и садовых стульях, каменных тумбах и ступенях, парапетах террас и бортах бассейнов. Сердобольные немки принимали меня за безработного. Пресловутый сосновый лес вокруг Грюневальдского озера мы посещали редко: слишком в нем было много мусора и отбросов, и не совсем понятно было, кто мог потрудиться принести так далеко эти тяжелые вещи — железную кровать, стоящую посреди прогалины, или разбитый параличом гипсовый бюст под кустом шиповника. Однажды я даже нашел в чаще стекло зеркало, несколько обезображенное, но еще бодро, прислоненное к стволу и как бы даже пьяное от смеси солнца и зелени, пива и шартреза. Может быть, эти сюрреалистические вторжения в бургеры места отдыха были обрывочными пророческими грезами будущих неурядиц и взрывов, вроде той кучи голов, которую Калиостро провидел в Версальской канаве. Поближе к озеру в летние воскресенья все кишело телами в разной стадии оголенности и загорелости. Только белки и некоторые гусеницы оставались в пальто. Сероногие женщины в исподнем белье сидели на жирном сером песке, мужчины, одетые в грязные от ила купальные трусики, гонялись друг за другом. В скверах города воспрещалось раздеваться, но разрешалось расстегнуть две-три пуговки рубашки, и можно было видеть на каждой скамейке молодых людей с ярко выраженным арийским типом, которые, закрыв глаза, подставляли под одобрение правительством солнце прыщавые лбы. Брезгливое и, может быть, преувеличенное содрогание, отразившееся в этих заметках, вероятно, результат нашей постоянной боязни, чтоб наш ребенок чем-нибудь не заразился. Ты не только содержала его в идеальной чистоте, но еще научила его съездства чистоту эту любить. Нас всегда бесило общепринятое и не лишенное мещанского привкуса мнение, что настоящий мальчик должен не навидеть мытье.

Мне бы хотелось вспомнить все те скверы, где мы с ним сидели. Вызывая в памяти тот или другой образ, я часто могу определить географическое положение садика по двум-трем чертам. Очень узкие дорожки, усыпанные гравием, окаймленные карликовым буксом и все встречающиеся друг с дружкой, как персонажи в комедии; низкая, кубовой окраски, скамья с тисовой, кубической формы, живой изгородью сзади и с боков; квадратная клумба роз в раме гелиотропа — эти подробности явно связаны с небольшими скверами на берлинских перекрестках. Стол же очевидно, стул из тонкого железа с паукообразной тенью под ним, слегка смещенный с центра, и грациозная вращательная кропилка с собственной радугой, висящей над влажной травой, означают для меня парк в Париже; но, как ты хорошо понимаешь, глаза Мнемозины настолько пристально направлены на маленькую фигуру (сидящую на корточках, нагружающую игрушечный возок камушками или рассматривающую блестящую мокрую кишку, к которой интересно пристало немножко того цветного гравия, по которой она только что проползла), что разнообразные наши места жительства — Берлин, Прага, Франценбад, Париж, Ривьера и так далее — теряют свое суверенство, складывают в общий фонд своих окаменелых генералов и свои мертвые листья, общим цементом скрепляют содружество своих тропинок и соединяются в федерации близких и теней, сквозь которые изящные дети с голыми коленками мечтательно катятся на жужжащих роликах.

Нашему мальчику было около трех лет в тот ветреный день в Берлине, где, конечно, никто не мог избежать знакомства с вездесущим портретом фюрера, когда я с ним остановился около клумбы бледных анютиных глазок: на личике каждого цветка было темное пятно вроде кляксы усов, и, по довольно глупому моему наущению, он с райским смехом узнал в них толпу беснующихся на ветру маленьких гитлеров. Это было на Фербеллинерплац. Могу также назвать тот цветущий сад в Париже, где я заметил тихую, хилую девочку, без всякого выражения в глазах, одетую в темное убогое не летнее платье, словно она бежала из сиротского приюта (действительно, немного позже я увидел, как ее увлекали две плавные монахини), которая ловкими пальчиками привязала живую бабочку к ниточке и с пасмурным лицом прогуливалася слабо порхающее, слегка подбитое насекомое на этом поводке (верно, приходилось заниматься кропотливой вышивкой в том приюте). Ты часто обвиняла меня в жестокосердии при моих энтомологических исследованиях в Пиренеях и Альпах; и в самом деле, если я отвлек внимание нашего ребенка от этой хмурой Титании, я это сделал не потому, что проникся жалостью к ее ванессе, а потому, что вдруг вспомнил, как И. И. Фондаминский рассказывал мне об очень простом старомодном способе, употребляемом французским полицейским, когда он ведет в часть бунтаря или пьяного, которого он превращает в покорного сателлита тем, что держит беднягу при помощи небольшого крючочка, вроде рыбачьего, всаженного в его нехоленую, но очень отзывчивую плоть. Стоокой нежностью мы с тобой старались оградить доверчивую нежность нашего мальчика. Но про себя знали, что какая-нибудь гнусная дрянь, нарочно оставленная хулиганом на детской

площадке, была еще малейшим из зол и что ужасы, которые прошлые поколения мысленно отстраняли как анахронизмы или как нечто случавшееся только очень далеко, в получеловеческих ханствах и мандаринствах, на самом деле происходили вокруг нас.

Когда же тень, бросаемая дурой историей, стала наконец показываться даже на солнечных часах и мы начали беспокойно странствовать по Европе, было такое чувство, точно эти сады и парки путешествуют вместе с нами. Расходящиеся аллеи Ленотра и его цветники остались позади, как поезда, переведенные на запасной путь. В Праге, куда мы заехали показать нашего сына моей матери, он играл в Стромовке, где за боскетами пленила взгляд необыкновенно свободная даль. Ты вспомни и те сады со скалами и альпийскими растениями, которые как бы проводили нас в Савойские Альпы. Деревянные руки в манжетах, пригвожденные к древесным стволам в старых парках курортов, указывали в ту сторону, откуда доносились приглушенные звуки духового оркестра. Умная тропка сопутствовала аллее-улице: не всюду идя параллельно с нею, но всегда признавая ее водительство и как дитя вприпрыжку возвращаясь к ней от пруда с утками или бассейна с водяными лилиями, чтобы опять присоединиться к процессии платанов в том пункте, где отцы города разразились статуей. Корни, корни чего-то зеленого в памяти, корни пахучих растений, корни воспоминаний, способны проходить большие расстояния, преодолевая некоторые препятствия, проникая сквозь другие, пользуясь каждой трещиной. Так эти сады и парки шли с нами через Европу: гравистые дорожки собирались в кружок, чтобы смотреть, как ты нагибалась за мячом, ушедшем под бирючину, но там, на темной сырой земле, ничего не было, кроме пробитого лиловатого автобусного билетика. Круглое сидение пускалось в путь по периферии толстого ствола дуба и находило на другой стороне грустного старика, читающего газету на языке небольшого народа. Лаковые лавры замыкали лужок, где наш мальчик нашел первую свою живую лягушку, и ты сказала, что будет дождь. Дальше, под менее свинцовыми небесами, пошел трельяж роз, обращаясь чуть не в перголы, опутанные виноградом, и привел к кокетливой публичной уборной сомнительной чистоты, где на пороге прислужница в черном вязала черный чулок. Вниз по склону плоскими камнями отделанная тропинка, ставя вперед все ту же ногу, пробралась через зарось ирисов и влилась в дорогу, где мягкая земля была вся в отпечатках подков. Сады и парки стали двигаться быстрее по мере того, как удлинялись ноги нашего мальчика; ему было уже три года, когда шествие цветущих кустов решительно повернуло к морю. Как видишь скучного начальника небольшой станции, стоящего в одиночестве на платформе, мимо которого промахивает твой поезд, так тот или другой серый парковый сторож удалялся, стоя на месте, пока ехали наши сады, увлекая нас к югу, к апельсиновым рощам, к цыплячemu пуху мимоз и *râte tendre*⁷³ безоблачного неба. Чередой террас, ступенями, с каждой из которых прыскал яркий кузнецик, сады сошли к морю, причем оливы и олеандры чуть не сбивали друг друга с ног в своем нетерпении увидеть пляж. Там он

⁷³ Род фарфора (*фр.*).

стоял на коленках, держа вафельный букет мороженого, и так снят на мерцающем фоне: море превратилось на снимке в бельмо, но в действительности оно было серебристо-голубое, с фиалковыми темнотами там и сям. Были, похожие на леденцы, зеленые, розовые, синие стеклышики, вылизанные волной, и черные камешки с белой перевязью, и раковинки, распадающиеся на две створки, и кусочки глиняной посуды, еще сохранившие цвет и глазурь; эти осколки он приносил нам для оценки, и, если на них были синие шевроны или клеверный крап или любые другие блестящие эмблемы, они с легким звоном опускались в игрушечное ведро. Не сомневаюсь, что между этими слегка вогнутыми ивернями майолики был и такой кусочек, на котором узорный бордюр как раз продолжал, как в вырезной картинке, узор кусочка, который я нашел в 1903 году на том же берегу, и эти два осколка продолжали узор третьего, который на том же самом Ментонском пляже моя мать нашла в 1885 году, и четвертого, найденного ее матерью сто лет тому назад,— и так далее, так что, если бы можно было собрать всю эту серию глиняных осколков, сложилась бы из них целиком чаша, разбитая итальянским ребенком Бог весть где и когда, но теперь починенная при помощи этих бронзовых скрепок.

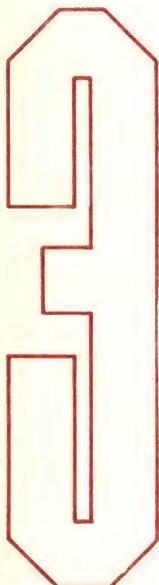
Кстати, чтобы не забыть: решение шахматной задачи в предыдущей главе — слон идет на с2.

В мае 1940 года мы опять увидели море, но уже не на Ривьере, а в Сен-Назере. Там один последний маленький сквер окружил тебя, и меня, и шестилетнего сына, идущего между нами, когда мы направлялись к пристани, где, еще скрытый домами, нас ждал «Шамплен», чтобы унести нас в Америку. Этот последний садик остался у меня в уме, как бесцветный геометрический рисунок или крестословица, которую я мог бы легко заполнить красками и словами, мог бы легко придумать цветы для него, но это значило бы небрежно нарушить чистый ритм Мнемозины, которого я смиренно слушался с самого начала этих замет. Всё, что помню об этом бесцветном сквере, это его остроумный тематический союз с трансатлантическими садами и парками; ибо вдруг, в ту минуту, когда мы дошли до конца дорожки, ты и я увидели нечто такое, на что мы не тотчас обратили внимание сына, не желая испортить ему изумленной радости самому открыть впереди огромный прототип всех пароходиков, которые он, бывало, подталкивал, сидя в ванне. Там, перед нами, где прерывчатый ряд домов отделял нас от гавани и где взгляд встречали всякие сорта камуфляжа, как, например, голубые и розовые сорочки, пляшущие на веревке, или дамский велосипед, почему-то делящий с полосатую кошкой чугунный балкончик,— можно было разглядеть среди хаоса косых и прямых углов выраставшие из-за белья великолепные трубы парохода, несомненные и неотъемлемые, вроде того, как на загадочных картинках, где все нарочно спутано («Найдите, что спрятал матрос»), однажды увиденное не может быть возвращено в хаос никогда.

ПОДВИГ

Посвящаю моей жене

I



дельвейс, дед Мартына, был, как это ни смешно, швейцарец,— рослый швейцарец с пушистыми усами, воспитывавший в шестидесятых годах детей петербургского помещика Индрикова и женившийся на младшей его дочери. Мартын сперва полагал, что именно в честь деда назван бархатно-белый альпийский цветок, баловень гербариев. Вовсе отказаться от этого он и позже не мог. Деда он помнил ясно, но только в одном виде, в одном положении: старик, весь в белом, толстый, светлоусый, в панамской шляпе, в пикейном жилете, богатом брелоками (из которых самый занимательный — кинжал с ноготок), сидит на скамье перед домом, в подвижной тени липы. На этой скамье дед и умер, держа на ладони любимые золотые часы, с крышкой как золотое зеркальце. Апоплексия застала его на этом своевременном жесте, и стрелка, по семейному преданию, остановилась вместе с его сердцем. Затем дедушка Эдельвейс годами сохранялся в грузном кожаном альбоме; в его время снимали со вкусом, с расстановкой, это была операция не шуточная, пациент должен был замереть надолго,— еще не пришло, вместе с моментальной фотографией, разрешение на улыбку. Сложностью светописи объяснялись увесистость и крепость бравых дедушкиных поз на бледноватых, но очень добрых фотографиях,— дедушка в молодости, с ружьем, с убитым вальдшнепом у ног, дедушка на кобыле Дэзи, дедушка на полосатой верандовой лавке, с черной таксой, не хотелщей сидеть смирно, а потому получившейся с тремя хвостами. И только в тысяча девятьсот восемнадцатом году дедушка Эдельвейс исчез окончательно, ибо сгорел альбом, сгорел стол, где альбом лежал, сгорела и вся усадьба, которую, по глупости, спалили целиком, вместо того чтобы поживиться обстановкой, мужички из ближней деревни.

Отец Мартына врачевал накожные болезни, был знаменит,— тоже, как и дед, бел и тучен, любил в свободное время удить бычков и обладал великолепной коллекцией кинжалов, сабель, а также длинных старинных пистолетов, из-за которых приверженцы более новых систем чуть его не расстреляли. Весной восемнадцатого года он отяжел, распух, стал задыхаться и умер при неясных обстоятельствах. Его жена, Софья Дмитриевна, жила в то время с сыном под Ялтой: городок примерял то одну власть, то другую, и все привередничал.

Это была розовая, веснушчатая, моложавая женщина, с копной

бледных волос, с приподнятыми бровями, густоватыми у переносицы, но почти незаметными поближе к вискам, и со щелками в удлиненных мочках нежных ушей, которые прежде она пронимала сережками. Еще недавно она сильно и ловко играла в теннис на площадке в парке, существовавшей с восьмидесятых годов, осенью много каталась на черном велосипеде Эн菲尔д по аллеям, по шумно шуршащим коврам сухих листьев или отмахивала пешком по упругой обочине весь длинный, с детства любимый путь между Ольховым и Воскресенским, поднимая и опуская, как заправский ходок, конец дорогой трости с коралловым набалдашником. В Петербурге она слыла англоманкой и славу эту любила, красноречиво говорила о бойскаутах, о Киплинге и находила совершенно особое удовольствие в частых посещениях Дрюса, где уже на лестнице, перед большой рекламой (женщина, сочно намыливавшая голову мальчишке), приветствовал вас замечательный запах мыла, лаванды, с примесью еще чего-то, говорившего о резиновых ваннах, футбольных мячах и круглых, тяжеленьких, тугу спеленутых рождественских пудингах. И разумеется, первые книги Мартына были на английском языке: Софья Дмитриевна как чумы боялась «Задушевного слова» и внушила сыну такое отвращение к титулованным смугллянкам Чарской, что и впоследствии Мартын побаивался всякой книги, написанной женщиной, чувствуя и в лучших из этих книг бессознательное стремление немолодой и, быть может, дебелой дамы нарядиться в смазливое имя и кошечкой свернуться на канапе. Софья Дмитриевна не терпела уменьшительных, следила за собой, чтобы их не употреблять, и сердилась, когда муж говорил: «У мальчугана опять кашелек, посмотрим, нет ли температурки». Русская же литература для детей кишмя кишила сююкающими словами или же грешила другим — нравоучительством.

Если фамилия деда Мартына цвела в горах, то девичья фамилия бабки, волшебным происхождением разнясь от Волковых, Куницыных, Белкиных, относилась к русской сказочной фауне. Дивные звери рыскали некогда по нашей земле. Но русскую сказку Софья Дмитриевна находила аляповатой, злой и убогой, русскую песню — бессмысленной, русскую загадку — дурацкой и плохо верила в пушкинскую няню, говоря, что поэт ее сам выдумал вместе с ее побасками, спицами и тоской. Таким образом, Мартын в раннем детстве не узнал иного, что впоследствии сквозь самоцветную волну памяти могло бы прибавить к его жизни еще одно очарование, но очарований было и так вдосталь, и ему не приходилось жалеть, что не Ерусланом, а западным братом Еруслана было в детстве разбужено его воображение. Да и не все ли равно, откуда приходит нежный толчок, от которого трогается и катится душа, обреченная после сего никогда не прекращать движений.

II

Над маленькой, узкой кроватью, с белыми веревчатыми решетками по бокам и с иконкой в головах (в грубоватой прорези фольги — лаково-коричневый святой, а малиновый плюш на исподе подъеден не то молью, не то самим Мартыном), висела на светлой стене акварельная

картина: густой лес и уходящая вглубь витая тропинка. Меж тем в одной из английских книжонок, которые мать читывала с ним,— и как медленно и таинственно она произносила слова, доходя до конца страницы, как таращила глаза, положив на нее маленькую белую руку в легких веснушках и спрашивая: «Что же, ты думаешь, случилось дальше?» — был рассказ именно о такой картине с тропинкой в лесу прямо над кроватью мальчика, который однажды, как был, в ночной рубашке, перебрался из постели в картину, на тропинку, уходящую в лес. Мартына волновала мысль, что мать может заметить сходство между акварелью на стене и картинкой в книжке: по его расчету, она, испугавшись, предотвратила бы ночное путешествие тем, что картину бы убрала, и потому всякий раз, когда он в постели молился перед сном (сначала коротенькая молитва по-английски — «Иисусе нежный и кроткий, услышь маленького ребенка»,— а затем «Отче наш по-славянски, причем какого-то Якова мы оставляли должникам нашим), быстро лепеча и стараясь коленями встать на подушку — что мать считала недопустимым по соображениям аскетического порядка,— Мартын молился о том, чтобы она не заметила соблазнительной тропинки как раз над ним. Вспоминая в юности то время, он спрашивал себя, не случилось ли и впрямь так, что с изголовья кровати он однажды прыгнул в картину, и не было ли это началом того счастливого и мучительного путешествия, которым обернулась вся его жизнь. Он как будто помнил холодок земли, зеленые сумерки леса, излуки тропинки, пересеченной там и сям горбатым корнем, мелькание стволов, мимо которых он босиком бежал, и странный темный воздух, полный сказочных возможностей.

Бабушка Эдельвейс, рожденная Индрикова, ревностно занимаясь акварелью во дни молодости, вряд ли предвидела, когда мешала на фарфоровой палитре синенькую краску с желтенькой, что в этой рождающейся зелени будет когда-нибудь плутать ее внук. Волнение, которое Мартын узнал и которое с той поры, в различных проявлениях и сочетаниях, всегда уже сопутствовало его жизни, было как раз тем чувством, которое мать и хотела в нем развить,— хотя сама бы затруднилась подыскать этому чувству название,— знала только, что нужно каждый вечер питать Мартына тем, чем ее самое питала когда-то покойная гувернантка, старая, мудрая госпожа Брук, сын которой собирал орхидеи на Борнео, летал на аэростате над Сахарой, а погиб от взрыва котла в турецкой бане. Она читала, и Мартын слушал, стоя в кресле на коленях и облокотясь на стол, и было очень трудно кончить, увести его спать, он все просил еще и еще. Иногда она носила его по лестнице в спальню на спине, и это называлось «древо-сек». Перед сном он получал из жестяной коробки, оклеенной голубой бумагой, английский бисквит. Сверху были замечательные сорта с сахарными нашлепками, поглубже — печенья имбирные, кокосовые, а в грустный вечер, когда он доходил до дна, приходилось довольствоваться третьеклассной породой,— простой и пресной.

И все шло Мартыну впрок,— и хрустящее английское печенье, и приключения Артуровых рыцарей,— та сладкая минута, когда юноша, племянник, быть может, сэра Тристрама, в первый раз надевает по

частям блестящие выпуклые латы и едет на свой первый поединок; и какие-то далекие, круглые острова, на которые смотрит с берега девочка в разевающихся одеждах, держащая на кисти сокола в клобучке; и Синдбад, в красном платке, с золотым кольцом в ухе; и морской змей, зелеными шинами торчащий из воды до самого горизонта; и ребенок, нашедший место, где конец радуги уткнулся в землю; — и, как отголосок всего этого, как чем-то родственный образ,— чудесная модель длинного фанерно-коричневого вагона в окне общества спальных вагонов и великих международных экспрессов,— на Невском проспекте, в тусклый морозный день с легкой заметью, когда приходится носить черные вязаные рейтзузы поверх чулок и штанишек.

III

Она любила его ревниво, дико, до какой-то душевной хрипоты,— и, когда она с ним, после размолвки с мужем, поселилась отдельно, и Мартын по воскресеньям посещал квартиру отца, где подолгу возился с пистолетами и кинжалами, меж тем как отец спокойно читал газету и, не поднимая головы, изредка отвечал «да, заряженный» или «да, отравленный», Софья Дмитриевна едва могла усидеть дома, мучась вздорной мыслью, что ее ленивый муж нет-нет да и предпримет что-нибудь,— удержит сына при себе. Мартын же был с отцом очень ласков и учтив, стараясь по возможности смягчить наказание, ибо считал, что отец удален из дома за провинность, за то, что как-то, на даче, летним вечером, сделал нечто такое с роялем, отчего тот издал совершенно потрясающий звук, словно ему наступили на хвост,— и на другой день отец уехал в Петербург и больше не возвращался. Это было как раз в год, когда убили в сарае австрийского герцога,— Мартын очень живо представил себе этот сарай, с хомутами по стене, и герцога в шляпе с плюмажем, отражающего шпагой человек пять заговорщиков в черных плащах, и огорчился, когда выяснилась ошибка. Удар по клавишам произошел без него,— он в комнате рядом чистил зубы густо пенящейся, сладкой на вкус пастой, которая была особенно привлекательна следующей надписью по-английски: «Улучшить пасту мы не могли, а потому улучшили тубочку»,— и действительно, отверстие было щелью, так что выжимаемая паста ложилась на щетку не червячком, а ленточкой.

Последний разговор с мужем Софья Дмитриевна вспомнила полностью, со всеми подробностями и оттенками, в тот день, когда пришло в Ялту известие о его смерти. Муж сидел у плетеного столика, осматривал кончики коротких, растопыренных пальцев, и она ему говорила, что так нельзя дальше, что они давно чужие друг другу, что она готова хоть завтра забрать сына и уехать. Муж лениво улыбался и хрипловатым, тихим голосом отвечал, что она права, увы, права, и говорил, что он уедет отсюда сам, да и в городе снимет отдельную квартиру. Его тихий голос, мирная полнота, а пуще всего — пилочки, которой он во всякое время терзал мягкие ногти, выводили ее из себя,— и ей казалось, что есть чудовищное в том спокойствии, с которым они оба рассуждают о разлуке, хотя

бурные речи и слезы были бы, конечно, еще ужаснее. Погодя он поднялся и, пилия ногти, принял ходить взад и вперед по комнате и с мягкой улыбкой говорил о житейских мелочах будущей розной жизни (нелепую роль играла при этом карета), — и вдруг, ни с того ни с сего, проходя мимо открытого рояля, двинул со всей силы сжатым кулаком по клавишам, и это было — словно в раскрывшуюся на миг дверь ворвался непристойный вопль; после чего он прежним тихим голосом продолжал прерванную фразу, а проходя опять мимо рояля, осторожно его прикрыл.

Смерть отца, которого он любил мало, потрясла Мартына именно потому, что он не любил его как следует, а кроме того, он не мог отделаться от мысли, что отец умер в немилости. Тогда-то Мартын впервые понял, что человеческая жизнь идет излучинами, и что вот первый плес пройден, и что жизнь повернулась в ту минуту, когда мать позвала его из кипарисовой аллеи на веранду и сказала странным голосом: «Я получила письмо от Зиланова», — а потом продолжала по-английски: «Я хочу, чтоб ты был храбрым, очень храбрым, это о твоем отце, его больше нет». Мартын побледнел и растерянно улыбнулся, а затем долго блуждал по Воронцовскому парку, повторяя изредка детское прозвание, которое когда-то дал отцу, и стараясь представить себе, — и с какой-то теплой и томной убедительностью себе представляя, — что отец его рядом, спереди, позади, вот за этим кедром, вон на том покатом лугу, близко, далеко, повсюду.

Было жарко, хотя недавно прошел бурный дождь. Над лаковой мушмулой жужжали мясные мухи. В бассейне плавал злой черный лебедь, поводя пунцовыми, словно накрашенными клювом. С миндальных деревьев облетели лепестки и лежали, бледные, на темной земле мокрой дорожки, напоминая миндали в пряниках. Невдалеке от огромных ливанских кедров росла одна-единственная березка с тем особым наклоном листвы (словно расчесывала волосы, спустила пряди с одной стороны, да так и застыла), какой бывает только у берез. Проплыла бабочка-парусник, вытянув и сложив свои ласточковые хвосты. Сверкающий воздух, тени кипарисов, — старых, с рыжинкой, с мелкими шишками, спрятанными за пазухой, — зеркально-черная вода бассейна, где вокруг лебедя расходились круги, сияющая синева, где вздымался, широко опоясанный каракулевой хвойей, зубчатый Ай-Петри, — все было насыщено мучительным блаженством, и Мартыну казалось, что в распределении этих теней и блеска тайным образом участвует его отец.

«Если бы тебе было не пятнадцать, а двадцать лет, — вечером того дня говорила Софья Дмитриевна, — если бы гимназию ты уже кончил и если бы меня уже не было на свете, ты бы, конечно, мог, ты, пожалуй, был бы обязан...» Она задумалась посреди слов, представив себе какую-то степь, каких-то всадников в папахах и стараясь издали узнать среди них Мартына. Но он, слава Богу, стоял рядом, в открытой рубашке, под гребенку остиженный, коричневый от солнца, со светлыми, незагоревшими лучиками у глаз. «А ехать в Петербург...» — вопросительно произнесла она, и на неизвестной станции разорвался снаряд, паровоз встал на дыбы... «Вероятно это все когда-

нибудь кончится,— сказала она спустя минуту.— Пока же надо придумать что-нибудь». — «Я пойду выкупаюсь,— примирительно вставил Мартын.— Там Коля, Лида, все».— «Конечно, пойди,— сказала Софья Дмитриевна.— В общем революция пройдет, и будет странно вспоминать, и ты очень поправился в Крыму. И в ялтинской гимназии как-нибудь доучишься. Посмотри, как там хорошо освещено, правда?»

Ночью оба, и мать и сын, не могли уснуть и думали о смерти. Софья Дмитриевна, стараясь думать тихо, то есть не всхлипывать и не вздыхать (дверь в комнату сына была полуоткрыта), опять вспоминала, подробно и щепетильно, все то, что привело к разрыву с мужем, и, проверяя каждое мгновение, она ясно видела, что тогда-то и тогда-то нельзя было ей поступить иначе, и все-таки таилась где-то ошибка, и все-таки, если бы они не расстались, он не умер бы так, один, в пустой комнате, задыхающийся, беспомощный, вспоминающий, быть может, последний год их счастья (не ахти какого счастья) и последнюю заграничную поездку, Биарриц, прогулку на Круа-де-Мугер, галерейки Байонны. Была некая сила, в которую она крепко верила, столь же похожая на Бога, сколь похожи на никогда не виденного человека его дом, его вещи, его теплица и пасека, далекий голос его, случайно услышанный ночью в поле. Она стеснялась эту силу назвать именем Божиим, как есть Петры и Иваны, которые не могут без чувства фальши произнести Петя, Ваня, меж тем как есть другие, которые, передавая вам длинный разговор, раз двадцать просмакуют свое имя и отчество, или еще хуже — прозвище. Эта сила не вязалась с церковью, никаких грехов не отпускала и не карала,— но просто было иногда стыдно перед деревом, облаком, собакой, стыдно перед воздухом, так же бережно и свято несущим дурное слово, как и доброе. И теперь, думая о неприятном, нелюбимом муже и о его смерти, Софья Дмитриевна, хотя и повторяла слова молитв, родных ей с детства, на самом же деле напрягала все силы, чтобы, подкрепившись двумя-тремя хорошими воспоминаниями,— сквозь туман, сквозь большие пространства, сквозь все то, что непонятно,— поцеловать мужа в лоб. С Мартыном она никогда прямо не говорила о вещах этого порядка, но всегда чувствовала, что все другое, о чем они говорят, создает для Мартына, через ее голос и любовь, такое же ощущение Бога, как то, что живет в ней самой. Мартын, лежавший в соседней комнате и нарочно хранивший, чтобы мать не думала, что он бодрствует, тоже мучительно вспоминал, тоже пытался осмыслить смерть и уловить в темноте комнаты посмертную нежность. Он думал об отце всей силой души, производил даже некоторые опыты, говорил себе: если вот сейчас скрипнет половица или что-то стукнет, значит, он меня слышит и отвечает... Делалось страшно ждать стука, было душно и тягостно, шумело море, тонко пели комары. А то вдруг он с совершенной ясностью видел полное лицо отца, его пенсне, светлые волосы бобриком, круглый родимый прыщ у ноздри и блестящее, из двух золотых змеек, кольцо вокруг узла галстука,— а когда он, наконец, уснул, то увидел, что сидит в классе, не знает урока и Лида, почесывая ногу, говорит ему, что грузины не едят мороженого.

Ни Лиде, ни ее брату он не сообщил о смерти отца,— потому не сообщил, что вряд ли удалось бы выговорить это естественно, а сказать с чувством было бы непристойно. Сызмала мать учila его, что выражать вслух на людях глубокое переживание, которое тотчас на вольном воздухе выветривается, линяет и странным образом делается схожим с подобным же переживанием другого,— не только вульгарно, но и грех против чувства. Она не терпела надгробных лент с серебряными посвящениями «Юному Герою» или «Нашей Незабвенной Дочурке» и порицала тех чинных, но чувствительных людей, которые, потеряв близкого, считают возможным публично исходить слезами, однако в другое время, в день удач, распираемые счастьем, никогда не позволят себе расхохотаться в лицо прохожим. Однажды, когда Мартыну было лет восемь, он попытался наголо остричь мохнатую дворовую собачку и нечаянно порезал ей ухо. Стесняясь почему-то объяснить, что он, отхватив лишние лохмы, собирался выкрасить ее под тигра, Мартын встретил негодование матери stoическим молчанием. Она велела ему спустить штаны и лечь ничком. В полном молчании он сделал это, и в полном же молчании она его отстегала желтым стеком из бычьей жили; после чего он подтянул штаны, и она помогла ему пристегнуть их к лифчику, так как он это делал криво. Мартын ушел в парк и только там дал себе волю, тихо извыл душу, заедая слезы черникой, а Софья Дмитриевна тем временем разливалась у себя в спальне и вечером едва не заплакала вновь, когда Мартын, очень веселый и пухлый, сидел в ванне, подталкивая целлулоидового лебедя, а потом встал, чтобы дать себе намылить спину, и она увидела на нежных частях ярко-розовые полосы. Экзекуция такого рода произведена была всего раз, и, конечно, Софья Дмитриевна никогда не замахивалась на него по всякому пустяковому поводу, как это делают француженки и немки.

Рано научившись сдерживать слезы и не показывать чувств, Мартын в гимназии поражал учителей своей бесчувственностью. Сам же он вскоре открыл в себе черту, которую следовало особенно ревниво скрывать, и в пятнадцать лет, в Крыму, это служило причиной некоторого мучения. Мартын заметил, что иногда он так боится показаться немужественным, прослыть трусом, что с ним происходит как раз то, что произошло бы с трусом, кровь отливает от лица, в ногах дрожь, тело бьется сердце. Признавшись себе, что подлинного, врожденного хладнокровия у него нет, он все же твердо решил всегда поступать так, как поступал бы на его месте человек отважный. При этом самолюбие было у него развито чрезвычайно. Коля, Лидин брат, был одних с ним лет, но худосочен и мал ростом. Мартын чувствовал, что, без особого труда, положил бы его на лопатки. Однако его так нервила возможность случайного поражения и с такой отвратительной яркостью он его себе представлял, что ни разу не попробовал вступить с Колей, с однолетком, в борьбу, но зато охотно принимал вызов Владимира Иваныча, двадцатилетнего корнета с мускулами, как булыжники, через полгода убитого под Мелитополем, который жестоко мял его, ломал и после

изнурительной возни придавливал его, наконец, красного и ослабленного, к траве. А то случилось раз, что Мартын возвращался домой из Адреиза, где жила Лидина семья, ночью, летней крымской ночью, местами иссиня-черной от кипарисов, местами же бледной, как мел, от неживой белизны татарских стен против луны, и вдруг на повороте узкой кремнистой дороги, ведшей на шоссе, выросла перед ним фигура человека, и густой голос спросил: «Кто идет?» Мартын с досадой отметил, что сердце забилось часто. «Э, да это — Умерахмет», — грозно сказал человек и слегка придинулся сквозь рваную черную тень, скользнувшую по его лицу. «Нет, — сказал Мартын. — Пропустите, пожалуйста». «А я говорю, что Умерахмет», — тихо, но еще грознее повторил тот, и тут Мартын заметил при вспышке луны, что у него в руке крупный револьвер. «А ну-ка, становись к стенке», — проговорил человек, сменив угрозу на примирительную деловитость. Бледную руку с черным револьвером поглотила набежавшая тень, но точка блеска осталась на том же месте. Мартыну представлялись две возможности, — первая: добиться разъяснения, вторая: шарахнуться в темноту и бежать. «Мне кажется, вы меня принимаете за другого», — неловко выговорил он и назвал себя. «К стенке, к стенке», — дискантом крикнул человек. «Тут никакой стенки нет», — сказал Мартын. «Я подожду, пока будет», — загадочно заметил человек и, хрустнув камушками, не то опустился на корточки, не то присел, — в темноте было не разглядеть. Мартын все стоял, чувствуя как бы легкий зуд по всей левой стороне груди, куда, должно быть, метил невидимый теперь ствол. «Если двинешься, убью», — совсем тихо сказал человек и еще что-то добавил, неразборчивое. Мартын постоял, постоял, мучительно пытаясь придумать, что сделал бы на его месте безоружный смельчак, ничего не придумал и вдруг спросил: «Не хотите ли папиросу, у меня есть?» Он не знал, почему это вырвалось, ему сразу стало стыдно, особенно потому, что его предложение осталось без ответа. И тогда Мартын решил, что единственное, чем он может искупить стыдное слово, это прямо пойти на человека, повалить его, буде нужно, но пройти. Он подумал о завтрашнем пикнике, о залитых ровным рыжезолотым загаром, словно лаком, Лидиних ногах, представил себе, что, может быть, отец ждет его в эту ночь, может быть, делает кое-какие приготовления ко встрече, и почувствовал к нему странную неприязнь, за которую впоследствии долго себя корил. Шумело и через одинаковые промежутки бухало море, заводным звонким стрепетом подгоняли друг друга кузнечики, а этот болван в темноте... Мартын заметил, что прикрывает ладонью сердце, и, в последний раз назвав себя трусом, резко двинулся вперед. И ничего не случилось. Он споткнулся о ногу человека, и тот ее не убрал. Сгорбясь, опустив голову, человек сидел, тихо похрапывая, и сытно, густо несло от него винищем.

Благополучно добравшись до дома, выпавшиесь и выйдя утром на увитый глициниями балкон, Мартын пожалел, что не обезоружил пьяного шатуна: отнятым револьвером он бы мог загадочно похвастать. Он остался собой недоволен, оказавшись, по собственному мнению, не совсем на высоте при встрече с давно желанной опасностью. Сколько раз на большой дороге своей мечты он, в бауте и сапогах

с раструбами, останавливал то дилижанс, то грузный дормез, то всадника и дукаты купцов раздавал нищим. В бытность свою капитаном на пиратском корвете он, стоя спиной к грот-мачте, один отбивал напор бунтующего экипажа. Его посылали в дебри Африки разыскивать Ливингстона, и, найдя его наконец — в диком лесу, в безымянной области,— он к нему подходил с учтивым поклоном, щеголяя сдержанностью. Он бежал с катогри через тропические топи, он шел к полюсу мимо удивленных, торчком стоявших пингвинов, он на взмыленном коне, с шашкой наголо, первым врывался в мятежную Москву. И уже Мартын ловил себя на том, что задним числом прихорашивает нелепое и довольно плоское ночное происшествие, столь же похожее на подлинную жизнь, которой он жил в мечтах, сколь похож бессвязный сон на цельную и полновесную действительность. И, как иногда бывает, что, рассказывая виденный сон, мы невольно кое-что сглаживаем, округляем, подкрашиваем, чтобы поднять его хотя бы до уровня нелепости реальной, возможной, точно так же Мартын, репетируя рассказ о ночной встрече (который, однако, оглашать он не собирался), делал встречного более трезвым, револьвер его более действенным и собственные слова — более остроумными.

V

И в следующие дни, перекидываясь с Колей футбольным мячом или выискивая с Лидой в прибрежном галечнике мелкие морские курьезы (круглый камушек в цветном поясле, маленькую, зернисто-рыжую от ржавчины подкову, отшлифованные морем бледно-зеленые осколки бутылочного стекла, напоминавшие ему раннее детство, пляж в Биаррице), Мартын дивился ночному происшествию, сомневался, было ли оно, и все прочнее продвигал его в ту область, где пускало корни и начинало жить чудесной и самостоятельной жизнью все, что он выбирал из мира на потребу души. Нарастала, закипала пеной и кругло опрокидывалась волна, стелилась, взбегая по гальке, и, не удержавшись, соскальзывала назад при глухом бормотании разбуженных камушков, и не успевала втянуться, как уже новая, с тем же круглым, веселым плеском, опрокидывалась и прозрачным пластом вытягивалась до предела, положенного ей. Коля подальше зашвыривал найденную дощечку, и фокстерьер Лэди, поднимая враз передние лапы, прыгал по воде и напряженно пускался вплавь. Его подхватывала очередная волна, мощно несла и затем в полной сохранности выкладывала на берег, и фокстерьер, уронив перед собой отобранную у моря дощечку, круто отряхивался. Лида,— купавшаяся только по утрам, спозаранку, вместе с матерью и Софьей Дмитриевной,— отходила налево, к скалам (прозванным ею айвазовскими), пока купались мальчики: Коля плавал по-татарски, кувырком, а Мартын гордился быстрым и правильным кролем, которому его научил англичанин-гувернер в последнее лето на севере. Ни тот, ни другой мальчик, впрочем, далеко не упывал,— и одной из самых сладостных и жутких грез Мартына была темная ночь в пустом, бурном море, после крушения корабля,— ни зги не видать, и он один, поддерживающий над водой креолку, с которой

накануне танцевал танго на палубе. После купания было удивительно приятно нагишом лечь на раскаленные камни и смотреть, запрокинув голову, на черные кинжалы кипарисов, глубоко вдвинутые в небо. Коля, сын ялтинского доктора, проживший всю жизнь в Крыму, принимал эти кипарисы, и восторженное небо, и дивно-синее, в ослепительных чешуйках, море, как нечто должно, обиходное, и было трудно завлечь его в любимые Мартыновы игры и превратить его в мужа креолки, случайно выброшенного на тот же необитаемый остров.

Вечером поднимались узкими кипарисовыми коридорами в Адреиз, и большая нелепая дача со многими лесенками, переходами, галереями, так забавно построенная, что порой никак нельзя было установить, в каком этаже находишься, ибо, поднявшись по каким-нибудь крутым ступеням, ты вдруг оказывался не в мезонине, а на террасе сада,— уже была пронизана желтым керосиновым светом, и с главной веранды слышались голоса, звон посуды. Лида переходила в лагерь взрослых, Коля, нажравшись, сразу заваливался спать; Мартын сидел в темноте на нижних ступеньках и, поедая из ладони черешни, прислушивался к веселым освещенным голосам, к хохоту Владимира Иваныча, к Лидиной уютной болтовне, к спору между ее отцом и художником Данилевским, говорливым заикой. Гостей вообще бывало много — смешливые барышни в ярких платках, офицеры из Ялты и панические пожилые соседи, уходившие скопом в горы при зимнем нашествии красных. Было всегда неясно, кто кого привел, кто с кем дружён, но хлебосольство Лидиной матери, неприметной женщины в горжетке и в очках, не знало предела. Так появился однажды и Аркадий Петрович Зарянский, долговязый, мертвенно-бледный человек, имевший какое-то смутное отношение к сцене, один из тех несуразных людей, которые разъезжают по фронтам с мелодекламацией, устраивают спектакли накануне разгрома городка, бегут покупать погоны, и никак не могут добежать, и возвращаются, радостно запыхавшись, с чудесно добытым цилиндром для последнего действия «Мечты любви». Он был лысоват, с прекрасным, напористым профилем, но, повернувшись прямо, оказывался менее благообразным: под болотцами глаз набухали мешочки, и не хватало одного резца. Человек же он был мягкий, добродушный, чувствительный и, когда по ночам все выходили гулять, пел бархатным баритоном «Ты помнишь ли — у моря мы сидели...» или рассказывал в темноте армянский анекдот, и кто-нибудь в темноте смеялся. В первый раз встретив его, Мартын с изумлением и даже с некоторым ужасом признал в нем забулдыгу, приглашавшего его стать к стенке, но Зарянский, по-видимому, ничего не помнил, так что осталось неясным, кто такой Умерахмет. Пьяницей был Аркадий Петрович отменным и бушевал во хмелью,— но револьвер, который однажды снова возник,— во время пикника на Яйле, в стрекотливую ночь, пропитанную лунным светом и мускат-люнелем,— оказался с пустым барабаном. Зарянский еще долго вскрикивал, грозил, бормотал, говоря о какой-то своей роковой любви, его покрыли шинелью, и он уснул. Лида сидела близко к костру и, подперев ладонями лицо, блестящими, пляшущими, румяно-карими от огня глазами глядела

на вырывавшиеся искры. Погодя Мартын встал, разминая ноги, и, взойдя по черному муравчатому скату, подошел к краю обрыва. Сразу под ногами была широкая темная бездна, а за ней — как будто близкое, как будто приподнятое, море с цареградской стезей посредине, лунной стезей, суживающейся к горизонту. Слева, во мраке, в таинственной глубине, дрожащими алмазными огнями играла Ялта. Когда же Мартын оборачивался, то видел поодаль огненное беспокойное гнездо костра, силуэты людей вокруг, чью-то руку, бросавшую сук. Стрекотали кузнечики, по временам неслось сладкой хвойной гарью,— и над черной Яйлой, над шелковым морем, огромное, всепоглощающее, сизое от звезд небо было головокружительно, и Мартын вдруг опять ощутил то, что уже ощущал не раз в детстве,— невыносимый подъем всех чувств, что-то очаровательное и требовательное, присутствие такого, для чего только стоит жить.

VI

Эта искристая стезя в море так же заманивала, как некогда тропинка в написанном лесу,— а собранные в кучу огни Ялты среди широкой черноты неведомого состава и свойства напоминали опять же кое-что виденное в детстве: девятилетний Мартын, в одной рубашке, с похолодевшими пятками, стоял на коленках у вагонного окна; южный экспресс шел по Франции. Софья Дмитриевна, уложив сына, сидела с мужем в вагоне-ресторане, горничная мертвым сном спала на верхней койке; в узком отделении было темно, только просвечивал синий задвижной колпак лампы; качалась его кисть, потрескивало в стенах. Выйдя из-под простыни, добравшись по одеялу до окна, наполовину срезанного концом верхней койки, и подняв кожаную шторку — для чего пришлось отстегнуть ее с кнопки, а тогда она гладко поехала вверх,— Мартын зяб, ощущал ломоту в коленках, но не мог оторваться от окна, за которым косогорами бежала ночь. И тогда-то он вдруг увидел то, что теперь вспомнил на Яйле,— горсть огней вдалеке, в подоле мрака, между двух черных холмов: огни то скрывались, то показывались опять, и потом заиграли совсем в другой стороне, и вдруг исчезли, словно их кто-то накрыл черным платком. Вскоре поезд затормозил и остановился во мраке. Стали доноситься странно бесплотные вагонные звуки, чей-то бубнящий голос, чей-то кашель, потом прошел по коридору голос матери, и, сообразив, что родители возвращаются из вагона-ресторана и по дороге в смежное отделение могут к нему заглянуть, Мартын проворно метнулся в постель. Погодя поезд двинулся, но вскоре стал окончательно, издав длинный, тихо свистящий вздох облегчения, причем по темному купе медленно прошли бледные полосы света. Мартын снова пополз к стеклу, и был за окном освещенный дебаркадер, и с глухим стуком человек катил мимо железную тачку, а на ней был ящик с таинственной надписью «Fragile». Мошки и одна большущая бабочка кружились вокруг газового фонаря; смутно шаркали по платформе, переговариваясь на ходу о неизвестном, какие-то люди; и затем поезд лязгнул буферами и поплыл,— прошли и ушли фонари, появился и тоже прошел ярко озаренный снутри стеклянный

домик с рядом рычагов,— качнуло, поезд перебрал рельсы, и все потемнело за окном,— опять бегущая ночь. И снова, откуда ни возьмись, уже не между двух холмов, а как-то гораздо ближе и осязательнее, повысыпали знакомые огни, и паровоз так томительно, так заунывно свистнул, что казалось, и ему жаль расстаться с ними. Тут сильно хлопнуло что-то, и проскочил встречный поезд, проскочил — и как будто его не было вовсе, опять бежала волнистая чернота, и медленно редели неуловимые огни.

Когда они навсегда закатились, Мартын укрепил сторку и лег, а проснулся очень рано, и ему показалось, что поезд идет плавнее, развязнее, словно принаорился к быстрому бегу. И когда он сторку отстегнул, то почувствовал мгновенное головокружение, ибо в другую сторону, чем накануне, бежала земля, и ранний пепельно-бледный свет ясного неба тоже был неожиданный, и совершенно были вновь террасы олив по склонам.

Со станции поехали в Биарриц в наемном ландо, пыльной дорогой, окаймленной пыльной ежевикой, и, так как ежевику Мартын видел впервые, а станция почему-то звалась Негритянкой, он был полон вопросов. В пятнадцать лет он сравнивал крымское море с морем в Биаррице: да, бискайские волны были выше, прибой сильнее,— и толстый беньер-баск в черном, всегда мокром трико («...гибельная профессия», — говорил отец) брал Мартына за руку, вел его в мелкую воду, затем оба поворачивались спиной к прибою, и с грохотом налетала сзади огромная волна, потопляя и опрокидывая весь мир. На первой, зеркальной полосе пляжа буролицая женщина с седыми завитками на подбородке встречала выкупавшихся, накидывала им на плечи мохнатые простины, а дальше, в пахнувшей смолой кабинке, служитель помогал сдернуть липкий костюм и приносил шайку горячей воды, почти кипятка, куда полагалось погрузить ноги. Затем, одевшись, сидели на пляже,— мать в большой белой шляпе, под белым нарядным зонтиком, отец тоже под зонтиком, но мужским, изабеллового цвета; Мартын же, в завороченных до паха штанишках, полосатой фуфайке и загорелой соломенной шляпе с английской надписью на ленте вокруг тулы («Его Величества „Непобедимый“») строил из песка крепость, окруженную рвами. Проходил вафельник в берете, со скрежетом вертел рукояткой красного жестяного бочонка с товаром, и большие, гнутые куски вафли, смешанные с летучим песком и морской солью, остались одним из живейших воспоминаний той поры. А за пляжем, на каменном променаде, заливаемом в непогоду волной, бойкая, немолодая, нарумяненная цветочница продевала гвоздику в петлицу отцовского белого пиджака, и отец при этом смешно и добродушно смотрел на процедуру продевания, выпятив нижнюю губу и прижав наморщенный подбородок к отвороту. Было жалко покинуть в конце сентября веселое море и белую виллу с корявой смоковницей в саду, все не хотелшей дать хоть один зрелый плод. На обратном пути остановились месяца на полтора в Берлине, где по асфальтовым мостовым с треском прокатывали мальчишки на роликах,— а иногда даже взрослый с портфелем под мышкой. И были изумительные игрушечные магазины (локомотивы, тунNELи, виадуки), и теннис за городом, на Курфюрстендане, и звездная ночь Винтергартена, и поездка в сосно-

ые леса Шарлоттенбурга свежим и ясным днем в белом электрическом таксомоторе. На границе Мартын спохватился, что забыл в вагоне вставочку со стеклышком, в котором, ежели приложить глаз, вспыхивал перламутрово-синий пейзаж, а во время обеда на вокзале (рябчики с брусликой) проводник ее принес, и отец дал ему рубль. В Вержболове было снежно, морозно, на тендере вздымалась целая гора дров, багровый русский паровоз был снабжен расчистным веером, обильный белый пар, клубясь, выливался из огромной трубы с широком развалом. Норд-экспресс, обрусея в Вержболове, сохранил коричневую облицовку, но стал по-новому степенным, широкобоким, жарко отопленным и не сразу давал полный ход, а долго раскачивался после остановки. В голубом коридоре было очень приятно пристоситься на откидном сидении у окна, и мимоходом погладил Мартына по голове толстый зобатый проводник в шоколадном мундире. За окном тянулись белые поля, кое-где над снегом торчали ветлы; у шлагбаума стояла женщина в валенках, с зеленым флагом в руке; мужик, соскочив с дровней, закрывал рукавицами глаза пятившейся лошаденке. А ночью было нечто особенное: мимо черного зеркального стекла пролетали тысячи искр огненным стрельчатым росчерком.

VII

Вот с того года Мартын страстно полюбил поезда, путешествия, дальние огни и раздирающие вопли паровозов в темноте ночи, и яркие паноптикумы мгновенных полустанков, с людьми, которых не увидишь больше никогда. Медленный отвал, скрежет рулевой цепи, нутряная дрожь канадского грузового парохода, на котором он с матерью весной девятнадцатого года покинул Крым, ненастное море и косо хлещущий дождь — не столь располагали к дорожному волнению, как экспресс, и только очень постепенно Мартын проникся этим новым очарованием. В макинтоше, в черно-белом шарфе вокруг шеи, всюду сопровождаемая, пока его не одолело море, бледным мужем, растрепанная молодая дама, дуя на волосы, щекотавшие ей лицо, расхаживала по палубе, и в ее фигуре, в летающем шарфе Мартын почувствовал все то драгоценное, дорожное, чем некогда его пленили клетчатая кепка и замшевые перчатки, надеваемые отцом в вагоне, или крокодиловой кожи сумка на ремешке через плечо у девочки-француженки, с которой было так весело рыскать по длинному коридору экспресса, вправленному в летучий ландшафт. Одна только эта молодая дама выглядела примерной путешественницей,— не то что остальные люди, которых согласился взять на борт, чтобы не возвращаться порожняком, капитан этого легкомысленно зафрахтованного судна, не нашедшего в одичалом Крыму товара. Несмотря на обилие багажа, безобразного, спешно собранного, с веревками вместо ремней, было почему-то впечатление, что все эти люди уезжают налегке, случайно; формула дальних странствий не могла вместить их растерянность и уныние,— они словно бежали от смертельной опасности. Мартына как-то мало тревожило, что оно так и есть, что вон тот спекулянт с пепельным лицом и с каратами в нательном поясе, останься он на берегу, был бы и впрямь

убит первым же красноармейцем, лакомым до алмазных потрохов. И берег России, отступивший в дожевую муть, так сдержанно, так просто, без единого знака, который бы намекал на сверхъестественную продолжительность разлуки, Мартын проводил почти равнодушным взглядом, и, только когда все исчезло в тумане, он вдруг с жадностью вспомнил Адреиз, кипарисы, добродушный дом, жители которого отвечали на удивленные вопросы неусидчивых соседей: «Да где ж нам жить, как не в Крыму?» И воспоминание о Лиде окрашено было иначе, чем тогдашние, действительные их отношения; он вспоминал, как однажды, когда она жаловалась на комариный укус и чесала покрасневшее сквозь загар место на икре, он хотел показать ей, как нужно сделать ногтем крест на вздутии от укуса, а она его ударила по кисти, ни с того ни с сего. И прощальное посещение он вспомнил,— когда они оба не знали, о чем говорить, и почему-то все говорили о Коле, ушедшем в Ялту за покупками, и какое это было облегчение, когда он наконец пришел. Длинное, нежное лицо Лиды, в котором было что-то ланье, теперь являлось Мартыну с некоторой назойливостью. И, лежа на кушетке под тикающими часами в каюте капитана, с которым он очень подружился, или в благоговейном молчании разделяя вахту первого помощника, оспой выщербленного канадца, говорившего редко и с особенным жеванным произношением, но обдавшего сердце Мартына таинственным холодком, когда он однажды ему сообщил, что старые моряки на покое все равно никогда не садятся, внуки сидят, а дед ходит, море остается в ногах,— привыкая ко всему этому морскому новоселью, к маслянистым запахам, к качке, к разнообразным и странным сортам хлеба, из которых один был вроде просфоры, Мартын все уверял себя, что он пустился в странствие с горя, отпевает несчастную любовь, но что, глядя на его спокойное, уже обветренное лицо, никто не угадает его переживаний. Возникали таинственные, замечательные люди: был канадец, зафрахтовавший судно, угрюмый пуританин, чей макинтош висел в капитанской, безнадежно испорченной уборной, маяча прямо над доской; был второй помощник, по фамилии Паткин, еврей родом из Одессы, смутно вспоминавший сквозь американскую речь очертания русских слов; а среди матросов был один Сильвио, американский испанец, ходивший всегда босиком и носивший при себе кинжал. Капитан однажды появился с ободранной рукой, говорил сперва, что это сделала кошка, но затем Мартыну по дружбе поведал, что рассадил ее о зубы Сильвио, которого ударил за пьянство на борту. Так Мартын приобщался к морю. Сложность, архитектурность корабля, все эти ступени, и закоулки, и откидные дверцы вскоре выдали ему свои тайны, и потом уже было трудно найти закоулок, еще незнакомый. Меж тем дама в полосатом шарфе, как будто разделяя Мартынову любознательность, мелькала в самых неожиданных местах, всегда растрепанная, всегда смотрящая вдаль, и уже на второй день ее муж слег, мотался на kleenчатой лавке в кают-компании, без воротничка, а на другой лавке лежала Софья Дмитриевна, с долькой лимона в губах. По временам и Мартын чувствовал сосущую пустоту под ложечкой и какую-то общую неустойчивость,— дама же была неугомонна, и Мартын уже наметил ее

объектом для спасения в случае беды. Но, несмотря на бурное море, корабль благополучно достиг константинопольского рейда, на холодном, молочно пасмурном рассвете, и появился вдруг на палубе мокрый турок, и Паткин, считавший, что карантин должен быть обьюодный, кричал на него: «Я тебя утонул!» и даже грозил револьвером. Через день двинулись дальше, в Мраморное море, и ничего от Босфора в памяти у Мартына не осталось, кроме трех-четырех минаретов, похожих в тумане на фабричные трубы, да голоса дамы в макинтоше, которая сама с собой говорила вслух, глядя на пасмурный берег; прислушавшись, Мартын различил слово «аметистовый», но решил, что ошибся.

VIII

После Константинополя небо прояснилось, хотя море осталось «очень чоппи», как выражался Паткин. Софья Дмитриевна дерзнула выбраться на палубу, но тотчас вернулась в кают-компанию, говоря, что ничего нет в мире отвратительнее этого рабского падения и восхождения всех внутренностей по мере восхождения и падения корабельного носа. Муж дамы стонал, спрашивал Бога, когда это кончится, и спешно, дрожащими руками, хватал тазик. Мартын, которого мать держала за кисть, чувствовал, что ежели он сейчас не уйдет, то стонит и его. В это время вошла, мотнув шарфом, дама, обратилась к мужу с сочувственным вопросом, и муж, молча, не открывая глаз, сделал разрезательный жест ладонью по кадыку, и тогда она задала тот же вопрос Софье Дмитриевне, которая страдальчески улыбнулась. «И вы тоже, кажется, сдали», — сказала дама, строго взглянула на Мартына и, качнувшись, перебросив через плечо конец шарфа, вышла. Мартын последовал за ней, и ему полегчало, когда пахнул в лицо свежий ветер и открылось ярко-синее, в барабашках, море. Она сидела на скрученных канатах и писала в маленькой сафьяновой книжке. Про нее на днях кто-то из пассажиров сказал, что «бабец невреден», и Мартын, вспыхнув, обернулся, но среди нескольких унылых пожилых господ в поднятых воротниках не разобрал нахала. И теперь, глядя на ее красные губы, которые она все облизывала, быстро виляя карандашником по странице, он смешался, не знал, о чем говорить, и чувствовал на губах соленый вкус. Она писала и как будто не замечала его. Меж тем чистое, круглое лицо Мартына, его неполных семнадцать лет, известная ладность всего его очерка и движений, — что встречается часто у русских, но сходит почему-то за «что-то английское», — вот этот самый Мартын в желтом мохнатом пальто с пояском произвел на даму некоторое впечатление.

Ей было двадцать пять лет, ее звали Аллой, она писала стихи, — три вещи, которые, казалось бы, не могут не сделать женщину прелестной. Ее любимыми поэтами были Поль Жеральди и Виктор Гофман; ее же собственные стихи, такие звучные, такие пряные, всегда обращались к мужчине на вы и сверкали красными, как кровь, рубинами. Одно из них недавно пользовалось чрезвычайным успехом в петербургском свете. Начиналось оно так:

На пурпуре шелков, под пологом ампирным,
Он всю меня ласкал, впиваясь ртом вампирным,
А завтра мы умрем, сгоревшие дотла,
Смешающиеся с песком красивые тела.

Дамы списывали его друг у дружки, его заучивали наизусть и декламировали, а один гардемарин даже написал на него музыку. Выйдя замуж в восемнадцать лет, она два года с лишним оставалась мужу верна, но мир кругом был насыщен рубиновым угаром греха, бритые, напористые мужчины назначали собственное самоубийство на семь часов вечера в четверг, на полночь в сочельник, на три часа утра под окнами,— эти даты путались, трудно было повсюду поспеть. По ней томился один из великих князей; в продолжение месяца докучал ей телефонными звонками Распутин. И она иногда говорила, что ее жизнь только легкий дым папиросы Режи, надущенной амбром.

Всего этого Мартын совершенно не понял. Стихами ее он был несколько озадачен. Когда он сказал, что Константинополь не ametistoviy, Alla возразила, что он лишен поэтического воображения, и, по приезде в Афины, подарила ему «Песни Билитис», дешевое издание, иллюстрированное фигурами голых подростков, и читала ему вслух, выразительно произнося французские слова, под вечер, на Акрополе, на самом, так сказать, подходящем месте. В ее разговоре Мартыну главным образом нравилась влажная манера произносить букву «р», словно была не одна буква, а целая галерея, да еще с отражением в воде. И вместо всяких французских Билитис, петербургских белых, гитарных ночей, грешных сонетов в пять дактилических строф, он ухитрился найти в этой даме с трудноусваиваемым именем совсем другое, совсем другое. Знакомство, незаметно начавшееся на пароходе, продолжалось в Греции, на берегу моря, в одной из белых фалерских гостиниц. Софье Дмитриевне с сыном достался прескверный крохотный номер,— единственное окно выходило в пыльный двор, и там, на рассвете, со всякими мучительными приготовлениями, с предварительным похлопыванием крыл и другими звуками, хрюпло и бодро начинал кричать молодой алектор. Мартын спал на твердой синей кушетке, кровать же Софии Дмитриевны была узкая, шаткая, с ухабистым матрацем. Из насекомых в комнате жила только одна блоха, зато очень ловкая, прожорливая и совершенно неуловимая. Alla, которой посчастливилось устроиться в отличном номере с двумя кроватями, предложила взять Софью Дмитриевну к себе, а мужа перекинуть к Мартыну. Софья Дмитриевна, сказав несколько раз сряду: да что вы, да что вы,— охотно согласилась, и в тот же день состоялось перемещение. Черноусовитов, большой, долговязый, мрачный, заполнил собой всю комнатку; его кровь, по-видимому, сразу отравила блоху, ибо она больше не появлялась; его вещи,— принадлежности для бритья, зеркальце с трещиной поперек, одеколон, кисточка, которую он всегда забывал сполоснуть и которая стояла весь день, проклеенная серой, остывшей пеной, на подоконнике, на столе, на стуле,— удручили Мартына, и особенно было тяжко по вечерам, когда, ложась спать, он принужден был очищать свою,

Мартынову, кушетку от каких-то галстуков и нательных сеток. Раздеваясь, Черносвитов вяло почесывался, во все нёбо зевал; затем, поставив громадную босую ногу на край стула и запустив пятерню в волосы, замирал в этой неудобной позе,— после чего медленно приходил опять в движение, заводил часы, ложился, долго, с кряхтением, уминал телом матрац. Через некоторое время, уже в темноте, раздавался его голос, всегда одна и та же фраза: «Главное, молодой человек, прошу вас не портить воздух». Бреясь по утрам, он неизменно говорил: «Мазь для лица Прыщемор. В вашем возрасте необходимо». Одеваясь, выбирая из носков предпочтительно те, в коих дырка приходилась не на пятку, а на большой палец — залог невидимости,— он восклицал: «Эх, были когда-то и мы рысаками» и посвистывал сквозь зубы. Все это было очень однообразно и не смешно. Мартын вежливо улыбался.

Некоторым утешением, однако, служило сознание риска. В любую ночь могло случиться, что в предательском сне он отчетливо назовет полногласное имя, в любую ночь доведенный до крайности муж мог подкрасться с наточенной бритвой. Черносвитов, впрочем, употреблял безопасную бритву: с этим снарядиком он обращался так же неряшливо, как с кисточкой, и в пепельнице всегда лежал ржавый клинок с окаменевшей каемкой пены, черноватой от волосков. Его мрачность, его плоские поговорки мнились Мартыну доказательством глубокой, но сдержанной ревности. На весь день уезжая по делам в Афины, он не мог не подозревать, что его жена проводит время наедине с тем добродушным, спокойным, но видавшим виды молодым человеком, каким воображал себя Мартын.

IX

Было очень тепло, очень пыльно. В кофейнях подавали крохотную чашку со сладкой черной бурдой в придачу к огромному стакану ледяной воды. На заборах вдоль пляжа трепались афиши с именем русской певицы. Электрический поезд, шедший в Афины, наполнял праздный голубой день легким гулом, и все стихало опять. Сонные домишкы Афин напоминали баварский городок. Желтые горы вдали были чудесны. На Акрополе, среди мраморного мусора, дрожали на ветру бледные маки. Прямо среди улицы, как будто невзначай, начинались рельсы, стояли вагоны дачных поездов. В садах зрели апельсины. На пустыре великолепно росло несколько колонн; одна из них упала и сломалась в трех местах. Все это желтое, мраморное, разбитое уже переходило в ведение природы. Та же судьба ожидала в будущем новую до поры до времени гостиницу, где жил Мартын.

И, стоя с Аллой на взморье, он с холодком восторга говорил себе, что находится в далеком, прекрасном kraю,— какая приправа к влюблённости, какое блаженство стоять на ветру рядом со смеющейся растрепанной женщиной: яркую юбку то швырял, то прижимал ей к коленям ветер, наполнявший когда-то парус Улисса. Однажды, блуждая с Мартыном по неровным пескам, она оступилась, Мартын ее поддержал, она поглядела через плечо на высоко поднятую каблуком вверх подошву, пошла, оступилась снова, и он, наконец решив-

шился, впился в ее полуоткрытые губы и во время этого долгого, не очень ловкого объятия, едва не потерял равновесия, она тоже пошатнулась, высвободилась и со смехом сказала, что он целуется слишком мокро, надо подучиться. Мартын ощущал в ногах возмутительную дрожь, сердце колотилось, он злился на себя за это волнение, напоминавшее минуту после школьной потасовки, когда товарищи восклицали: «Фу, как ты побледнел!» Но первый в его жизни поцелуй — зажмуренный, глубокий, с каким-то тонким трепыханием на дне, происхождение которого он не сразу понял, был так хорош, так щедро отвечал на предчувствия, что недовольство собой вскоре развеялось, и пустынный ветреный день прошел в повторениях и улучшениях поцелуя, а вечером Мартын был совершенно разбит, словно таскал бревна. Когда же Алла в сопровождении мужа вошла в столовую, где он и мать уже чистили апельсины, села за соседний столик, проворно развернула конус салфетки и, с легким взлетом рук, уронила ее к себе на колени, после чего придвигнулась со стулом,— Мартын медленно запунцовел и долго не решался встретиться с нею глазами, а когда наконец встретился, то в ее взгляде не нашел ответного смущения.

Жадное, необузданное воображение Мартына не могло бы ладить с целомудрием. Мартын не совсем был чист. Мысли, кои зовутся «дурными», донимали его в течение последних двух-трех лет, и он им не очень противился. Вначале они жили отдельно от его ранней влюблчивости. Когда, в памятную петербургскую зиму, он после домашнего спектакля, накрашенный, с подведенными бровями, в белой косоворотке, заперся в чулане вдвоем с однолеткой-кузиной, тоже накрашенной, в платочек до бровей, и смотрел на нее, жал ей сырье ладошки, Мартын живо чувствовал романтичность своего поведения, но возбужден им не был. Майн-Ридов герой, Морис Джеральд, остановив коня бок о бок с конем Луизы, обнял белокурую креолку за гибкий стан, и автор от себя воскликнул: «Что может сравниться с таким лобзанием?» Подобные вещи уже куда больше волновали Мартына. И вообще — все несколько отдаленное, заповедное, достаточно расплывчатое, чтобы дать мечте работу по выяснению подробностей,— будь то портрет леди Гамильтон или бормотание пучеглазого однокашника о развратных домах,— особенно поражало его воображение. Теперь же туман редел, видимость улучшалась. Слишком поглощенный этим, он пренебрегал подлинными словами Аллы: «Я останусь для тебя сказкой. Я безумно чувственная. Ты меня никогда не забудешь, как, знаешь, забывают какой-нибудь прочитанный старый роман. И не надо, не надо рассказывать обо мне твоим будущим любовницам».

Софья же Дмитриевна была довольна и недовольна зараз. Когда ей кто-нибудь из знакомых ужимчиво докладывал: «А мы сегодня утром гуляли и видели, видели... шел с поэтессой под ручку, да-да, очень нежно... Совсем погиб ваш мальчик», — Софья Дмитриевна отвечала, что все это вполне натурально, такой уж возраст. Она гордилась ранним проявлением у Мартына мужественных страстей, однако скрыть от себя не могла, что Алла хоть милая, приветливая

женщина, да уж слишком «скорая», как выражаются англичане, и, прощая сыну его ослепление, она не прощала Алле ее привлекательной вульгарности. К счастью, пребывание в Греции подходило к концу,— на днях должен был прийти из Швейцарии от Генриха Эдельвейса, двоюродного брата мужа, ответ на очень откровенное, с трудом написанное письмо — о смерти мужа, об иссякании средств. В свое время Генрих Эдельвейс посещал их в России, был с нею и с мужем дружен, любил племянника и всегда слыл честным и широким человеком. «Ты не помнишь, Мартын, когда последний раз у нас был дядя Генрих? Во всяком случае, до,— правда?» Это «до», всегда лишенное существительного, значило до размолвки, до разлуки с мужем, и Мартын тоже говорил: «до» или «после», ничего не уточняя. «Кажется, после», — ответил он, припомнив, как дядя Генрих явился на дачу, долго сидел у Софьи Дмитриевны и потом вышел с красными глазами, так как отличался слезоточивым нрацом и плакал даже в кинематографе. «Конечно, какая я дура», — быстро сказала Софья Дмитриевна, вдруг восстановив его приезд, разговор о муже, увещевания, что надо помириться. «И ты его хорошо помнишь, правда? Он тебе всякий раз привозил что-нибудь». «Последний раз комнатный телефон», — сказал Мартын и поморщился: телефон проводить было неинтересно, а когда его кто-то наконец провел из детской к матери в спальню, он действовал плохо, а через день и вовсе сдал, после чего был заброшен — вместе с другими, прежними, дядиными подарками, как, например, «Швейцарский Робинзон», прескучный после Робинзона настоящего, или маленькие товарные вагоны из жести, вызвавшие тайные слезы разочарования, так как Мартын любил только пассажирские. «Чего ты морщишься?» — спросила Софья Дмитриевна. Он объяснил, и она рассмеялась, сказала: «Правда, правда» — и задумалась о детстве Мартына, о вещах невозвратимых, нейзъяснимых, в этой думе была щемящая прелесть, — и как все проходит. «Боже мой,— усы растут, ногти чистые, этот сиреневый галстучек, эта женщина...» «Эта женщина очень, конечно, милая, — сказала Софья Дмитриевна, — но ты не думаешь, что она чуть-чуть слишком разбитная? Нельзя так терять голову. Скажи мне,— впрочем, нет, я не хочу ничего спрашивать... Только вот, говорят, что она в Петербурге была страшная *flirt*. И неужели тебе нравятся ее стихи? Этот дамский демонизм? Она так аффектированно читает. Неужели у вас дошло — ну, я не знаю — до пожимания рук, что ли?» Мартын загадочно улыбнулся. «Наверно, ничего между вами и нет,— лукаво сказала Софья Дмитриевна, любуясь играющими, тоже лукавыми глазами сына. — Я уверена, что ничего нет. Ты еще не дорос». Мартын рассмеялся, она привлекла его и сочно, жадно поцеловала в щеку. Все это происходило у садового столика, на площадке перед гостиницей, рано утром,— и день обещал быть восхитительным, безоблачное небо было еще подернуто дымкой, как бывает покрыта листом папиросной бумаги необыкновенно яркая, глянцевая картина на заглавной странице дорогого издания сказок. Мартын осторожно этот полупрозрачный лист отворачивал, и вот, по белым ступеням лестницы, чуть играя низкими бедрами, в ярко-синей юбке, по которой шло правильное

волнистое колебание, по мере того как с рассчитанною неторопливостью то одна нога, то другая, вытянув лаковый носок, ступала вниз,— мерно раскачивая парчовой сумкой и уже улыбаясь, спускалась, на прямой пробор причесанная, ясноглазая, тонкошеяя женщина с крупными черными серьгами, которые колебались тоже. Он встречал ее, целовал ей руку, отступал, и она, смеясь и музыкально картавя, здоровалась с Софьей Дмитриевной, которая сидела в плетеном кресле и курила толстую английскую папиросу, первую после утреннего кофе. «Вы так красиво спали, Алла Петровна, что я не хотела вас будить»,— говорила Софья Дмитриевна, держа на отлете длинный эмалевый мундштук и почему-то посматривая искоса на Мартына, который уже сидел на балюстраде и качал ногами. Алла, захлебываясь, принималась рассказывать, какие она видела ночью сны,— замечательные мраморные сны с древнегреческими жрецами, в способности сниться которых Софья Дмитриевна сильно сомневалась. И сыро блестел свежеполитый гравий.

Любопытство Мартына росло. Блуждания по пляжу, поцелуи, которые всякий мог подсмотреть, начинали казаться слишком растигнутым предисловием; зато и желанная суть вызывала беспокойство: некоторые подробности Мартына представить себе не мог и боялся своей неопытности. Незабвенный день, когда Алла сказала, что она не деревянная, что так к ней прикасаться нельзя и что, после обеда, когда муж будет прочно в городе, а Софья Дмитриевна закейфует у себя в комнате, она зайдет к Мартыну в номер, чтобы показать ему чьи-то стихи, этот день был как раз тот, который открылся разговором о дяде Генрихе и комнатном телефоне. Когда, уже в Швейцарии, дядя Генрих подарил Мартыну на рождение черную статуэтку (футболист, ведущий мяч), Мартын не мог понять, почему в то самое мгновение, как дядя поставил на стол эту ненужную вещь, ему представилось с потрясающей яркостью далекое, нежное фалерское утро и Алла, сходящая по лестнице. Сразу после обеда он пошел к себе и принялся ждать. Мыльную кисточку Черносвитова он спрятал за зеркало,— она почему-то мешала. Со двора доносился звон ведер, плеск воды, гортанная речь. На окне мягко набухала желтая занавеска, и солнечное пятно ширилось на полу. Мухи описывали не круги, а какие-то параллелепипеды и трапеции вокруг штанги лампы, изредка на нее садясь. Мартын волновался нестерпимо. Он снял пиджак и воротник, лег навзничь на кушетке, слушал, как бухает сердце. Когда раздались быстрые шаги и стук в дверь, у него что-то сорвалось под ложечкой. «Видишь, целая пачка»,— сказала Алла воровским шепотом, но Мартыну было не до стихов. «Какой дикий, Боже мой, какой дикий»,— глухо приговаривала она, незаметно ему помогая. Мартын торопился, настигал счастье, настиг, и она, покрывая ему рот ладонью, бормотала: «Тише,тише... соседи...»

«Это, по крайней мере, вешица, которая останется у тебя навсегда,— ясным голосом сказал дядя Генрих и слегка откинулся, откровенно любуясь статуэткой.— В семнадцать лет человек уже должен думать об украшении своего будущего кабинета, и, раз ты любишь английские игры...» «Прелесть»,— сказал Мартын, не желая дядю обидеть, и потрогал неподвижный шар у носка футболиста.

Дом был деревянный, кругом росли густые ели, туман скрывал горы; жаркая желтая Греция осталась действительно очень далеко. Но как живо еще было ощущение того гордого, праздничного дня: у меня есть любовница! Какой заговорщический вид был потом вечером у синей кушетки! Ложась спать, Черносвитов все так же скреб лопатки, принимал усталые позы, потом скрипел в темноте, просил не тяжелить воздуха, наконец, хранил, посистывая носом, и Мартын думал: ах, если б он знал... И вот однажды, когда мужу полагалось быть в городе, а в его и Мартыновой комнате, на кушетке, Алла уже поправляла платье, успев «заглянуть в рай», как она выражалась, меж тем как Мартын, вспотевший и растрепанный, искал запонку, оброненную в том же раю,— вдруг, сильно толкнув дверь, вошел Черносвитов и сказал: «Ишь ты где, матушка. Я, конечно, забыл захватить с собой письмо Спиридонова. Хорошенько было бы дело». Алла провела ладонью по смятой юбке и спросила, наморщив лоб: «А он уже дал свою подпись?» — «Этот старый скот Бернштейн все воду возит,— сказал Черносвитов, роясь в чемодане.— Если они желают задерживать деньги, то пусть сами, скоты, выкручиваются». — «Главное,— сказала Алла,— не забудь об отсрочке. Ну что, нашел?» — «На катере, к чертовой матери,— бормотал Черносвитов, перебирая какие-то конверты.— Оно должно быть. Не могло ж оно запропаститься, в самом деле».— «Если оно пропало, тогда вообще все пошло прахом»,— сказала она недовольно. «Тянут, тянут,— бормотал Черносвитов,— вот и возись с ними. Отупеть можно. Я буду очень рад, если Спиридонов откажется».— «Да ты не волнуйся так, найдется»,— сказала Алла, но, видимо, и сама была встревожена. «Есть, слава Тебе, Господи!» — воскликнул Черносвитов и скользнул глазами по найденному листку, причем от внимания челюсть у него отвисла. «Не забудь сказать об отсрочке»,— напомнила ему Алла. «Добже»,— сказал Черносвитов и поспешно вышел.

Этот деловой разговор привел Мартына в некоторое недоумение. Ни муж, ни жена не притворялись,— они действительно совершенно забыли о его присутствии, погрузившись в свои заботы. Алла, однако, сразу вернулась к прежнему настроению, посмеялась, что в Греции такие скверные дверные задвижки — сами выскакивают,— а на тревожный вопрос Мартына пожала плечами: «Ах, я уверяю тебя, он ничего не заметил». Ночью Мартын долго не мог уснуть и все с тем же недоумением прислушивался к самодовольному хрому. Когда, через три дня, он с матерью отплывал в Марсель, Черносвитовы приехали провожать в Пирей: они стояли на пристани, держась под руку, и Алла улыбалась и махала мимозовой веткой. Накануне, впрочем, она всплакнула.

X

На нее, на эту заглавную картинку, оказавшуюся после снятия полу-прозрачного листка грубою, подчеркнуто яркой, Мартын снова опустил дымку, сквозь которую краски приобретали таинственную прелесть.

И на большом трансатлантическом пароходе, где все было чисто, отшлифовано, просторно, где был магазин туалетных вещей, и выставка картин, и аптека, и парикмахерская и где по вечерам танцевали на палубе тусклый и фокстрот,— он с восторженной грустью думал о той милой женщине, о ее нежной, слегка впалой груди и ясных глазах и о том, как непрочно похрустывала она в его объятиях, приговаривая: «Ай, сломаешь». Меж тем близка была Африка, на горизонте с севера появилась лиловая черта Сицилии, а затем пароход скользнул между Корсики и Сардинией, и все эти узоры знойной суши, которая была где-то кругом, где-то близко, но проходила невидимкой, пленили Мартына своим бесплотным присутствием. А по пути из Марселя в Швейцарию он как будто узнал любимые ночные огни на холмах,— и хотя это не был уже *train de luxe*, а простой курьерский поезд, трясий, темный, грязный от угольной пыли, волшебство было тут как тут: эти огни и вопли во мраке... По дороге, в автомобиле, между Лозанной и дядиным домом, расположенным повыше в горах, Мартын, сидя рядом с шофером, изредка с улыбкой поворачивался к матери и дяде, которые оба были в больших автомобильных очках и одинаково держали на животах руки. Генрих Эдельвейс остался холост, носил толстые усы, и некоторые его интонации да манера возиться с зубочисткой или ковырялкой для ногтей напоминали Мартыну отца. При встрече с Софьей Дмитриевной на вокзале в Лозанне дядя Генрих разрыдался, рукой прикрыл лицо, но погодя, в ресторане, успокоился и на своем пышноватом французском языке заговорил о России, о своих прежних поездках туда. «Как хорошо,— сказал он Софье Дмитриевне,— как хорошо, что твои родители не дожили до этой страшной революции. Я помню превосходно старую княгиню, ее белые волосы... Как она любила бедного, бедного Сержа»,— и при воспоминании о двоюродном брате у Генриха Эдельвейса опять налились глаза голубой слезой. «Да, моя мать его любила, это правда,— сказала Софья Дмитриевна,— но она вообще всех и все любила. А ты мне скажи, как ты находишь Мартына»,— быстро продолжала она, пытаясь отвлечь Генриха от печальных тем, принимавших в его пушистых устах оттенок нестерпимой сентиментальности. «Похож, похож,— закивал Генрих.— Тот же большой лоб, прекрасные зубы...» «Но, правда, он возмужал? — поспешило перебила Софью Дмитриевну.— И, знаешь, у него уже были увлечения, страсти». Дядя Генрих перешел на политические темы. «Эта революция,— спросил он риторически,— как долго она может длиться? Да, этого никто не знает. Бедная и прекрасная Россия гибнет. Может быть, твердая рука диктатора положит конец эксцессам. Но многие прекрасные вещи, ваши земли, ваши опустошенные земли, ваш деревенский дом, сожженный сволочью,— всему этому следует сказать прощай!»— «Сколько стоят лыжи?» — спросил Мартын. «Не знаю,— со вздохом ответил дядя Генрих.— Я никогда не развлекался этим английским спортом. И у тебя английский акцент. Это дурно. Мы переменим все это». «Он многое перезабыл,— вступилась за сына Софья Дмитриевна. Последние годы Mlle Planche уже не давала уроков».— «Умерла,— с чувством сказал дядя Генрих.— Еще одна смерть».— «Да нет,— улыбнулась Софья Дмитриевна. — Откуда ты взял? Она вышла замуж

за финна и спокойно живет в Выборге». — «Во всяком случае все это очень грустно,— сказал дядя Генрих.— Я так желал, чтобы когда-нибудь Серж с вами приехал сюда. Но никогда не имеешь того, о чем мечтаешь, и Бог один знает судьбу людей. Если вы утолили голод и наверное больше ничего не хотите, можем отправиться в путь».

Дорога была светлая, излучистая; справа поднималась скалистая стена с цветущими колючими кустами, в трещинах, слева был обрыв, долина, где серповидной пеной, уступами, бежала вода; затем появились черные ели, они стояли тесным строем то на одном склоне, то на другом; окрест, незаметно передвигаясь, высился зеленоватые, в снеговых проплешинах, горы, из-за плеч этих гор смотрели другие, посерее, а совсем вдалеке поднимались горы лиловатой гуашевой белизны, и эти были совершенно неподвижны, и небо над ними словно выпало по сравнению с ярко-синими просветами между верхушками черных елей, под которыми катился автомобиль. Вдруг, с непривычным еще чувством, Мартын вспомнил густую еловую опушку русского парка сквозь синее ромбовидное стекло на веранде,— а когда, разминая слегка звенящие ноги, с прозрачным гулом в голове, он вышел из автомобиля, его поразил запах земли и тающего снега, шероховатый свежий запах и еловая красота дядиного дома. Стоял он особняком в полуверсте от деревни, и с верхнего балкона был один из тех дивных видов, которые прямо пугают своим воздушным совершенством, а в чистенькой уборной, где пахло смолой, густо синело в оконце опять это весеннее дачное небо, и кругом, в саду с голыми черными клумбами и цветущими яблонями в глубине, в еловом бору, сразу за садом, и на мягкой дороге, ведущей в деревню, была прохладная, веселая, что-то знающая тишина, и голова слегка кружилась, не то от этой тишины, не то от запахов, не то от новой, блаженной косности после трехчасовой езды.

В этом доме Мартын прожил до поздней осени. Предполагалось, что зимой он поступит в Женевский университет; однако, после живой переписки с друзьями в Англии, Софья Дмитриевна определила его в Кембридж. Дядя Генрих не сразу с этим примирился,— он англичан недолюбливал, холодный, коварный народ. Зато мысль об издержках, которых потребует знаменитый университет, не только его не огорчала, а, напротив, была соблазнительна. Любя экономить по мелочам, в левой руке зажимая грош, он правой охотно выписывал крупные чеки,— особенно когда расход являлся почетным. Иногда он трогательно играл самодура, хряпал ладонью по столу, раздувал усы и кричал: «Если я это делаю, то потому, что мне приятно!» И Софья Дмитриевна со вздохом натягивала на кисть новые часики-брраслет из Женевы, а Генрих, размякнув, лез в карман, вытягивал объемистый платок с голубой каемкой, встряхивал его и, скрывая набежавшие слезы, трубил раз, трубил два, затем приглаживал усы — вправо и влево.

С наступлением лета погнали крестами меченых овец еще выше в горы. Неизвестно откуда, с какой стороны, начинал доноситься журчащий металлический звон, плыл, обволакивал, вызывал у слушателя странную щекотку во рту, и вот, в облаке пыли, серой, курчавой густыней, лились, мягко толкаясь, овечьи спины в переменчи-

вой и подвижной тесноте, и влажный, полый, услаждающий все чувства звон колокольцев все рос, наливался, так таинственно, словно звучала самая пыль, клубящаяся над овцами; порою одна выбивалась из стада, пробегала трусцой, и лохматая собака молча ее оттесняла в стадо, и сзади шел, мягко ступая, пастух,— и звон колокольцев чуть менялся в тембре, становился опять глушее,тише, но долго еще стоял в воздухе, вместе с летучей пылью. «Ах, как славно»,— шептал про себя Мартын, дослушав звон до конца, и продолжал путь, любимую свою прогулку, начинавшуюся деревенской дорогой и тропинками в еловой глухи. Бор внезапно редел, появлялись крутые сочные луга, каменистая стежка спускалась между живых изгородей; иногда навстречу поднималась корова с мокрой розовой мордой, останавливалась, похлестывая хвостом, и, качнув головой вбок, проходила, и следом за ней шла проворная старушка с дубинкой и кидала на Мартына недоброжелательный взгляд. А ниже, за тополями и кленами, белела большая гостиница, хозяин которой был в отдаленном родстве с Эдельвейсом.

За это лето Мартын еще больше окреп, увеличился размах плеч, и голос приобрел ровный и низкий звук. Меж тем на душе у него было сумбурно, и чувство не совсем понятное возбуждали такие вещи, как дачная прохлада в комнатах, столь отчетливая после наружной жары, толстый шмель, с обиженным видом стучащий по потолку, еловые лапы на синеве неба или крепкий коричневый боровик, найденный на опушке. Будущая поездка в Англию волновала и радовала его. Воспоминание об Алле Черносвитовой достигло окончательного совершенства, и он себе говорил, что недостаточно ценил фальцкое счастье. Жаждя, которую та, утоляя, только обострила, так мучила его в эти горные летние дни, что по ночам он долго не мог забыться, представляя себе, среди многих приключений, всех тех женщин, которые ждут его в светающих городах, и, случалось, повторял вслух какое-нибудь женское имя — Изабелла, Нина, Маргарита, — еще холодное, нежилое имя, пустой гулкий дом, куда медлит вселиться хозяйка, — и гадал, какое из этих имен станет вдруг живым, столь живым и естественным, что уже никогда нельзя будет произнести его так таинственно, как сейчас. А по утрам приходила из деревни побывать старой горничной племянница ее Мария, семнадцатилетняя девочка, очень тихая и миловидная, с темно-розовыми щеками и туго закрученными вокруг головы желтыми косами. Бывало так, что Мартын в саду, а она вдруг распахивает верхнее окошко и, отряхнув тряпку, замирает, глядя, быть может, на овальные тени облаков, скользящие по склонам гор; затем проводит тылом руки по виску и медленно отворачивается. Мартын поднимался в комнаты, определял по сквознякам, где происходит уборка, и среди блеска мокрых половиц Мария, задумавшись, стояла на коленях: он видел ее со спины, ее черные шерстяные чулки и зеленое, в горошинку, платье. Она никогда не смотрела на Мартына, только раз — и это было событие — проходя мимо с пустым ведром, неопределенно и нежно улыбнулась, однако не ему, а цыплятам. Он упорно давал себе обет заговорить с ней да потихоньку обнять, но однажды, после ее ухода, Софья Дмитриевна потянула носом, поморщилась и поспешила от-

крыла все окна,— и Мартын проникся к Марии досадливым отвращением и только очень постепенно, по мере ее следующих далеких появлений,— в раскрывшемся окне, или в просвете листвы близ колодца,— опять начал поддаваться очарованию, но уже боялся приблизиться. Так что-то счастливое, томное, его издалека заманивало, но было обращено не к нему. Как-то раз, забравшись высоко в горы, он сел с ногами на большой лобатый камень, и снизу, вы ѿщейся тропой, прошло стадо, музыкально и грустно булькая, а затем двое, оборванный, веселый мужчина и девушка, которая, все посмеиваясь, вязала на ходу чулок. Они прошли, не взглянув на Мартына, словно был он бесплотен, и он долго следил за ними: мужчина, не меняя шага, перекинул руку через плечо спутницы, и по ее затылку видно было, что она все вяжет, вяжет, неторопливо спускаясь в другую долину. А не то около теннисной площадки перед гостиницей появлялись, крича, белеясь платьями и отмахиваясь ракетками от оводов, барышни с голыми руками, но, как только они начинали играть — какая топорность, какая беспомощность,— тем более что сам Мартын играл превосходно, разбивал в лоск любого молодого аргентинца из гостиницы, ибо сызмала усвоил лад, необходимый для наслаждения природой шара, согласованность всех членов, так что каждый удар по белому мячу, начинаясь с дугового налета, еще длится после звучной вспышки ракетных струн, проходя по мышцам руки до самого плеча, как бы замыкая плавный круг, из которого так же плавно рождается следующий. В жаркий августовский день возник на площадке профессиональный игрок, Боб Китсон из Ниццы, и предложил Мартыну партию. Знакомая глупая дрожь — отмечка слишком живого воображения. Все же Мартын начал хорошо, то прихлопывая мяч на излете у самой сетки, то с задней черты мощно лупя в отдаленнейший угол. Кругом стояли и смотрели,— это было приятно. Горело лицо, и до безумия хотелось пить. Подавая, обрушиваясь на мяч и сразу превращая наклон тела в быстрый пробег к сетке, Мартын собирался взять решительную игру. Но профессионал, долговязый, хладнокровный юноша в очках, игравший точно с ленцой, вдруг проснулся и пятью молниевидными ударами сравнял положение. Мартын почувствовал усталость и беспокойство. Солнце — в глаза. Вылезает из-под пояса рубашка. Если Китсон возьмет этот пункт,— все кончено. Тот, из неудобного угла, дал свечку, и Мартын, отбегая к эз-уком, приготовился мяч убить. Пока он низвергал ракетку, ему мгновенно померещился проигрыш, злорадство обычных его партнеров. Увы, мяч тупо плюхнул в сетку. «Не повезло»,— бодро сказал Китсон, и Мартын осклабился, героически преодолевая досаду.

XII¹

Возвращаясь домой, он переигрывал в уме все удары, обращал поражение в победу и качал головой: трудно, трудно изловить счастье. Скрытые листвой, журчали ручьи, с мокрых мест на дороге вспархивали голубые бабочки, в кустах возились птицы,— все было до грусти солнечно и беспечно. Вечером, после обеда, сидели, как всегда, в

¹ В американском издании романа (1974 г.) после главы X идет глава XII. (Прим. ред.)

гостиной, дверь была широко открыта на террасу и, так как испортилось электричество, горели в канделябрах свечи: изредка пламя их наклонялось, и тогда из-под всех кресел вытягивались черные тени. Мартын, копая в носу, читал томик Мопассана со старомодными иллюстрациями: Бель-Ами, усатый, в стоячем воротничке, обнажающий с ловкостью камеристки стыдливую, широкобедрную женщину. Дядя Генрих, отложив газету и подбоченясь, смотрел на карты, которые раскладывала на ломберном столе Софья Дмитриевна. В окна и в дверь напирала с террасы теплая, черная ночь. Подняв голову, Мартын вдруг насторожился, словно был какой-то смутный призыв в этой гармонии ночи и свеч. «Последний раз он у меня вышел в России,— проговорила Софья Дмитриевна.— Он вообще выходит очень редко». Расставя пальцы, она собрала рассыпанные по столу карты и принялась их вновь тасовать. Дядя Генрих вздохнул.

Наскуча книгой, Мартын потянулся и вышел на террасу. Было очень темно, пахло сыростью и ночных цветами. Сорвалась звезда и, конечно, как это обычно бывает,— не совсем в поле зрения, а сбоку, так что глаз уловил лишь трепет, мгновенную, беззвучную перемену в небе. Очертания гор были неразборчивы, и в складках мрака дрожало там и сям по два, по три огонька. «Путешествие»,— вполголоса произнес Мартын и долго повторял это слово, пока из него не выжал всякий смысл, и тогда он отложил длинную, пушистую словесную шкурку, и глядь,— через минуту слово было опять живое. «Звезда. Туман. Бархат, бар-хат»,— отчетливо произносил он и все удивлялся, как непрочно смысл держится в слове. И в какую даль этот человек забрался, какие уже перевидел страны, и что он делает тут, ночью, в горах,— и отчего все в мире так странно, так волнительно. «Волнительно»,— повторил громко Мартын и остался словом доволен. Опять покатилась звезда. Он уставил глазами в небо, как некогда, когда в коляске, темной лесной дорогой, возвращались восвояси из имения соседа, и совсем маленький, размаяненный, готовый вот-вот уснуть, Мартын откидывал голову, смотрел на небесную реку, между древесных клубьев, по которой тихо плыл. Он подумал: где еще в жизни будет так — как тогда, как сейчас,— смотреть на ночное небо,— на какой пристани, на какой станции, на каких площадях? Чувство богатого одиночества, которое он часто испытывал среди толпы, блаженное чувство, когда себе говоришь: вот, никто из этих людей, занятых своим делом, не знает, кто я, откуда, о чем сейчас думаю,— это чувство было необходимо для полного счастья, и Мартын с замиранием, с восторгом себе представлял, как — совершенно один, в чужом городе, в Лондоне, скажем,— будет бродить ночью по неизвестным улицам. Он видел черные кэбы, хлюпающие в тумане, полицейского в черном блестящем плаще, огни на Темзе — и другие образы из английских книг. Оставив багаж на вокзале, он шел мимо бесчисленных освещенных Дрюосов и, волнуясь, искал Изабеллу, Нину, Маргариту, кого-нибудь, чьим именем назвать эту ночь. А она,— за кого она его примет? За художника, за моряка, за джентльмена-взломщика? От денег она откажется, будет нежна, по утру не захочет отпустить. Но как улицы туманны, как многолюдны, как трудно найти...

И хотя многое выглядело иначе, хотя кэбы уже повымерли, кое-что он все же узнал, когда осенним вечером вышел налегке с вокзала Виктории, узнал темный, маслянистый воздух, мокрый плащ полицейского, отблески, шлепающие звуки. На вокзале он отлично вымылся под душем в веселенькой чистой каморке, вытерся теплым, мохнатым полотенцем, которое принес краснощекий служитель, надел чистое белье, лучший костюм, оставил оба чемодана на хранение и теперь был горд, что так толково устроился. Он едва чувствовал дорожную усталость: была только звонкость, волнение. Громадные автобусы яростно и тяжело разбрызгивали озера на асфальте; световые рекламы взбегали и рассыпались по фронтонам багровых домов. Он встречал, обгонял женщин, оборачивался,— но чем красивее было лицо, тем труднее было решиться. Светлых, привлекательных кафе, как в Афинах или в Лозанне, тут не было, а в баре, где он выпил стакан пива, оказались одни мужчины, воспаленные, лупоглазые, с красными жилками на белках. Мало-помалу им овладевало смутное раздражение: русская семья, у которой по письменному говору он должен был на неделю остановиться, вот сейчас ждет его, беспокоится. Он подумал, не сесть ли спокойно в таксомотор, не отказаться ли от этой ночи. Но тут же ему стало стыдно его недоверчивости к ней,— как напряженno он о ней мечтал нынче на рассвете, глядя в окно поезда на равнины, на розовое холодное небо, на черный силуэт ветряной мельницы. «Малодушие и предательство»,— тихо сказал Мартын. Он заметил, что во второй раз проходит той же улицей, узнал ее по витрине, полной жемчужных ожерелий. Он стал и мельком проверил давнее свое отвращение к жемчугам: устричные геморроиды, круглявые, с нездоровым отливом. Рядом с ним остановилась женщина под зонтиком. Мартын искося посмотрел: худенькая, черный костюм, сияющая булавка в шляпе. Она повернула лицо, улыбнулась и, выпучив губы, издала маленький звук вроде удлиненного «у». Мартын увидел, как в ее глазах бегут огни, переливы, блеск дождя, и хриплым шепотом пожелал ей доброго вечера.

Как только они оказались в темноте таксомотора, он обнял ее, шалея от ощущения ее гибкой худобы. Она закрывалась руками и хохотала. Потом, в номере, когда он неловко вынул бумажник, она сказала: «Нет, нет, если хотите, завтра поведете меня обедать в шикарное место». Она спросила, кто он, не француз ли, и стала по его просьбе гадать: бельгиец? датчанин? голландец? И не поверила, когда он сказал: русский. Далее он намекнул ей, что зарабатывает на жизнь карточной игрой на больших пароходах, поведал ей о своих странствиях, кое-что расцветил, кое-что прибавил и, описывая никогда не виданный им Неаполь, глядел с любовью на ее голые детские плечи, на стриженую русую голову и был совершенно счастлив. Рано утром, пока он мирно спал, она быстро оделась и ушла, выкрав из его бумажника десять фунтов. «Утро после дебоша»,— с улыбкой подумал Мартын, захлопнув бумажник, который поднял с полу. Он облился из кувшина, устроив потоп, и все улыбался, вспоминая прелестную ночь. Было немного жалко, что она так глупо ушла, что больше никогда он ее не встретит. А звали ее Бэсс. Когда же он вышел из гостиницы и

пошел по утренним просторным улицам, то ему хотелось прыгать и петь от счастья, и, чтобы как-нибудь облегчить душу, он взобрался на лесенку, прислоненную к фонарю, из-за чего имел долгое и смешное объяснение с пожилым прохожим, грозившим снизу тростью.

XIII

Второй нагоняй он получил от Зилановой, Ольги Павловны. Накануне она проходила его до позднего вечера и, так как полагала почему-то, что Мартын моложе и беспомощнее, чем оказался на самом деле, разволнивалась, не зная, что предпринять. Он объяснил, что вчера хватился адреса, а нашел его только сегодня в малопосещаемом карманчике и что ночевал в гостинице у вокзала. Ольга Павловна захотела узнать, почему он не позвонил по телефону и как называется гостиница. Мартын придумал хорошее, незаурядное название: Гуд-Найт Отель,— и объяснил, что искал в телефонной книжке номер, но не нашел. «Эх, вы»,— недовольно сказала Зиланова и вдруг улыбнулась изумительно прекрасной улыбкой, совершенно преобразившей ее дряблое, унылое лицо. Мартын помнил эту улыбку еще по Петербургу, и так как он был тогда дитя, а говоря с чужими детьми, женщины обычно улыбаются, его память сохранила Зиланову с сияющим лицом, и он был озадачен, найдя ее такой старой и хмурой.

Ее муж, известный общественный деятель, был временно в отъезде, и Мартына поместили в его кабинет. Кабинет и столовая находились в первом этаже, гостиная во втором, спальни в третьем. Из таких узкофасадных домов, друг от друга неотличимых и с одинаковым расположением комнат по вертикали, состояла вся эта тихая, неторговая улица, оживленная красной почтовой тумбящей на углу. Позади правого ряда домов были палисадники, где летом цвели рододендроны, а за левым рядом желтел и облетал сквер с большими ильмами и с муравьватой площадкой для тенниса.

Старшая дочь Зиланова, Нелли, недавно вышла замуж за русского офицера, попавшего в Англию из немецкого плена. Младшая, Соня, кончала в Лондоне среднюю школу, куда неожиданно перешла из пятого класса Стоюнинской гимназии. Существовала еще сестра Зилановой, Елена Павловна, и ее дочка Ирина, несчастное безобразное существо-полуидиотка.

Неделя, которую Мартын, примериваясь к Англии, прожил в этом доме, показалась ему довольно тягостной. День-деньской он был среди чужих, его не отпускали ни на шаг. Соня донимала его тем, что высмеивала его гардероб, сорочки с крахмальными манжетами и твердоватой грудью, любимые ярко-лиловые носки, оранжевые башмаки с шишковатыми носами, купленные в Афинах. «Это американские»,— с нарочитым спокойствием сказал Мартын. «Американцы их специально делают, чтобы продавать неграм да русским»,— бойко возразила Соня. Далее оказалось, что Мартын не привез халата, и, когда он по утрам шел в ванную, гордо закутанный в простыню, Соня говорила, что это ей напоминает ее двоюродных братьев и товарищей их, лицеистов, которые, гости на даче, спали нагишом, ходили по утрам в простынях и гадили в саду. Кончилось тем, что Мартын накупил в Лондоне столько вещей, что десяти фунтов не хватило и пришлось

писать дяде, а это было особенно неприятно ввиду туманных объяснений, которых потребовало исчезновение других десяти фунтов. Да, тяжелая, неудачная неделя. Ведь и английское произношение, которым Мартын тихо гордился, тоже послужило поводом для изысканно насмешливых поправок. Так, совершенно неожиданно, Мартын попал в неучи, в недоросли, в маменькины сынки. Он считал, что это несправедливо, что он в тысячу раз больше перечувствовал и испытал, чем барышня в шестнадцать лет. И с некоторым злорадством он расколошматил на теннисе каких-то ее молодых людей, а вечером накануне отъезда превосходно танцевал под гавайский плач граммофона тустеп, которому научился еще в Средиземном море.

В Кембридже он и подавно почувствовал себя иностранцем. Встречаясь с англичанами-студентами, он, дивясь, отмечал свое несомненное русское нутро. От полуанглийского детства у него остались только такие вещи, которые у коренных англичан, его сверстников, читавших в детстве те же книги, затуманились, уложились в должностную перспективу,— а жизнь Мартына в одном месте круто повернула, пошла по другому пути, и тем самым обстановка и навыки детства получили для него привкус некоторой сказочности, и какая-нибудь книга, любимая в те дни, оставалась посейчас в его памяти прелестнее и ярче, чем та же книга в памяти сверстников-англичан. Он помнил и говорил словечки, которые десять лет назад были в ходу среди английских школьников, а ныне считались либо вульгарными, либо до смешного старомодными. Синим пламенем пылающий плампудинг подавался в Петербурге не только на Рождество, как в Англии, а в любой день, и, по мнению многих, у повара Эдельвейсов он выходил лучше, чем покупные. В футбол петербуржцы играли на твердой земле, а не на дерне, и штрафной удар обозначался неизвестным в Англии словом «пендел». Цвета полосатой курточки, купленной когда-то у Дрюса, Мартын бы теперь не смел носить, так как они отвечали спортивной форме определенного училища, воспитанником которого он никогда не состоял. И вообще все это английское, довольно, в сущности, случайное, процеживалось сквозь настоящее, русское, принимало особые русские оттенки.

XIV

На заднем плане первых кембриджских ощущений все время почему-то присутствовала великолепная осень, которую он только что видел в Швейцарии. По утрам нежный туман заволакивал Альпы. Гроздь рябины лежала посреди дороги, где колеи были подернуты слюдяным ледком. Ярко-желтая листва береск скуделя с каждым днем, несмотря на безветрие, и с задумчивым весельем глядело сквозь нее бирюзовое небо. Рыжели пышные папоротники; плыли по воздуху радужные паутинки, которые дядя Генрих называл волосами Богородицы. Иногда Мартын поднимал голову, думая, что слышит далекое, далекое курлыканье журавлей,— но их не было. Он много бродил, чего-то искал, ездил на скверном велосипеде одного из работников по шелестящим тропинкам, а Софья Дмитриевна, сидя на скамейке под кленом, задумчиво прокалывала остирием трости сырье багровые листья на бурой

земле. Такой разнообразной и дикой красоты не было в Англии, природа казалась оранжерейной, ручной; в геометрических садах, под моросящим небом, она умирала без роскошных причуд, но по-своему были прекрасны розовато-серые стены, прямоугольные газоны, покрытые в редкие погожие утра бледным серебром инея, и выгнутый каменный мостик над узкой рекой, образовавший полный круг со своим совершенным отражением.

Ни скверная погода, ни ледяная стужа спальни, где традиция запрещала топить, не могли изменить мечтательную жизнерадость Мартына. Одиночество веселило его. Свою рабочую комнату, жаркий камин, пыльную пианолу, безобидные литографии по стенам, низкие плетеные кресла и дешевые фарфоровые штучки на полочках,— все это он от души полюбил. Когда, поздно вечером, умирало священное пламя камина, он кочергой скучивал мелкие, еще тлеющие остатки, накладывал сверху щепок, наваливал гору угля, раздувал огонь фукающими мехами или, занавесив пасть очага просторным листом «Таймса», устраивал тягу: напряженный лист приобретал теплую прозрачность, и строки на нем, мешаясь с просвечивающими строками на исподе, казались диковинными знаками тарабарского языка. Затем, когда гул и бушевание огня усиливались, на газетном листе появлялось рыжее, темнеющее пятно и вдруг прорывалось, вспыхивал весь лист, тяга мгновенно его всасывала, он улетал в трубу,— и поздний прохожий, магистр в черном плаще, видел сквозь сумрак готической ночи, как из трубы вырывается в звездную высь огнеглавая ведьма, и на другой день Мартын платил денежный штраф.

Будучи одарен живым и общительным нравом, Мартын оставался один недолго. Довольно скоро он подружился с нижним жильцом, Дарвином, да познакомился кое с кем на футбольном поле, в клубе, в общей столовой. Он заметил, что всякий считает должным говорить с ним о России, выяснить, что он думает о революции, об интервенции, о Ленине и Троцком, а иные, побывавшие в России, хвалили русское хлебосольство или спрашивали, не знает ли он случайно Иванова из Москвы. Мартыну такие разговоры претили; небрежно взявшись со стола том Пушкина, он начинал переводить вслух стихи: «Люблю я пышное природы увяданье, в багрец и золото одетые леса». Это возбуждало недоумение,— и только один Дарвин, большой, сонный англичанин в канареечно-желтом джемпере, развалившись в кресле, сопя трубкой и глядя в потолок, одобрительно кивал.

Этот Дарвин, зачастив вечерами к Мартыну, подробно осветил, ему в назидание, некоторые строгие, исконные правила: не полагается студенту ходить по улице в шляпе и в пальто, как бы холодно ни было; нельзя ни здороваться за руку, ни желать доброго утра, и следует всякого знакомого, будь он сам Томпсон, объявивший войну атому, приветствовать широкой улыбкой и развязным междометием. Нехорошо кататься по реке в обыкновенной гребной лодке,— для этого есть робои, пироги и другие виды шлюпок. Никогда не нужно повторять старые университетские остроты, которыми сразу увлекаются новички. «Но помните,— мудро добавил Дарвин,— и в соблюдении этих традиций не следует заходить слишком далеко, и иногда, чтобы

огородить снобов, бывает полезно выйти на улицу в котелке, с зонтиком под мышкой». У Мартына создалось впечатление, что Дарвин уже давно, несколько лет, в университете, и он пожалел его, как жалел всякого домоседа. Дарвин его поражал своей сонностью, медлительностью движений, какой-то комфортабельностью всего существа. Стремясь в нем возбудить зависть, Мартын нахрапом ему рассказал о своих странствиях, бессознательно прибавив кое-что из присоединенного в угоду Бэсс и едва заметив, как вымысел утвердился. Эти преувеличения были, впрочем, невинного свойства: два-три пикника на крымской Яйле превратились в постоянное бродяжничество по степям, с палкой и котомкой, Алла Черносвитова — в таинственную спутницу поездок на яхте, прогулки с ней — в долгое пребывание на одном из греческих островов, а лиловая черта Сицилии — в сады и виллы. Дарвин одобрительно кивал, глядя в потолок. Глаза у него были голубоватые, пустые, без всякого выражения; подошвы, которые он всегда казал, так как любил полулежачие позы, с высокой и удобно пристроенными ногами, были снабжены сложной системой резиновых нашлепок. Все в нем, начиная от этих прочно подкованных ног и кончая костистым носом, было добротно, велико и невозмутимо.

XV

Раза три в месяц Мартына призывал тот профессор, который следил за посещением лекций, навещал в случае нездоровья, давал разрешение на поездки в Лондон и делал замечания по поводу штрафов, навлекаемых приходом домой за полночь или неношением по вечерам академического плаща. Это был сухонький старичок, с вывернутыми ступнями и острым взглядом, латинист, переводчик Горация, большой любитель устриц. «Вы сделали успехи в языке,— как-то сказал он Мартыну.— Это хорошо. Много ли у вас уже набралось знакомых?» — «О, да», — ответил Мартын. «А с Дарвином, например, вы подружились?» — «О, да», — повторил Мартын. «Я рад. Это великолепный экземпляр. Три года в окопах, Франция и Месопотамия, крест Виктории и ни одного ушиба, ни нравственного, ни физического. Литературная удача могла бы вскружить ему голову, но и этого не случилось».

Кроме того, что Дарвин, прервав университетское учение, ушел восемнадцать лет на войну, а недавно выпустил книгу рассказов, от которых знатоки без ума, Мартын услышал, что он первоклассный боксер, что детство он провел на Мадере и на Гавайских островах и что его отец — известный адмирал. Собственный маленький опыт показался Мартыну ничтожным, жалким, он устыдился некоторых своих рассказней. Когда вечером к нему ввалился Дарвин, было смешно и неловко. Он принял исподволь выуживать про войну, про книгу, — и Дарвин отшучивался и говорил, что лучшая книга, им написанная, это маленькое пособие для студентов, которое называлось так: «Полное описание шестидесяти семи способов проникнуть в колледж Троицы после закрытия ворот, с подробным планом стен и решеток, первое и последнее издание, множество раз проверенное ни разу не попавшимся автором». Но Мартын настаивал на своем, на

важном, на книге рассказов, от которых знатоки без ума, и наконец Дарвин сказал: «Ладно, я дам. Пойдем ко мне в логово».

Свое логово он обставил сам по собственному вкусу: были там какие-то сверхъестественно удобные кожаные кресла, в которых тело таяло, углубляясь в податливую бездну, а на камине стояла большая фотография: разомлевшая, на боку лежащая сука и круглые наливные задки ее шестерых сосунков. Да и вообще студенческих комнат Мартын уже перевидал немало: были такие, как его,— милые, но жильцом не холенные, с чужими, хозяйствыми, вещами,— была комната спортсмена с серебряными трофеями на камине и сломанным веслом на стене, была комната, заваленная книгами, засыпанная пеплом, была, наконец, комната, гаже которой трудно сыскать,— почти пустая, с ярко-желтыми обоями, комната, где всего одна картина, но зато Сезанн (эскиз углем, женообразная загогулина), да стоит раскрашенный деревянный епископ четырнадцатого века с протянутой кульяпкой. Душевней всех была комната Дарвина, особенно если присмотреться, пошарить: чего стоило, например, собрание номеров газеты, которую Дарвин издавал в траншеях: газета была веселая, бодрая, полная смешных стихов, Бог знает, как и где набиралась, и в ней помещались ради красоты случайные клише, рекламы дамских корсетов, найденные в разгромленных типографиях.

«Вот,— сказал Дарвин, достав книгу.— Бери».

Книга оказалась замечательной; не рассказы, нет, скорее трактаты,— двадцать трактатов одинаковой длины; первый назывался «Штопор», и в нем содержались тысячи занятных вещей о штопорах, об их истории, красоте и добродетелях. Второй был о попугаях, третий об игральных картах, четвертый об адских машинах, пятый об отражениях в воде. А один был о поездах, и в нем Мартын нашел все, что любил,— телеграфные столбы, обрывающие взлет проводов, вагон-ресторан, эти бутылки минеральной воды, с любопытством глядящие в окно на пролетающие деревья, этих лакеев с сумасшедшими глазами, эту карликовую кухню, где потный повар в белом колпаке, шатаясь, панирует рыбу.

Если б когда-нибудь Мартын думал стать писателем и был бы мучим писательской алчностью (столь родственной боязни смерти), постоянной тревогой, которая нудит запечатлеть неповторимый пустяк,— быть может, страницы о мелочах, ему сокровенно знакомых, возбудили бы в нем зависть и желание написать еще лучше. Вместо этого он почувствовал такое теплое расположение к Дарвину, что даже стало щекотно в глазах. Когда же утром, идя на лекцию, он обогнал его на углу, то, не глядя ему в лицо, сказал, вполне корректно, что многое в книге ему понравилось, и молча пошел с ним рядом, подлаживаясь под его ленивый, но машистый шаг.

Аудитории рассеяны были по всему городу. Ежели одна лекция сразу следовала за другой и они читались в разных залах, то приходилось вскакивать на велосипед или поспешно топотать переулками, пересекать гулко мощенные дворы. Чистыми голосами перекликались со всех башен куранты; по узким улицам несся грохот моторов, стрекотание колес, звонки. Во время лекций велосипеды сверкающим роем ластились к воротам, ожидая хозяев. На кафедру всходил лектор

в черном плаще и со стуком клал на пюпитр квадратную шапку с кисточкой.

XVI

Поступая в университет, Мартын долго не мог избрать себе науку. Их было так много, и все — занимательные. Он медлил на их окраинах, всюду находя тот же волшебный источник живой воды. Его волновал какой-нибудь повисший над альпийской бездною мост, одуванченная сталь, божественная точность расчета. Он понимал того впечатлительного археолога, который, расчистив ход к еще неизвестным гробам и сокровищам, постучался в дверь, прежде чем войти, и, войдя, упал в обморок. Прекрасны свет и тишина лабораторий: как хороший ныряльщик скользит сквозь воду с открытыми глазами, так, не напрягая век, глядит физиолог на дно микроскопа, и медленно начинают багроветь его щеки и лоб,— и он говорит, оторвавшись от трубы: «Всё найдено». Человеческая мысль, летающая на трапециях звездной вселенной, с протянутой под ней математикой, похожа была на акробата, работающего с сеткой, но вдруг замечающего, что сетки, в сущности, нет,— и Мартын завидовал тем, кто доходит до этого головокружения и новой выкладкой превозмогает страх. Предсказать элемент или создать теорию, открыть горный хребет или назвать нового зверя,— все было равно заманчиво. В науке исторической Мартыну нравилось то, что он мог ясно вообразить, и потому он любил Карлейля. Плохо запоминая даты и пренебрегая обобщениями, он жадно выискивал живое, человеческое, принадлежащее к разряду тех изумительных подробностей, которымими грядущие поколения, пожалуй, пресытятся, глядя на старые, моросящие фильмы наших времен. Он живо себе представлял дрожащий белый день, простоту черной гильотины и неуклюжую возню на помосте, где палачи тискают голоплечего толстяка, меж тем как в толпе добродушный гражданин поднимает под локотки любопытную, но низкорослую гражданку. Наконец, были науки довольно смутные: правовые, государственные, экономические туманы; они устрашали его тем, что искра, которую он во всем любил, была в них слишком далеко запрятана. Не зная, на что решиться, что выбрать, Мартын постепенно отстранил все то, что могло бы слишком ревниво его завлечь. Оставалась еще словесность. Были и в ней для Мартына намеки на блаженство; как пронзала пустая беседа о погоде и спорте между Горацием и Меценатом или грусть старого Лира, произносящего жеманные имена дочерних левреток, лающих на него! Так же как в Новом Завете Мартын любил набрести на «зеленую траву», на «кубовый хитон», он в литературе искал не общего смысла, а неожиданных, озаренных прогалин, где можно было вытянуться до хруста в суставах и упоенно замереть. Читал он чрезвычайно много, но больше перечитывал, а в литературных разговорах бывали с ним несчастные случаи: он раз спутал, например, Плутарха с Петраркой и раз назвал Кальдерона шотландским поэтом. Расшевелить его удавалось не всякому писателю. Он оставался холoden, когда, по дядиному совету, читал Ламартину или когда сам дядя декламировал со всхлипом «Озеро», качая головой и

удрученно приговаривая: «*Comme c'est beau!*» Перспектива изучать многословные, водянистые произведения и влияние их на другие многословные, водянистые произведения была мало прельстительна. Так бы он, пожалуй, ничего не выбрал, если б все время что-то не шептало ему, что выбор его несвободен, что есть одно, чем он заниматься обязан. В великолепную швейцарскую осень он впервые почувствовал, что в конце концов он изгнаник, обречен жить вне родного дома. Это слово «изгнаник» было сладчайшим звуком: Мартын посмотрел на черную еловую ночь, ощущил на своих щеках байронову бледность и увидел себя в плаще. Этот плащ он надел в Кембридже, даром что был он легонький, из прозрачноватой на свет материи, со многими сборками, и с крылатыми полурукавами, которые закидывались за плечи. Блаженство духовного одиночества и дорожные волнения получили новую значительность. Мартын словно подобрал ключ ко всем тем смутным, диким и нежным чувствам, которые осаждали его.

Профессором русской словесности и истории был в ту пору неизвестный Арчибалд Мун. В России он прожил довольно долго, всюду побывал, всех знал, все перевидел. Теперь: черноволосый, бледный, в пенсне на тонком носу, он бесшумно проезжал на велосипеде с высоким рулем, сидя совсем прямо, а за обедом, в знаменитой столовой с дубовыми столами и огромными цветными окнами, вертел головой, как птица, и быстро, быстро крошил длинными пальцами хлеб. Говорили, единственное, что он в мире любит, это — Россия. Многие не понимали, почему он там не остался. На вопросы такого рода Мун неизменно отвечал: «Справьтесь у Робертсона (это был востоковед), почему он не остался в Вавилоне». Возражали вполне резонно, что Вавилона уже нет. Мун кивал, тихо и хитро улыбаясь. Он усматривал в октябрьском перевороте некий отчетливый конец. Охотно допуская, что со временем образуется в Советском Союзе, пройдя через первобытные фазы, известная культура, он вместе с тем утверждал, что Россия завершена и неповторима,— что ее можно взять, как прекрасную амфору, и поставить под стекло. Печной горшок, который там теперь обжигался, ничего общего с нею не имел. Гражданская война представлялась ему нелепой: одни боятся за призрак прошлого, другие за призрак будущего,— меж тем как Россию потихоньку украл Арчибалд Мун и запер у себя в кабинете. Ему нравилась ее завершенность. Она была расцвечена синевою вод и прозрачным пурпуром пушкинских стихов. Вот уже скоро два года, как он писал на английском языке ее историю, и надеялся всю ее уложить в один толстенький том. Эпиграф из Китса («Создание красоты — радость навеки»), тончайшая бумага, мягкий сафьяновый переплет. Задача была трудная: найти гармонию между эрудицией и тесной живописной прозой, дать совершенный образ одного округлого тысячелетия.

XVII

Арчибалд Мун поразил и очаровал Мартына. Его медленный русский язык, из которого он годами терпения вытравил последний отзыв английской гортанности, был плавен, прост и выразителен.

Его знания отличались живостью, точностью и глубиной. Он вслух читал Мартыну таких русских поэтов, коих тот не знал даже и по имени. Придерживая страницу длинными, чуть дрожащими пальцами, Арчибалд Мун источал четырехстопные ямбы. Комната была в полу-мраке, свет лампы выхватывал только страницу да лицо Муна, с бледным лоском на скулах, тремя тонкими бороздками на лбу и прозрачно-розовыми ушами. Дочитав, он сжимал узкие губы, осторожно, как стрекозу, снимал пенсне и замештывал вытирая стекла. Мартын сидел на краешке кресла, держа свою черную квадратную шапку на коленях. «Ради Бога, снимите плащ, отложите куда-нибудь эту шапку,— болезненно морщаась, говорил Мун.— Неужели вам нравится мять эту кисточку? Отложите, отложите...» Он подталкивал к Мартыну стеклянную папироносницу с гербом колледжа на серебряной крышке или вынимал из шкапа в стене бутылку виски, сифон, два стакана. «А вот скажите, как называются тамошние телеги, в которых развозят виноград? — спрашивал он, дергая головой, и, выяснив, что Мартын не знает: — Можары, можары, сэр», — говорил он со смаком,— и неизвестно, что доставляло ему больше удовольствия, то ли, что он знает Крым лучше Мартына, или то, что ему удается произнести с русским эхающим выговором словечко «сэр». Он радостно сообщал, что «хулиган» происходит от названия шайки ирландских разбойников, а что остров Голодай не от голода, а от имени англичанина Холидея, построившего там завод. Когда однажды Мартын, говоря о каком-то невежественном журналисте (которому Мун ответил грозным письмом в «Таймс»), сказал, что «журналист, вероятно, сдрейфил», Мун поднял брови, справился в словаре и спросил Мартына, не живал ли он в Поволжье,— а когда, по другому случаю, Мартын употребил слово «угробить», Мун рассердился и крикнул, что такого слова по-русски нет и быть не может. «Я его слышал, его знают все»,— робко проговорил Мартын, и его поддержала Соня, которая сидела на кушетке рядом с Ольгой Павловной и смотрела не без любопытства, как Мартын хозяйничает. «Русское словообразование, рождение новых слов,— сказал Мун, обернувшись вдруг к улыбающемуся Дарвину,— кончилось вместе с Россией, то есть два года тому назад. Все последующее — блатная музыка». «Я по-русски не понимаю, переведите»,— ответил Дарвин. «Да, мы все время сбиваемся,— сказала Зиланова.— Это нехорошо. Пожалуйста, господа, по-английски». Мартын меж тем приподнял металлический купол с горячими гренков и пирожков (которые слуга принес из колледжской кантини), проверил, то ли доставили, и при-двинул блюдо поближе к пылающему камину. Кроме Дарвина и Муна, он пригласил русского студента, которого все называли просто по имени — Вадим,— и теперь не знал, ждать ли его или приступить к чаепитию. Это был первый раз, что Зиланова с дочерью приехала навестить его, и он все боялся насмешки со стороны Сони. Она была в темно-синем костюме и в крепких коричневых башмачках, длинный язычок которых, пройдя внутри, под шнурковкой, откидывался и, прикрывая шнурковку сверху, заканчивался кожаной бахромой; стриженые, жестковатые на вид черные волосы ровной челкой находили на лоб; к ее тусклово-темным, слегка раскосым глазам странно шли ямки на бледных щеках. Утром, когда Мартын встретил ее и Ольгу Павловну

на вокзале, и потом, когда он показывал им старинные дворы, фонтан, аллеи исполнинских голых деревьев, из которых с карканьем тяжело и неряшливо вымахивали вороны, Соня была молчалива, чем-то недовольна, говорила, что ей холодно. Глядя через каменные перила на рябую речку, на матово-зеленые берега и серые башни, она прищурилась и осведомилась у Мартына, собирается ли он ехать к Юденичу. Мартын удивленно ответил, что нет. «А вон то, розоватое, что это такое?» «Это здание библиотеки», — объяснил Мартын и спустя несколько минут, идя рядом с Соней и ее матерью под аркадами, загадочно проговорил: «Одни бывают за призрак прошлого, другие — за призрак будущего». «Вот именно,— подхватила Ольга Павловна.— Мне мешает по-настоящему воспринимать Кембридж то, что наряду с этими чудными старыми зданиями масса автомобилей, велосипедов, спортивные магазины, всякие футболы». «В футбол,— сказала Соня,— играли и во времена Шекспира. А мне вот не нравится, что говорят пошлости». «Соня, пожалуйста, сократись», — сказала Ольга Павловна. «Ах, я не про тебя», — ответила Соня со вздохом. Дальше шли молча. «Кажется, забыли», — проговорил Мартын, вытянув руку. «Вы бы еще сказали пан Дождинский или князь Ливен», — заметила Соня и на ходу переменила шаг, чтоб идти в ногу с матерью. Потом, за завтраком в лучшем городском ресторане, она повеселела. Ее рассмешили «обезьяньи фамилии» приятеля Мартына и диалоги, которые Дарвин вел с необыкновенно уютным старицком-лакеем. «Вы что изучаете?» — любезно спросила Ольга Павловна. «Я? Ничего,— ответил Дарвин.— Мне просто показалось, что в этой рыбке на одну косточку больше, чем следует». — «Нет-нет, я спрашиваю, что вы изучаете из наук. Какие слушаете лекции?». — «Простите, я вас не понял,— сказал Дарвин.— Но все равно ваш вопрос застает меня врасплох. Память у меня как-то не дотягивает от одной лекции до другой. Еще нынче утром я спрашивал себя, каким предметом я занимаюсь. Мнемоникой? Вряд ли». После обеда была опять прогулка, но куда более приятная, так как, во-первых, вышло солнце, а во-вторых, Дарвин всех повел в галерею, где имелось, по его словам, странное, замечательно прыткое эхо, — топнешь, а оно, как мяч, стукнет в отдаленную стену. И Дарвин топнул, но никакого эха не выскоцило, и он сказал, что, очевидно, его купил какой-нибудь американец для своего дома в Массачусетсе. Затем притекли к Мартыну в комнату, и вскоре явился Арчибалд Мун, и Соня тихо спросила у Дарвина, почему у профессора напурен нос. Мун плавно заговорил, щеголяя чудесными сочными пословицами. Мартын находил, что Соня ведет себя нехорошо. Она сидела с каменным лицом, но вдруг невпопад смеялась, встретясь глазами с Дарвином, который, закинув ногу на ногу, уминал пальцем табак в трубке. «Что же это Вадим не идет?» — беспокойно сказал Мартын и потрогал полный бочок чайника. «Ну, уж наливайте», — сказала Соня, и Мартын завозился с чашками. Все умолкли и смотрели на него. Мун курил смуглого-желтую папиросу из породы тех, которые в Англии зовутся русскими. «Часто пишет вам ваша матушка?» — спросила Зиланова. «Каждую неделю», — ответил Мартын. «Она, поди, скучает», — сказала Ольга Павловна и подудла на чай. «А лимона, я как посмотрю, у вас и нет», — тонко заметил Мун,

опять по-русски. Дарвин вполголоса попросил Соню перевести. Мун на него покосился и перешел на английскую речь: нарочито и злобно изображая средний кембриджский тон, он сказал, что был дождь, но теперь прояснилось, и, пожалуй, дождя больше не будет, упомянул о регате, обстоятельно рассказал всем известный анекдот о студенте, шкапе и кузине,— и Дарвин курил и кивал, приговаривая: «Очень хорошо, сэр, очень хорошо. Вот он, подлинный, трезвый британец в часы досуга».

XVIII

Раздался топот на лестнице, и, с размаху открыв дверь, вошел Вадим. Одновременно его велосипед, который он оставил в переулке, приладив опущенную педаль к краю панели, с дребезжанием упал,— этот звон все услышали, ибо второй этаж находился на пустяковой высоте. Руки у Вадима, маленькие, с обгрызанными ногтями, были красны от холода рулевых рогов. Лицо, покрытое необыкновенно нежным и ровным румянцем, выражало оторопелое смущение; он его скрывал, быстро дыша, словно запыхался, да потягивая носом, в котором всегда было сыро. Был он одет в мятые бледно-серые фланелевые штаны, в прекрасно сшитый коричневый пиджак и носил всегда, во всякую погоду и во всякое время, старые бальные туфли. Продолжая посапывать и растерянно улыбаться, он со всеми поздоровался и подсел к Дарвину, которого очень любил и почему-то прозвал «мамкой». У Вадима была одна постоянная прибаутка, которую он Дарвину с трудом перевел: «Приятно зреть, когда большой медведь ведет под ручку маленькую сучку»,— и на последних словах голос у него становился совсем тонким. Вообще же он говорил скоро, отрывисто, издавая при этом всякие добавочные звуки, шипел, трубил, пищал, как дитя, которому не хватает ни мыслей, ни слов, а молчать невмоготу. Когда же он бывал смущен, то становился еще отрывистее и нелепее, производя смешанное впечатление застенчивого тихони и чудачливого ребенка. Был он, впрочем, милый, привязчивый, привлекательный человек, падкий на смешное и способный живо чувствовать (однажды, гораздо позже, катаясь весенним вечером с Мартыном по реке, он, при случайном, смутном, почему-то миртовом дуновении — Бог весть откуда,— сказал: «пахнет Крымом», что было совершенно верно). Англичане к нему так и лнули, а его колледжский наставник, толстый астматический старик, специалист по моллюскам, с гортанной нежностью произносил его имя и снисходительно относился к его шалоцайству. Как-то, в темную ночь, Мартын и Дарвин помогли Вадиму снять с чела табачной лавки вывеску, которая с тех пор красовалась у него в комнате. Он добыл и полицейский шлем, простым и остроумным способом: за полкроны, блеснувшие при луне, попросил добродушного полицейского пособить ему перебраться через стену и, оказавшись наверху, нагнулся и сдернул с него шлем. Он же был зачинщиком в случае с огненной колесницей, когда, празднуя годовщину порохового заговора, весь город плевался потешными огнями

и на площади бушевал костер, а Вадим со товарищи запряглись в старое ландо, которое купили за два фунта, наполнили соломой и подожгли,— с этим ландо они мчались по улицам в метели огня и чуть не спалили ратушу. Кроме всего, он был отличным сквернословом,— одним из тех, которые привяжутся к рифмочке и повторяют ее без конца, любят уютные матюшки, ласкательную физиологию и обрывки каких-то анонимных стихов, приписываемых Лермонтову. Образованием он не был блестял, по-английски говорил очень смешно и симпатично, но едва понятно, и была у него одна страсть,— страсть к флоту, к миноносцам, к батальной стройности линейных кораблей, и он мог часами играть в солдатики, паля горохом из серебряной пушки. Его прибаутки, бальные туфли, застенчивость и хулиганство, нежный профиль, обведенный на свету золотистым пушком,— все это, в сочетании с великолепием титула, действовало на Арчибальда Муна неотразимо, разыично, вроде шампанского с соленым миндалем, которым он некогда упивался,— одинокий бледный англичанин в запотевшем пенсне, слушающий московских цыган. Но сейчас, сидя у камина с чашкой в руке, Мун грыз маслом пропитанный гренок, и Ольга Павловна рассказывала ему о газете, которую собирается выпускать в Париже ее муж. Мартын же с тревогой думал, что напрасно позвал Вадима, который молчал, стесняясь Сони, и все щелкал исподтишка в Дарвина изюминками, заимствованными у кекса. Соня приумолкла тоже и задумчиво смотрела на пианолу. Дарвин с развалицем подошел к камину, выбил золу из трубы и, став спиной к огню, принял греться. «Мамка»,— тихо сказал Вадим и засмеялся. Ольга Павловна с жаром говорила о делах, которые Мун нимало не трогали. За окном потемнело, где-то далеко кричали мальчишки-газетчики: «Пайпа, пайпа!»

XIX

Затем провожали Зилановых на вокзал. Арчибалд Мун попрощался на первом же углу и, нежно улыбнувшись Вадиму (который за его спиной обычно звал его заборным словцом с дополнением «на колесиках»), удалился, держась очень прямо. Некоторое время Вадим тихо ехал вдоль самой панели, положив руку на плечо к Дарвину,шедшему рядом, а потом суетливо простился и быстро отъехал, производя губами звуки испорченного гудка. Пришли на вокзал, Дарвин взял себе и Мартыну перронные билеты. Соня была усталая, раздраженная и все время щурилась. «Ну, вот,— сказала Ольга Павловна.— Спасибо за гостеприимство, за угощение. Кланяйтесь матушке, когда будете писать».

Но Мартын поклона не передал,— такие вещи передаются редко. Вообще письма он писал с трудом: как рассказать, например, о сегодняшнем дне? Он намарал строк десять, воспроизвел анекдот о студенте, шкате и кузине, уверил мать, что совершенно здоров, хорошо питается и носит на теле фуфайку (что было неправдой). Ему вдруг представилось, как почтальон идет по снегу, снег похрустывает, остаются синие следы,— и он об этом написал так: «Письмо принесет почтальон.

У нас идет дождь». Подумавши, он почтальона вычеркнул и оставил только дождь. Адрес он выписал крупно и тщательно, в десятый раз вспомнив при этом то, что ему сказал знакомый студент: «Судя по фамилье, я полагал, что вы американец». Он пожалел, что всякий раз забывал это втиснуть в письмо, неизменно уже запечатанное,— вскрывать же было лень. В углу конверта он нечаянно поставил кляксу и долго смотрел на нее сквозь ресницы, и наконец сделал из нее черную кошку, видимую со спины. Софья Дмитриевна этот конверт сохранила вместе с письмами. Она складывала их в пачку, когда кончался биместр, и обвязывала накрест ленточкой. Спустя несколько лет ей довелось их перечесть. Первый биместр был сравнительно богат письмами. Вот Мартын приехал в Кембридж, вот — первое упоминание о Дарвине, Вадиме, Арчибальде Муне, вот — письмо от девятого ноября, дня его именин: «В этот день,— писал Мартын,— гусь ступает на лед, а лиса меняет нору». А вот и письмо с вычеркнутой, но четкой строкой: «Письмо принесет почтальон»,— и Софья Дмитриевна пронзительно вспомнила, как, бывало, она с Генрихом идет по искрящейся дороге, между елок, отягощенных пирогами снега, и вдруг — густой звон бубенцов, почтовые сани, письмо,— и спешно снимаешь перчатки, чтобы вскрыть конверт. Она вспомнила, как в ту пору, и затем в продолжение почти года, безумно боялась, что Мартын, ничего ей не сказав, отправится воевать. Ее немного утешало, что там, в Кембридже, есть какой-то человек-ангел, который влияет на Мартына умиротворительно — прекрасный, здравомыслящий Арчибалд Мун. Но Мартын все-таки мог удрать. Полный покой она знала только тогда, когда сын бывал при ней, в Швейцарии, на каникулах. Письма, которые она спустя годы так мучительно перечитывала, были, несмотря на их вещественность, более призрачного свойства, нежели перерывы между ними. Эти перерывы память заполняли живым присутствием Мартына,— тут Рождество, там Пасха, а там уже — лето,— и в продолжение трех лет, до окончания Мартыном университета, ее жизнь шла как бы окнами,— да, помнится, помнится,— окнами. Вот — этот первый зимний праздник, лыжи, по ее совету купленные Генрихом, Мартын, надевающий лыжи... «Надо быть храброй,— тихо сказала самой себе Софья Дмитриевна,— надо быть храброй. Ведь бывают чудеса. Надо только верить и ждать. Если Генрих опять появится с этой черной повязкой на рукаве, я от него просто уйду». И дрожащими руками, улыбаясь и обливаясь слезами, она продолжала разворачивать письма.

То первое рождественское возвращение, которое его мать запомнила так живо, оказалось и для Мартына праздником. Ему мерещилось, что он вернулся в Россию,— было все так бело,— но, стесняясь своей чувствительности, он об этом матери тогда не поведал, чем лишил ее еще одного нестерпимого воспоминания. Лыжи ему понравились; на мгновение всплыл занесенный снегом Крестовский остров, но, правда, он тогда вставлял носки валенок в простые пульца, да еще держался за поводок, привязанный ко вздернутым концам легких детских лыж. Эти же были настоящие, солидные, из гибкого ясеня, и сапоги тоже были настоящие, лыжные. Мартын, склонив одно

колено, натянул запяточный ремень, отогнув тугой рычажок боковой пряжки. Морозный металл ужалил пальцы. Приладив и другую лыжу, он поднял со снегу перчатки, выпрямился, потопал, проверяя, прочно ли, и размашисто скользнул вперед.

Да, он опять попал в Россию. Вот эти великолепные ковры — из пушкинского стиха, который столь звучно читает Арчибалд Мун, упиваясь пеонами. Над отяжелевшими елками небо было чисто и ярко-лазурно. Иногда от перелета сойки срывался с ветки ком снегу и рассыпался в воздухе. Пройдя сквозь бор, Мартын вышел на открытое место, откуда летом спускался к гостинице. Вон она — далеко внизу, прямой розовый дымок стоит над крышей. Чем она манит так, эта гостиница, отчего надо опять стремиться туда, где летом он нашел только несколько крикливых угловатых англичаночек? Но манила она несомненно, подавала тихий знак, солнце вспыхивало в окнах. Мартына даже пугала эта таинственная навязчивость, эта непонятная требовательность, бывшая у какой-нибудь подробности пейзажа. Надо спуститься,— нельзя пренебрегать такими послами. Крепкий наст сладко засвистел под лыжами, Мартын несся по скату все быстрее, — и сколько раз потом, во сне, в студеной кембриджской комнате, он вот так несся и вдруг, в оглушительном взрыве снега, падал и просыпался. Все было как всегда. Из соседней комнаты доносилось тиканье часов. Мышка каталась кусок сахара. По панели прошли чьи-то шаги и пропали. Он поворачивался на другой бок и мгновенно засыпал, — и утром, в полусне, слышал уже другие звуки: в соседней комнате возилась госпожа Ньюман, что-то переставляла, накладывала уголь, чиркала спичками, шуршала бумагой и потом уходила, а тишина медленно и сладко наливалась утренним гудом затопленного камина. «Ничего там особенного не оказалось,— подумал Мартын и потянулся к ночному столику за папиросами.— Все больше пожилые мужчины в свитерах: вот какие бывают обманы. А сегодня суббота, покатим в Лондон. Что это Дарвину все письма от Сони? Надо бы из него выдавать. Хорошо бы сегодня пропустить лекцию Гржезинского. Вот идет стерва будить».

Госпожа Ньюман принесла чай. Была она старая, рыжая, с лисьими глазками. «Вы вчера вечером выходили без плаща,— проговорила она равнодушно.— Мне об этом придется доложить вашему наставнику». Она отдернула шторы, дала короткий, но точный отзыв о погоде и скользнула прочь.

Надев халат, Мартын спустился по скрипучей лестнице и постучался к Дарвину. Дарвин, уже побритый и вымытый, ел яичницу с беконом. Толстый учебник Маршала по политической экономии лежал, раскрытый, около тарелки. «Сегодня опять было письмо?» — строго спросил Мартын. «От моего портного», — ответил Дарвин, вкусно жуя. «У Сони неважный почерк», — заметил Мартын. «Отвратительный», — согласился Дарвин, хлебнув кофе. Мартын подошел сзади и, обеими руками взяв Дарвина за шею, стал давить. Шея была толстая и крепкая. «А бекон прошел», — произнес Дарвин самодовольно натуженным голосом.

Вечером оба покатили в Лондон. Дарвин ночевал в одной из тех очаровательных двухкомнатных квартир для холостяков, которые сдаются при клубах,— а клуб Дарвина был одним из лучших и степеннейших в Лондоне, с тучными кожаными креслами, с лоснистыми журналами на столах, с глухонемыми коврами. Мартын же досталась на этот раз одна из верхних спален в квартире Зилановых, так как Нелли была в Ревеле, а ее муж шел на Петербург. Когда Мартын прибыл, никого не оказалось дома, кроме самого Зиланова, Михаила Платоновича, который писал у себя в кабинете. Был он коренастый крепыш, с татарскими чертами лица и с такими же темно-тусклыми глазами, как у Сони. Он всегда носил круглые пристяжные манжеты и манишку; манишка топорщилась, придавая его груди нечто голубиное. Принадлежал он к числу тех русских людей, которые, проснувшись, первым делом натягивают штаны с болтающимися подтяжками, моют по утрам только лицо, шею да руки,— но зато отменно,— а еженедельную ванну рассматривают как событие, сопряженное с некоторым риском. На своем веку он немало покатался, страстно занимался общественностью, мыслил жизнь в виде чередования съездов в различных городах, чудом спасся от советской смерти и всегда ходил с разбухшим портфелем; когда же кто-нибудь задумчиво говорил: «Как мне быть с этими книжками? — дождь», — он молча, молниеносно и чрезвычайно ловко пеленал книжки в газетный лист, а, порывшись в портфеле, вынимал и веревочку, мгновенно крестнакрест захватывал ею ладный пакет, на который незадачливый знакомый, переминаясь с ноги на ногу, смотрел с суеверным умилением. «Нате», — говорил Зиланов и, поспешно простившись, уезжал — в Орел, в Кострому, в Париж,— и всегда налегке, с тремя чистыми носовыми платками в портфеле, и, сидя в вагоне, совершенно слепой к живописным местам, мимо которых, с доверчивым старанием потрафить, несся курьерский поезд, углублялся в чтение брошюры, изредка делая пометки на полях. Дивясь его невнимательности к пейзажам, к удобствам, к чистоте, Мартын вместе с тем уважал Зиланова за его какую-то прущую суховатую смелость и всякий раз, когда видел его, почему-то вспоминал, что этот, по внешности малоспортивный человек, играющий, вероятно, только на бильярде да еще, пожалуй, в рюхи, спасся от большевиков по водосточной трубе и когда-то дрался на дуэли с октябрьистом Тучковым.

«А, здравствуйте,— сказал Зиланов и протянул смуглую руку.— Присаживайтесь». Мартын сел. Михаил Платонович впился опять в полуисписанный лист, взялся за перо и,— потрепетав им по воздуху над самой бумагой, прежде чем претворить эту дрожь в быстрый бег письма,— одновременно дал перу волю и сказал: «Они, вероятно, сейчас вернутся». Мартын притянул к себе с соседнего стула газету,— она оказалась русской, издаваемой в Париже. «Как занятия?» — спросил Зиланов, не поднимая глаз с ровно бегущего пера. «Ничего, хорошо», — сказал Мартын и отложил газету. «А давно они ушли?»

Михаил Платонович ничего не ответил,— перо разгулялось во всю. Зато минуты через две он опять заговорил, все еще не глядя на Мартына. «Баклуши бьете. Там ведь главное — спорт». Мартын усмехнулся. Михаил Платонович быстро потопал по строкам пресс-бюваром и сказал: «Софья Дмитриевна все просит у меня дополнительных сведений, но я ничего больше не знаю. Все, что я знал, я ей тогда написал в Крым». Мартын кашлянул. «Что вы?» — спросил Зиланов, усвоивший в Москве это дурное речение. «Я ничего», — ответил Мартын. «Это о смерти вашего отца, конечно», — сказал Зиланов и посмотрел тусклыми глазами на Мартына.— Ведь это я известил вас тогда». «Да-да, я знаю», — поспешно закивал Мартын, всегда чувствовавший неловкость, когда чужие — с самыми лучшими намерениями — говорили ему об его отце. «Как сейчас, помню последнюю встречу, — продолжал Зиланов.— Мы столкнулись на улице. Я тогда уже скривился. Сперва не хотел подойти. Но у Сергея Робертовича был такой потрясающий вид. Помню, он очень беспокоился, как вы там живете, в Крыму. А через денька три забегаю к нему, и нате вам —несут гроб». Мартын кивал, мучительно ища способ переменить разговор. Все это Михаил Платонович рассказывал ему в третий раз, и рассказ был, в общем, довольно бледный. Зиланов замолчал, перевернул лист, его перо подрожало и тронулось. Мартын, от нечего делать, опять потянулся к газете, но тут щелкнула парадная дверь, раздались в прихожей голоса, шарканье, ужасный кудахтающий смех Ирины.

XXI

Мартын вышел к ним, и, как обычно при встрече с Соней, мгновенно почувствовал, что потемнел воздух вокруг него. Так было и в ее последний приезд в Кембридж (вместе с Михаилом Платоновичем, который мучил Мартына вопросами, сколько лет различным колледжам и сколько книг в библиотеке,— меж тем как Соня и Дарвин о чем-то тихо смеялись), так было и сейчас: странное отупение. Его голубой галстук, острые концы мягкого отложного воротничка, двубортный костюм,— все было как будто в порядке, однако Мартыну под непроницаемым взглядом Сони показалось, что одет он дурно, что волосы торчат на макушке, что плечи у него как у ломового извозчика, а лицо — глупо своей круглостью. Отвратительны были и крупные костяшки рук, которые за последнее время покраснели и распухли — от голкиперства, от боксовой учебы. Прочное ощущение счастья, как-то связанное с силой в плечах, со свежей гладкостью щек или недавно запломбированным зубом, распадалось в присутствии Сони мгновенно. И особенно глупым казалось ему то, что, собственно говоря, брови у него кончаются на полпути, густоваты только у переносицы, а дальше, по направлению к вискам, удивленно редеют.

Сели ужинать. Елена Павловна, такая же сырья женщина, как ее сестра, но еще реже улыбавшаяся, привычно и незаметно следила за тем, чтобы Ирина пристойно ела, не слишком ложилась на стол и не лизала ножа. Михаил Платонович явился чуть попозже, быстро и энергично заложил угол салфетки за воротник и, слегка привстав, цапнул

через весь стол булочку, которую мгновенно разрезал и смазал маслом. Его жена читала письмо из Ревеля и, не отрываясь от чтения, говорила Мартыну: «Кушайте, пожалуйста». Слева от него корячилась большеротая Ирина, чесала под мышкой и мычала, объясняясь в любви холодной баранине; справа же сидела Соня: ее манера брать соль на кончик ножа, стриженые черные волосы с жестким лоском и ямка на бледной щеке чем-то несказанно его раздражали. После ужина позвонил по телефону Дарвин, предложил поехать танцевать, и Соня, поломавшись, согласилась. Мартын пошел переодеваться и уже натягивал шелковые носки, когда Соня сказала ему через дверь, что устала и никуда не поедет. Через полчаса приехал Дарвин, очень веселый, большой и нарядный, в цилиндре набекрень, с билетами на дорогой бал в кармане, и Мартын сообщил ему, что Соня раскисла и легла,— и Дарвин, выпив чашку остывшего чаю, почти естественно зевнул и сказал, что в этом мире все к лучшему. Мартын знал, что он приехал в Лондон с единственной целью повидать Соню, и, когда Дарвин, настыивая, в ненужном цилиндре и крылатке, стал удаляться по пустой темной улице, Мартыну сделалось очень обидно за него, и, тихо прикрыв входную дверь, он поплелся наверх спать. В коридоре выскочила к нему Соня, одетая в кимоно и совсем низенькая, оттого что была вочных туфлях. «Ушел?» — спросила она. «Большое свинство», — вполголоса заметил Мартын, не останавливаясь. «Могли бы его задержать, — сказала она вдогонку и скороговоркой добавила: — А вот я возьму и позвоню ему и поеду плясать, вот что». Мартын ничего не ответил, захлопнул дверь, яростно вычистил зубы, раскрыл постель, словно хотел из нее кого-то выкинуть, и, поворотом пальцев прикончив свет лампы, накрылся с головой. Но и сквозь одеяло он услышал спустя некоторое время поспешные шаги Сони по коридору, стук ее двери, — не может быть, чтоб она действительно ходила вниз телефонировать, — однако он прислушался, и снова было затишье, и вдруг опять зазвучали ее шаги, и уже звук был другой, — легкий, даже воздушный. Мартын не выдержал, высунулся в коридор и увидел, как Соня вприскокку спускается вниз по лестнице, в бальном платье цвета фламинго, с пущистым веером в руке и с чем-то блестящим вокруг черных волос. Дверь ее комнаты осталась открытой, света она не потушила, и там еще стояло облачко пудры, как дымок после выстрела, лежал наповал убитый чулок, и выпадали на ковер разноцветные внутренности шапки.

Вместо радости за друга Мартын почувствовал живейшую досаду. Все было тихо. Только из спальни Зилановых исходил томительный храп. «Черт ее побери», — пробормотал он и некоторое время рассуждал сам с собой, не отправиться ли ему тоже на бал, — ведь было три билета. Он увидел себя взлетающим по мягким ступеням, в смокинге, в шелковой рубашке с набористой грудью, как носили франты в тот год, в легких лаковых туфлях с плоскими бантами; вот — из раскрывшихся дверей пахнуло огнем музыки. Упругий и нежный нажим мягкой женской ноги, которая все поддается и все продолжает касаться тебя, душистые волосы у самых губ, щека, оставляющая на шелковом лацкане налет пудры, — все это извечное, нежное, банальное волновало

Мартына чрезвычайно. Он любил танцевать с незнакомой дамой, любил пустой, целомудренный разговор, сквозь который прислушиваешься к тому чудному, невнятному, что происходит в тебе и в ней, что будет длиться еще два-три такта и, ничем не разрешившись, пропадет навеки, забудется совершенно. Но, пока слияние еще не растворгнуто, намечается схема возможной любви, и в знатке тут уже есть все,— внезапное затишье в полутемной комнате, человек, дрожащей рукой прилаживающий к пепельнице только что закуренную, мешающую папиросу; медленно, как в кинематографе, закрывающиеся женские глаза; и блаженный сумрак; и в нем — точка света, блестящий дорожный лимузин, быстро несущийся сквозь дождливую ночь; и вдруг — белая терраса и солнечная рябь моря,— и Мартын, тихо говорящий увезенной им женщине: «Имя? Как твое имя?» На ее светлом платье играют лиственые тени, она встает, уходит; и крупье с хищным лицом загребает лопаткой последнюю ставку Мартына, и остается только засунуть руки в пустые карманы смокинга, да медленно спуститься в сад, да наняться поутру портовым грузчиком,— и вот — она снова... на борту чужой яхты... сияет, смеется, бросает монеты в воду...

«Странная вещь,— сказал Дарвин, выходя как-то вместе с Мартыном из маленького кембриджского кинематографа,— странная вещь: ведь все это плохо, и вульгарно, и не очень вероятно,— а все-таки чем-то волнуют эти ветреные виды, роковая дама на яхте, оборванный мужлан, глотающий слезы...»

«Хорошо путешествовать,— проговорил Мартын.— Я хотел бы много путешествовать».

Этот обрывок разговора, случайно уцелевший от одного апрельского вечера, припомнился Мартыну, когда, в начале летних каникул, уже в Швейцарии, он получил письмо от Дарвина с Тенериффы. Тенериффа — Боже мой! — какое дивное зеленое слово! Дело было утром; сильно подурневшая и как-то распухшая Мария стояла в углу на коленях и выжимала половую тряпку в ведро; над горами, цепляясь за вершины, плыли большие белые облака, и порою несколько дымных волокон спускалось по дальнему скату, и там, на этих скатах, все время менялся свет,— приливы и отливы солнца. Мартын вышел в сад, где дядя Генрих в чудовищной соломенной шляпе разговаривал с деревенским аббатом. Когда аббат, маленький человек в очках, которые он все поправлял большим и пятым пальцем левой руки, низко поклонился и, шурша черной рясой, прошел вдоль сияющей белой стены и сел в таратайку, запряженную толстой, розовой лошадью, сплошь в мелкой горчице, Мартын сказал: «Тут прекрасно, я обожаю эти места, но почему бы мне — ну хотя бы на месяц — не поехать куда-нибудь,— на Канарские острова, например?»

«Безумие, безумие,— ответил дядя Генрих с испугом, и его усы слегка затопорчились.— Твоя мать, которая так тебя ждала, которая так счастлива, что ты остаешься с ней до октября,— и вдруг — ты уезжаешь...»

«Мы бы могли все вместе»,— сказал Мартын.

«Безумие,— повторил дядя Генрих.— Потом, когда ты кончишь учиться, я не возражаю. Я всегда считал, что молодой человек должен

видеть мир. Помни, что твоя мать только теперь оправляется от потрясений. Нет, нет, нет».

Мартын пожал плечами и, засунув руки в карманы коротких штанов, побрел по тропинке, ведущей к водопаду. Он знал, что мать ждет его там, у грота, полуузавешенного еловой хвоей,— так было условлено,— она выходила гулять очень рано и, не желая будить Мартына, оставляла для него записку: «У грота, в десять часов» или «У ключа, по дороге в Сен-Клер»; но, хотя он знал, что она ждет, Мартын вдруг переменил направление и, покинув тропу, пошел по ве-реску вверх.

XXII

Склон становился все круче, пекло солнце, мухи норовили сесть на губы и глаза. Дойдя до круглой березовой рощицы, он отдохнул, выкурил папиросу, туже подтянул завороченные под коленями чулки и, жуя березовый листок, стал подниматься дальше. Вереск был хрустящий и скользкий; иногда колючий кустик утесника цеплялся за ногу. Спереди, наверху, сверкало нагромождение скал, и между ними пролегал желоб, верная трещина, полная мелких камушков, которые пришли в движение, как только он на них ступил. Этим путем нельзя было добраться до вершины, и Мартын пошел лезть прямо по скалам. Иногда корни или моховые лапки, за которые он хватался, отрывались от скалы, и он лихорадочно искал под ногой опоры, или же, наоборот, что-то поддавалось под ногами, он повисал на руках, и приходилось мучительно подтягиваться вверх. Он уже почти достиг вершины, когда вдруг поскользнулся и начал съезжать, цепляясь за кустики жестких цветов, не удержался, почувствовал жгучую боль оттого, что коленом поскреб по скале, попытался обнять скользящую вверх крутизну, и вдруг что-то спасительное толкнуло его под подошвы. Он оказался на выступе скалы, на каменном карнизе, который справа суживался и сливался со скалой, а с левой стороны тянулся саженей на пять, заворачивал за угол, и что с ним было дальше — неизвестно. Карниз напоминал бутафорию кошмаров. Мартын стоял, плотно прижавшись к отвесной скале, по которой грудью проехался, и не смел отлепиться. С натугой посмотрев через плечо, он увидел чудовищный обрыв, сияющую, солнечную пропасть и в глубине панику отставших елок, бегом догоняющих спустившийся бор, а еще ниже — крутые бугры и крохотную, ярко-белую гостиницу. «Ах, вот ее назначение,— суеверно подумал Мартын.— Сорвусь, погибну, вот она и смотрит. Это... Это...» Однаково ужасно было смотреть туда, в пропасть, и наверх, на отвесную скалу. Полка, шириной с книжную, под ногами и бугристое место на скале, куда вцепились пальцы, было все, что оставалось Мартыну от прочного мира, к которому он привык.

Он почувствовал слабость, мутность, тошноту, страх,— но вместе с тем странно-отчетливо видел себя как бы со стороны, в открытой фланелевой рубашке и коротких штанах, неуклюже прильнувшим к скале, отмечал чертополошник, приставшую к чулку, и совсем черную бабочку, которая с завидной небрежностью пропорхнула тихим чертенком и стала подниматься вдоль скалы,— и хотя никого не было кру-

гом, перед кем стояло бы пофорсить, Мартын стал насвистывать и, дав себе слово никак не отвечать на приглашения пропасти, принял медленно переставлять ноги, подвигаясь влево. Ах, если бы видеть, куда заворачивает карниз! Скала как будто надвигалась на него, оттесняла в бездну, нетерпеливо дышавшую ему в спину. Ногти впивались в камень, камень был горяч, синели пучки цветов, неполной восьмеркой пробегала ящерица и застыла, мухи лезли в глаза. Иногда приходилось останавливаться, и он слышал, как самому себе жалуется,— не могу больше, не могу,— и тогда, поймав себя на этом, он начинал издавать губами зачаточный мотив — фокстрот или марсельезу,— после чего облизывался и, опять жалуясь, продолжал продвигаться вбок. Оставалось полсажени до заворота, когда что-то посыпалось из-под подошвы, и, вцепившись в скалу, он невольно повернул голову, и в солнечной пустоте медленно закружилось белое пятнышко гостиницы. Мартын закрыл глаза и замер, но, справившись с тошнотой, опять задвигался. У поворота он быстро сказал: «Пожалуйста, прошу тебя, пожалуйста»,— и просьба его была тотчас уважена: за поворотом полка расширялась, переходила в площадку, а там уже был знакомый желоб и вересковый скат.

Там он отдыхался, ощущая во всем теле ломоту и дрожь. Ногти были темно-красные, словно он рвал клубнику, и горело ободранное колено. Опасность, которую он только что пережил, казалась ему куда действительнее той, на которую он напоролся в Крыму. Теперь он испытывал гордость, но эта гордость вдруг утратила всякий вкус, когда Мартын спросил себя, мог ли бы он снова, уже по собственному почину, проделать то, что он проделал случайно. Через несколько дней он не выдержал, опять поднялся по вересковым кручам, но, добравшись до площадки, откуда начинался карниз, не решился на негоступить. Он сердился, науськивал себя, изdevался над своей трусостью, воображал Дарвина, глядящего на него с усмешкой... постоял, постоял, да махнул рукой, да пошел назад, стараясь не обращать внимания на грубияна, буйствовавшего у него в душе. Вновь и вновь, до самого конца каникул, врывался тот и боянил, и Мартын решил, наконец, больше не подниматься в те места, чтобы не мучиться видом каменной полки, по которой не смеет пройти. И с язвительным чувством недовольства собой он в октябре вернулся в Англию и прямо с вокзала поехал к Зилановым. Горничная, которая ему открыла, оказалась новой, и это было неприятно, словно он попал к чужим. В гостиной, вся в черном, стояла Соня и поглаживала виски, а потом, резко и прямо, по привычке своей, протянула ему руку. Мартын с удивлением подумал, что ни разу не вспомнил ее за лето, ни разу ей не написал, а что все-таки,— вот ради этой неловкости, которую он чувствует, глядя на ее хмурое, бледное лицо,— стоит проделать немалый путь. «Вы, вероятно, не знаете о нашем несчастье»,— сказала Соня и как-то сердито рассказала, что на прошлой неделе, в один и тот же день, пришло известие, что Нелли умерла от родов в Бриндизи, а муж ее убит в Крыму. «Ах, он поехал от Юденича к Брангелю»,— беспомощно сказал Мартын и с редкой ясностью представил себе этого Неллинного мужа, которого видел всего раз, и самое Нелли, казавшуюся ему

тогда скучной, пресной, а теперь почему-то умершой в Бриндизи. «Мама в ужасном состоянии», — сказала Соня, перелистывая страницы книги, которая валялась на диване. «А папа Бог знает где побывал, чуть ли не в Киеве», — добавила она погодя и, захватив первым пальцем несколько страниц, быстро их процидила. Мартын сел в кресло, потирая руки. Соня захлопнула книгу и сказала, подняв лицо: «Дарвин был идеален, идеален. Он страшно нам помог. Такой трогательный, и так все без лишних слов. Вы у нас ночуете?» — «Собственно говоря, — ответил Мартын, — я бы мог и нынче поехать в Кембридж. Наверно, вам неудобно, и так далее». — «Да нет, ерунда какая», — сказала Соня со вздохом. Внизу раздался глухой звон гонга, и это не вязалось с тем, что в доме траур. Мартын пошел мыть руки, и, открыв дверь уборной, столкнулся с Михаилом Платоновичем, у которого не в обычae было запираться на ключ. Он посмотрел на Мартына тусклым взглядом, неторопливо вжимая пуговку в петлю. «Примите мое глубокое соболезнование», — пробормотал Мартын и почему-то щелкнул каблуками. Зиланов прикрыл глаза в знак признательности, пожал Мартыну руку, и то, что все это происходит на пороге уборной, подчеркивало нелепость рукопожатия и готовых слов. Зиланов, подрыгивая ногами, словно утряхивая что-то, медленно удалился; Мартын увидел в зеркало свой болезненно сморщеный нос. «Но я же должен был что-нибудь сказать», — проговорил он сквозь зубы.

Обед прошел молчаливо, если не считать шумное присасывание, с которым Михаил Платонович ел суп. Ирина с матерью была в загородной санатории, а Ольга Павловна к обеду не вышла, так что сидели втроем. Позвонил телефон, и Зиланов, жуя на ходу, проворно ушел в кабинет. «Я знаю, вы баранину не любите», — тихо сказала Соня, — и Мартын молча улыбнулся, чуть-чуть приглушая улыбку. «Зайдет Иоголевич, — сказал Михаил Платонович, вновь садясь за стол. — Он только что из Питера. Дай горчицу. Говорят, что перешел границу в саване». «На снегу незаметнее», — через минуту выговорил Мартын, чтобы поддержать беседу, но беседы не вышло.

XXIII

Иоголевич оказался толстым, бородатым человеком в сером вязаном жилете и в потрепанном черном костюме, с перхотью на плечах. Торчали ушки черных ботинок на лястиках, а сквозь неподтянутые носки брезжили завязки подштанников; его полная невнимательность к вещам, к ручке кресла, по которой он похлопывал, к толстой книжке, на которую он сел и которую без улыбки вынул из-под себя и, не посмотрев на нее, отложил, — все это указывало на его тайное родство с самим Зилановым. Кивая большой, кудреватой головой, он только кратко поцокал языком, узнав о горе Зилановых, и затем, с места в карьер, мазнув ладонью сверху вниз по грубо скроенному лицу, пустился в повествование. Было очевидно, что единственное, чего он полон, единственное, что занимает его и волнует, — это беда России, и Мартын с содроганием представлял себе, что было бы, если б взять да перебить его бурную, напряженную речь анекдотом о

студенте и кузине. Соня сидела поодаль, оперев локти на колени, а лицо на ладони. Зиланов слушал, положив палец вдоль носа, и изредка говорил, снимая палец: «Простите, Александр Наумович, но вот вы упомянули...» Иоголевич на мгновение останавливался, моргал и затем продолжал говорить, и его лепное лицо замечательно играло, беспрестанно меняя выражение,— играли косматые брови, ноздри грушевобразного носа, складки волосатых щек, между тем как руки его, с черной шерстью на тыльной стороне, ни одной секунды не оставались в покое, что-то поднимали, подбрасывали, схватывали опять, расшивали во все стороны, и жарко, с раскатами, он говорил о казнях, о голоде, о петербургской пустыне, о людской злобе, скудоумии и пошлости. Ушел он за полночь, и уже с порога вдруг обернулся и спросил, сколько стоят в Лондоне галоши. Когда закрылась за ним дверь, Зиланов остался некоторое время стоять в раздумье и, погода, ушел наверх, к жене. Через три минуты раздался звонок: Иоголевич вернулся; оказалось, что он не знает, как дойти до станции подземной дороги. Мартын взялся его проводить и, шагая рядом с ним, мучительно придумывал тему для разговора. «Напомните вашему отцу,— я совсем забыл передать,— что Максимов просит поскорее его статью о добровольческих впечатлениях,— вдруг сказал Иоголевич,— он знает, в чем дело,— вы только передайте, Максимов уже вашему отцу писал». «Непременно»,— ответил Мартын, хотел что-то добавить, но осекся.

Он не спеша вернулся в дом,— представляя себе то Иоголевича, в белом балахоне, переходящим границу, то Зиланова с портфелем на какой-то разрушенной станции, под украинскими звездами. Все было тихо в доме, когда он поднимался по лестнице. Раздеваясь, он позевывал и чувствовал странную тоску. Ярко горела лампочка на ночном столике, пухло белела широкая постель, халат, вынутый горничной из портпледа, отливал синим шелком, уютно растянувшись на кресле. Вдруг Мартын с досадой заметил, что забыл захватить с собой книгу, которую облюбовал в гостиной, тогда же мельком решив взять ее с собою в постель. Он накинул халат и спустился во второй этаж. Книга была потрепанным томом Чехова. Он нашел ее — почему-то на полу — и вернулся к себе в спальню. Но тоска не прошла, хотя Мартын был из тех людей, для которых хорошая книжка перед сном — драгоценное блаженство. Такой человек, вспомнив случайно днем, среди обычных своих дел, что на ночном столике, в полной сохранности, ждет книга,— чувствует прилив неизъяснимого счастья. Мартын начал читать, выбрав рассказ, который он знал, любил, мог перечесть сто раз подряд,— «Дама с собачкой». Ах, как она хорошо потеряла лорнетку в толпе, на ялтинском молу! И внезапно, без всякой как будто причины, он понял, что именно так беспокоит его. В этой светлой комнате спала год назад Нелли, а теперь ее нет.

«Какие пустяки»,— сказал Мартын и попробовал продолжать чтение, но это оказалось невозможным. Он вспомнил давно минувшие ночи, когда ждал, что покойный отец царапнет в углу. У Мартына сильно забилось сердце; в постели стало жарко и неудобно. Он представил себе, как сам будет когда-нибудь умирать,— и было такое ощущение, словно медленно и неумолимо опускается потолок. Что-то мелко

застучало в теневой части комнаты,— и у Мартына екнуло в груди. Но это просто закапала на линолеум вода, пролитая на доску умывальника. А ведь странно: если бродят души покойников, то все хорошо, есть, значит, загробные движения души,— почему же это так страшно? «Как же я сам буду умирать?» — подумал Мартын и начал перебирать в уме все разновидности смерти. Он увидел себя стоящим у стенки, вобравшим в грудь побольше воздуха, и ожидающим залпа, и вспоминающим с дикой безнадежностью вот эту, вот эту нынешнюю минуту,— светлую спальню, пухлую ночь, беспечность, безопасность. Могли быть и болезни, ужасные болезни, разрывающие внутренности. Или крушение поезда. Или, наконец, тихое замирание старости, смерть во сне. А еще — темный лес и погоня. «Пустяки,— подумал Мартын.— У меня большой запас. Да и каждый год — целая эпоха. Что же тут тревожиться? А может быть, Нелли здесь и сейчас видит меня? Может быть, вот-вот — подаст мне знак?» Он посмотрел на часы, было около двух. Беспокойство становилось нестерпимым. Тишина как будто ждала,— дальний рожок автомобиля был бы счастьем. Тишина лилась, лилась — и вдруг перелилась через край: кто-то на цыпочках босиком шел по коридору. «Спите?» — раздался вопросительный шепот через дверь, и Мартын не сразу мог ответить, что-то заскочило в горле. Соня, войдя, тихо опустилась с пальцев на пятки. На ней была желтая пижама, жесткие черные волосы были слегка растрепаны. Так она постояла несколько мгновений, моргая спутанными ресницами. Мартын, присев на постели, глупо улыбался. «Нет никакой возможности спать,— таинственно проговорила Соня.— Мне неприятно, мне как-то жутко,— и потом эти ужасы, которые он рассказывал». «Отчего вы, Соня, босиком? — пробормотал Мартын.— Хотите мои ночные туфли?» Она покачала головой, задумчиво пучка губы, и затем опять тряхнула волосами и посмотрела неопределенно на Мартынову постель. «Хоп-хоп»,— сказал Мартын, похлопывая по одеялу в ногах постели. Она влезла и встала сперва на колени, а потом медленно задвигалась и свернулась в уголку, на одеяле, между изножьем постели и стеной. Мартын вытащил из-под себя подушку и подложил ей за спину. «Спасибо»,— сказала она совершенно беззвучно,— очертание слова можно было только угадать по движениям бледных мягких губ. «Вам удобно?» — нервно спросил Мартын, поджав колени, чтобы ей не мешать, а потом опять наклонился вперед и, взяв с кресла рядом халат, прикрыл ее босые ноги. «Дайте мне папиросу»,— попросила она погодя. Мартын дал. От Сони шло нежное тепло, и вокруг прелестной голой шеи была тонкая цепочка. Она затянулась и, щурясь, выпустила дым и отдала папиросу Мартыну. «Крепкая»,— сказала она с грустью. «Что вы делали летом?» — спросил Мартын, стараясь побороть что-то глухое, сумасшедшее, совершенно невозможное, от которого даже знобило. «Так. Ничего. Были в Брайтоне». Она вздохнула и добавила: «Летала на гидроплане». — «А я чуть не погиб,— сказал Мартын.— Да-да, чуть не погиб. Высоко в горах. Сорвался со скалы. Едва спасся». Соня смутно улыбнулась. «Знаете, Мартын, она всегда говорила, что самое главное в жизни — это исполнять свой долг и ни о чем прочем не думать. Это очень глубокая

мысль, правда?» — «Да, может быть,— ответил Мартын, неверной рукой суха недокуренную папиросу в пепельницу.— Может быть, но ведь иногда это скучновато». — «Ах, нет же, нет,— не просто дело, не работу или там службу, а такое, ну такое,— внутреннее». Она замолчала, и Мартын заметил, что она дрожит в легонькой своей пижаме. «Холодно?» — спросил он. «Да, кажется, холодно. И вот, это нужно исполнять, а у меня, например, ничего нет». — «Соня,— сказал Мартын,— может быть, вы?...» Он слегка отвернулся от нее, и она встала на коленки и медленно подвинулась к нему. «И мне кажется,— продолжала она, вползая под одеяло, которое он, ничего не слыша из того, что она говорит, неловко натянул на нее и на себя.— Мне вот кажется, что многие люди этого не знают, и от этого происходит...» Мартын глубоко вздохнул и обнял ее, прильнув губами к ее щеке. Соня схватила его за кисть, приподнялась и мгновенно выкатилась из постели. «Боже мой,— сказала она,— Боже мой!» И ее темные глаза заблескали слезами, и в одно мгновение все лицо стало мокро, длинные светлые полосы поползли по щекам. «Ну, что вы, не надо, я просто, ну, я не знаю, ах, Соня», — бормотал Мартын, не смея ее тронуть и теряясь от мысли, что она может вдруг закричать и поднять на ноги весь дом. «Как вы не понимаете,— сказала она протяжно,— как вы не понимаете... Ведь я же вот так приходила к Нелли, и мы говорили, говорили до света...» Она повернулась и, плача, вышла из комнаты. Мартын, сидя в спутанных простынях, беспомощно ухмылялся. Она прикрыла за собой дверь, но снова ее отворила, просунула голову. «Дурак», — сказала она совершенно спокойно и деловито, после чего засеменила прочь по коридору.

Мартын некоторое время глядел на белую дверь. Когда он потушил свет и попробовал уснуть, последнее оказалось как будто невозможно. Он стал размышлять о том, что, как только забрезжит утро, нужно будет одеться, сложить вещи и тихо уйти из дома прямо на вокзал, — к сожалению, он на этих мыслях и уснул, — а проснулся в четверть десятого. «Может быть, это все был сон?» — сказал он про себя с некоторой надеждой, но тут же покачал головой и, в приливе мучительного стыда, подумал, как это он теперь встретится с Соней. Утро выдалось неудачное: он опять некстати влетел в ванную комнату, где Зиланов, широко расставив короткие ноги в черных штанах, наклонив корпус в плотной фланелевой фуфайке, мыл над раковиной лицо, до скрипа растирал щеки и лоб, фыркал под бьющей струей, прижал пальцем то одну ноздрю, то другую, яростно высмаркиваясь и плюясь. «Пожалуйста, пожалуйста, я кончил», — сказал он, и, ослепленный водой, роняя брызги, как крыльшки держа руки, понесся к себе в комнату, где предпочитал хранить полотенце.

Затем, спускаясь вниз, в столовую, пить цикуту, Мартын встретился с Ольгой Павловной: лицо у нее было ужасное, лиловатое, все распухшее, — и он страшно смущился, не смея ей сказать готовых слов соболезнования, а других не зная. Она обняла его, почему-то поцеловала в лоб, — и, безнадежно махнув рукой, удалилась, и там, в глубине коридора, муж ей что-то сказал о каких-то бумагах, с совер-

шенно неожиданной надтреснутой нежностью в голосе, на которую он казался вовсе не способен. Соню же Мартын встретил в столовой,— и первое, что она ему сказал, было: «Я вас прощаю, потому что все швейцарцы кретины,— кретин — швейцарское слово,— запишите это». Мартын собирался ей объяснить, что он ничего не хотел дурного,— и это было в общем правдой,— хотел только лежать с ней рядом и целовать ее в щеку,— но Соня выглядела такой сердитой и унылой в своем черном платье, что он почел за лучшее смолчать. «Папа сегодня уезжает в Бриндизи,— слава Богу, дали, наконец, визу»,— проговорила она, недоброжелательно глядя на плохо сдержанную жадность, с которой Мартын, всегда как волк голодный по утрам, пожирал глазунью. Мартын подумал, что нечего тут засиживаться, день будет все равно нелепый, проводы и так далее. «Звонил Дарвин»,— сказала Соня.

XXIV

Дарвин явился с комедийной точностью,— сразу после этих слов, будто ждал за кулисами. Лицо у него было, от морского солнца, как ростбиф, и одет он был в замечательный, бледный костюм. Соня поздоровалась с ним — слишком томно, как показалось Мартыну. Мартын же был сквачен, огret по плечу, по бокам и несколько раз спрошен, почему он не позвонил. Вообще говоря, обычно ленивый Дарвин проявил в этот день какую-то невиданную энергию, на вокзале взял у носильщика чужой сундук и понес на затылке, а в пульмановском вагоне, на попутни между Ливерпуль-стрит и Кембриджем, посмотрел на часы, подозвал кондуктора, подал ему ассигнацию и торжественно потянул рукоятку тормоза. Поезд застонал от боли и остановился, а Дарвин, с довольной улыбкой, всем объяснил, что ровно двадцать четыре года тому назад он появился на свет. Через день в одной из газет побойчее была об этом заметка под жирным заголовком: «Молодой автор в день своего рождения останавливает поезд»; сам же Дарвин сидел у своего университетского наставника и гипнотизировал его подробным рассказом о торговле пиявками, о том, как их разводят и какие сорта лучше.

Та же была стужа в спальне, те же переклички курантов и тот же вваливался Вадим, с тою же на устах рифмованной азбукой, построенной на двустишиях, каждое из коих начиналось веским утверждением: «Японцы любят хаакири» или «Филипп Испанский был пройдоха»,— а кончалась строкой на ту же букву, не менее дидактической, но гораздо более непристойной. А вот Арчибалд Мун был как будто и тот же и другой: Мартын никак не мог восстановить прежнее очарование. Мун при встрече сказал, что выработал за лето новых шестнадцать страниц своей Истории России, целых шестнадцать страниц, потому так много, объяснил он, что весь долгий летний день уходил на работу,— и при этом он сделал пальцами движение, обозначавшее перелив и пластичность каждой им выношенной фразы, и в этом движении Мартыну показалось что-то крайне развратное, а слушать густую речь Муна было как жевать толстый, тягучий ракат-лукум,

запудренный сахаром. И впервые Мартын почувствовал нечто для себя оскорбительное в том, что Мун относится к России как к мертвому предмету роскоши. Когда он в этом сознался Дарвину, тот с улыбкой кивнул и сказал, что Мун таков оттого, что предан уранизму. Мартын стал внимательнее,— и, после того как однажды Мун, ни с того ни с сего, дрожащими пальцами погладил его по волосам, он перестал его посещать и тихо спускался через окно по трубе в переулок, когда одинокий, томящийся Мун стучался в дверь его комнаты. На лекции Муна он все же продолжал ходить, но, изучая отечественных писателей, старался вытравить из слуха интонации Муна, которые преследовали его, особенно в ритме стихов. И Муну он стал предпочитать другого профессора,— Стивенса, благообразного старика, который преподавал Россию честно, тяжело, обстоятельно, а говорил по-русски с задыхающимся лаем, часто вставляя сербские и польские слова. Все же не так скоро Мартыну удалось окончательно отряхнуть Арчибалда Муна. Порою он невольно любовался мастерством его лекций, но тотчас же, почти воочию, видел, как Мун уносит к себе саркофаг с мумией России. В конце концов Мартын от него совсем отделялся, взяв кое-что, но претворив это в собственность, и уже в полной чистоте зазвучали русские музы. А Муна иногда видели на улице в сопровождении прекрасного пухлявого юноши, с зачесанными назад бледными, пышными волосами, который играл женщин в шекспировских спектаклях, причем Мун сидел в первом ряду, весь разомлевший, а потом шикал с другими на Дарвина, который, откинувшись в кресле, притворялся, что не в силах сдержать восторг, и неуместно разражался канонадой рукоплесканий.

Но и с Дарвином были у Мартына свои счеты. Дарвин иногда один отлучался в Лондон, и Мартын, в воскресную ночь, до трех часов утра, до полного оскуднения кокса, сидел у камина, из которого дуло, как из могилы, и настойчиво, яростно, словно нажимая на больной зуб, представлял себе Соню и Дарвина вдвоем в темном автомобиле. Однажды он не выдержал и покатил в Лондон на вечер, на который не был зван, и ходил по залам, полагая, что выглядит очень бледным и строгим, но вдруг некстати уловил в зеркале свое круглое розовое лицо с шишкой на лбу, напомнившей ему, как он накануне вырывал футбольный мяч из-под мчавшихся ног. И вот — явились: Соня, одетая цыганкой и как будто забывшая, что едва четыре месяца минуло со смерти сестры, и Дарвин, одетый англичанином из континентальных романов,— костюм в крупную клетку, тропический шлем с платком сзади для защиты затылка от солнца Помпей, бэдекер под мышкой и ярко-рыжие баки. Была музыка, был серпантин, была метель конфетти, и на одно упоительное мгновение Мартын почувствовал себя участником тонкой маскарадной драмы. Музыка прекратилась,— и когда, несмотря на явное желание Дарвина остаться с Соней наедине, Мартын влез в тот же таксомотор, он заметил вдруг в темноте автомобиля, прорезанной случайным отблеском, что Дарвин как будто держит Сонину руку в своей, и мучительно принял себя уверять, что это просто игра света и тени. И невероятно было тяжко, когда Соня приезжала в Кембридж: Мартыну все казалось, что он лишний, что

хотят от него отделаться. И потом было опять лето в Швейцарии, отмеченное победой над одним из лучших швейцарских теннисистов,— но что было Соне до его успехов в боксе, теннисе, футболе,— и иногда Мартын представлял себе в живописной мечте, как возвращается к Соне после боев в Крыму, и вот с громом проскакивало слово: кавалерия... — марш-марш,— и свист ветра, комочки черной грязи в лицо, атака, атака,— така-так подков, анапест полного карьера. Но теперь было поздно, бои в Крыму давно кончились, давно прошло время, когда Неллин муж летел на вражеский пулемет, близился, близился и вдруг ненароком проскочил за черту, в еще звеневшую отзвуком земной жизни область, где нет ни пулеметов, ни конных атак. «Спохватился, нечего сказать»,— мрачно журил себя Мартын и вновь, и вновь, с нестерпимым сознанием чего-то упущеного, воображал Георгиевскую ленточку, легкую рану в левое плечо,— непременно в левое,— и Соню, встречающую его на вокзале Виктории. Его раздражала нежная улыбка матери при словах, которыми она как-то обмолвилась: «Видишь, это было все зря, зря, и ты бы зря погиб. Неллин муж — другое дело,— настоящий боевой офицер,— такие не могут жить без войны,— и умер он, как хотел умереть,— а эти мальчики, которых так и косит...» Иностранцам, впрочем, она с жаром говорила о необходимости продления военной борьбы,— особенно теперь, когда все прекратилось и уже не было ничего такого, что могло бы сына залучить. И когда она, несколько лет спустя, вспомнила это свое облегчение и спокойствие, Софья Дмитриевна вслух застонала,— ведь можно же было уберечь его, не отказаться так просто от верных предчувствий, быть наблюдательной, быть всегда начеку,— и кто знает, быть может, лучше б было, если б он и впрямь пошел воевать, ну, был бы ранен, ну, заболел бы тифом, и хотя бы этой ценой раз навсегда отдался от мальчишеской тяги к опасности,— но зачем такие мысли, зачем предаваться унынию? Больше бодрости, больше веры,— пропадают же люди без вести и все-таки возвращаются,— ходит, например, слух, что схватили на границе и расстреляли, как шпиона,— а глядь — человек жив и вот уже посмеивается и басит в прихожей,— и если Генрих опять —²

XXV

В то каникульное лето не одна только эта мимолетная довольная улыбка матери вызвала у Мартына досаду,— гораздо неприятнее было кое-что другое. Он заметил во всем странную перемену, точно все кругом таит дыхание, передвигается на цыпочках. Дядя Генрих почему-то теперь звал Софью Дмитриевну не Софи, как прежде, а *chère amie*, и она тоже говорила ему иногда «мой друг». В нем появилась новая мягкость, разнеженность, голос сталтише, движения — осторожнее, и теперь уже достаточно было похвалить суп или жаркое, чтобы увлажнились его глаза. Культ памяти Мартынова отца приобрел оттенок нестерпимой мистики,— Софья Дмитриевна глубже, чем

² Так заканчивает главу XXIV автор. (Прим. ред.)

когда-либо, чувствовала свою вину перед покойным, а дядя Генрих как будто намечал для нее трудный, но верный путь искупления, говорил о том, как счастлив Сержев дух видеть ее в доме у кузена, и однажды даже вынул пилочку и начал с такой приятной грустью шмыгать ее по ногтям,— но тут Софья Дмитриевна не выдержала и глухо засмеялась, и совершенно неожиданно смех перешел в истерический припадок, и Мартын второпях так сильно пустил струю из крана на кухне, что облил себе белые штаны.

Нередко ему приходилось видеть, как мать, устало опираясь на руку Генриха, гуляет по саду или как она приносит Генриху на ночь пахучего липового чайку для прояснения желудка,— и все это было тягостно, неловко, странно. Перед его отъездом в Кембридж Софья Дмитриевна, по-видимому, захотела что-то ему сообщить, но ей было так же неловко, как и ему, она смешалась и всего только и сказала, что, может быть, скоро напишет ему о важном событии, и действительно, Мартын зимой получил письмо, но не от нее, а от дяди, который на шести страницах, плавным почерком, в душепреполненных и высоких выражениях, уведомлял его, что венчается с Софьей Дмитриевной,— очень скромно, в сельской церкви,— и только дойдя до постскриптума, Мартын понял, что свадьба уже состоялась, и мысленно поблагодарил мать за то, что она приурочила к его отсутствию тяжкое это торжество. Вместе с тем он спрашивал себя, как же теперь с нею встретится, о чем будет говорить, удастся ли ему простить ей измену. Ибо, как ни верти, это была, несомненно, измена по отношению к памяти отца,— а тут еще угнетала мысль, что отчимом является пухлоусый и недалекий дядя Генрих, и, когда Мартын на Рождество приехал, мать принялась его обнимать и плакать, словно забыв, в угоду Генриху, обычную сдержанность, и просто некуда было деваться от торжественного покашливания отчима и его добрых растроганных глаз.

Вообще, в этот последний университетский год Мартын то и дело чувял кознодействие неких сил, упорно старающихся ему доказать, что жизнь вовсе не такая легкая, счастливая штука, какой он ее мнит. Существование Сони, постоянное внимание, которого оно вчуже требовало от его души, мучительные ее приезды, издевательский тон, который у них завелся,— все это было крайне изнурительно. Несчастная любовь, однако, не мешала ему волочиться за всякой миловидной женщиной и холодеть от счастья, когда, например, Роза, богиня кондитерской, соглашалась на поездку вдвоем в автомобиле. В этой кондитерской, очень привлекавшей студентов, пирожные были всех цветов, ярко-красные в пупырках крема, будто мухоморы, лиловые, как фиалковое мыло, и глянцевито-черные, негритянские, с белой душой. Нажирались ими до отвала, так как все хотелось добраться до чего-нибудь вкусного, поглощался один сорт за другим, пока не слипались кишки. Роза, смуглого-румянная, с бархатными щеками и влажным взором, в черном платье и субреточном передничке, чрезвычайно быстро ходила по зальцу, ловко разминаясь с несущейся ей навстречу другой прислужницей. Мартын сразу обратил внимание на ее толстопальную, красную руку, которую несколько не украшала яркая звездочка дешевого перстня, и мудро решил на ее руки больше никогда не глядеть,

а сосредоточиться на длинных ресницах, которые она так хорошо опускала, когда записывала счет. Как-то, попивая жирный, сладкий шоколад, он передал ей цедулку и встретился с ней вечером под дождем, а в субботу нанял потрепанный лимузин и провел с нею ночь в старинной харчевне, верстах в пятидесяти от Кембриджа. Его несколько потрясло, но и польстило ему, что, по ее словам, это первый ее роман,— ее любовь оказалась бурной, неловкой, деревенской, и Мартын, представлявший ее себе легкомысленной и опытной сиреной, был так озадачен, что обратился за советом к Дарвину. «Вышибут из университета»,— спокойно сказал Дарвин. «Глупости»,— возразил Мартын, сдвинув брови. Когда же, недели через три, Роза, ставя перед ним чашку шоколада, сообщила ему быстрым шепотом, что беременна, он почувствовал, словно тот метеорит, который обыкновенно падает в пустыню Гоби, прямо угодил в него.

«Поздравляю»,— сказал Дарвин; после чего очень искусно принял ся ему рисовать судьбу грешницы с брюхом. «А тебя тоже вышибут,— добавил он.— Это факт». «Никто не узнает, я все уложу»,— растерянно проговорил Мартын. «Безнадежно»,— ответил Дарвин.

Мартын вдруг рассердился и вышел, хлопнув дверью. Выбежав в переулок, он едва не грохнулся, так как Дарвин очень удачно пустил ему в голову из окна большой подушкой, а дойдя до угла и обернувшись, он увидел, как Дарвин с трубкой в зубах вышел, поднял, отряхнул подушку и вернулся в дом. «Жестокий скот»,— пробормотал Мартын и направился прямо в кондитерскую. Там было полно. Роза, смуглорумяная, с блестящими глазами, мелькала между столиками, семенила с подносом или, нежно слюня карандашик, писала счет. Он тоже написал кое-что на листке из блокнота, а именно: «Прошу вас выйти за меня замуж. Мартын Эдельвейс»,— и листок сунул ей в ужасную руку; затем вышел, с час ходил по улицам, вернулся домой, лег на кушетку и так пролежал до вечера.

XXVI

Вечером к нему вошел Дарвин, великолепно скинув плащ и, подсев к камину, сразу начал кочергой подбадривать угольки. Мартын лежал и молчал, полный жалости к себе, и воображал вновь и вновь, как он с Розой выходит из церкви, и она — в белых лайковых перчатках, с трудом налезших. «Соня приезжает завтра одна,— беззаботно сказал Дарвин.— У ее матери инфлюэнца, сильная инфлюэнца». Мартын промолчал, но с мгновенным волнением подумал о завтрашнем футбольном состязании. «Но как ты будешь играть,— сказал Дарвин, словно в ответ на его мысли,— это, конечно, вопрос». Мартын продолжал молчать. «Вероятно, плохо,— заговорил снова Дарвин.— Требуется присутствие духа, а ты — в адском состоянии. Я, знаешь, только что побеседовал с этой женщиной».

Тишина. Над городом засигнали башенные куранты.

«Поэтическая натура, склонная к фантазии,— спустя минуту, продолжал Дарвин.— Она столь же беременна, как, например, я. Хочешь

держать со мною пари ровно на пять фунтов, что скручу кочергу в вензель?» (Мартын лежал, как мертвый) «Твое молчание,— сказал Дарвин,— я принимаю за согласие. Посмотрим».

Он покряхтел, покряхтел... «Нет, сегодня не могу. Деньги твои. Я заплатил как раз пять фунтов за твою дурацкую записку. Мы — квиты,— все в порядке».

«Но если,— сказал Дарвин,— ты когда-нибудь пойдешь опять в эту скверную и дорогую кондитерскую, то знай: ты из университета вылетишь. Эта особа может зачать от простого рукопожатия,— помни это».

Дарвин встал и потянулся. «Ты не очень разговорчив, друг мой. Признаюсь, ты и эта гетера мне как-то испортили завтрашний день».

Он вышел, тихо закрыв за собою дверь, и Мартын подумал зараз три вещи: что страшно голоден, что такого второго друга не сыскать и что этот друг будет завтра делать предложение. В эту минуту он радостно и горячо желал, чтобы Соня согласилась, но эта минута прошла, и уже на другое утро, при встрече с Соней на вокзале, он почувствовал знакомую, унылую ревность (единственным, довольно жалким преимуществом перед Дарвином был недавний, вином запитый переход с Соней на «ты»; в Англии второе лицо, вместе с луконосцами, вымерло; все же Дарвин выпил тоже на брудершафт и весь вечер обращался к ней на архаическом наречии).

«Здравствуй, цветок»,— небрежно сказала она Мартыну, намекая на его ботаническую фамилию, и сразу, отвернувшись, стала рассказывать Дарвину о вещах, которые могли бы также быть и Мартыну интересны.

«Да что же в ней привлекательного? — в тысячный раз думал он.— Ну, ямочки, ну, бледность... Этого мало. И глаза у нее неважные, дикарские, и зубы неправильные. И губы какие-то быстрые, мокрые, вот бы их остановить, залепить поцелуем. И она думает, что похожа на англичанку в этом синем костюме и бескаблучных башмаках. Да она же, господа, совсем низенькая!» Кто были эти «господа», Мартын не знал; выносить свой суд было бы им мудрено, ибо, как только Мартын доводил себя до равнодушия к Соне, он вдруг замечал, какая у нее изящная спина, как она повернула голову, и ее раскосые глаза скользили по нему быстрым холодком, и в ее торопливом говоре проходил подземной струей смех, увлажняя снизу слова, и вдруг проворно вырывался наружу, и она подчеркивала значение слов, тряся туго спленутым зонтиком, который держала не за ручку, а за шелковое утолщение. И, уныло плетясь,— то следом за ними, то сбоку, по мостовой (идти по панели рядом было невозможно из-за упругого воздуха, окружавшего дородство Дарвина, и мелкого, неверного, всегда виляющего Сониного шага),— Мартын размышлял о том, что, если сложить все те случайные часы, которые он с ней провел — здесь и в Лондоне,— вышло бы не больше полутора месяцев постоянного общения, а знаком он с нею, слава Богу, уже два года с лишком,— и вот уже третья — последняя — кембриджская зима на исходе, и он, право, не может сказать, что она за человек, и любит ли она Дарвина, и что она подумала бы, расскажи ей Дарвин вчерашнюю историю,

и сказала ли она кому-нибудь про ту беспокойную, чем-то теперь восхитительную, уже совсем нестыдную ночь, когда ее, дрожащую, босую, в желтенькой пижаме, вынесла волна тишины и бережно положила к нему на одеяло.

Пришли. Соня вымыла руки у Дарвина в спальне и, подув на пуховку, напудрилась. Стол к завтраку был накрыт на пятерых. Пригласили, конечно, Вадима, но Арчибальд Мун давно выбыл из круга друзей, и было даже как-то странно вспоминать, что он почитался некогда желанным гостем. Пятым был некрасивый, но очень легко построенный и чуть эксцентрично одетый блондин, с носом пуговкой и с теми прекрасными, удлиненными руками, которыми иной романист наделяет людей артистических. Он, однако, не был ни поэтом, ни художником, а все то легкое, тонкое, порхающее, что привлекало в нем, равно как и его знание французского и итальянского и несколько не английские, но очень нарядные манеры, Кембридж объяснял тем, что его отец был флорентийского происхождения. Тэдди, добрейший, легчайший Тэдди, исповедовал католицизм, любил Альпы и лыжи, прекрасно греб, играл в настоящий, стариный теннис, в который игравали короли, и, хотя умел очень нежно обходиться с дамами, был до смешного чист и только гораздо позже прислал как-то Мартыну письмо из Парижа с таким извещением: «Я вчера завел себе девку. Вполне чистоплотную», — и, сквозь нарочитую грубость, было что-то грустное и нервное в этой строке, — Мартын вспомнил его неожиданные припадки меланхолии и самобичевания, его любовь к Леопарди и снегу и то, как он со злобой разбил ни в чем не повинную этрусскую вазу, когда с недостаточным блеском выдержал экзамен.

«Приятно зреть, когда большой медведь ведет под ручку...»

И Соня докончила за Вадима, который уже давно ее не стеснялся: «...маленькую сучку», — а Тэдди, склонив голову набок, спросил, что такое: «Маэкасючику», — и все смеялись, и никто не хотел ему объяснить, и он так и обращался к Соне: «Можно вам положить еще горошку, маэкасючику?» Когда же Мартын впоследствии объяснил ему, что это значит, он со стоном схватился за виски и рухнул в кресло.

«Ты волнуешься, волнуешься?» — спросил Вадим.

«Ерунда, — ответил Мартын. — Но я нынче дурно спал и, пожалуй, буду мазать. У них есть трое с интернациональным стажем, а у нас только двое таких».

«Ненавижу футбол», — сказал с чувством Тэдди. Дарвин его поддержал. Оба были итонцы, а в Итоне своя особая игра в мяч, заменяющая футбол.

XXVII

Меж тем Мартын действительно волновался, и немало. Он играл голкипером в первой команде своего колледжа, и, после многих схваток, колледж вышел в финал и сегодня встречался с колледжем святого Иоанна на первенство Кембриджа. Мартын гордился тем, что он, иностранец, попал в такую команду и, за блестящую игру, произведен в звание колледжского «голубого», — может носить, вместо пиджака, чудесную голубую куртку. С приятным удивлением он

вспоминал, как, бывало, в России, калачиком свернувшись в мягкой выемке ночи, предаваясь мечтанию, уводившему незаметно в сон, он видел себя изумительным футбольистом. Стоило прикрыть глаза и вообразить футбольное поле или, скажем, длинные, коричневые, гармониками соединенные вагоны экспресса, которым он сам управляет, и постепенно душа улавливала ритм, блаженно успокаивалась, как бы очищалась и, гладкая, умащенная, соскальзывала в забытье. Был это иногда не поезд, пущенный вовсю, скользящий между ярко-желтых березовых лесов и далее, через иностранные города, по мостам над улицами, и затем на юг, сквозь внезапно светающие туннели, и пологим берегом вдоль ослепительного моря,— это был иногда самолет, гоночный автомобиль, тобоган, в вихре снега берущий кругой поворот, или просто тропинка, по которой бежишь, бежишь,— и Мартын, вспоминая, подмечал некую особенность своей жизни: свойство мечты незаметно оседать и переходить в действительность, как прежде она переходила в сон: это ему казалось залогом того, что и нынешние его ночные мечты,— отайной, беззаконной экспедиции,— вдруг окрепнут, наполнятся жизнью, как окрепла и оделась плотью грэза о футбольных состязаниях, которой он, бывало, так длительно, так искусно наслаждался, когда, боясь дойти слишком спешно до сладостной сути, останавливался подробно на приготовлениях к игре: вот натягивает чулки с цветными отворотами, вот надевает черные трусики, вот завязывает шнурки крепких буц.

Он крякнул и разогнулся. Перед камином было тепло переодеваться,— это чуть сбавляло дрожь волнения. На белый, с треугольным вырезом, свитер тесно налезла голубая куртка. Как уже потрепались голкиперские перчатки... Ну вот,— готов. Кругом валялись его вещи, он все это подобрал и понес в спальню. По сравнению с теплом шерстяного свитера, его голоколенным ногам в просторных, легких трусах было удивительно прохладно. «Уф! — произнес он, входя в комнату Дарвина.— Я, кажется, быстрее переоделся». «Пошли»,— сказала Соня и встала с дивана. Тэдди посмотрел на нее с мольбой. «Прошу тысячу раз прощения,— взмолился он,— меня ждут, меня ждут».

Он ушел. Ушел и Вадим, обещав прикатить на поле попозже. «Может быть, это и действительно не так уж интересно,— сказала Соня, обращаясь к Дарвину.— Может быть, не стоит?» «О, нет, непременно»,— с улыбкой ответил Дарвин и потрепал Мартына по плечу. Они пошли втроем по улице, Мартын заметил, что Соня совершенно не смотрит на него, меж тем он впервые показывался ей в футбольном наряде. «Прибавим шагу,— сказал он.— Мы еще опоздаем». «Не беда»,— проговорила Соня и стала перед витриной. «Ладно, я пойду вперед»,— сказал Мартын и, твердо стуча резиновыми шипами буц, свернулся в переулок и зашагал по направлению к полю.

Народу навалило уйма,— благо, и день выдался отличный, с бледно-голубым зимним небом и бодрым воздухом. Мартын прошел в павильон, и там уже все были в сборе, и Армстронг, капитан команды, долговязый человек с подстриженными усами, застенчиво улыбнувшись, в сотый раз заметил Мартыну, что тот напрасно не носит наколенников.

Погодя, все одиннадцать человек гуськом выбежали из павильона, и Мартын разом воспринял то, что так любил: острый запах сырватого дерна, упругость его под ногой, тысячу людей на скамейках, черную проплешину в дерне у ворот и гулкий звук, — это покрикивала противная команда. Судья принес и положил на самый пуп поля (обведенный меловой чертой) новенький, светло-желтый мяч. Игроки встали по местам, раздался свисток. И вдруг волнение Мартына совершенно исчезло, и, спокойно прислонившись к штанге своих ворот, он поглядел по сторонам, пытаясь найти Дарвина и Соню. Игра повелась далеко, в том конце поля, и можно было наслаждаться холодом, матовой зеленью, говором людей, стоявших тотчас за сеткой ворот, и гордым чувством, что отроческая мечта сбылась, что вот рыжий, главарь противников, так восхитительно точно принимающий и передающий мяч, недавно играл против Шотландии и что среди толпы есть кое-кто, для кого стоит постараться. В детские годы сон обычно наступал как раз в эти минуты начала игры, ибо Мартын так увлекался подробностями предисловия, что до главного не успевал дойти и забывался. Так он длил наслаждение, откладывая на другую, менее солнную, ночь самую игру, — быструю, яркую, — вот топот ног близится, вот уже слышно храпящее дыхание бегущих, вот выбился рыжий и несется, вздрагивая коком, и вот — от удара его баснословного носка мяч со свистом низко метнулся в уголок ворот, — голкипер, упав, как подкошенный, успел задержать эту молнию, и вот уже мяч в его руках, и, увилив от противников, Мартын всей силою ляжки и икры послал мяч звучной параболой вдаль, под раскат рукоплесканий. Во время короткого перерыва игроки валялись на траве, сося лимоны, и, когда затем стороны переменились воротами, Мартын с нового места опять высматривал Соню. Впрочем, нельзя было особенно глазеть, — игра сразу пошла жаркая, и ему все время приходилось делать стойку в ожидании атаки. Несколько раз он ловил, согнувшись вдвое, пушечное ядро, несколько раз взлетал, отражая его кулаком, и сохранил девственность своих ворот до конца игры, счастливо улыбнувшись, когда, за секунду до свистка, голкипер противников выронил скользкий мяч, который Армстронг тотчас и залепил в ворота.

Все кончилось, публика затопила поле, никак нельзя было найти Соню и Дарвина. Уже за трибуналами он нагнал Вадима, который в тесноте пеших тихо ехал на велосипеде, осторожно повиливая и дудя губами. «Давно драпу дали, — ответил он на вопрос Мартына, — сразу после хафтайма, и, знаешь, у мамки...» — тут следовало что-то смешное, чего, впрочем, Мартын не дослушал, так как, густо тарахтя, протиснулся один из игроков, Фильпот, на красной мотоциклетке и предложил его подвезти. Мартын сел сзади, и Фильпот нажал акселератор. «Вот и я напрасно удержал тот, последний, под самую перекладину, — она все равно не видела», — думал Мартын, морщась от пестрого ветра. Ему сделалось тяжело и горько, и, когда он на перекрестке слез и направился к себе, он с отвращением проживал вчерашний день, коварство Розы, и стало еще обиднее. «Вероятно, где-нибудь чай пьют», — пробормотал он, но на всякий случай заглянул в комнату Дарвина. На кушетке лежала Соня, и в то мгновение, как Мартын вошел,

она сделала быстрый жест, ловя в горсть пролетавшую моль. «А Дарвин?» — спросил Мартын. «Жив, пошел за пирожными», — ответила она, недоброжелательно следя глазами за непойманной, белесой точкой. «Вы напрасно не дождались конца, — проговорил Мартын и опустился в бездонное кресло. — Мы выиграли. Один на ноль». — «Тебе хорошо бы вымыться, — заметила она. — Посмотри на свои колени. Ужас. И наследил чем-то черненьким». — «Ладно. Дай отдохнуть». Он несколько раз глубоко вздохнул и, охая, встал. «Постой, — сказала Соня. — Это ты должен послушать, — просто уморительно. Он только что мне предложил руку и сердце. Вот я чувствовала, что это должно произойти: зрея, зрея и лопнуло». Она потянулась и томно взглянула на Мартына, который сидел, высоко подняв брови. «Умное у тебя лицо», — сказала она и, отвернувшись, продолжала: «Просто не понимаю, на что он рассчитывал. Милейший и все такое, — но ведь это дуб, английский дуб, — я бы через неделю померла бы с тоски. Вот она опять летает, голубушка». Мартын прочистил горло и сказал: «Я тебе не верю. Я знаю, что ты согласилась». — «С ума сошел! — крикнула Соня, подскочив на месте и хлопнув обеими ладонями по кушетке. — Ну как ты себе можешь это представить?» — «Дарвин — умный, тонкий, — вовсе не дуб», — напряженно сказал Мартын. Она опять хлопнула. «Но ведь это не настоящий человек, — как ты не понимаешь, балда! Ну, право же, это даже оскорбительно. Он не человек, а нарочно. Никакого нутра и масса юмора, — и это очень хорошо для бала, — но так, надолго, — от юмора на стенку полезешь». — «Он писатель, от него знатоки без ума», — тихо, с трудом, проговорил Мартын и подумал, что теперь его долг исполнен, довольно ее уговаривать, есть предел и благородству. «Да-да, вот именно, — только для знатоков. Очень мило, очень хорошо, но все так поверхностно, так благополучно, так...» Тут Мартын почувствовал, как, прорвав шлюзы, хлынула сияющая волна, он вспомнил, как превосходно играл только что, вспомнил, что с Розой все улажено, что вечером банкет в клубе, что он здоров, силен, что завтра, послезавтра и еще много, много дней — жизнь, битком набитая всяkim счастьем, и все это налетело сразу, закружило его, и он, рассмеявшись, схватил Соню в охапку, вместе с подушкой, за которую она уцепилась, и стал ее целовать в мокрые зубы, в глаза, в холодный нос, и она брыкалась, и ее черные, пахнущие фиалкой, волосы лезли ему в рот, и, наконец, он уронил ее с громким смехом на диван, и дверь открылась, показалась сперва нога, нагруженный свертками, вошел Дарвин, попытался ногой же дверь закрыть, но уронил бумажный мешок, из которого выссыпались меренги. «Мартын швыряется подушками, — жалобным, запыхавшимся голосом сказала Соня. — Подумаешь, — один: ноль, — нечего уж так беситься».

XXVIII

А на другой день и у Мартына и у Дарвина было с утра тридцать восемь подмышечной температуры, — ломота, сухость в горле, звон в ушах, — все признаки сильнейшей инфлюэнзы. И, как ни было приятно думать, что передачной инстанцией послужила, вероятно,

Соня,— оба чувствовали себя отвратительно, и Дарвин, который ни за что не хотел оставаться в постели, выглядел в своем цветистом халате тяжеловесом-боксером, красным и встрепанным после долгого боя, и Вадим, геройски презирая заразу, носил лекарства, а Мартын, накрывшись поверх одеяла пледом и зимним пальто, мало, впрочем, сбавляющими ознооб, лежал в постели с сердитым выражением на лице и во всяком узоре, во всяком соотношении между любыми предметами в комнате, тенями, пятнами видел человеческий профиль,— тут были кувшинные рыла, и бурбонские носы, и толстогубые негры,— неизвестно, почему лихорадка всегда так усердно занимается рисованием довольно плоских карикатур. Он засыпал,— и сразу танцевал фокстрот со скелетом, который во время танца начинал развинчиваться, терять кости, их следовало подхватить, попридержать, хотя бы до конца танца; а не то — начинался безобразный экзамен, вовсе не похожий на тот, который, спустя несколько месяцев, в мае, действительно пришлось Мартыну держать. Там, во сне, предлагались чудовищные задачи с большими железными иксами, завернутыми в вату, а тут, наяву, в просторном зале, косо пересеченном пыльным лучом, студенты-филологи в черных плащах отмахивали по три сочинения в час, и Мартын, посматривая на стенные часы, крупным, круглым своим почерком писал об опричниках, о Баратынском, о Петровских реформах, о Лорис-Меликове...

Кембриджское житье подходило к концу, и каким-то сияющим апофеозом показались последние дни, когда, в ожидании результатов экзаменов, можно было с утра до вечера валандаться, греться на солнце, томно плыть, лежа на подушках, вниз по реке, под величавым покровительством розовых каштанов. Весной Соня с семьей переселилась в Берлин, где Зиланов затеял еженедельную газету, и теперь Мартын, лежа навзничь под тихо проходившими ветвями, вспоминал последнюю свою поездку в Лондон. Дарвин поехал не пожелал, лениво попросил передать Соне привет и, помахав в воздухе пальцами, погрузился опять в книгу. Когда Мартын прибыл, в доме у Зилановых был тот печальный кавардак, который так ненавидят пожилые, домовитые собаки, толстые таксы, например. Горничная и вихрастый малый с папирской за ухом несли вниз по лестнице сундук. Заплаканная Ирина сидела в гостиной, кусая ногти и неизвестно о чем думая. В одной из спален разбили что-то стеклянное, и сразу в ответ зазвонил в кабинете телефон, но никто не подошел. В столовой покорно ждала тарелка, прикрытая другой, а что там была за пища — неизвестно. Откуда-то приехал Зиланов, в черном пальто, несмотря на теплынь, и как ни в чем не бывало сел в кабинете писать. Ему, кочевнику, было, вероятно, совершенно все равно, что через час надобно ехать на вокзал и что в углу торчит еще не заколоченный ящик с книгами,— так сидел он и ровно писал, на сквозняке, среди каких-то стружек и смятых газетных листов. Соня стояла посреди своей комнаты и, прижимая ладони к вискам, сердито переводила взгляд с большого пакета на уже вполне сытый чемодан. Мартын сидел на низком подоконнике и курил. Несколько раз входили то Ольга Павловна, то ее сестра, искали чего-то и, не найдя, уходили.

«Ты рада ехать в Берлин?» — уныло спросил Мартын, глядя на свою папиросу, на пепельный нарост, схожий с седой хвойей, в которой сквозит зловещий закат. «Без. Раз. Лично», — сказала Соня, прикидывая в уме, закроется ли чемодан. «Соня», — сказал Мартын через минуту. «А? Что?» — очнулась она и вдруг быстро завозилась, рассчитывая взять чемодан врасплох, натиском. «Соня, — сказал Мартын, — неужели...» Вошла Ольга Павловна, посмотрела в угол и, кому-то в коридоре отвечая отрицательно, торопливо ушла, не прикрыв дверь. «Неужели, — сказал Мартын, — мы больше никогда не увидимся?» — «Все под Богом ходим», — ответила Соня рассеянно. «Соня», — начал опять Мартын. Она посмотрела на него и не то поморщилась, не то улыбнулась. «Знаешь, он мне отоспал все письма, все фотографии, — все. Комик. Мог бы эти письма оставить. Я их полчаса рвала и спускала, теперь там испорчено». — «Ты с ним поступила дурно, — хмуро проговорил Мартын. — Нельзя было подавать надежду и потом отказать». — «Что за тон, что за тон! — с легким визгом крикнула Соня. — На что надежду? Как ты смеешь говорить о надежде? Ведь это пошлость, мерзость. Ах, вообще — отстань от меня! Лучше-ка сядь на этот чемодан», — добавила она нотой ниже. Мартын сел и напыжился. «Не закроется, — сказал он хрипло. — И я не знаю, почему ты приходишь в такой раж. Я просто хочу сказать». Тут что-то неохотно щелкнуло, и, не дав чемодану опомниться, Соня повернула в замке ключик. «Теперь все хорошо, — сказала она. — Поди сюда, Мартын. Поговорим по душам». В комнату заглянул Зиланов. «Где мама? — спросил он. — Я ведь просил оставить мой стол в покое. Теперь исчезла пепельница, там было две почтовые марки». Когда он ушел, Мартын взял Сонину руку в свои, сжал ее между ладонями, тяжко вздохнул. «Ты все-таки очень хороший, — сказала Соня. — Мы будем переписываться, и ты, может быть, когда-нибудь приедешь в Берлин, а не то — в России встретимся, будет очень весело». Мартын качал головой и чувствовал, как накипают слезы. Соня выдернула руку: «Ну, если хочешь кукситься, — сказала она недовольно, — пожалуйста, сколько угодно». «Ах, Соня», — проговорил он сокрушенно. «Да чего же ты от меня, собственно, хочешь? — спросила она, щурясь. — Скажи мне, пожалуйста, чего ты от меня хочешь?» Мартын, отвернув голову, пожал плечами.

«Слушай, — сказала она, — надо идти вниз, надо ехать, меня злит, что ты такой надутый. Неужели нельзя все просто?» «Ты в Берлине выйдешь замуж», — безнадежно пробормотал Мартын. Влетела горничная, забрала чемодан. За ней появилась Ольга Павловна, уже в шляпе. «Пора, пора, — сказала она. — Ты все здесь взяла, ничего не оставила? Это ужас, — обратилась она к Мартыну, — мы думали спокойно завтра ехать...» Она исчезла, но ее голос в коридоре некоторое время еще объяснял кому-то о неотложных делах мужа, и Мартыну стало так пронзительно, так невыразимо грустно от всей этой кутерьмы, безалаберности, что захотелось скорее же спровадить, сбыть Соню и вернуться в Кембридж, к ленивому солнцу.

Соня улыбнулась, взяла его за щеки и поцеловала в переносицу. «Не знаю, может быть», — прошептала она и, быстро вывернувшись из метнувшихся Мартыновых рук, подняла палец. «Тубо», — сказала она, 9.*

а потом сделала круглые глаза, так как снизу вдруг донеслись ужасные, невозможные, потрясшие весь дом рыдания. «Пойдем, пойдем,— засторопилась Соня.— Я не понимаю, почему этой бедняжке так не хочется отсюда уезжать. Перестань, черт возьми, оставь мою руку!»

Внизу у лестницы билась, рыдая, Ирина, цепляясь за балюстраду. Елена Павловна тихо ее уговаривала: «Ира, Ирочка»,— а Михаил Платонович, употребляя уже не раз испытанное средство, вынул платок, быстро сделал толстый узел с длинным ушком, надел платок на руку и, вертя ею, показал человечка в ночной рубашке и колпаке, уютно укладывавшегося спать.

На вокзале она расплакалась опять, но ужетише, безнадежнее. Мартын сунул ей коробку конфет, предназначеннуую, собственно говоря, Соне. Зиланов, как только уселся, развернул газету. Ольга и Елена Павловны считали глазами чемоданы. С грохотом стали захлопыватьсь дверцы; поезд тронулся. Соня высунулась в окно, облокотясь на спущенную раму, и Мартын несколько мгновений шел рядом с вагоном, а потом отстал, и уже сильно уменьшившаяся Соня послала ему воздушный поцелуй, и Мартын споткнулся о какой-то ящик.

«Ну вот — уехали»,— сказал он со вздохом и почувствовал облегчение. Он перебрался на другой вокзал, купил свежий номер юмористического журнала с носатым, кругогорбым Петрушкой на обложке, а когда все было высосано из журнала, засмотрелся на нежные луга, проплывавшие мимо. «Моя прелесть, моя прелесть»,— произнес он несколько раз и, глядя сквозь горячую слезу на зелень, вообразил, как, после многих приключений, попадет в Берлин, явится к Соне, будет, как Отелло, рассказывать, рассказывать... «Да, так дальше нельзя,— сказал он, пальцем потирая веко и напрягая надгубье,— нельзя, нельзя. Больше активности». Прикрыл глаза, удобно вдвинувшись в угол, он принялся готовиться к опасной экспедиции, изучал карту, никто не знал, что он собирается сделать, знал, пожалуй, только Дарвин, прощай, прощай, ни пуха ни пера, отходит поезд на север,— и на этих приготовлениях он заснул, как прежде засыпал, надевая в мечте футбольные доспехи. Было темно, когда он прибыл в Кембридж. Дарвин читал все ту же книгу и, как лев, зевнул, когда он к нему вошел. И тут Мартын поддался маленькому озорному соблазну,— за что впоследствии поплатился. Он с нарочитой задумчивой улыбкой уставился в угол, и Дарвин, неторопливо доканчивая зевок, посмотрел на него с любопытством. «Я счастливейший человек в мире,—тихо и проникновенно сказал Мартын.— Ах, если б можно было все рассказать». Он, впрочем, не лгал: давеча в вагоне, когда он заснул, ему привиделся сон, выросший из двух-трех Сониных слов,— она прижимала его голову к своему гладкому плечу, наклонялась, щекоча губами, говорила что-то придушенно-тепло и нежно, и теперь было трудно отделить сон от яви. «Что ж, очень рад за тебя»,— сказал Дарвин. Мартыну вдруг сделалось неловко, и он, посвистывая, пошел спать. Через неделю он получил открытку с видом Бранденбургских ворот и долго разбирал паукообразный Сонин почерк, тщетно пытаясь найти скрытый смысл в незначительных словах.

И вот, плывя по реке под низкими цветущими ветвями, Мартын

вспоминал, проверял, испытывал разными кислотами последнюю встречу с ней,— приятная, хотя не очень плодотворная работа. Было жарко, сквозь закрытые веки солнце проникало томным клубничным румянцем, слышен был сдержанный плеск воды и далекая нежная музыка плывущих граммофонов. Погодя Мартын открыл глаза и в потоке солнца увидел Дарвина, лежащего в подушках напротив, в таких же белых фланелевых штанах и открытой рубашке, как и он. На юте этой плотоподобной шлюпки с плоским, неглубоким днищем и тупым носом стоял Вадим и налегал на упорный шест. Потрескавшиеся бальны туфли сверкали от брызг, на остром лице было внимательное выражение,— он любил воду, он священнодействовал, искусно, плавно орудя шестом, вынимая его из воды ритмическими перехватами и снова на него налегая. Шлюпка скользила между цветущих берегов; в прозрачно-зеленоватой воде отражались то каштаны, то млечные кусты ежевики; иногда падал лепесток, и было видно в воде, как из глубины спешит к нему навстречу отражение, и вот — сошлись. Мимо, лениво и безмолвно, если не считать воркотни граммофонов, проплывали такие же плоские шлюпки, а изредка байдарка или пирога со вздернутым носом. Мартын заметил впереди открытый цветной зонтик, который колесом вращался то вправо, то влево, но от женщины, тихо вращавшей его, ничего не было видно, кроме руки — почему-то в белой перчатке. На корме стоял молодой человек в очках и очень неумело действовал шестом, так что шлюпка виляла, и Вадим кипел презрением и не знал, с какой стороны ее перегнать. На первой же излучине она неуклонно пошла на берег, причем выпуклый зонтик обернулся в профиль, и Мартын узнал Розу. «Посмотри, как забавно»,— сказал он, и Дарвин, не меняя положения толстых заломленных рук, посмотрел по направлению его взгляда. «Запрещаю с ней здороваться»,— сказал он спокойно. Мартын улыбнулся: «Нет, нет, непременно». «Если ты это сделаешь,— протяжно проговорил Дарвин,— я отшибу тебе голову». Было что-то странное в его глазах, и Мартыну сделалось не по себе; но именно потому, что он рассышал в словах Дарвина нешуточную угрозу и испугался ее, Мартын, проплывая мимо застрявший в кустах шлюпки, крикнул: «Алло, алло, Роза!» И она молча улыбнулась, сияя глазами и вертя зонтиком, и молодой человек в очках уронил со шлепком шест в воду, и в следующее мгновение поворот их закрыл, и Мартын опять закинул голову и стал смотреть в небо. Через несколько минут молчаливого скольжения вдруг раздался голос Дарвина: «Здорово, Джон,— рявкнул он.— Подплывай сюда!»

Джон оскабился и затащанил. Этот чернобровый, ежом остриженный толстяк был даровитым математиком и недавно получил за одну из своих работ стипендию. Он глубоко сидел в пироге, двигаясь вдоль самого борта блестящим гребком. «Вот что, Джон,— сказал Дарвин.— Тут меня вызвали на драку, так что будь свидетелем. Мы выберем место потише и пристанем». «Ладно»,— ответил Джон, не выказав никакого удивления, и, плывя рядом, стал длинно рассказывать о студенте, недавно купившем гидроплан и немедленно разбившем его при попытке подняться вот с этой узкой реки. Мартын лежал в подушках не шевелясь. Знакомая дрожь и слабость в ногах. Быть может, Дарвин все-таки шутит. С чего бы ему так взъерепениться?

Вадим, поглощенный навигаторским таинством, ничего, по-видимому, не слышал. После трех-четырех поворотов Дарвин попросил его пристать. Уже близился вечер. Река в этом месте была пустынна. Вадим направил шлюпку на зеленый мысок, выдававшийся из-под навеса листвы. Мягко стукнулись.

XXIX

Дарвин первый выскочил на берег и помог Вадиму прикальтиться. Мартын потянулся, неторопливо встал, вышел тоже. «Я вчера начал читать Чехова,— сказал ему Джон, шевеля бровями.— Очень благодарю вас за совет. Милый, человеческий писатель». «О, еще бы!— ответил Мартын и быстро подумал: «Неужто и впрямь будет драка?»

«Ну вот,— сказал Дарвин, подойдя.— Теперь можно приступить; если пройти сквозь эти кусты, мы выйдем на поляну. С реки ничего не будет видно».

Вадим только теперь понял, что затевается. «Мамка тебя убьет»,— сказал он по-русски Мартыну. «Пустяки,— ответил Мартын.— Я боксую не хуже его». «Не надо бокса,— лихорадочно шепнул Вадим.— Дай ему сразу ногой!— и он определил, куда именно. Стоял он за Мартына только из любви к отечеству.

Полянка, окруженная орешником, оказалась ровной, бархатной. Дарвин засучил рукава, но, подумавши, развернул их опять и снял рубашку: осветилось крупное розовое тело с мускулистым лоском на плечах и с дорожкой золотистых волос посередине широкой груди. Он покрепче затянул ремень пояса и вдруг заулыбался. «Все это шутка»,— радостно подумал Мартын, но, на всякий случай, тоже обнажил торс: кожа у него была более кремового оттенка с многочисленными родинками, как часто бывает у русских. По сравнению с Дарвином он казался более поджарым, хотя был плотен и плечист. Он снял через голову крест, загреб в ладонь цепочку и эту горсточку текучего золота сунул в карман. Вечернее солнце обдавало теплом лопатки.

«Вы как хотите,— с перерывами?»— спросил Джон, удобно растянувшись на траве. Дарвин вопросительно взглянул на Мартына, который стоял, сложив руки на груди и расставя ноги. «Мне все равно»,— заметил Мартын, а в мыслях пронеслось: «Нет, по-видимому, драка будет,— это ужасно...» Кругом да около беспокойно слонялся Вадим, заложив руки в карманы, посапывал, смущенно ухмылялся, а потом сел по-турецки рядом с Джоном. Джон вынул часы. «Им все-таки не следует дать больше пяти минут,— правда, Вадим?» Вадим растерянно закивал. «Ну-с, можете начать»,— сказал Джон.

Дарвин и Мартын, мгновенно сжав кулаки, подняли согнутые в локтях руки (правая заслоняет живот, левая ходит поршнем) и принялись упруго и живо переступать на напряженных ногах, словно потанцовывая. В эту минуту Мартыну еще казалось невозможным ударить Дарвина в лицо, в это большое, гладко выбритое, добре лицо с мягкими морщинками у рта; но, когда кулак Дарвина вдруг вылетел и Мартына треснул по челюсти, все изменилось: пропал страх, стало на душе хорошо, светло, а звон в голове от встряски пел о Соне,— настоя-

щей виновнице поединка. Увильнув от нового выпада, он хватил Дарвина по его добром лицу, вовремя нырнул (стремительная рука Дарвина метеором пронеслась над самым теменем) и хотел двинуть еще раз снизу вверх, но промахнулся и получил сам в глаз такой черный и звездный удар, что пошатнулся и уже не смог отклониться от пятидесяти кулаков, летавших вокруг его головы, но самый опасный из них ему все же удалось пропустить через плечо: нагнувшись, он обманул Дарвина проворным маневром и со всей силы хряпнул его по мокрому, твердому от зубов рту,— и тут же сам екнул, почувствовав, словно налетел животом на торчащий конец железного бруса. Оба отскочили друг от друга и пошли опять кружить, и у Дарвина из угла рта текла красная струйка, и он дважды сплюнул. Схватились снова. Джон, задумчиво покуривая трубку, мысленно противопоставлял опытность Дарвина быстроте Мартына и думал, что, пожалуй, в ринге он, выбирая между этими двумя тяжеловесами, отдал бы предпочтение старшему. У Мартына левый глаз закрылся и уже распух, и оба бойца были мокрые и лоснящиеся, в красноватых пятнах. Вадим меж тем разошелся, что-то азартно кричал, Джон на него шикнул. Бабах в ухо: Мартын не удержался на ногах, и, пока он валился, Дарвин успел его еще раз хватить, и Мартын сильно сел на траву, ушибив копчик, но тотчас вспрянул и налетел. Несмотря на боль в голове, на глухоту, на багровый туман в глазах, Мартыну казалось, что он причиняет Дарвину большеувечий, чем тот ему, но Джон, знаток бокса, уже ясно видел, что Дарвин только входит во вкус, еще немножко, и младший будет уложен. Мартын, однако, чудом выдержал решительный напор Дарвина, состоявший из звучных заушин, кои зовутся расскатихами, и успел еще раз брякнуть его по рту, а случайно коснувшись своих белых штанов, оставил на них красный отпечаток. Он дышал с присвистом, мало уже соображал, и то, что было перед ним, называлось уже не Дарвин,— и вообще не носило человеческого имени,— а было только розовой, скользкой, быстроходной громадой, по которой следовало шмякать из последних сил. Ему удалось очень плотно и ладно ударить куда-то,— куда — он не видел,— но тотчас множество кулаков, справа, слева, куда ни сунься, продолжало его обрабатывать, он упрямо искал в этом вихре брешь, нашел, забаранил по какой-то чмокающей мякине, почувствовал вдруг, что у самого отлетает голова, и, поскользнувшись, повис на Дарвина, зажимая сдвинутыми локтями его мокрые, горячие руки. «Время!» — донесся вдруг из отдаленных пространств голос Джона, и бойцы расцепились, Мартын рухнул на муравь; Дарвин, улыбаясь окровавленным ртом, присел рядом, нежно перекинул руку через его плечо, и оба замерли, склонив головы и тяжело дыша.

«Надо вам обмыться», — сказал Джон, а Вадим, с опаской подойдя, стал разглядывать их разбитые лица. «Ты можешь встать?» — с участием спросил Дарвин; Мартын кивнул и, опираясь на него, выпрямился, и они в обнимку направились к реке; Джон похлопал их по холодным голым спинам; Вадим пошел вперед, отыскал укромный затончик; Дарвин помог Мартыну хорошенъко обмыть лицо и торс, а потом Мартын сделал для него то же,— и оба тихо и участливо спрашивали друг у друга, где болит, не жжет ли вода.

Сумерки уже переходили в ночь, щелкали соловьи, дымные луга и темный прибрежный кустарник дышали сыростью. Джон в своей черной пироге исчез в тумане реки. Вадим, опять стоя на юте, призрачно белея во мраке, безмолвно, с лунатической плавностью, погружал свой призрачный шест. Мартын и Дарвин лежали рядом на подушках, размаянные, томные, опухшие, и глядели трепеща глазами на небо, по которому изредка проходила темная ветвь. И это небо, и ветвь, и едва плещущая вода, и фигура Вадима, таинственно облагороженного любовью к плаванию, и цветные огни бумажных фонарей на носах встречных шлюпок, и мысль, что на днях конец Кембриджу, что в последний раз, быть может, они втроем скользят по узкой туманной реке,— все это для Мартына сливалось во что-то удивительное, очаровательное, а свинцовая боль в голове и ломота в плечах тоже казались ему возвышенного, романтического свойства: ибо так плыл раненый Тристан сам друг с арфой.

Еще одна последняя излучина, и вот — берег. Берег, к которому Мартын пристал, был очень хорош, ярок, разнообразен. Он знал, однако, что, например, дядя Генрих твердо уверен, что эти три года плавания по кембриджским водам пропали даром, оттого что Мартын побаловался филологической прогулкой, не Бог весть какой дальней, вместо того чтобы изучить плодоносную профессию. Мартын же, по совести, не понимал, чем знаток русской словесности хуже инженера путей сообщения или купца. Оказалось, что в зверинце у дяди Генриха,— а зверинец есть у каждого,— имелся, между прочим, и тот зверек, который по-французски зовется «черным», и этим черным зверьком был для дяди Генриха: двадцатый век. Мартына это удивило, ибо ему казалось, что лучшего времени, чем то, в которое он живет, прямо себе не представишь. Такого блеска, такой отваги, таких замыслов не было ни у одной эпохи. Все то, что искрилось в прежних веках,— страсть к исследованию неведомых земель, дерзкие опыты, подвиги любознательных людей, которые слепли или разлетались на мелкие части, героические заговоры, борьба одного против многих,— все это проявлялось теперь с небывалой силой. То, что человек, проигравший на бирже миллион, хладнокровно кончал с собой, столь же поражало воображение Мартына, как, скажем, вольная смерть полководца, павшего грудью на меч. Автомобильная реклама, ярко алеющая в диком и живописном ущелье, на совершенно недоступном месте альпийской скалы, восхищала его до слез. Услужливость, ласковость очень сложных и очень простых машин, как, например, трактор или линотип, приводила его к мысли, что добро в человечестве так заразительно, что передается металлу. Когда над городом, изумительно высоко в голубом небе, аэроплан величиной с комарика выпускал нежные, молочно-белые буквы во сто крат больше него самого, повторяя в божественных размерах росчерк фирмы, Мартын проникался ощущением чуда. А дядя Генрих, подкармливая своего черного зверька, с ужасом и отвращением говорил о закате Европы, о послевоенной усталости, о нашем слишком трезвом, слишком практическом веке, о нашествии мертвых машин; в его представлении была какая-то

дьявольская связь между фокстротом, небоскребами, дамскими модами и коктейлями. Кроме того, дяде Генриху казалось, что он живет в эпоху страшной спешки, и было особенно смешно, когда он об этой спешке беседовал в летний день, на краю горной дороги, с аббатом,— меж тем как тихо плыли облака, и старая розовая аббатова лошадь, со звоном отряхиваясь от мух, моргая белыми ресницами, опускала голову полным невыразимой прелести движением и сочно похрустывала придорожной травой, вздрагивая кожей и переставляя изредка копыто, и, если разговор о безумной спешке наших дней, о власти доллара, об аргентинцах, соблазнивших всех девушек в Швейцарии, слишком затягивался, а наиболее нежные стебли уже оказывались в данном месте съеденными, она слегка подвигалась вперед, причем со скрипом поворачивались высокие колеса тарантайки, и Мартын не мог оторвать взгляда от добрых седых лошадиных губ, от травинок, застрявших в удилах. «Вот, например, этот юноша,— говорил дядя Генрих, указывая палкой на Мартына,— вот он кончил университет, один из самых дорогих в мире университетов, а спросите его, почему он научился, на что он способен. Я совершенно не знаю, что он будет дальше делать. В мое время молодые люди становились врачами, офицерами, нотариусами, а вот он, вероятно, мечтает быть летчиком или платным танцором». Мартыну было невдомек, чего именно он служил примером, но аббат, по-видимому, понимал парадоксы дяди Генриха и сочувственно улыбался. Иногда Мартына так раздражали подобные разговоры, что он был готов сказать дяде — и, увы, отчиму,— грубость, но вовремя останавливался, заметив особое выражение, которое появлялось на лице у Софьи Дмитриевны всякий раз, как Генрих впадал в красноречие. Тут была и едва проступавшая ласковая насмешка, и какая-то грусть, и бессловесная просьба простить чудаку,— и еще что-то неизъяснимое, очень мудрое. И Мартын молчал, втайне отвечая дяде Генриху примерно так: «Неправда, что я в Кембридже занимался пустяками. Неправда, что я ничему не научился. Колумб, прежде чем взяться через западное плечо за восточное ухо, отправился инкогнито для получения кое-каких справок в Исландию, зная, что тамошние моряки — народ дощий и дальнеходный. Я тоже собираюсь исследовать далекую землю».

XXXI

Софья Дмитриевна не докучала сыну нудными разговорами, до которых был падок Генрих; она не спрашивала его, чем он собирается заниматься, считая, что это все как-то само собой устроится, и была только счастлива, что он сейчас при ней, здоров, плечист, темен от загара, лупит в теннис, говорит низким голосом, ежедневно бреется и вгоняет в мак молодую, яркоглазую мадам Гишар, местную купчиуху. Порою она думала о том, что Россия вдруг стряхнет дурной сон,олосатый шлагбаум поднимется, и все вернутся, займет прежние свои места,— и, Боже мой, как подросли деревья, как уменьшился дом, какая грусть и счастье, как пахнет земля... По утрам она так же страстно ждала почтальона, как и во дни пребывания сына в Кембридже, и, когда теперь приходило,— а приходило оно нечасто,— письмо

на имя Мартына, в конторском конверте, с паукообразным почерком и берлинской маркой, она испытывала живейшую радость и, схватив письмо, спешila к нему в комнату. Мартын еще лежал в постели, очень взлохмаченный, посасывал папиросу, держа руку у подбородка. Он видел в зеркале, как солнечной раной раскрывалась дверь, и видел особое выражение на розовом, веснушчатом лице матери: по ее плотно сжатым, но уже готовым расплыться в улыбку губам он знал, что есть письмо. «Сегодня ничего для тебя нет», — небрежно говорила Софья Дмитриевна, держа руку за спиной, но сын уже протягивал нетерпеливые пальцы, и оба смеялись, и затем, не желая мешать его удовольствию, она отходила к окну, облокачивалась, захватив ладонями щеки, и с чувством совершенного счастья глядела на горы, на одну далекую, розовато-снежную вершину, которая была видна только из этого окна. Мартын, залпом проглотив письмо, притворялся значительно более довольным, чем на самом деле, так что Софья Дмитриевна представляла себе эти письма от маленькой Зилановой полными нежности и, вероятно, почувствовала бы печальную обиду за сына, если бы ей довелось их прочесть. Она помнила маленькую Зиланову со странной ясностью: черноволосая, бледная девочка, всегда с ангиной или после ангины, с шеей, забинтованной или пожелтевшей от йода; она помнила, как однажды повела десятилетнего Мартына к Зилановым на елку, и маленькая Соня была в белом платье с кружевцами и с широким шелковым кушаком на бедрах. Мартын же этого не помнит вовсе, елка было много, они мешались, только одно было очень живо, ибо повторялось всегда: мать говорила, что пора домой, и засовывала пальцы за воротник его матроски, проверяя, не очень ли он потен от беготни, а он еще рвался куда-то с огромной золотой хлопушкой в руке, но хватка матери была ревнива, и вот уже натягивались шерстяные рейтзуки, почти до подмышек, надевались ботинки, полушибок, с тугу застегивавшимся на дужке крючком, отвратительно щекотный башлык, — и вот — морозная радуга фонарей проходит по стеклам кареты. Мартына волновало, что тогда и теперь выражение материнских глаз было то же, — что и теперь, — она легко трогала его за шею, когда он возвращался с тенниса, и приносила Сонино письмо с тою же нежностью, как некогда — выписанное из Англии духовое ружье в длинной картонной коробке.

Ружье оказывалось не совсем таким, как он ожидал, не совпадало с мечтой о нем, как и теперь письма Сони были не такими, каких ему хотелось. Она писала редко, писала как-то судорожно, ни одного не попадалось таинственного слова, и ему приходилось удовлетворяться такими выражениями, как: «часто вспоминаю добрый, старый Кембридж» или «всех благ, мой миленький цветочек, жму лапу». Она сообщала, что служит, машинка да стенография, что с Ириной очень трудно, — сплошная истерия, — что у отца ничего путного не вышло с газетой и он теперь налаживает издательское дело, что в доме иногда не бывает ни копейки, и очень грустно, что масса знакомых, и очень весело, что трамваи в Берлине зеленые и что в теннис берлинцы играют в крахмальных воротничках и подтяжках. Мартын терпел, терпел, пртерпел лето, осень и зиму и как-то, в апрельский день,

объявил дяде Генриху, что едет в Берлин. Тот надулся и сказал недовольно: «Мне кажется, дружок, что это лишено здравого смысла. Ты всегда успеешь увидеть Европу,— я сам думал осенью взять вас, тебя и твою мать, в Италию. Но ведь нельзя без конца валандаться. Короче,— я хотел тебе предложить попробовать твои молодые силы в Женеве...» (Мартын хорошо знал, о чем речь,— уже несколько раз выползая краудучись этот жалкий разговор о каком-то коммерческом доме братьев Пти, с которыми дядя Генрих был в деловых сношениях),— попробовать твои молодые силы,— повторил дядя Генрих.— В этот жестокий век, в этот век очень практический, юноша должен научиться зарабатывать свой хлеб и пробивать себе дорогу. Ты основательно знаешь английский язык. Иностранная корреспонденция — вещь крайне интересная. Что же касается Берлина... Ты ведь не очень силен в немецком,— не так ли? Не вижу, что ты будешь там делать». «Предположим, что ничего»,— угрюмо сказал Мартын. Дядя Генрих посмотрел на него с удивлением. «Странный ответ. Не знаю, что твой отец подумал бы о подобном ответе. Мне кажется, что он, как и я, был бы удивлен, что юноша, полный здоровья и сил, гнушается всякой работы. Пойми, пойми,— спешно добавил дядя Генрих, заметив, что Мартын неприятно побагровел,— я вовсе не мелочен. Я достаточно богат, слава Богу, чтобы тебя обеспечить,— я себе делаю из этого долг и счастье;— но с твоей стороны было бы безумием не работать. Европа проходит через неслыханный кризис, человек теряет состояние в мгновение ока. Это так, ничего не поделаешь, надо быть ко всему готовым». «Мне твоих денег не нужно»,— тихо и грубо сказал Мартын. Дядя Генрих сделал вид, будто не рассыпал, но его глаза налились слезами. «Неужели,— спросил он,— у тебя нет честолюбия? Неужели ты не думаешь о карьере? Мы, Эдельвейсы, всегда умели работать. Твой дед был сначала бедным домашним учителем. Когда он сделал предложение твоей бабушке, ее родители прогнали его из дома. И вот — через год он возвращается директором экспортной фирмы, и тогда, разумеется, все препятствия были сметены...» — «Мне твоих денег не нужно,— еще тише повторил Мартын,— а насчет дедушки — это все глупая семейная легенда,— и ты это знаешь». — «Что с ним, что с ним,— с испугом забормотал дядя Генрих.— Какое ты имеешь право меня так оскорблять? Что я тебе сделал худого? Я, который всегда...» — «Одним словом, я еду в Берлин»,— перебил Мартын и, дрожа, вышел из комнаты.

XXXII

Вечером было примирение, объятия, сморкание, разнеженный кашель,— но Мартын настоял на своем. Софья Дмитриевна, чувствуя его тоску по Соне, оказалась его сообщницей и бодро улыбалась, когда он садился в автомобиль.

Как только дом скрылся из виду, Мартын переменился местами с шофером и, легко, почти нежно держа руль, словно нечто живое и ценное, и глядя, как мощная машина глотает дорогу, испытывал почти то же, что в детстве, когда, сев на пол, так, чтобы педали

рояля пришлись под подошвы, держал между ног табурет с круглым вращающимся сидением, орудовал им, как рулем, брал на полном ходу восхитительные повороты, еще и еще нажимал педаль (рояль при этом гукал) и щурился от воображаемого ветра. Затем в поезде, в немецком вагоне, где в простенках были небольшие карты, как раз тех областей, по которым данный поезд не проходил,— Мартын наслаждался путешествием, ел шоколад, курил, совал окурок под железную крышку пепельницы, полной сигарного праха. К Берлину он подъезжал вечером и, глядя прямо из вагона на уже освещенные улицы, пережил снова давнишнее детское впечатление Берлина, счастливые жители которого могут хоть каждый день смотреть на поезд баснословного следования, плывущий по черному мосту над ежедневной улицей, и вот этим отличался Берлин от Петербурга, где железнодорожное движение скрывалось, как некое таинство. Но через неделю, когда он к городу присмотрелся, Мартын был уже бессилен восстановить тот угол зрения, при котором черты показались знакомы,— как при встрече с человеком, годами не виденным, признаешь сперва его облик и голос, а присмотришься — и тут же наглядно проделывается все то, что незаметно проделало время, меняются черты, разрушается сходство, и сидит чужой человек, самодовольный поглотитель небольшого и хрупкого своего двойника, которого отныне уже будет трудно вообразить,— если только не поможет случай. Когда Мартын нарочно посещал те улицы в Берлине, тот перекресток, ту площадь, которые он видел в детстве, ничто, ничто не волновало его душу, но зато, при случайному запахе угля или бензинового перегара, при особом бледном оттенке неба сквозь кисею занавески, при дрожи оконных стекол, разбуженных грузовиком, он мгновенно проникался тем городским, отельным, бледно-утренним, чем некогда пахнул на него Берлин. Игрушечные магазины на когда-то нарядной улице поредели, осунулись, локомотивы в них были теперь поменьше, поплоще. Мостовая на этой улице была разворочена, рабочие в жилетках сверлили, дымили, рыли глубокие ямы, так что приходилось пробираться по мосткам, а иногда даже по рыхлому песку. В пассажном паноптикуме потеряли свою страшную прелесть человек в саване, энергично выходящий из могилы, и железная женщина для чрезвычайной пытки. Когда Мартын пошел искать на Курфюрстендуме тот огромный скейтинг-rink, от которого остались в памяти: гремучий раскат колесиков, красная форма инструкторов, раковина оркестра, соленый торт-мокко, подававшийся в круговых ложах, и па-де-патинер, которое он танцевал под всякую музыку, подгибая то правый, то левый ролик, и, Бог ты мой, как он раз шлепнулся,— оказалось, что все это исчезло бесследно. Курфюрстендум изменился тоже, возмужал, вытянулся, и где-то — не то под новым домом, не то на пустыре,— была могила большого тенниса в двадцать площадок, где раза два Мартын играл с матерью, которая, подавая снизу мяч, говорила ясным голосом «плэй» и, бегая, шуршила юбкой. Теперь, не выходя из города, он добирался до Грюневальда, где жили Зилановы, и от Сони узнавал, что бессмысленно ездить за покупками к Верхтайму и что вовсе не обязательно посещать Винтергартен,— где некогда высокий потолок был как дивное звездное небо

и в ложах, у священных столиков, сидели прусские офицеры, затянутые в корсеты, а на сцене двенадцать голоногих девиц пели гортанными голосами и, держась под руки, переливались справа налево и обратно и вскидывали двенадцать белых ног, и маленький Мартын тихо охнул, узнав в них тех миловидных, скромных англичанок, которые, как и он, бывали по утрам на деревянном катке.

Но, пожалуй, самым неожиданным в этом новом, широко располовившемся Берлине, таком тихом, деревенском, растяпистом по сравнению с гремящим, тесным и нарядным городом Мартынова детства,— самым неожиданным в нем была та развязная, громокоголосая Россия, которая тараторила повсюду — в трамваях, на углах, в магазинах, на балконах домов. Лет десять тому назад, в одной из своих пророческих грез (а у всякого человека с большим воображением бывают грэзы пророческие,— такова математика грез), петербургский отрок Мартын снился себе самому изгнаником, и подступали слезы, когда, на воображаемом дебаркадере, освещенном причудливо тусклом, он невзначай знакомился — с кем?.. — с земляком, сидящим на сундуке, в ночь озnobа и запозданий, и какие были дивные разговоры! Для роли этих земляков он просто брал русских, замеченных им во время заграничной поездки,— семью в Биаррице, с гувернанткой, гувернером, бритым лакеем и рыжей таксой, замечательную белокурую даму в берлинском Кайзергофе, или в коридоре Норд-экспресса старого господина в черной мурмолке, которого отец шепотом называл «писатель Боборыкин»,— и, выбрав им подходящие костюмы и реплики, посыпал их для встречи с собой в отдаленнейшие места света. Ныне эта случайная мечта — следствие Бог весть какой детской книги — воплотилась полностью и, пожалуй, хватила чрез край. Когда, в трамвае, толстая расписная дама уныло повисала на ремне и, гремя роскошными русскими звуками, говорила через плечо своему спутнику, старику в седых усах: «Поразительно, прямо поразительно,— ни один из этих невежд не уступит место»,— Мартын вскакивал и, с сияющей улыбкой повторяя то, что некогда в отроческих мечтах случайно прорепетировал, восклицал: «Пожалуйста!» — и, сразу побледнев от волнения, повисал в свою очередь на ремне. Мирные немцы, которых дама звала невежами, были все усталые, голодные, работящие, и серые бутерброды, которые они жевали в трамвае, пускай раздражали русских, но были необходимы: настоящие обеды обходились дорого в тот год, и, когда Мартын менял в трамвае доллар,— вместо того, чтобы на этот доллар купить доходный дом,— у кондуктора от счастья и удивления тряслись руки. Доллары Мартын зарабатывал особым способом, которым очень гордился. Труд был, правда, каторжный. С мая, когда он на этот труд набрел (благодаря милейшему русскому немцу Киндерману, уже второй год преподававшему теннис случайнym богачам), и до середины октября, когда он вернулся на зиму к матери, и потом опять целую весну,— Мартын работал почти ежедневно с раннего утра до заката,— держа в левой руке пять мячей (Киндерман умел держать шесть), посыпал их по одному через сетку все тем же гладким ударом ракетки, меж тем как напряженный пожилой ученик (или ученица) по ту сторону сетки старательно размахивался и обыкновенно никуда не попадал.

Первое время Мартын так уставал, так ныло правое плечо, так горели ноги, что, придя домой, он сразу ложился в постель. От солнца волосы посветлели, лицо потемнело,— он казался негативом самого себя. Майорская вдова, его квартирная хозяйка, от которой он для пущей таинственности скрывал свою профессию, полагала, что бедняга принужден, как, увы, многие интеллигентные люди, заниматься черным трудом, таскать камни, например (отсюда загар), и стесняется этого, как всякий деликатный человек. Она деликатно вздыхала и уговаривала его по вечерам колбасой, присланной дочерью из померанского имения. Была она саженного роста, краснолицая, по воскресеньям душилась одеколоном, держала у себя в комнате попугая и черепаху. Мартына она считала жильцом идеальным: он редко бывал дома, гостей не принимал и не пользовался ванной (последнюю заменили сполна душ в клубе и Грюневальдское озеро). Эта ванна была вся снутри облеплена хозяйственными волосами, сверху на веревке зловонно сохли безымянные тряпки, а рядом у стены стоял старый, пыльный, поржавевший велосипед. Впрочем, добраться до ванны было мудрено: туда вел длинный, темный, необыкновенно угластый коридор, заставленный всячим хламом. Комната же Мартына была вовсе не плохая, очень забавная, с такими предметами роскоши, как пианино, испокон века запертное на ключ, или громоздкий, сложный барометр, испортившийся года за два до последней войны,— а над диваном, на зеленой стене, как постоянное, благожелательное напоминание, вставал из беклиновских волн тот же голый статик с трезубцем, который — в раме попроще — оживлял гостиную Зилановых.

XXXIII

Когда в первый раз он к ним пришел, увидел их дешевую, темную квартиру, состоящую из четырех комнат и кухни, где на столе сидела по-новому причесанная, совсем чужая Соня и, качая ножками в заштопанных чулках, тянула носом и чистила картофель. Мартын понял, что нечего ждать от Сони, кроме огорчений, и что напрасно он махнул в Берлин. Чужое в ней было все: и бронзового оттенка джемпер, и открытые уши, и простуженный голос,— ее донимал сильный насморк, вокруг ноздрей и под носом было розово, она чистила картофель, сморкалась и, высыпавшись, уныло крякала и опятьрезала ножом спиралью бурой шелухи. К ужину была гречневая каша, маргарин вместо масла; Ирина пришла к столу, держа на руках котенка, с которым не расставалась, и встретила Мартына радостным и страшным смехом. И Ольга Павловна, и Елена Павловна постарели за этот год, еще больше стали похожи друг на дружку, и только один Зиланов был все тот же и с прежнею мощью резал хлеб. «Я слышал,— (хряк, хряк),— что Грузинов в Лозанне, вы его,— (хряк),— не встречали? Мой большой приятель и замечательная волевая личность». Мартын не имел ни малейшего представления, кто такой Грузинов, но ничего не спросил, боясь попасть впросак. После ужина Соня мыла тарелки, а он их вытирал и одну разбил. «С ума сойти, все заложено,— сказала она и пояснила: — Да нет, не вещи, а у меня в носу. Вещи, впр

чем, тоже». Затем она спустилась вместе с ним, чтобы отпереть ему дверь,— и очень забавно при нажиме кнопки стукало что-то, и вспыхивал на лестнице свет,— и Мартын покашливал и не мог выговорить ни одного слова из всех тех, которые он собирался Соне сказать. Далее последовали вечера совсем другие — множество гостей, танцы под граммофон, танцы в ближнем кафе, темнота маленького кинематографа за углом. Со всех сторон возникали возле Мартына новые люди, туманности рождали миры, и вот получало определенные имена и облики все русское, рассыпанное по Берлину, все, что так волновало Мартына,— будь это просто обрывок житейского разговора среди прущей панельной толпы, хамелеонное словцо — доллары, доллáры, долларá,— или схваченная на лету речитативная ссора четы, «я тебе говорю...» — для женского голоса, — «ну, и пожалуйста» — для мужского,— или, наконец, человек, летней ночью с задранной головой бьющий в ладони под освещенным окном, выкрикающий звучное имя и отчество, от которого сотрясается вся улица, и шарахается, нервно хрюкнув, таксомотор, чуть не налетевший на голосистого гостя, который уже отступил на середину мостовой, чтобы лучше видеть, не появился ли Петрушкой в окне нужный ему человек. Через Зиланова Мартын узнал людей, среди которых сначала почувствовал себя невеждой и чужаком. В некотором смысле с ним повторилось то же, что было, когда он приехал в Лондон. И теперь, когда на квартире у писателя Бубнова большими волнами шел разговор, полный имен, и Соня, все знавшая, смотрела искоса на него с насмешливым сожалением, Мартын краснел, терялся, собираясь пустить свое утное словцо на волны чужих речей, да так, чтобы оно не опрокинулось сразу, и все не мог решиться, и потому молчал; зато, устыдясь отсталости своих познаний, он много читал по ночам и в дождливые дни и очень скоро принюхался к тому особому запаху — запаху тюремных библиотек,— который исходил от советской словесности.

XXXIV

Писатель Бубнов,— всегда с удовольствием отмечавший, сколь много выдающихся литературных имен двадцатого века начинается на букву «б»,— был плотный, тридцатилетний, уже лысый мужчина с огромным лбом, глубокими глазницами и квадратным подбородком. Он курил трубку,— сильно вбиная щеки при каждой затяжке,— носил старый черный галстук бантиком и считал Мартына франтом и европейцем. Мартына же пленяла его напористая круглая речь и вполне заслуженная писательская слава. Начав писать уже за границей, Бубнов за три года выпустил три прекрасные книги, писал четвертую, героем был Христофор Колумб — или, точнее, русский дьяк, чудесно попавший матросом на одну из Колумбовых каравелл,— а так как Бубнов не знал ни одного языка, кроме русского, то для собирания некоторых материалов, имевшихся в Государственной библиотеке, охотно брал с собою Мартына, когда тот бывал свободен. Немецким Мартын владел плохо-вато и потому радовался, если текст попадался французский, английский или — еще лучше — итальянский: этот язык он знал, правда, еще хуже немецкого, но небольшое свое знание особенно ценил, памятуя,

как с меланхолическим Тэдди переводил Данте. У Бубнова бывали писатели, журналисты, прыщеватые молодые поэты,— все это были люди, по мнению Бубнова, среднего таланта, и он праведно царил среди них, выслушивал, прикрыв ладонью глаза, очередное стихотворение о тоске по родине или о Петербурге (с непременным присутствием Медного всадника) и затем говорил, тиская бритый подбородок: «Да, хорошо»; и повторял, уставившись бледно-кариими, немного собачьими, глазами в одну точку: «Хорошо», с менее убедительным оттенком; и, снова переменив направление взгляда, говорил: «Не плохо»; а затем: «Только, знаете, слишком у вас Петербург портативный»; и, постепенно снижая суждение, доходил до того, что глухо, со вздохом, бормотал: «Все это не то, все это не нужно», и удрученно мотал головой, и вдруг с блеском, с восторгом, разрешался стихом из Пушкина,— и, когда однажды молодой поэт, обидевшись, возразил: «То Пушкин, а это я»,— Бубнов подумал и сказал: «А все-таки у вас хуже». Случалось, впрочем, что чья-нибудь веять была действительно хороша, и Бубнов,— особенно если веять была написана прозой,— делался необыкновенно мрачным и несколько дней пребывал не в духах. С Мартыном, который, кроме писем к матери, ничего не писал (и был за это прозван одним острословом «наша мадам де Севинье»), Бубнов дружил искренно и безбоязненно, и раз даже, после третьей кружки пильзнера, весь налитой светлым пивом, весь тугой и прозрачный, мечтательно заговорил (и это напомнило Яилу, костер) о девушке, у которой поет душа, поют глаза и кожа бледна, как дорогой фарфор,— и затем свирепо глянул на Мартина и сказал: «Да, это пошло, сладко, отвратительно, фу... презирай меня, пускай я бездарь, но я ее люблю. Ее имя как купол, как свист голубиных крыльев, я вижу свет в ее имени, особый свет «каны-инум» старых хадирских мудрецов,— свет оттуда, с востока,— о, это большая тайна, страшная тайна»; и уже истошным шепотом: «Женская прелесть страшна,— ты понимаешь меня,— страшна. И туфельки у нее стоптаны, стоптаны...»

Мартын стеснялся и молча кивал. С Бубновым он всегда чувствовал себя странно, немного как во сне,— и как-то не совсем доверял ни ему, ни хадирским старцам. Другие Сонины знакомые, как, например, веселый, зубастый Каллистратов, бывший офицер, теперь занимавшийся автомобильным извозом, или милая, белая, полногрудая Веретенникова, игравшая на гитаре и певшая звучным контральто «Есть на Волге утес», или молодой Иоголевич, умный, ехидный, малоразговорчивый юноша в роговых очках, читавший Пруста и Джойса, были куда проще Бубнова. К этим Сониним друзьям примешивались и пожилые знакомые ее родителей,— все люди почтенные, общественные, чистые, вполне достойные будущего некролога в сто кристальных строк. Но когда, в июльский день, от разрыва сердца умер на улице, охнув и грузно упав ничком, старый Иоголевич, и в русских газетах было очень много о незаменимой утрате и подлинном труженике, и Михаил Платонович, с портфелем под мышкой шел один из первых за гробом, среди роз и черного мрамора еврейских могил, Мартину казалось, что слова некролога «пламенел любовью к России» или «всегда держал высоко перо» как-то унижают покойного тем, что они же, эти слова,

могли быть применены и к Зиланову, и к самому маститому автору некролога. Мартыну было больше всего жаль своеобразия покойного, действительно незаменимого,— его жестов, бороды, лепных морщин, неожиданной застенчивой улыбки, и пиджачной пуговицы, висевшей на нитке, и манеры всем языком лизнуть марку, прежде чем ее налепить на конверте да хлопнуть по ней кулаком. Это было в каком-то смысле ценнее его общественных заслуг, для которых был такой удобный шаблончик,— и со странным перескоком мысли Мартын поклялся себе, что никогда сам не будет состоять ни в одной партии, не будет присутствовать ни на одном заседании, никогда не будет тем персонажем, которому предоставляется слово или который закрывает прения и чувствует при этом все восторги гражданственности. И часто Мартын дивился, почему никак не может заговорить о сокровенных своих замыслах с Зилановым, с его друзьями, со всеми этими деятельными, почтенными, бескорыстно любящими родину русскими людьми.

XXXV

Но Соня, Соня... Оточных мыслей об экспедиции, от литературных бесед с Бубновым, от ежедневных трудов на теннисе он снова и снова к ней возвращался, подносил для нее спичку к газовой плите, где сразу, с сильным пыхом, выпускал все когти голубой огонь. Говорить с ней о любви было бесполезно, но однажды, провожая ее домой из кафе, где они тянули сквозь соломинки шведский пунш под скрипичныйвой румына, он почувствовал такую нежность от теплоты ночи, и от того, что в каждом подъезде стояла неподвижная чета,— так действовали на него их смех и шепот, и внезапное молчание,— и сумрачное колыхание сирени в палисадниках, и диковинные тени, которыми свет фонаря оживлял леса обновлявшегося дома,— что внезапно он забыл обычную выдержанку, обычную боязнь быть поднятым Соней на зубки,— и чудом заговорил — и о чем? — о Горации... Да, Гораций жил в Риме, а Рим походил на большую деревню, где, впрочем, немало было мраморных зданий, но тут же гнались за бешеною собакой, тут же хлюпала в грязи свинья с черными своими поросятами,— и всюду строили, стучали плотники, громыхая, проезжала телега с лигурийским мрамором или огромной сосной,— но к вечеру стук затихал, как затихал в сумерки Берлин, и напоследок гремели железные цепи запираемых на ночь лавок, совсем как гремели, спускаясь, ставни лавок берлинских, и Гораций шел на Марсово поле, тщедушный, но с брюшком, лысый и ушаственный, в неряшливой тоге, и слушал нежный шепот бесед под портиками, прелестный смех в темных углах.

«Ты такой милый,— вдруг сказала Соня,— что я должна тебя поцеловать,— только постой, отойдем сюда». У решетки, через которую свисала листва, Мартын привлек к себе Соню и, чтобы не терять ничего из этой минуты, не зажмурился, медленно целуя ее холодные мягкие губы, а следил за бледным отсветом на ее щеке, за дрожью ее опущенных век: веки поднялись на мгновение, обнажив влажный слепой блеск, и прикрылись опять, и она вздрагивала и вытягивала губы, и вдруг ладонью отодвинула его лицо и, стуча зубами, вполголоса сказала, что больше не надо, пожалуйста, больше не надо.

«А если я другого люблю?» — спросила Соня с нежданной живостью, когда они снова побрали по улице. «Это ужасно», — сказал Мартын и почувствовал, что было какое-то мгновение, когда он мог Соню удержать, — а теперь она опять выскользнула. «Убери руку, мне неудобно идти, что за манера, как воскресный приказчик», — вдруг проговорила она, и последняя надежда, блаженно теплое ощущение ее голого плеча, предплечья под его рукой, — исчезло тоже. «У него есть по крайней мере талант, — сказала она, — а ты — ничто, просто путешествующий барчук». «У кого — у него?» Она ничего не ответила и молчала до самого дома; но на прощанье поцеловала еще раз, закинув ему за шею обнаженную руку, и, с серьезным лицом, потупясь, заперла снутри дверь, и он проследил сквозь дверное стекло, как она поднялась по лестнице, поглаживая балюстраду, — и вот — исчезла за поворотом, и вот — потух свет.

«С Дарвином, вероятно, было то же самое», — подумал Мартын, и ему страшно захотелось его повидать, — но Дарвин был далеко, в Америке, посланный туда лондонской газетой. И на другой день простыл след этого вечера, точно его не было вовсе, и Соня уехала с друзьями за город, на Павлинний остров, там был пикник, и купание, Мартын об этом даже не знал, — и когда вечером подходил к ее дому, неся под мышкой большую плюшевую собаку с малиновым бантом, купленную за пять минут до закрытия магазина, то встретил на улице всю возвращавшуюся компанию, и у Сони на плечах был пиджак Каллистратова, и какая-то вспыхивала между ней и Каллистратовым шутка, смысл которой никто Мартыну не потрудился открыть.

Тогда он ей написал письмо и несколько дней отсутствовал; она ему ответила дней через десять цветной фотографической открыткой: смазливый молодой мужчина наклоняется сзади над зеленой скамейкой, на которой сидит смазливая молодая женщина, любуясь букетом роз, а внизу золотыми буквами немецкий стишок: «Пускай умалчивает сердце о том, что розы говорят». «Какие миленькие, — написала на обороте Соня, — знай наших! А ты — вот что: приходи, у меня три струны лопнули на ракетке». И ни слова о письме. Но зато при одной из ближайших встреч она сказала: «Послушай, это глупо, можешь, наконец, пропустить один день, тебя заменит Киндерман». «У него свои уроки», — нерешительно ответил Мартын, — но все же с Киндерманом поговорил, и вот в удивительный день, совершенно безоблачный, Мартын и Соня поехали в озерные, камышовые, сосновые окрестности города, и Мартын героически держал данное ей слово, не делал мармеладных глаз — ее выражение — и не пытался к ней прикоснуться. С этого дня началась между ними по случайному поводу серия особых разговоров. Мартын, решив поразить Сонино воображение, очень туманно намекнул на то, что вступил в тайный союз, налаживающий кое-какие операции разведочного свойства. Правда, союзы такие существовали, правда, общий знакомый, поручик Мелких, по слухам, пробирался дважды кое-куда, правда и то, что Мартын все искал случая поближе с ним сойтись (раз даже угощал его ужином) и все жалел, что не встретился в Швейцарии с Грузиновым, о котором упомянул Зиланов и который, по наведенным справкам, оказался человеком больших авантюр, террористом, заговорщиком, руководителем недав-

них крестьянских восстаний. «Я не знала, что ты о таких вещах думаешь. Но только, знаешь, если ты правда вступил в организацию, очень глупо об этом сразу болтать». «Ах, я пошутил», — сказал Мартын и загадочно прищурился для того, чтобы Соня подумала, что он нарочно обратил это в шутку. Но она этой тонкости не заметила; валяясь на сухой, хвойными иглами устланной земле, под соснами, стволы которых были испещрены солнцем, она закинула голые руки за голову, показывая прелестные впадины подмышек, недавно выбритые и теперь словно заштрихованные карандашом, — и сказала, что это странно, — она тоже об этом часто думает: вот есть на свете страна, куда вход простым смертным запрещен: «Как мы ее назовем?» — спросил Мартын, вдруг вспомнив игры с Лидой на крымском лукоморье. «Что-нибудь такое — северное, — ответила Соня. — Смотри, белка». Белка, играя в прятки, толчками поднялась по стволу и куда-то исчезла. «Например, — Зоорландия, — сказал Мартын. — О ней упоминают норманны». — «Ну, конечно, — Зоорландия», — подхватила Соня, и он широко улыбнулся, несколько потрясенный неожиданно открывшейся в ней способностью мечтать. «Можно снять муравья?» — спросил он в скобках. «Зависит откуда». — «С чулка». — «Убирайся, милый, — обратилась она к муравью, смахнула его сама и продолжала: — Там холодные зимы и сосулищи с крыш, — целая система, как, что ли, органные трубы, — а потом все тает и все очень водянисто, и на снегу — точки вроде копоти, вообще, знаешь, я все могу тебе рассказать, вот, например, вышел там закон, что всем жителям надо брить головы, и потому теперь самые важные, самые такие влиятельные люди — парикмахеры». «Равенство голов», — сказал Мартын. «Да. И, конечно, лучше всего лысым. И, знаешь — Бубнов был бы счастлив», — в шутку вставил Мартын. На это Соня почему-то обиделась и вдруг иссякла. Все же с того дня она изредка соизволяла играть с ним в Зоорландию, и Мартын терзался мыслью, что она, быть может, изощренно глумится над ним и вот-вот заставит его оступиться, доведя его незаметно до черты, за которой бредни становятся безвкусны, и внезапным хохотом разбудив босого лунатика, который видит вдруг и карниз, на котором висит, и свою задравшуюся рубашку, и толпу на панели, глядящую вверх, и каски пожарных. Но если это был со стороны Сони обман, — все равно, все равно, его прельщала возможность пускать перед ней душу свою налегке. Они изучили зоорландский быт и законы, страна была скалистая, ветреная, и ветер признан был благой силой, ибо, ратуя за равенство, не терпел башен и высоких деревьев, а сам был только выразителем социальных стремлений воздушных слоев, прилежно следящих, чтобы вот тут не было жарче, чем вот там. И, конечно, искусства и науки объявлены были вне закона, ибо слишком обидно и раздражительно для честных невежд видеть задумчивость грамотея и его слишком толстые книги. Бритоголовые, в бурых рясах, зоорландцы грелись у костров, в которых звучно лопались струны сжигаемых скрипок, а иные поговаривали о том, что пора пригладить гористую страну, взорвать горы, чтобы они не торчали так высокомерно. Иногда среди общей беседы, за столом, например, — Соня вдруг поворачивалась к нему и быстро шеп-

тала: «Ты слышал, вышел закон, запретили гусеницам окукляться», — или «Я забыла тебе сказать, что Саван-на-рыло (кличка одного из вождей) приказал врачам лечить все болезни одним способом, а не разбрасываться».

XXXVI

Вернувшись на зиму в Швейцарию, Мартын предвкушал занятную корреспонденцию, но Соня в нечестных своих письмах не упоминала больше о Зоорландии; зато в одном из них просила от имени отца передать Грузинову привет. Оказалось, что Грузинов жил как раз в гостинице, столь привлекшей Мартына, но когда он на лыжах спустился туда, то узнал, что Грузинов на время уехал. Привет он передал жене Грузинова, Валентине Львовне, свежей, ярко одетой сорокаletней даме с иссиня-черными волосами, улыбающейся очень осторожно, так как передние зубы (всегда запачканные кармином) чересчур выдавались и она спешила натянуть на них верхнюю губу. Таких очаровательных рук, как у нее, Мартын никогда не видел: маленьких, мягких, в жарких перстнях. Но, хотя ее все считали привлекательной и восхищались ее плавными телосложениями, звучным, ласковым голосом, Мартын остался холоден, и ему было неприятно, что она, чего доброго, старается ему нравиться. Боялся он, впрочем, зря. Валентина Львовна была к нему так же равнодушна, как к высокому, носатому англичанину с седой щетиной на узкой голове и с пестрым шарфом вокруг шеи, который катал ее на салазках.

«Муж вернется только в июле», — сказала она и принялась расспрашивать про Зилановых. «...Да-да, я слышала, — несчастная мать, —» (Мартын упомянул об Ирине). — «Вы ведь знаете, с чего это началось?» Мартын знал: четырнадцатилетняя Ирина, тогда тихая, полная девочка, склонная к меланхолии, оказалась с матерью в теплушке, среди всякого сброма. Они ехали бесконечно, — и двое забияк, несмотря на уговоры товарищей, то и дело щупали, щипали, щекотали ее и говорили чудовищные сальности, и мать, улыбаясь от ужаса, беспомощно старалась ее защитить и все повторяла: «Ничего, Ирочка, ничего, ах, пожалуйста, оставьте девочку, как вам не совестно, ничего, Ирочка...» — и совершенно так же вскрикивала и причитала, и совершенно так же держала дочь за голову, когда, уже в другом вагоне, поближе к Москве, солдаты — на полном ходу — вытишивали в окно ее толстого мужа, который чудом подобрал семью на засыпанной снегом станции. Да, он был очень толст и истерически смеялся, так как застрял в окне, но наконец напиравшие густо ухнули, и он исчез, и мимо пустого окна мчался слепой снег. Затем был у Ирины тиф, и она непонятно как выжила, но перестала владеть человеческой речью и только в Лондоне научилась по-разному мыштать и довольно сносно произносить «ма-ма».

Мартын никогда как-то с Ириной не занимался, давно привыкнув к ее дурости, но теперь что-то его потрясло, когда Валентина Львовна сказала: «Вот у них в доме есть постоянный живой символ». Зоорландская ночь показалась еще темнее, дебри ее лесов еще глуб-

же, и Мартын уже знал, что никто и ничто не может ему помешать вольным странником пробраться в эти леса, где в сумраке мучат толстых детей и пахнет гарью и тленом. И, когда он по весне вспыхах вернулся в Берлин, к Соне, ему мерещилось (так полны приключений были его зимние ночи), что он уже побывал в той одинокой, отважной экспедиции и вот будет рассказывать, рассказывать. Войдя к ней в комнату, он сказал, торопясь это выговорить, покамест еще не подпал под знакомое опустошительное влияние ее тусклых глаз: «Так-так, я когда-нибудь вернусь и тогда, вот тогда...» «Ничего никогда не будет», — воскликнула она тоном пушкинской Наины. Была она еще бледнее обычновенного, очень уставала на службе; дома ходила в старом черном бархатном платье с ремешком вокруг бедер и в шлепанцах с потрепанными помпонами. Часто по вечерам, надев макинтош, она уходила куда-то, и Мартын, послонявшись по комнатаам, медленно направлялся к трамвайной остановке, глубоко засунув руки в карманы штанов, а перебравшись на другой конец Берлина, нежно посвистывал под окном танцовщицы из «Эреба», с которой познакомился в теннисном клубе. Она вылетала на балкончик, и на миг замирала у перил, и затем исчезала, и, вылетев опять, бросала ему завернутый в бумагу ключ. У нее Мартын пил зеленый мятный ликер и целовал ее в золотую голую спину, и она сильно сдвигала лопатки и трясла головой. Он любил смотреть, как она, быстро и тесно переставляя мускулистые загорелые ноги, ходит по комнате, ругая все того же антрепренера, любил ее странное лицо с неестественно тонкими бровями, оранжеватым румянцем и гладко зачесанными назад волосами, — и тщетно старался не думать о Соне. Как-то, в майский вечер, когда он с улицы переливчато и тихо свистнул, на балкончике, вместо танцовщицы, появился пожилой господин в подтяжках; Мартын вздохнул и ушел, вернулся к дому Зилановых и ходил взад и вперед, от фонаря к фонарю. Соня появилась за полночь, одна, и, пока она рылась в сумке, ища связку ключей, Мартын к ней подошел и робко спросил, куда она ходила. «Ты меня оставил когда-нибудь в покое?» — воскликнула Соня и, не дождавшись ответа, хрустнула дважды ключом, и тяжелая дверь открылась, замерла, бухнула. А затем Мартыну стало казаться, что не только Соня, но и все общие знакомые как-то его сторонятся, что никому он не нужен и никем не любим. Он заходил к Бубнову, и тот смотрел на него странным взглядом, просил извинения и продолжал писать. И наконец, чувствуя, что еще немногого, и он превратится в Сонину тень и будет до конца жизни скользить по берлинским панелям, израсходовав на тщетную страсть то важное, торжественное, что зрело в нем, Мартын решил развязаться с Берлином и где-нибудь, все равно где, в очистительном одиночестве спокойно обдумать план экспедиции. В середине мая, уже с билетом на Страсбург в бумажнике, он зашел попрощаться с Соней, и, конечно, ее не оказалось дома; в сумерках комнаты сидела, вся в белом, Ирина, плавала в сумерках, как призрачная черепаха, и не сводила с него глаз, и тогда он написал на конверте: «В Зоорландии вводится полярная ночь», — и, оставив конверт на Сониной подушке, сел в ожидавший таксомотор и, без пальто, без шляпы, с одним чемоданом, — уехал.

Как только тронулся поезд, Мартын ожил, повеселел, исполнился дорожного волнения, в котором он теперь усматривал необходимую тренировку. Пересев во французский поезд, идущий через Лион на юг, он как будто окончательно высвободился из Сониных туманов. И вот, уже за Лионом, развернулась южная ночь, отражения окон бежали бледными квадратами по черному скату, и в грязном, до ужаса жарком отделении второго класса единственным спутником Мартына был похожий француз, бритый, бровастый, с лоснящимися маслаками. Француз скинул пиджак и быстрым перебором пальцев сверху вниз расстегнул жилет; стянул манжеты, словно отвинтил руки, и бережно положил эти два крахмальные цилиндра в сетку. Затем, сидя на краю лавки, покачиваясь,— поезд шел вовсю, подняв подбородок, он отцепил воротник и галстук, и так как галстук был готовый, пристяжной, то опять было впечатление, что человек разбирается по частям и сейчас снимет голову. Обнажив дряблую, как у индюка, шею, француз облегченно ею повертел и, согнувшись, крякая, сменил ботинки на старыеочные туфли. Теперь в открытой на курчавой груди рубашке он производил впечатление доброго малого, слегка подвыпившего,— ибо эти ночные спутники, с блестящими бледными лицами и осоловелыми глазами, всегда кажутся захмелевшими от вагонной качки и жары. Порывшись в корзине, он вынул бутылку красного вина и большой апельсин, сперва глотнул из горлышка, чмокнул губами, крепко, со скрипом, вдавил пробку обратно и принялся большим пальцем оголять апельсин, предварительно укусив его темя. И тут, встретившись глазами с Мартыном, который, положив на колено [книгу] Таухница, только что приготовился зевнуть, француз заговорил: «Это уже Прованс»,— сказал он с улыбкой, шевельнув усатой бровью по направлению окна, в зеркально-черном стекле которого чистил апельсин его тусклый двойник. «Да, чувствуется юг»,— ответил Мартын. «Вы англичанин?» — осведомился тот и разорвал на две части очищенный, в клочьях седины, апельсин. «Правильно,— ответил Мартын.— Как вы угадали?» Француз, сочно жуя, повел плечом. «Не так уж мудрено»,— сказал он и, глотнув, указал волосатым пальцем на Таухницу. Мартын снисходительно улыбнулся. «А я лионец,— продолжал тот,— и состою в винной торговле. Мне приходится много разъезжать, но я люблю движение. Видишь новые места, новых людей, мир, наконец. У меня жена и маленькая дочь»,— добавил он, вытирая бумажкой концы растопыренных пальцев. Затем, посмотрев на Мартына, на его единственный чемодан, на мятые штаны и сообразив, что англичанин-турист вряд ли поехал бы вторым классом, он сказал, заранее кивая: «Вы путешественник?» Мартын понял, что это просто сокращение — вояжер вместо коммивояжер. «Да, именно путешественник,— ответил он, старательно придавая французской речи британскую густоту,— но путешественник в более широком смысле. Я еду очень далеко». — «Но вы в коммерции?» Мартын замотал головой. «Вы это, значит, делаете для вашего удовольствия?» — «Пожалуй», — согласился Мартын. Француз помолчал и затем спросил: «Вы едете пока что в Марсель?» — «Да, вероятно, в

Марсель. У меня, видите ли, не все еще приготовления закончены». Француз кивнул, но явно был озадачен. «Приготовления,— продолжал Мартын,— должны быть в таких вещах очень тщательны. Я около года провел в Берлине, где думал найти нужные мне сведения, и что же вы думаете?..» — «У меня племянник инженер»,— вкрадчиво вставил француз. «О, нет, я не занимаюсь техническими науками, не для этого я посещал Германию. Но вот — я говорю: вы не можете себе представить, как было трудно выуживать справки. Дело в том, что я предполагаю исследовать одну далекую, почти недоступную область. Кое-кто туда пробирался, но как этих людей найти, как их заставить рассказать? Что у меня есть? Только карта»,— и Мартын указал на чемодан, где действительно находилась одноверстка, которую он добыл в Берлине в бывшем Генеральном штабе. Последовало молчание. Поезд гремел и трясясь. «Я всегда утверждаю,— сказал француз,— что у наших колоний большая будущность. У ваших, разумеется, тоже,— и у вас их так много. Одинlionец из моих знакомых провел десять лет в тропиках и говорит, что охотно бы туда вернулся. Он мне однажды рассказывал, как обезьяны, держа друг друга за хвосты, переходят по стволу через реку,— это было дьявольски смешно,— за хвосты, за хвосты...» — «Колонии это особая статья,— сказал Мартын.— Я собираюсь не в колонии. Мой путь будет пролегать через дикие опасные места, и — кто знает? — может быть, мне не удастся вернуться». — «Это экспедиция научная, что ли?» — спросил француз, раздавливая задними зубами зевок. «Отчасти. Но — как вам объяснить? Это не главное. Главное, главное... Нет, право, не знаю, как объяснить». — «Понятно, понятно,— устало сказал француз.— Вы, англичане, любите пари и рекорды,— слово „рекорды“ прозвучало у него сонным рычанием.— На что миру голая скала в облахах? Или — ох, как хочется спать в поезде! — айсберги, как их зовут, полюс — наконец? Или болота, где дохнут от лихорадки?» — «Да, вы, пожалуй, попали в точку, но это не все, не только спорт. Да, это далеко не все. Ведь есть еще — как бы сказать? — любовь, нежность к земле, тысячи чувств, довольно таинственных». Француз сделал круглые глаза и вдруг, подавшись вперед, легонько хлопнул Мартына по колену. «Смеяться изволите надо мной?» — сказал он благодушно. «Ах, ничуть, ничуть». — «Полно,— сказал он, откинувшись в свой угол.— Вы еще слишком молоды, чтобы бегать по Сахарам. Если разрешите, мы сейчас притушим свет и соснем».

XXXVIII

Тьма. Француз почти тотчас захрапел. «А все-таки он поверил, что я англичанин. И вот так я буду ехать на север, вот так,— в вагоне, который нельзя остановить,— а потом, потом...» Он побрел по лесной тропинке, тропинка разматывалась, разматывалась, но сон к нему навстречу не шел. Мартын открыл глаза. Хорошо бы спустить оконную раму. Теплый ночной ветер хлынул в лицо, и, напрягая зрение, Мартын высунулся, но в глаза летела незримая пыль, быстрая ночь ослепляла, он втянул голову. В темноте отделения раздался кашель. «Нет уж,

пожалуйста,— проговорил недовольный голос.— Я не желаю спать под звездами. Закройте, закройте».— «Закройте сами»,— сказал Мартын и, выйдя в освещенный коридор, пошел мимо отделений, где угадывалась сонная машина беспомощных, полураздетых тел, сопение и вздохи, по-рыбы открытые рты, клонящаяся и вдруг поднимающаяся голова, а прямо ей в нос — чужая пятка. Перебираясь из тамбура в тамбур по скрежещущим железным площадкам, Мартын прошел через два вагона третьего класса. Двери некоторых отделений были открыты, в одном голубые солдаты шумно играли в карты. Дальше, в коридоре спального вагона, он остановился у полуспущенного окна и так живо вспомнил вдруг детское свое путешествие по Югу Франции, и вот это откидное сидение у окна, и матерчатый ремень, при помощи которого можно было управлять поездом, и дивную мелодию на трех языках,— особенно: периколоза... Он подумал,— какая странная, странная выдалась жизнь,— ему показалось, что он никогда не выходил из экспресса, а просто слонялся из одного вагона в другой, и в одном были молодые англичане, Дарвин, торжественно берущийся за рукоять тормоза, в другом — Алла с мужем, а не то — крымские друзья, или хранивший дядя Генрих, или Зилановы, Михаил Платонович, с газетой, Соня, тусклым взглядом уставившаяся в окно. «А потом пешечком, пешечком»,— взволнованно проговорил Мартын,— лес и вьющаяся в нем тропинка... какие большие деревья! А тут, в этом спальном вагоне, тут ехало, должно быть, детство его; дрожа, освобождало кожаную сторку, а если пройти дальше, там — вагон-ресторан, и отец с матерью обедают — на столике болванка шоколада в фиолетовой обертке, а над раскидными дверцами мреет винтовой вентилятор среди цветущих реклам. И вдруг Мартын увидел в окне то, что видел и в детстве,— огни, далеко, среди темных холмов; вот кто-то их пересыпал из ладони в ладонь и положил в карман. И пока он глядел, поезд начал тормозить,— и тогда Мартын сказал себе, что, если будет сейчас станция, он выйдет, и уже оттуда пойдет к огням. Так и случилось. Подплыла платформа, лунный диск часов, и поезд остановился, выдохнув: «Уш-ш-ш-ш...» Мартын опрометью бросился к своему вагону, не сразу мог найти отделение, дважды внедрялся в чужую сопящую темноту и наконец нашел, бесцеремонно зажег свет, и француз на лавке медленно приподнялся, протирая кулаком глаза. Мартын сдернул чемодан, сунул в карман книгу,— все это страшно спеша. Он не заметил, что уже поезд тихо поплыл, и потому едва не упал, спрыгнув на скользящую платформу. Прошли окна, окна, окна, и вот — уже поезда нет, пустые рельсы, поблескивание угольной пыли между шпал.

Мартын, глубоко дыша, пошел по платформе, и носильщик, везущий на тачке ящик с надписью «Fragile», весело сказал, с особой южной металлической интонацией: «Вы проснулись вовремя». «Скажите,— полюбопытствовал Мартын,— что в этом ящике?» Тот взглянул на ящик, точно впервые его заметил. «Музей естественных наук»,— прочел он адрес. «Вот оно что, вероятно коллекция»,— произнес Мартын и направился туда, где стояло несколько столиков у входа в тускло освещенный буфет.

Воздух был бархатный, теплый; белым светом горел газовый фо-

нарь, и вокруг — металась бледная мошара, и одна широкая, темная бабочка на седой подкладке. Стену украшало саженное объявление военного ведомства, старающееся соблазнить молодых людей прелестями военной службы: на переднем плане — бравый французский солдат, на заднем — финиковая пальма, дромадер, араб в бурнусе, а с краю — две пышные женщины в чарчафах.

Платформа была безлюдна. Поодаль стояли клетки со спящими курами. По ту сторону рельс смутно чернели растрепанные кусты. Пахло в воздухе углем, можжевельником и мочой. Из буфета вышла смуглая старуха, и Мартын спросил себе аперитив, прекрасное название коего прочел на одной из реклам. Погодя рабочий, весь в синем, сел за соседний столик и, уронив голову на руки, уснул.

«Я хочу кое-что узнать,— сказал Мартын старухе.— Подъезжая сюда, я видел огни». — «Где? Вон там?» — переспросила она, протянув руку в том направлении, откуда пришел поезд. Мартын кивнул. «Это может быть только Молиньяк,— сказала она.— Да, Молиньяк. Маленькая деревня». Мартын расплатился и пошел к выходу. Темная площадь, платаны, дальше — синеватые дома, узкая улица. Он уже шел по ней, когда спохватился, что забыл посмотреть с платформы на вокзальную вывеску, и теперь не знает названия города, в который попал. Это приятно взволновало его. Как знать,— быть может, он уже за границей чертой... ночь, неизвестность... сейчас окликнут...

XXXIX

Пробнувшись на другое утро, Мартын не сразу мог восстановить вчерашнее,— а проснулся он оттого, что лицо щекотали мухи. Замечательно мягкая постель; аскетический умывальник, а рядом туалетное орудие скрипичной формы; жаркий голубой свет, дышащий в светлую занавеску. Он давно так славно не высыпался, давно не был так голоден. Откинув занавеску, он увидел напротив ослепительно белую стену в пестрых афишах, а несколько левее полосатые маркизы лавок, пегую собаку, которая задней лапой чесала себе за ухом, и блеск воды, струящейся между панелью и мостовой.

...Звонок громко побежал по всей двухэтажной гостинице, и, бойко топая, пришла яркоглазая грязная горничная. Он потребовал много хлеба, много масла, много кофе и, когда она все это принесла, спросил, как ему добраться до Молиньяка. Она оказалась разговорчивой и любознательной. Мартын мельком упомянул о том, что он немец,— приехал сюда по поручению музея собирать насекомых, и при этом горничная задумчиво посмотрела на стену, где виднелись подозрительные точки. Постепенно выяснилось, что через месяц, может быть, даже раньше, между городом и Молиньяком установится автобусное сообщение. «Значит, надо пешком?» — спросил Мартын. «Пятнадцать километров,— с ужасом воскликнула горничная,— что вы! Да еще по такой жаре...»

Купив карту местности в табачной лавке, над вывеской которой торчала трехцветная трубка, Мартын зашагал по солнечной стороне уложки и сразу заметил, что его открытый ворот и отсутствие головного убора возбуждают всеобщее внимание. Городок был яркий, белый,

резко разделенный на свет и на тень, с многочисленными кондитерскими. Дома, налезая друг на друга, отошли в сторону, и шоссейная дорога, обсаженная огромными платанами с телесного цвета разводами на зеленых стволах, потекла мимо виноградников. Редкие встречные, каменщики, дети, бабы в черных соломенных шляпах,— съедали глагазами. Мартыну внезапно явилась мысль проделать полезный для будущего опыт: он пошел, хоронясь,— перескакивая через канаву и скрываясь за ежевику, если вдали показывалась повозка, запряженная осликом в черных шорах, или пыльный, расхлябанный автомобиль. Версты через две он и вовсе покинул дорогу и стал пробираться параллельно с ней по косогору, где дубки, блестящий мирт и каркасные деревца заслоняли его. Солнце так пекло, так трещали цикады, так пряно и жарко пахло, что он вконец разомлев и сел в тени, вытирая платком холодную, липкую шею. Посмотрев на карту, он убедился в том, что на пятом километре дорога делает петлю, и потому, если пойти на восток через вон тот желтый от дрока холм, можно, вероятно, попасть на ее продолжение. Перевалив на ту сторону, он действительно увидел белую змею дороги и опять пошел вдоль нее, среди благоуханных зарослей и все радовался своей способности опознавать местность.

Вдруг он услышал прохладный звук воды и подумал, что в мире нет лучше музыки. В туннеле листвы дрожал на плоских камнях ручей. Мартын опустился на колени, утолил жажду, глубоко вздохнул. Затем он закурил: от серной спички передался в рот сладковатый вкус, и огонек спички был почти незрим в знойном воздухе. И, сидя на камне и слушая журчание воды, Мартын насладился сполна чувством путевой беспечности,— он, потерянный странник, был один в чудном мире, совершенно к нему равнодушном,— играли в воздухе бабочки, юркали ящерицы по камням и блестели листья, как блестят они и в русском лесу, и в лесу африканском.

Было уже далеко за полдень, когда Мартын вошел в Молиньянк. Вот, значит, где горели огни, звавшие его еще в детстве. Тишина, зной. В бегущей вдоль узкой панели узловатой воде сквозило разноцветное дно,— черепки битой посуды. На булыжниках и на теплой панели дремали робкие, белые, страшно худые собаки. Посреди небольшой площади стоял памятник: лицо женского пола, с крыльями, поднявшее знамя.

Мартын прежде всего зашел на почтamt, где было прохладно, темновато, сонно. Там он написал матери открытку под пронзительное зудение мухи, одной лапкой при克莱ившейся к медово-желтому листу на подоконнике. С этой открытки начался новый пакетик в комоде у Софии Дмитриевны,— предпоследний.

XL

Хозяйке единственной в Молиньянке гостиницы и затем брату хозяйки, лиловому от вина и полнокровия фермеру, к которому, в виду полного обнищания, ему пришлось через неделю наняться в батраки, Мартын сказал, что — швейцарец (это подтверждал паспорт), и дал понять, что давно шатается по свету, работая где попало. Третий раз таким образом

он менял отчество, пытая доверчивость чужих людей и учась жить инкогнито. То, что он родом из далекой северной страны, давно приобрело оттенок обольстительной тайны. Вольным заморским гостем он разгуливал по басурманским базарам,— все было очень занимательно и пестро, но где бы он ни бывал, ничто не могло в нем ослабить удивительное ощущение избранности. Таких слов, таких понятий и образов, какие создала Россия, не было в других странах,— и часто он доходил до косноязычия, до нервного смеха, пытаясь объяснить иностранцу, что такое «оскомина» или «пошлость». Ему льстила влюбленность англичан в Чехова, влюбленность немцев в Достоевского. Как-то в Кембридже он нашел в номере местного журнала шестидесятых годов стихотворение, хладнокровно подписанное «А. Джемсон»: «Я иду по дороге один, мой каменистый путь простирается далеко, тиха ночь и холоден камень, и ведется разговор между звездой и звездой». На него находила поволока странной задумчивости, когда, бывало, доносились из пропасти берлинского двора звуки переимчивой шарманки, не ведающей, что ее песня жалобила томных пьяниц в русских кабаках. Музыка... Мартыну было жаль, что какой-то страж непускает ему на язык звуков, живущих в слухе. Все же, когда, повисая на ветвях провансальских черешен, горланили молодые итальянцы-рабочие, Мартын — хрюплю и бодро, и феноменально фальшиво — затягивал что-нибудь свое, и это был звук той поры, когда на крымскихочных пикниках баритон Зарянского, потопляемый хором, пел о чарочеке, о семиструнной подруге, об иностранном-странным-странным офицере.

Глубоко внизу бежала под ветром люцерна, сверху наваливалась жаркая синева, у самой щеки шелестели листья в серебристых прожилках, и kleenчатая корзинка, нацепленная на сук, постепенно тяжелела, наполняясь крупными, глянцевито-черными черешнями, которые Мартын срывал за туго хвосты. Когда черешни были собраны, поспело другое: абрикосы, пропитанные солнцем, и персики, которые следовало нежно подхватывать ладонью, а то получались на них синяки. Были и еще работы: по пояс голый, с уже терракотовой спиной, Мартын, в угоду молодой кукурузе, разрыхлял, подкучивал землю, выбивал углом цапки лукавый, упорный пырей или часами нагибался над ростками яблонь и груш, щелкал секатором,— и как же весело было, когда из дворового бассейна проводилась вода к питомнику, где киркой проложенные борозды соединялись между собой и с чашками, расцепанными вокруг деревец; блестая на солнце, растекалась по всему питомнику напущенная вода, пробиралась, как живая, вот остановилась, вот побежала дальше, словно нащупывая пути, и Мартын, изредка морщась от уковов крохотных рабенников, чавкал по щиколотки в жирной, лиловой грязи,— тут втыкал с размаху железный щит в виде преграды,— и, хлюпая, шел к чашке вокруг деревца: чашка наполнялась пузырчатой, коричневой водой, и он шарил в ней лопатой, сердобольно размягчая почву, и что-то изумительно легчало, вода просачивалась, благодатно омыvalа корни. Он был счастлив, что умеет утолить жажду растения, счастлив, что случай помог ему найти труд, на котором он может проверить и сметливость свою, и выносливость. Он жил, вместе с другими рабочими, в сарае, выпивал, как они, полтора литра вина в сут-

ки и находил спортивную отраду в том, что от них не отличается ничем,— разве только светлой бородкой, незаметно им отпущенной.

По вечерам, перед тем как завалиться спать, он шел покурить и по-грезить к пробковой роще за фермой. Где-то невдалеке прерывисто и сочно свистали соловьи, а с бассейна уже доносился гуттаперчевый, давящийся квох лягушек. Воздух был нежен и тускловат, это были не совсем сумерки, но уже не день, и террасы олив, и мифологические холмы вдалеке, и отдельно стоящая на бугре сосна — все было немножко плоско и обмороочно, а ровное, потухшее небо теснило, дурманило, и хотелось поскорее, чтобы в нем просквозили живительные звезды. Темнело, темнело, на почерневших холмах уже вздрагивали огоньки, зажигались окна в хозяйствском доме, еще минута — и окрест был сумрак, и, когда, далече-далече, в неведомой темноте, горящими члениками про-полз ал рокочущий поезд и внезапно исчезал. Мартын с удовольствием говорил себе, что оттуда, из этого поезда, видны ферма и Молиньян, как соблазнительная пригоршня огней. Он радовался, что послушался их, раскрыл их прекрасную, тихую сущность,— и однажды, в воскрес-ный вечер, он набрал в Молиньянке на небольшой белый дом, окружен-ный крутыми виноградниками, и увидел покосившийся столб с надписью: «продается». В самом деле,— не лучше ли отбросить опас-ную и озорную затею, не лучше ли отказаться от желания заглянуть в беспощадную зоорландскую ночь, и не поселиться ли с молодой женой вот здесь, на клине тучной земли, ждущей трудолюбивого хозяина? Да, надо было решить: время шло, близилась черная осенняя ночь, им намеченная для перехода, и он уже чувствовал себя отдохнувшим, спо-койным, уверенным в своей способности прикидываться чем угодно, нигде не теряться, всегда умел жить так, как требуют обстоя-тельства...

И вот, пытая судьбу, он написал Соне. Ответ пришел скоро, и, проч-тя его, Мартын облегченно вздохнул. «Да не мучь ты меня,— писала Соня.— Ради Бога, довольно. Я не буду твоей женой никогда. И я не-навижу виноградники, жару, змей и, главное, чеснок. Поставь на мне крест, удружи, миленький».

В тот же день он на автобусе покатил в город, сбрил светлую бородку, взял в гостинице чемодан и пошел на станцию. Там, у того же столика, положив голову на руку, дремал тот же рабочий. Зажглись фонари, реяли летучие мыши, выцвело зеленоватое небо. «Прощай, прощай!— на какой-то песенный лад подумал Мартын, глядя на растрепанный можжевельник по ту сторону уже дрожавших рельс, на семафор, на черный силуэт человека, подвигавшего черный силуэт тачки.

Влетел ночной экспресс, через минуту тронулся опять, и Мартына пронзило мгновенное желание выскочить, вернуться на благополучную, на сказочную ферму. Но станция уже сгинула. Глядя в окно, он ждал появления Молиньянских огней, чтобы проститься с ними. Вот эти рас-сыпались вдалеке,— они были так хороши, даже как-то не верилось... «Скажите,— обратился Мартын к кондуктору,— вон эти огни, это — Молиньян?» — «Какие огни?» — спросил тот и взглянул в окно,— но тут все заслонил вдруг поднявшийся скат. «Во всяком случае, это не Молиньян,— сказал кондуктор.— Молиньян не виден отсюда».

На швейцарской границе Мартын купил «Зарубежное слово» и едва поверил глазам, заметив внизу крупный заголовок фельетона: «Зоорландия». Подписано было «С. Бубнов». Это оказался короткий, чудесным языком написанный рассказ «с налетом фантастики», как выражаются критики, и в нем Мартын со смущением и ужасом узнал (словно произошла страшная непристойность) многое из того, о чем он говорил с Соней,— но все это было странно освещено чужим, бубновским воображением. «Какая она все-таки предательница»,— подумал Мартын и в порыве острой и безнадежной ревности вспомнил, как видел однажды Бубнова и Соню, идущих по темной улице под руку, и как уверил себя, что обознался, когда Соня на другой день сказала, что была с Веретенниковой в кинематографе.

Моросило, горы были видны только до половины, когда, в шарabanе, среди тюков, корзин и тучных женщин, он приехал в деревню, от которой было десять минут ходьбы до дядиного дома. Софья Дмитриевна знала, что сын скоро должен приехать,— третий день ждала телеграммы, с волнением думая, как поедет его встречать на станцию в автомобиле. Она сидела в гостиной и вышивала, когда услышала из сада басок сына и тот его круглый, глуховатый смех, которым он смеялся, когда возвращался после долгой разлуки. Мартын шел рядом с раскрасневшейся Марией, которая старалась выхватить у него чемодан, а он его на ходу все перемещал из одной руки в другую. Сын был с лица медно-темен, глаза посветлели, от него дивно пахло табачным перегаром, мокрой шерстью пиджака, поездом. «Ты теперь надолго, надолго»,— повторяла она счастливым, лающим голосом. «Вообще — да,— солидно ответил Мартын.— Только вот недели через две мне нужно будет съездить по делу в Берлин,— а потом я вернусь». «Ах, какие там дела, успеется!» — воскликнула она,— и дядя Генрих, который почивал у себя после завтрака, проснулся, прислушался, поспешно обулся и спустился вниз.

«Блудный сын,— сказал он, входя,— я очень рад тебя видеть опять». Мартын щекой коснулся его щеки, и оба одновременно чмокнули пустоту, как было между ними принято. «Надеюсь — на некоторое время?» — спросил дядя, не спуская с него глаз, и ощупью взялся за спинку стула, и сел, растопырив ноги. «Вообще — да,— ответил Мартын, пожирая ветчину,— только вот недели через две мне придется съездить в Берлин,— но потом я вернусь». — «Не вернешься,— сказала со смехом Софья Дмитриевна,— знаю тебя. Ну, расскажи, как это все было. Неужели ты правда пахал, и косил, и доил?» — «Доить очень весело»,— сказал Мартын и показал двумя расставленными пальцами, как это делается (как раз доить коров ему в Молиньяке не приходилось,— был для этого его тезка, Мартэн Рок,— и неизвестно, почему он сначала рассказал именно об этом, когда было так много другого, подлинного).

Утром, взглянув на горы, Мартын снова, на тот же несколько всхлипывающий мотив, подумал: «Прощай, прощай»,— но сразу пожурил себя за недостойное малодушие, и тут вошла Софья Дмитриевна с пись-

мом и, уже с порога — так, чтобы не дать времени сыну напрасно подумать, что это от Сони,— бодро сказала: «От твоего Дарвина. Забыла тебе вчера дать». Мартын с первых же строк начал тихо смеяться. Дарвин писал, что женится на удивительной девушки, англичанке, встреченной в гостинице над Ниагарой, что ему приходится много разъезжать и что он будет через неделю в Берлине. «Да пригласи его сюда,— живо сказала Софья Дмитриевна,— чего же проще?» — «Нет-нет, я тебе говорю, что я должен там быть, выходит вполне удачно...»

«Скажи, Мартын», — начала Софья Дмитриевна и замялась. «В чем дело?» — спросил он со смехом. «Как у тебя там все,— ну, ты знаешь, о чем я спрашиваю... Ты, может быть, уже обручен?» Мартын щурился, и смеялся, и ничего не отвечал. «Я буду ее очень любить», — тихо, святым голосом, произнесла Софья Дмитриевна. «Пойдем гулять, чудная погода», — сказал Мартын, делая вид, что меняет разговор. «Ты пойди, — ответила она. — Я, дура, как раз на сегодня пригласила стариakov Друэз, и они умрут от разрыва сердца, если им протелефонировать».

В саду дядя Генрих прилаживал лесенку к стволу яблони и потом, с величайшей осторожностью, поднялся на третью ступеньку. У колодца, позабыв о ведре, переполнявшемся блестящей водой, стояла, подбоченясь, Мария и глядела куда-то в сторону. Она очень раздобрела за последние годы, но в эту минуту, с солнечными бликами на голой шее, на платье, на туго скрученных косах, она Мартыну напоминала его мимолетную влюбленность. Мария быстро повернула к нему лицо. Толстое и тупое.

XLII

Упруго идя по тропе в черной еловой чащце, где, там и сям, сияла желтизной тонкая береза, он с восторгом предвкушал вот такую же прохваченную солнцем глушь, с паутинами, растянутыми на лучах, с зарослями царского чая в сырых ложбинках, — и вдруг просвет, и дальше — простор, пустые осенние поля, на пригорке плотную белую церковку, пасущую несколько бревенчатых изб, готовых вот-вот разбрестись, и вокруг пригорка ясную излучину реки с кудрявыми отражениями. Он был почти удивлен, когда, сквозь черноту хвой, глянул альпийский склон.

Это напомнило ему, что до отъезда следовало рассчитаться с совестью. Деловито и неторопливо он поднялся по склону, достиг серых изломанных скал, вскарабкался по каменистой крутизне и оказался на той площадке, откуда вел за угол знакомый карниз. Не задумываясь, исполняя приказ, коего ослушаться было немыслимо, он принялся боком переступать по узкой полке и, когда дошел до конца, посмотрел через плечо и увидел тотчас за каблуками солнечную безду, и в самой глубине — фарфоровую гостиницу. «На, выкуси», — сказал ей Мартын и, не поддаваясь головокружению, двинулся налево, откуда пришел, — и еще раз остановился, и, проверяя свою выдержку, попробовал извлечь из заднего кармана штанов портсигар и закурить. Было одно мгновение, когда, грудью касаясь скалы, он руками за нее не держался и чувство-

вал, как пропасть за ним напрягается, тянет его за икры и плечи. Он не закурил только потому, что выронил спичечный коробок, и было очень страшно, что звука падения не последовало, и, когда он опять двинулся по карнизу, ему казалось, что коробок все еще летит. Благополучно добравшись до площадки, Мартын крякнул от радости и опять деловито, со строгим сознанием выполненного долга, пошел вниз по склону и, найдя нужную тропинку, спустился к белой гостинице — посмотреть, что она на все это скажет. Там — в саду, около тенниса, — он увидел Валентину Львовну, сидевшую на скамейке рядом с господином в белых штанах, и понадеялся, что она не заметит его, — было жаль так скоро растрясти то драгоценное, что принес он с вершины. «Мартын Сергеич, а Мартын Сергеич», — крикнула она, и Мартын осклабился и подошел. «Это сын доктора Эдельвейса», — сказала Валентина Львовна господину в белых штанах. Тот привстал и, не снимая канотье, отдинул локтю, нацелился и, резко выехав вперед ладонью, крепко пожал Мартыну руку. «Грузинов», — сказал он вполголоса, как будто сообщая тайну.

«Надолго приехали?» — спросила Валентина Львовна с улыбкой и быстро натянула яркую, с пушком, губу на большие розовые зубы. «Вообще — да, — сказал Мартын. — Только вот съезжу по делам в Берлин, а потом вернусь». «Мартын... Сергеевич?» — тихо спряталася Грузинов и, на утвердительный ответ Мартына, прикрыл веки и повторил его имя-отчество еще раз про себя. «А знаете, вы...» — проговорила Валентина Львовна и сделала вазообразный жест своими дивными руками. «Еще бы, — ответил Мартын. — Я батрачил на юге Франции. Там так спокойно живется, что нельзя не поправиться». Грузинов двумя пальцами потрогал себя за углы рта, и при этом его доброе, чистое, моложавое лицо со сливочным оттенком на щеках, из которых, казалось, можно было сделать тянички, приняло немного бабье выражение. «Да, вспомнил, — сказал он. — Его зовут Круглов, и он женат на турчанке („ах, садитесь“, — вскользь произнесла Валентина Львовна и двумя толчками отдинула вбок свое мягкое, очень надушенное тело, — чтобы дать Мартыну место на скамейке), — у него как раз заимка на юге Франции, — развел свою мысль Грузинов, — и, кажется, он поставляет в город жасмин. Вы в каких же местах были, — тоже в духодельных?» Мартын сказал. «Во-во, — подхватил Грузинов, — где-то там поблизости. А может быть, и не там. Вы что, учитеесь в берлинском университете?» — «Нет, я кончил в Кембридже». — «Весьма любопытно, — веско сказал Грузинов. — Там еще сохранились римские водопроводы, — продолжал он, обратившись к жене. — Представь себе, голубка, этих римлян, которые вдалеке от родины устраиваются на чужой земле, — и заметь: хорошо, удобно, по-барски».

Мартын никаких особых водопроводов в Кембридже не видел, но все же счел нужным закивать. Как всегда в присутствии людей замечательных, с необыкновенным прошлым, он испытывал приятное волнение и уже решал про себя, как лучше всего воспользоваться новым знакомством. Оказалось, однако, что Юрия Тимофеевича Грузинова не так-то легко привести в благое состояние духа, когда человек вылезает из себя, как из норы, и усаживается нагишом

на солнце. Юрий Тимофеевич не желал вылезать. Он был в совершенстве добродушен и вместе с тем непроницаем, он охотно говорил на любую тему, обсуждал явления природы и человеческие дела, но всегда было что-то такое в этих речах, отчего слушатель вдруг спрашивал себя, не измывается ли над ним потихоньку этот сдобный, плотный, опрятный господин с холодными глазами, как бы не участвующими в разговоре. Когда прежде, бывало, рассказывали о нем, о страсти его к опасности, о переходах через границу, о таинственных восстаниях, Мартын представлял себе что-то властное, орлиное. Теперь же, глядя, как Юрий Тимофеевич открывает черный, из двух частей, футляр и нацепляет для чтения очки,— очень почему-то простые очки, в металлической оправе, какие под стать было бы носить пожилому рабочему, мастеру со складным аршином в кармане,— Мартын чувствовал, что Грузинов другим и не мог быть. Его простоватость, даже некоторая рыхлость, старомодная изысканность в платье (фланелевый жилет в полоску), его шутки, его обстоятельность,— все это было прочной оболочкой, коконом, который Мартын никак не мог разорвать. Однако самый факт, что встретился он с ним почти накануне экспедиции, казался Мартыну залогом успеха. Это тем более было удачно, что, вернувшись Мартын в Швейцарию на месяц позже, он бы Грузинова не застал: Грузинов был бы уже в Бессарабии.

XLIII

Прогулки. До водопада, до Сен-Клерса, до пещеры, где некогда жил отшельник. И обратно. Сентябрь был жаркий, погожий. Утром, бывало, моросит, а уже к полудню весь мир нежно вспыхивает на солнце, блестят стволы деревьев, горят синие лужи на дороге, и горы, разогревшись, освобождаются от туманного облачения. Впереди — Софья Дмитриевна и Валентина Львовна, сзади — Грузинов и Мартын. Грузинов шагал с удовольствием, крепко опираясь на самодельную трость, и не любил, когда останавливались, чтобы поглязеть на вид: он говорил, что это портит ритм прогулки. Раз с какой-то фермы метнулась овчарка и стала посреди дороги, урча. Валентина Львовна сказала: «ой, я боюсь», — зашла за спину мужа, а Мартын взял палку из руки матери, которая, обращаясь к собаке, издавала тот звук, каким у нас подгоняют лошадей. Один Грузинов поступил правильно: он сделал вид, что поднимает с земли камень, и собака сразу отскочила. Пустяк, конечно, — но Мартын любил такие пустяки. В другой раз, видя, что Мартыну трудно идти без трости по очень крутой тропинке, Грузинов извлек из кармана финский нож, выбрал деревцо и, молча, очень точными ударами ножа, смастерил ему палку, гладкую, белую, еще живую, еще свежую на ощупь. Тоже пустяк, — но эта палка почему-то пахла Россией. Софья Дмитриевна находила Грузинова милейшим и как-то за завтраком сказала мужу, что он непременно должен поближе с ним познакомиться, что о нем уже сложили легенды. «Не спорю, не спорю, — ответил дядя Генрих, поливая салат уксусом, — но ведь это авантюрист, человек не совсем нашего общества,

впрочем, если хочешь, зови». Мартын пожалел, что не услышит, как Юрий Тимофеевич разговорится с дядей Генрихом,— о деспотизме машин, о вещественности нашего века. После завтрака Мартын последовал за дядей в кабинет и сказал: «Я во вторник еду в Берлин. Мне нужно с тобой поговорить».— «Куда тебя несет?» — недовольно спросил дядя Генрих и добавил, тараща глаза и качая головой: «Твоя мать будет крайне огорчена,— сам знаешь».— «Я обязан поехать,— продолжал Мартын.— У меня есть дело».— «Амурное?» — полюбопытствовал дядя Генрих. Мартын без улыбки покачал головой. «Так что же?» — пробормотал дядя Генрих и поглядел на кончик зубочистки, которой он уже некоторое время производил раскопки. «Это о деньгах,— довольно твердо сказал Мартын,— я хочу попросить тебя дать мне в долг. Ты знаешь, что я летом хорошо зарабатываю. Я тебе летом отдам».— «Сколько?» — спросил дядя Генрих, и лицо его приняло довольно выражение, глаза подернулись влагой,— он чрезвычайно любил показывать Мартыну свою щедрость. «Пятьсот франков». Дядя Генрих поднял брови. «Это, значит, карточный долг, что ли?» — «Если ты не хочешь...» — начал Мартын, с ненавистью глядя, как дядя обсасывает зубочистку. Тот сразу испугался. «У меня есть правило,— проговорил он примирительно,— никогда не следует требовать от молодого человека откровенности. Я сам был молод и знаю, как иногда молодой человек бывает опрометчив, это только естественно. Но следует избегать азартных... ах, постой же, постой, куда ты,— я же тебе дам, я дам,— мне не жалко,— а насчет того, чтобы вернуть...» — «Значит, ровно пятьсот,— сказал Мартын,— и я уезжаю во вторник».

Дверь приоткрылась. «Мне можно? — спросила Софья Дмитриевна тонким голосом.— Какие у вас тут секреты? — немного жеманно продолжала она, беспокойно перебегая глазами с сына на мужа.— Мне разве нельзя знать?» «Да нет, все о том же,— о братьях Пти», — ответил Мартын. «А он, между прочим, во вторник отывает», — произнес дядя Генрих и сунул зубочистку в жилетный карман. «Как, уже?» — протянула Софья Дмитриевна. «Да, уже, уже, уже, уже», — с не свойственным ему раздражением сказал сын и вышел из комнаты. «Он без дела свихнется», — заметил дядя Генрих, комментируя грохот двери.

XLIV

Когда Мартын вошел в надоевший сад гостиницы, он увидел Юрия Тимофеевича, стоящего у теннисной площадки, на которой шла довольно живая игра между двумя юношами. «Смотрите,— козлами скачут,— сказал Грузинов,— а вот у нас был кузнец, вот он действительно здорово жарил в лапту,— за каланчу лупнет, или за речку,— очень просто. Пустить бы его сюда, как бы он разбил этих молодчиков». «В теннисе другие правила», — заметил Мартын. «Он бы им без всяких правил наклал», — спокойно возразил Грузинов. Последовало молчание. Хлопали мячи. Мартын прищурился. «У блондина довольно классный драйв». «Комик», — сказал Грузинов и потрапал его по

плечу. Меж тем подошла Валентина Львовна, плавно покачивая бедрами, а потом завидела двух знакомых барышень англичанок и поплыла к ним, осторожно улыбаясь. «Юрий Тимофеевич,— сказал Мартын,— у меня к вам разговор.— Это важно и секретно». «Сделайте одолжение. Я — гроб-могила». Мартын нерешительно огляделся. «Я не знаю...» — начал он. «Дык пойдемте ко мне», — предложил Грузинов.

В номере было тесно, темновато, и сильно пахло духами Валентины Львовны. Грузинов растворил окно, на один миг он был как большая темная птица, раскинутая на золотом фоне, и затем все вспыхнуло, солнце, разбежавшись по полу, остановилось у двери, которую бесшумно затворил за собой Мартын. «Кажется, беспорядок,— не взыщите,— сказал Грузинов, косясь на двуспальную постель, смятую полуденной систой.— Садитесь в кресло, голубчик. Очень сладкие яблочки. Угощайтесь». «Я, собственно говоря,— приступил Мартын,— вот о чем хотел с вами поговорить: у меня есть приятель, этот приятель собирается нелегально перейти из Латвии в Россию...» «Вот это возьмите, с румянцем», — вставил Грузинов. «Я все думаю,— продолжал Мартын,— удастся ли ему это? Предположим — он отлично знает местность по карте,— но ведь этого недостаточно,— ведь повсюду пограничники, разведка, шпионы. Я хотел попросить вас ну, что ли, разъяснить». Грузинов, облокотясь на стол, ел яблоко, вертел его, отхватывал то тут, то там хрустящий кусок и опять вертел, выбирая новое место для нападения. «А зачем вашему приятелю туда захаживать?» — осведомился он, бегло взглянув на Мартына. «Не знаю, он это скрывает. Кажется, хочет повидать родных в Остроге или в Пскове». — «Какой паспорт?» — спросил Грузинов. «Иностранный, он иностранный подданный,— литовец, что ли?». — «Так что же,— визы ему не дают?» — «Этого я не знаю,— он, кажется, не хочет визы, ему нравится сделать это по-своему. А может быть, действительно не дают...» Грузинов доел яблоко и сказал: «Я все ищу антоновского вкуса,— иногда кажется, как будто нашел,— а присма��уюсь,— нет, все-таки не то. А насчет виз вообще — сложно. Я вам никогда не рассказывал историю, как мой шурин перехитрил американскую квоту?» — «Я думал, что что-нибудь посоветуете», — неловко проговорил Мартын. «Чудак человек,— сказал Грузинов,— ведь ваш приятель, наверное, лучше знает?». — «Но я беспокоюсь за него...» — тихо произнес Мартын и с грустью подумал, что разговор выходит отнюдь не таким, каким он его воображал, и что Юрий Тимофеевич никогда не расскажет, как он сам множество раз переходил границу. «И понятно, что беспокоитесь,— сказал Грузинов.— Особенно если он новичок. Впрочем, проводник там всегда найдется». — «Ах, нет, это опасно,— воскликнул Мартын,— нарвется на предателя». — «Ну конечно, следует быть осторожным», — согласился Грузинов и, потирая ладонью глаза, внимательно, сквозь толстые белые пальцы, посмотрел на Мартына. «И очень важно, конечно, знать местность», — добавил он вяло.

Тогда Мартын проворно вынул небольшую в трубочку свернутую карту. Он знал ее наизусть, не раз забавлялся тем, что чертил ее не

глядя,— но теперь следовало скрыть свое знание. «Я, видите ли, даже запасся картой,— сказал он непринужденно.— Мне, например, кажется, что Коля перейдет вот здесь, или здесь».— «Ах, его зовут Колей,— сказал Грузинов.— Запомним, запомним. А карта хорошая. Постойте...» (появился футляр, чмокнув, открылся, блеснули очки)... «Значит, позвольте,— какой масштаб? — о, прекрасно...— вот — Режица, вот Пыталово, на самой черте. У меня был приятель, тоже, по страшному совпадению, Коля, который раз перешел речку бродом и пошел вот так, а в другой раз начал здесь,— и лесом, лесом — очень густой лес,— Рогожинский, вот, а теперь, если взять на северо-восток...»

Грузинов теперь говорил живо и все ускорял речь, водя острием разогнутой английской булавки по карте,— и в одну минуту наметил полдюжины маршрутов, и все сыпал названиями деревень, призывал к жизни невидимые тропы,— и чем оживленнее он говорил, тем яснее становилось Мартыну, что Грузинов над ним издевается. Вдруг донеслись из сада два женских голоса, странно выкрикивающих фамилию Юрия Тимофеевича. Он высунулся. Барышни-англичанки (барышням вообще он нравился,— разыгрывал перед ними байбака, простака) звали его есть мороженое. «Вот пристающие,— сказал Грузинов,— я все равно мороженого никогда не ем». Мартыну показалось, что уже где-то, когда-то были сказаны эти слова (как в «Незнакомке» Блока) и что тогда, как и теперь, он чем-то был озадачен, что-то пытался объяснить. «Вот мой совет,— сказал Грузинов, ловко свернув карту и протянув ее Мартыну.— Передайте Коле, чтоб он оставался дома и занимался чем-нибудьдельным. Хороший малый, должно быть,— и было бы жаль, если бы он запутал».— «Он в этом лучше меня смыслит»,— мстительно ответил Мартын.

Спустились в сад. Мартын все время усиленно улыбался и чувствовал ненависть к Грузинову, к его холодным глазам, к сливочно-белому непроницаемому лбу. Но одно было хорошо: вот, разговор произошел, это минуло,— обошелся, как с мальчишкой,— черт с ним, совесть чиста, теперь можно спокойно уложить вещи и уехать.

XLV

В день отъезда он проснулся очень рано, как, бывало, в детстве, в рождественское утро. Мать, по английскому обычаю, осторожно входила среди ночи и подвешивала к изножию кровати чулок, набитый подарками. Для пущей убедительности она нацепляла ватную бороду и надевала мужчин башлык. Мартын, проснись он ненароком, видел бы воочию святого Николая. И вот, утром, при ярко-желтом блеске лампы и под мрачным взглядом зимнего петербургского рассвета,— с коричневым небом над темным домом напротив, где снег провел карнизы белилами,— Мартын ощупывал длинный материнский чулок, хрустящий, туго набитый почти доверху пакетиками, которые просвечивали через шелк, и, замирая, совал в него руку, начинал вытаскивать и разворачивать зверьков, бонбоньерки,— все предисловие к большому подарку,— к паровозу и вагонам и рельсам (из которых

можно составлять огромные восьмерки), ожидавшим его попозже, в гостиной. И нынче тоже Мартына ожидал поезд, этот поезд уходил из Лозанны под вечер и около девяти утра прибывал в Берлин. Софья Дмитриевна, уверенная, что сын едет только затем, чтобы повидаться с маленькой Зилановой, и замечавшая, что нет из Берлина писем, и терзаясь мыслью, что маленькая Зиланова недостаточно, быть может, любит его и окажется дурной женой, старалась как можно веселее обставить его отъезд и, под видом несколько лихорадочной бодрости, скрывала и тревогу свою и огорчение, что вот, едва приехав, он уже покидает ее на целый месяц. Дядя Генрих, у которого раздулся флюс, был за обедом угрюм и неразговорчив. Мартын посмотрел на перечницу, к которой дядя потянулся, и ему показалось, что эту перечницу (изображавшую толстого человечка с дырочками в серебряной лысине) он видит в последний раз. Он быстро перевел глаза на мать, на ее худые руки в бледных веснушках, на нежный профиль ее и приподнятую бровь,— словно она дивилась жирному рагу на тарелке,— и опять ему показалось, что эти веснушки, и бровь, и рагу он видит в последний раз. Одновременно и вся мебель в комнате, и ненастный пейзаж в окне, и часы с деревянным циферблатом над буфетом, и увеличенные фотографии усатых сюртучных господ в черных рамках,— все как будто заговорило, требуя к себе внимания в виду скорой разлуки. «Мне можно тебя проводить до Лозанны? — спросила мать.— Ах, я же знаю, что ты не любишь проводов,— поспешила она добавить, заметив, что Мартын наморщил нос,— но я не для того, чтобы провожать тебя, а просто хочется проехаться в автомобиле, и кроме того, мне нужно кое-что купить». Мартын вздохнул. «Ну, не хочешь — не надо,— сказала Софья Дмитриевна с чрезвычайной веселостью.— Если меня не берут, я останусь. Но только ты надень теплое пальто, на этом я настаиваю».

Они между собой всегда говорили по-русски, и это постоянно сердило дядю Генриха, зневшего только одно русское слово «ничего», которое почему-то мерещилось ему символом славянского фатализма. Теперь, будучи в скверном настроении и страдая от боли в распухшей десне, он резко отодвинул стул, смахнул салфеткой крошки с живота и, посасывая зуб, ушел в свой кабинет. «Как он стар,— подумал Мартын, глядя на его седой затылок,— или это так свет падает? Такая мрачная погода».

«Ну, что ж, тебе скоро нужно собираться,— заметила Софья Дмитриевна,— вероятно, уже автомобиль подан». Она выглянула в окно. «Да, стоит. Посмотри, как там смешно: ничего в тумане не видно, будто никаких гор нет... Правда?» «Я, кажется, забыл бритву»,— сказал Мартын.

Он поднялся к себе, уложил бритву и ночные туфли, с трудом защелкнул чемодан. Вдруг он вообразил, как будет в Риге или в Режице покупать простые, грубые вещи,— картуз, полушибок, сапоги. Быть может, револьвер? «Прощай-прощай»,— быстро пропела этажерка, увенчанная черной фигуркой футболиста, которая всегда напоминала Аллу Черносвитову.

Внизу, в просторной прихожей, стояла Софья Дмитриевна, заложив руки в карманы макинтоша, и напевала, как всегда делала, когда нервничала. «Остался бы дома,— сказала она, когда Мартын с ней поравнялся,— ну, что тебе ехать...» Из двери направо, над которой была голова серны, вышел дядя Генрих и, глядя на Мартына исподлобья, спросил: «Ты уверен, что взял достаточно денег?» «Вполне,— ответил Мартын.— Благодарю тебя». «Прощай,— сказал дядя Генрих.— Я с тобой прощаюсь здесь, оттого что сегодня избегаю выходить. Если бы у другого так болели зубы, как у меня, он давно бы был в сумасшедшем доме».

«Ну, пойдем,— сказала Софья Дмитриевна,— я боюсь, что ты опоздаешь на поезд».

Дождь. Ветер. У Софии Дмитриевны сразу растрепались волосы, и она все гладила себя по ушам. «Постой,— сказала она, не доходя калитки сада, близ двух еловых стволов, между которыми летом натягивался гамак.— Постой же, я хочу тебя поцеловать». Он опустил чемодан наземь. «Поклонись ей от меня»,— шепнула она с многозначительной улыбкой,— и Мартын кивнул («Поскорей бы уехать, это невыносимо...»).

Шофер услужливо открыл калитку. Сыро блестел автомобиль, дождь слегка звенел, ударяясь в него. «И пожалуйста, пиши, хоть раз в неделю»,— сказала Софья Дмитриевна. Она отступила и с улыбкой замахала рукой, и, шурша по грязи, черный автомобиль скрылся за еловой просадью.

XLVI

Ночь в вагоне,— в укачивливом вагоне темно-дикого цвета,— длилась без конца: мгновениями Мартын проваливался в сон, и, содрогнувшись, просыпался, и опять катился вниз — словно с американских гор, и опять взлетал, и среди глухого стука колес улавливал дыхание пассажира на нижней койке, равномерный храп, как бы участвующий в общем движении поезда.

Задолго до приезда, пока все еще в вагоне спали, Мартын спустился со своей вышки и, захватив с собой губку, мыло, полотенце и складной таз в непромокаемом чехле, прошел в уборную. Там, предварительно распластав на полу листы купленного в Лозанне «Таймса», он выпрямил валкие края резиновой ванны и, скинув пижаму, облепил мыльной пеной все свое крепкое, темное от загара тело. Было тесновато, сильно качало, чувствовалась какая-то сквозная близость бегущих рельс, была опасность ненароком коснуться стенки; но Мартын не мог обойтись без утренней ванны, видя в этом своего рода героическую оборону: так отбивается упорная атака земли, наступающей едва заметным слоем пыли, точно ей не терпится — до срока — завладеть человеком. После ванны, как бы дурно он ни спал, Мартын проникался благодатной бодростью. В такие минуты мысль о смерти, о том, что когда-нибудь — и может быть, — как знать? — скоро, — придется сдаться и проделать то, что проделали миллионы, триллионы людей, эта мысль о неминуемой, общедоступной смерти едва волновала.

вала его, и только постепенно к вечеру она входила в ту силу и к ночи раздувалась иногда до чудовищных размеров. Мартыну казалось, что в обычай казнить на рассвете есть милосердие: дай Бог, чтобы это случилось утром, когда человек владеет собой,— покашливает, улыбается и вот — стал и раскинул руки.

Выйдя на дебаркадер Ангальтского вокзала, он с наслаждением вдохнул дымно-холодный утренний воздух. Вдали, с той стороны, откуда пришел поезд, видно было в пролете железно-стеклянного свода чистое, бледно-голубое небо, блеск рельс, и, по сравнению с этой светлостью, здесь, под сводом, было темновато. Он прошел мимо тусклых вагонов, мимо громадного, шипящего, потного паровоза, и, отдав билет в человеческую руку контрольной будки, спустился по ступеням и вышел на улицу. Из привязанности к образам детства он решил избрать исходной точкой своего путешествия вокзал Фридриха, где некогда ловила Норд-экспресс русская семья, жившая в Континентале. Чемодан был изрядно тяжел, но Мартын чувствовал такую неусидчивость, такое волнение, что отправился пешком; однако, дойдя до угла Потсдамской улицы, он ощутил сильный голод, прикинул оставшееся расстояние и благоразумно сел в автобус. С самого начала этого необыкновенного дня все его чувства были заострены,— ему казалось, что он запоминает лица всех встречных, воспринимает живее, чем когда-либо, цвета, запахи, звуки,— и автомобильные рожки, которые, бывало, в дождливые ночи терзали слух отвратительным сырьим хрюканием, теперь звучали как-то отрешенно, мелодично и жалобно. Сидя в автобусе, он услышал недалеко от себя перелив русской речи. Пожилая чета и двое круглоглазых мальчиков. Старший устроился поближе к окну, младший несколько напирал на брата. «Ресторан»,— сказал старший с восторгом. «Мотри, ресторан»,— сказал младший, напирая. «Сам вижу»,— огрызнулся старший. «Это ресторан»,— сказал младший убежденно. «А ты, дурак, заткнись»,— проговорил старший. «Это еще не Линден?» — заволновалась мать. «Это еще Почтамер»,— веско сказал отец. «Почтамер уже проехали»,— закричали мальчики, и вспыхнул короткий спор. «Арка, во класс!» — восхитился старший, тыча в стекло пальцем. «Не ори так»,— заметил отец. «Чего?» «Говорю, не ори». Тот обиделся: «Я, во-первых, сказал тихо и вовсе не орал». «Арка»,— с почтением произнес младший. Все загляделись на вид Бранденбургских ворот. «Исторические места»,— сказал старший мальчик. «Да, старинная арка»,— подтвердил отец. «Как же он пролезет,— спросил старший, тревожась за бока автобуса.— Ужина-то какая!» «Пролезет»,— прошептал младший с облегчением. «Это Унтер,— всполошилась мать.— Надо вылезать!» «Унтер длинный-длинный,— сказал старший мальчик.— Я на карте видел». «Это Президент страсе»,— мечтательно проговорил младший. «Заткнись, дурак! Это Унтер». Затем все вместе хором: «Унтер длинный-длинный», и мужское соло: «Век будем ехать...»

Тут Мартын вышел, и, идя по направлению к вокзалу, он со странной печалью вспомнил свое детство, свое детское волнение,— такое же и совсем другое. Но это было только мгновенное сопоставление: оно пропело и замерло.

Сдав чемодан на хранение и взяв билет до Риги на вечерний поезд, он уселся в гулком зале буфета, заказал аргусоподобную глазунью и в последнем номере «Зарубежного дела», которое читал, пока ел, нашел между прочим ехиднейшую критику на бубновскую «Каравеллу». Насытившись, он закурил и огляделся. За соседним столом сидела барышня, что-то писала и вытирала слезы,— а потом смутными и влажными глазами взглянула на него, прижав к губам карандаш, и, найдя нужное слово, продолжала быстро писать, держа карандаш, как дети, почти у самого острия и напряженно скрючив пальцы. Открытое на груди черное пальто с потрепанной заячьей шкуркой на вороте, янтарные бусы, нежная белизна шеи, платок, зажатый в кулаке... Он расплатился и принялся ждать, когда она встанет, чтобы последовать за ней; но, кончив писать, она облокотилась на стол, глядя вверх и полуоткрыв губы. Так она сидела долго, и где-то за стеклами уходили поезда, и Мартын, которому следовало не опоздать в консульство, решил подождать еще минут пять, не больше. Пять минут прошло. «Я бы условился с ней где-нибудь кофе выпить,— только это»,— умоляюще подумал он и представил себе, как будет ей намекать на далекий путь, на опасность и как она будет плакать. Прошла еще одна минута. «Хорошо, не надо»,— сказал Мартын и, английским манером перебросив через плечо макинтош, направился к выходу.

XLVII

Быстро шелестел открытый таксомотор, пестрел кругом великолепный Тиргартен, и прекрасны были теплые, рыжие оттенки листвы,— «унывая пора, очей очарованье»... Дальше в воду канала гляделись пышные, блеклые каштаны, а проезжая по мосту, Мартын отметил, что у каменного льва Геракла отремонтированная часть хвоста все еще слишком светлая и, вероятно, не скоро примет матерую окраску всей группы: сколько еще лет,— десять, пятнадцать? Почему так трудно вообразить себя сорокалетним человеком?

В латвийском консульстве, в подвалном этаже, было оживленно и тесно. «Тук-тук»,— стучал штемпель. Через несколько минут швейцарец Эдельвейс уже вышел оттуда и неподалеку, в мрачном особняке, получил, по дешевой цене, литовскую проездную визу.

Теперь можно было отправиться к Дарвину. Гостиница находилась против Зоологического сада. «Он уже ушел,— ответил человек в конторе.— Нет, я не знаю, когда он вернется».

«Как досадно,— подумал Мартын, выходя опять на улицу.— Надо было ему указать точную дату, а не просто „на днях“». Промах, промах... Как это досадно». Он посмотрел на часы. Половина двенадцатого. Паспорт был в порядке, билет куплен. День, который намечался столь нагруженным всякими делами, вдруг оказался пустым. Что делать дальше? Пойти в Зоологический сад? Написать матери? Нет, это потом.

И пока он так размышлял, все время в глубине сознания происходила глухая работа. Он противился ей, старался ее не замечать,

ибо твердо решил еще во Франции, что больше Соню не увидит никогда. Но берлинский воздух был Соней насыщен,— вон там, в Зоологическом саду, они вместе глазели на румяно-золотого китайского фазана, на чудесные ноздри гиппопотама, на желтую собаку динго, так высоко прыгавшую. «Она сейчас на службе,— подумал Мартын,— а к Зилановым все-таки нужно зайти...»

Поплыл, разматываясь, Курфюрстендан. Автомобили обгоняли трамвай, трамвай обгонял велосипеды; потом мост, дым поездов далеко внизу, тысяча рельс, загадочно-голубое небо; поворот и осенняя прелесть Грюневальда.

И дверь ему открыла именно Соня. Она была в черной вязаной кофточке, немного растрепанная, тусклые раскосые глаза казались заспанными, на бледных щеках были знакомые ямки. «Кого я вижу?»— протянула она и низко-низко поклонилась, болтая опущенными руками. «Ну, здравствуй, здравствуй»,— сказала она, разогнувшись, и одна черная прядь дугой легла по виску. Она отмахнула ее движением указательного пальца. «Пойдем»,— сказала она и пошла вперед по коридору, мягко топая ночных туфлями. «Я боялся, что ты на службе»,— проговорил Мартын, стараясь не смотреть на ее прелестный затылок. «Голова болит»,— сказала она, не оглядываясь, и, тихонько крякнув, подняла на ходу половую тряпку и бросила ее на сундук. Вшли в гостиную. «Присаживайся и все говори»,— сказала она, плюхнувшись в кресло, тут же привстала, подобрала под себя ногу и уселась опять.

В гостиной все было то же, темный Беклин на стене, потрепанный плюш, какие-то вечные бледнолистые растения в вазе, удручающая люстра в виде плывущей хвостатой женщины, с бюстом и головой баварки и с олеными рогами, растущими отовсюду.

«Я, собственно говоря, приехал сегодня,— сказал Мартын и стал закуривать.— Я буду здесь работать. То есть, собственно говоря, не здесь, а в окрестностях. Это фабрика, и я, значит, как простой рабочий». «Да ну,— протянула Соня и добавила, заметив его ищущий взгляд:— Ничего, брось прямо на пол». «И вот какая забавная вещь,— продолжал Мартын.— Я, видишь ли, собственно, не хочу, чтобы моя мать знала, что я работаю на фабрике. Так что, если она случайно Ольге Павловне напишет,— она, знаешь, иногда любит таким окружным путем узнать, здоров ли я и так далее,— вот, понимаешь, тогда нужно ответить, что часто у вас бываю. Я, конечно, буду очень, очень редко бывать, некогда будет».

«Ты подурнел,— задумчиво сказала Соня.— Огрубел как-то. Это, может быть, от загара».

«Скитался по всему югу Франции,— сипло проговорил Мартын, ударом пальца стряхивая пепел.— Батрачил на фермах, бродяжничал, а по воскресеньям одевался барином и ездил кутить в Монте-Карло. Очень интересная вещь — ruletka. А что ты поделываешь? Все у вас здоровы?»

«Предки здоровы,— сказала со вздохом Соня,— а вот с Ириной прямо беда. Это крест какой-то... Ну и с деньгами полный мрак. Папа говорит, что нужно переехать в Париж. Ты в Париже тоже был?»

«Да, проездом,— небрежно ответил Мартын (день в Париже много лет тому назад, по пути из Биаррица в Берлин, дети с обручами в Тюильрийском саду, игрушечные парусники на воде бассейна, старик, кормящий воробьев, серебристая сквозная башня, склеп Наполеона, где колонны похожи на витые сюкр д'орж...).— Да, проездом. А знаешь, между прочим, какая новость,— Дарвин здесь».

Соня улыбнулась и заморгала. «Ах, приведи его! Приведи его непременно, это безумно интересно».

«Я его еще не видал. Он здесь по делам Маонинг Ньюса. Его, знаешь, посыпали в Америку, настоящим стал журналистом. А главное,— у него есть в Англии невеста, и он весной женится».

«Да ведь это восхитительно,— тихо проговорила Соня.— Все как по-писаному. Я так ясно представляю ее,— высокая, глаза, как тарелки, а мать, вероятно, очень на нее похожа, только сущее и краснее. Бедный Дарвин!»

«Чепуха,— сказал Мартын,— я уверен, что она очень хорошенская и умная».

«Ну, еще что-нибудь расскажи»,— попросила Соня после молчания. Мартын пожал плечами. Как он поступил опрометчиво, пустив в оборот сразу весь свой разговорный запас. Ему казалось дико, что вот, перед ним, в двух шагах от него, сидит Соня, и он не смеет ничего ей сказать важного, не смеет намекнуть на последнее ее письмо, не смеет спросить, выходит ли она за Бубнова замуж,— ничего не смеет. Он попытался вообразить, как будет вот тут, в этой комнате, сидеть после возвращения, как она будет слушать его,— и неужели он, как сейчас, все выпалит разом, неужели Соня так же, как сейчас, будет сквозь шелк почесывать голень и глядеть мимо него на вещи, ему неизвестные? Он подумал, что, вероятно, пришел некстати, что, быть может, она ждет кого-нибудь и что с ним ей тягостно. Но уйти он не мог, как не мог придумать ничего занимательного, и Соня своим молчанием как бы нарочно старалась довести его до крайности,— вот он совсем потерянся и выболтает все,— и про экспедицию, и про любовь, и про все то сокровенное, заповедное, чем связаны были между собой эта экспедиция, и его любовь, и «унылая пора, очей очарованье».

Стукнула дверь в прихожей, раздались шаги, и в гостиную вошел с портфелем под мышкой Зиланов. «А, очень рад,— сказал он.— Как поживает ваша матушка?» Погодя появилась из другой двери Ольга Павловна и задала тот же вопрос. «Откушайте с нами»,— сказала она. Перешли в столовую. Ирина, войдя, застыла и вдруг кинулась к Мартыну и принялась его целовать мокрыми губами. «Ира, Ирочка»,— с виноватой улыбкой приговаривала ее мать. На большом блюде были маленькие черные котлетки. Зиланов развернул салфетку и заложил угол за воротник.

За обедом Мартын показал Ирине, как нужно скрестить третий и второй палец, чтобы, касаясь ими хлебного шарика, осязать не один шарик, а два. Она долго не могла приладить руку, но, когда, наконец, с помощью Мартына, шарик под ее пальцами волшебно раздвоился, Ирина заворковала от восторга. Как обезьянка, которая, видя свое

отражение в осколке зеркала, подглядывает снизу, нет ли там другой обезьянки, она все пригибала голову, думая, что и впрямь под пальцами два катыша; когда же Соня после обеда повела Мартына к телефону, находившемуся за углом коридора, возле кухни, Ирина со стоном кинулась за ними, боясь, что Мартын совсем уходит, а убедившись, что это не так, вернулась в столовую и полезла под стол отыскивать закатившийся шарик. «Я хочу, собственно говоря, позвонить Дарвину,— сказал Мартын.— Нужно посмотреть в книжке, как номер гостиницы». У Сони озарилось лицо, она сказала, захлебываясь: «Ах, дай мне, я сама с ним поговорю, это будет восхитительно. Я, знаешь, его хорошенько заинтригую». «Нет, не надо, зачем же»,— ответил Мартын. «Ну, тогда я только соединю. Ведь соединить можно? Как номер?» Она наклонилась над телефонным фолиантом, в который он глядел, и пахнуло теплом от ее головы; на щеке, под самым глазом, была блудная ресничка. Вполголоса скороговоркой повторяя номер, чтобы его не забыть, она села на сундук и сняла трубку. «Только соединить, помни»,— строго заметил Мартын. Соня со старательной ясностью сказала номер и принялась ждать, бегая глазами и мягко стуча пятками о стенку сундука. Потом она улыбнулась, прижав еще плотнее трубку к уху, и вся сгорбилась, звонко прося Дарвина к телефону. «Дай мне трубку,— сказал Мартын.— Это нечестно». Соня еще больше собралась. «Я разъединю»,— сказал Мартын. Она сделала резкое движение, чтобы защитить рычажок, и в это же мгновение настороженно подняла брови. «Нет, спасибо, ничего»,— сказала она и повесила трубку. «Дома нет,— обратилась она к Мартыну, глядя на него исподлобья.— Можешь быть спокоен, я больше не позвоню. А ты какой был невежа, так и остался». «Соня»,— протянул Мартын. Она соскользнула с сундука, надела, шаркая, свалившуюся туфлю и пошла в столовую. Там убирали со стола, Елена Павловна говорила что-то Ирине, которая от нее отворачивалась. «Я вас еще увижу?» — спросил Зиланов. «Да я не знаю,— сказал Мартын.— Мне уже, пожалуй, нужно идти». «На всякий случай я с вами попрощаюсь»,— проговорил Зиланов и ушел работать к себе в спальню...

«Не забывайте нас»,— сказали Ольга и Елена Павловны вместе и, улыбнувшись, тронули друг дружку за рукава черных платьев. Мартын поклонился. Ирина приложила руку к груди и вдруг бросилась к нему и вцепилась в отвороты его пиджака. Он смущился, попробовал осторожно разжать ее пальцы; но она держала его крепко, а когда мать взяла ее сзади за плечи, Ирина в голос зарыдала. Мартын невольно поморщился, глядя на ужасное выражение ее лица, на красную сыпь между бровями. Резким, чуть грубым движением он оторвал ее пальцы. Ее увлекли в другую комнату, ее грудной рев удалился, замер. «Вечные истории»,— сказала Соня, провожая Мартына в прихожую. Мартын надел макинтош,— макинтош был сложный, и для устройства пояска требовалось некоторое время. «Заходи как-нибудь вечерком»,— сказала Соня, глядя на его манипуляции и держа руки в передних карманчиках черной своей кофточки. Мартын хмуро покачал головой. «Собираемся и танцуем»,— сказала Соня и, тесно сложив ноги, двинула носками, потом пятками, опять носками, опять пят-

ками, чуть подвигаясь вбок. «Ну вот,— промолвил Мартын, хлопая себя по карманам.— Пакетов у меня, кажется, не было». «Помнишь?» — спросила Соня и тихо засвистала мотив лондонского фокстрота. Мартын прочистил горло. «Мне не нравится твоя шляпа,— заметила она.— Теперь так не носят». «Прощай», — сказал Мартын и очень ловко сгреб Соню, толкнулся губами в ее оскаленные зубы, в щеку, в нежное место за ухом, отпустил ее (причем она попятилась и чуть не упала) и быстро ушел, невольно хлопнув дверью.

XLVIII

Он заметил, что улыбается, что запыхался, что сильно бьется сердце. «Ну вот, ну вот», — сказал он вполголоса и размашистым шагом пошел по панели, словно куда-то спешил. Спешить было некуда. Отсутствие Дарвина путало его расчеты; меж тем до отхода поезда оставалось еще несколько часов. Возвратившись пешком по Курфюрстенدامу, он со смутной грустью смотрел на знакомые подробности Берлина; вот суровая церковь на перекрестке, такая одинокая среди языческих кинематографов. Вот Тауэнциенская, где пешеходы почему-то избегают проложенного посередине бульвара, предпочитая течь вдоль витрин. Вот слепец, продающий свет, — протягивающий в вечную тьму вечный коробок спичек; лотки с вереском и астрами, лотки с бананами и яблоками; человек в рыхем пальто, стоящий на сидении старого автомобиля и веером держащий плитки безымянного шоколада, о волшебном качестве которого он речисто рассказывает кучке зевак. Мартын завернулся за угол, зашел в русский магазин купить книжку. Учтивый полный господин, несколько похожий на черепаху, выложил на прилавок то, что зовется «новинки». Ничего не найдя, Мартын купил «Панч» и опять оказался на улице. Тут он с чувством неудовлетворенности вдруг вспомнил скучный зилановский обед. Рассчитав, что из ресторана уместно будет еще раз позвонить Дарвину, он направился в «Пир горой», где в прошлом году столовался. Из гостиницы ему ответили, что Дарвин еще не вернулся. «Двадцать пфеннигов с вас,— сказала напудренная дама за прилавком.— Мерси».

Хозяином ресторана являлся тот самый художник Данилевский, который бывал в Адреизе, — небольшого роста, пожилой уже человек, в стоячем воротнике, с румяным детским лицом и русой бородавкой под глазом. Он подошел к столику Мартына и застенчиво спросил: «Ба-бар-щок вкусный?» — (он испытывал странное тяготение как раз к тем звукам, которые ему трудно давались). «Очень», — ответил Мартын и, — как всегда, с чувством щемящей нежности, — увидел Данилевского на фоне крымской ночи.

Тот сел боком к столу, поощрительно глядя, как Мартын хлебает суп. «Я вам говорил, что, по некоторым сведениям, они бы, они бы, они безвыездно живут в усадьбе, — удивительно...» («Неужели их не трогают? — подумал Мартын.— Неужели все осталось по-прежнему, — эти, например, сушеные маленькие груши на крыше веранды?»)

«Могикане», — задумчиво сказал Данилевский.

В зальце было пустовато. Плюшевые диванчики, печка с коленчатой трубой, газеты на древках.

«Всё это изменится к лучшему. Знаете, я бы бабами, большими бабами, хотел расписать стены, если бы это не было так грустно. Одежды — прямо пожары, но бледные лица с глазами лошадей. Так у меня выходит, по крайней мере. Яп, яп, пробовал. Или можно тучи, а внизу, а внизу — опушку. Помещение мы расширим, тут, тут и там все снимем, я вчера вызвал мастера, но он почему-то не пришел».

«Много бывает народу?» — спросил Мартын.

«Обыкновенно — да. Сейчас не обеденный час, не судите. Но вообще... И хорошо представлена литературная биратья. Ракитин, например, ну, знаете, журналист, всегда в гетрах, большой проникер... А на днях, бу, а на днях, бу, Сережа Бубнов, буй, буй,— неистовствовал, бил посуду, у него запой, любовное несчастье, нехорошо,— а ведь это же жениховством папахло».

Данилевский вздохнул, постукал пальцами по столу и, медленно встав, ушел на кухню. Он опять появился, когда Мартын снимал свою шляпу с вешалки. «Завтра шашлык,— сказал Данилевский,— ждем вас»,— и у Мартына мелькнуло желание сказать что-нибудь очень хорошее этому милому, грустному, так мелодично заикающемуся человеку; но что, собственно, можно было сказать?

XLIX

Пройдя через мощеный двор, где посередине, на газоне, стояла безносая статуя и росло несколько туй, он толкнул знакомую дверь, поднялся по лестнице, отзывавшей капустой и кошками, и позвонил. Ему открыл молодой немец, один из жильцов, и, предупредив, что Бубнов болен, постучал на ходу к нему в дверь. Голос Бубнова хрипло и уныло завопил: «Херайн».

Бубнов сидел на постели, в черных штанах, в открытой сорочке, лицо у него было опухшее и небритое, с багровыми веками. На постели, на полу, на столе, где мутной желтизной сквозил стакан чаю, валялись листы бумаги. Оказалось, что Бубнов одновременно заканчивает новеллу и пытается составить по-немецки внушительное письмо Финансовому ведомству, требующему от него уплаты налога. Он не был пьян, однако и трезвым его тоже нельзя было назвать. Жажда, по-видимому, у него прошла, но все в нем было искривлено, расшатано ураганом, мысли блуждали, отыскивали свои жилища и находили развалины. Не удивившись вовсе появлению Мартына, которого он не видел с весны, Бубнов принялся разносить какого-то критика, — словно Мартын был ответствен за статью этого критика. «Травят меня», — злобно говорил Бубнов, и лицо его с глубокими глазными впадинами было при этом довольно жутко. Он был склонен считать, что всякая бранная рецензия на его книги подсказана побочными причинами, — завистью, личной неприязнью или желанием отомстить за обиду. И теперь, слушая его довольно бессвязную речь о литературных интригах, Мартын дивился, что человек может так

болеть чужим мнением, и его подмывало сказать Бубнову, что его рассказ о Зоорландии — неудачный, фальшивый, никуда не годный рассказ.— Когда же Бубнов без всякой связи с предыдущим, вдруг заговорил о сердечной своей беде, Мартын проклял дурное любопытство, заставившее его сюда прийти. «Имени ее не назову, не спрашивай,— говорил Бубнов,— переходивший на ты с актерской легкостью,— но помни, из-за нее еще не один погибнет. А как я любил ее... Как я был счастлив. Огромное чувство, когда, знаешь, гремят ангелы. Но она испугалась моих горных высот...»

Мартын посидел еще немного, почувствовал наплыв невозможной тоски и молча поднялся. Бубнов, всхлипывая, проводил его до двери. Через несколько дней (уже в Латвии) Мартын нашел в русской газете новую бубновскую «новеллу», на сей раз превосходную, и там у героя-немца был Мартынов галстук, бледно-серый в розовую полоску, который Бубнов, казавшийся столь поглощенным горем, украл, как очень ловкий вор, одной рукой вынимающий у человека часы, пока другую вытирает слезы.

Зайдя в писчебумажную лавку, Мартын купил полдюжины открыток и наполнил свое обмелевшее автоматическое перо, после чего направился в гостиницу Дарвина, решив там подождать до последнего возможного срока и уже прямо оттуда ехать на вокзал. Было около пяти, небо затуманилось,— белесое, невеселое. Глухе, чем утром, звучали автомобильные рожки. Проехал открытый фургон, запряженный парой тощих лошадей, и там громоздилась целая обстановка,— кушетка, комод, море в золоченой раме и еще много всякой другой грустной рухляди. Через пятнистый от сырости асфальт прошла женщина в трауре, катя колясочку, в которой сидел синеглазый внимательный младенец, и, докатив колясочку до панели, она нажала и вздыбила ее. Пробежал пудель, догоняя черную левретку; та боязливо оглянулась, дрожа и подняв согнутую переднюю лапу. «Что это, в самом деле,— подумал Мартын.— Что мне до всего этого? Ведь я же вернусь. Я должен вернуться». Он вошел в холл гостиницы. Оказалось, что Дарвина еще нет.

Тогда он выбрал в холле удобное кожаное кресло и, отвинтив колпачок с пера, принялся писать матери. Пространство на открытке было ограниченное, почерк у него был крупный, так что вместилось немного. «Все благополучно,— писал он, сильно нажимая на перо.— Остановился на старом месте, адресуй туда же. Надеюсь, дядин флюс лучше. Дарвина я еще не видал. Зилановы передают привет. Напишу опять не раньше недели, так как ровно не о чем. Many kisses». Все это он перечел дважды, и почему-то сжалось сердце, и прошел по спине холод. «Ну, пожалуйста, без глупостей»,— сказал себе Мартын и, опять сильно нажимая, написал майорше с просьбой сохранять для него письма. Опустив открытки, он вернулся, откинулся в кресле и стал ждать, поглядывая на стенные часы. Прошло четверть часа, двадцать минут, двадцать пять. По лестнице поднялись две мулатки с необыкновенно худыми ногами. Вдруг он услышал за спиной мощное дыхание, которое тотчас узнал. Он вскочил, и Дарвин огrel его по плечу, издавая горланные восклицания. «Негодяй, негодяй,— радостно забормотал Мартын,— я тебя ищу с утра».

Дарвин как будто слегка пополнел, волосы поредели, он отпустил усы,— светлые, подстриженные, вроде новой зубной щетки. И он и Мартын были почему-то смущены и не знали, о чем говорить, и все трепали друг друга, посмеиваясь и урча. «Что же ты будешь пить,— спросил Дарвин, когда они вошли в тесный, но нарядный номер,— виски и соду? Коктейль? Или просто чай?» «Все равно, все равно, что хочешь»,— ответил Мартын и взял со столика большой снимок в дорогой раме. «Она»,— лаконично заметил Дарвин. Это был портрет молодой женщины с диадемой на лбу. Сросшиеся на переносице брови, светлые глаза и лебединая шея,— все было очень отчетливо и властно. «Ее зовут Ивлин, она, знаешь, недурно поет, я уверен, что ты бы с ней очень подружился»,— и, отобрав портрет, Дарвин еще раз мечтательно на него посмотрел, прежде чем поставить на место. «Ну-с,— сказал он, повалившись на диван и сразу вытянув ноги,— какие новости?»

Вошел слуга с коктейлями. Мартын без удовольствия глотнул прянную жидкость и вкратце рассказал, как он прожил эти два года. Его удивило, что, как только он замолк, Дарвин заговорил о себе, подробно и самодовольно, чего прежде никогда не случалось. Как странно было слышать из его ленивых целомудренных уст речь об успехах, о заработках, о прекрасных надеждах на будущее,— и оказывается, писал он теперь не прежние очаровательные вещи о пиявках и закатах, а статьи по экономическим и государственным вопросам, и особенно его интересовал какой-то мораториум. Когда же Мартын, во время неожиданной паузы, напомнил ему о давнем, смешном, кембриджском,— о горящей колеснице, о Розе, о драке,— Дарвин равнодушно проговорил: «Да, хорошие были времена»,— и Мартын с ужасом отметил, что воспоминание у Дарвина умерло или отсутствует, и осталась одна выцветшая вывеска.

«А что поделяет Вадим?» — сонно спросил Дарвин.

«Вадим в Брюсселе,— ответил Мартын,— кажется, служит. А вот Зилановы тут, я часто видаюсь с Соней. Она все еще не вышла замуж».

Дарвин выпустил огромный клуб дыма. «Привет ей, привет,— сказал он.— А вот ты... Да, жалко, что ты все как-то треплешься. Вот я тебя завтра кое с кем познакомлю, я уверен, что тебе понравится газетное дело».

Мартын кашлянул. Настало время заговорить о самом важном, о чем он еще недавно так мечтал с Дарвина поговорить.

«Спасибо,— сказал он,— но это невозможно,— я через час уезжаю из Берлина».

Дарвин слегка привстал: «Вот те на. Куда же?»

«Сейчас узнаешь. Сейчас я тебе расскажу вещи, которых не знает никто. Вот уже несколько лет,— да, несколько лет,— но это не важно...»

Он запнулся. Дарвин вздохнул и сказал: «Я уже понял. Буду шафером».

«Не надо, прошу тебя. Ведь я же серьезно. Я, знаешь, специально

сегодня добивался тебя, чтобы поговорить. Дело в том, что я собираюсь нелегально перейти из Латвии в Россию,— да, на двадцать четыре часа,— и затем обратно. А ты мне нужен вот почему,— я дам тебе четыре открытки, будешь посыпать их моей матери по одной в неделю,— скажем, каждый четверг. Вероятно, я вернусь раньше,— я не могу сказать наперед, сколько мне потребуется времени, чтобы сначала обследовать местность, выбрать маршрут и так далее... Правда, я уже получил очень важные сведения от одного человека. Но, кроме всего, может случиться, что я застряну, не сразу выберусь. Она, конечно, ничего не должна знать, должна аккуратно получать письма. Я дал ей мой старый адрес,— это очень просто».

Молчание.

«Да, конечно, это очень просто»,— проговорил Дарвин.

Опять молчание.

«Я только не совсем понимаю, зачем это все».

«Подумай и поймешь»,— сказал Мартын.

«Заговор против добрых старых Советов? Хочешь кого-нибудь повидать? Что-нибудь передать, устроить? Признаюсь, я в детстве любил этих мрачных бородачей, бросающих бомбы в тройку жестокого наместника».

Мартын хмуро покачал головой.

«А если ты просто хочешь посетить страну твоих отцов — хотя твой отец был швейцарец, не правда ли? — но если ты так хочешь ее посетить, не проще ли взять визу и переехать границу в поезде? Не хочешь? Ты полагаешь, может быть, что швейцарцу после того убийства в женевском кафе не дадут визы? Изволь,— я достану тебе британский паспорт».

«Ты все не то говоришь,— сказал Мартын.— Я думал, ты все сразу поймешь».

Дарвин закинул руки за голову. Он все не мог решить, морочит ли его Мартын или нет,— и если не морочит, то какие именно соображения толкают его на это вздорное предприятие. Он попыхивал трубкой и сказал:

«Если, наконец, тебе нравится один только голый риск, то незачем ездить так далеко. Давай сейчас придумаем что-нибудь необыкновенное, что можно сейчас же исполнить, не выходя из комнаты. А потом поужинаем и поедем в мюзик-холл».

Мартын молчал, и лицо его было грустно. «Что за ерунда,— подумал Дарвин.— Тут есть что-то странное. Спокойно сидел в Кембридже, пока была у них гражданская война, а теперь хочет получить пулю в лоб за шпионаж. Морочит ли он меня или нет? Какие дурацкие разговоры...»

Мартын вдруг вздрогнул, взглянул на часы и встал.

«Послушай, будет тебе валять дурака,— сказал Дарвин, сильно дымя трубкой.— Это, наконец, просто невежливо с твоей стороны. Я тебя не видел два года. Или расскажи мне все толком, или признайся, что шутил,— и будем говорить о другом».

«Я тебе все сказал,— ответил Мартын.— Все. И теперь мне пора».

Он не спеша надел макинтош, поднял шляпу, упавшую на пол.

Дарвин, спокойно лежавший на диване, зевнул и отвернулся к стене. «Прощай», — сказал Мартын, но Дарвин промолчал. «Прощай», — повторил Мартын. «Глупости, он не уйдет», — подумал Дарвин и зевнул опять, плотно прикрыв глаза. «Не уйдет», — снова подумал он и сонно подобрал одну ногу. Некоторое время длилось забавное молчание. Погодя, Дарвин тихо засмеялся и повернул голову. Но в комнате никого не было. Казалось даже непонятным, как это Мартыну удалось так тихо выйти. У Дарвина мелькнула мысль, не спрятался ли Мартын. Он полежал еще несколько минут, потом, осторожно оглядывая уже полутемную комнату, спустил ноги и выпрямился. «Ну, довольно, выходи», — сказал он, услышав легкий шорох между шкафом и дверью, где была ниша для чемоданов. Никто не вышел. Дарвин подошел и глянул в угол. Никого. Только большой кусок оберточной бумаги, оставшийся от вчерашней покупки. Он включил свет, задумался, потом открыл дверь в коридор. В коридоре было тихо, светло и пусто. «Ну его к черту», — сказал он и опять задумался, но вдруг встряхнулся и деловито начал переодеваться к ужину.

На душе у него было беспокойно, а это с ним бывало последнее время не часто. Появление Мартына не только взволновало его, как нежный отголосок университетских дней, — оно еще было необычайно само по себе, — все в Мартыне было необычайно, — этот грубоватый загар, и словно запыхавшийся голос, и какое-то новое, надменное выражение глаз, и странные темные речи. Но Дарвину, последнее время жившему такой твердой, основательной жизнью, так мало волновавшемуся (даже тогда, когда объяснялся в любви), так освоившемуся с мыслью, что, после тревог и забав молодости, он вышел на гладко мощенную дорогу, — удалось справиться с необычайным впечатлением, оставленным Мартыном, уверить себя, что все это была не очень умная шутка и что, пожалуй, еще нынче Мартын появится опять. Он уже был в смокинге и разглядывал в зеркале свою мощную фигуру и большое носатое лицо, как вдруг позвонил телефон на ночном столике. Он не сразу узнал далекий, уменьшенный расстоянием голос, зазвучавший в трубке, ибо как-то так случилось, что он никогда не говорил с Мартыном по телефону. «Напоминаю тебе мою просьбу, — мутно сказал голос. — Я пришлю тебе письма на днях, пересыпай их по одному. Сейчас уходит мой поезд. Я говорю: поезд. Да-да, — мой поезд...»

Голос пропал. Дарвин со звоном повесил трубку и некоторое время почесывал щеку. Потом он быстро вышел и спустился вниз. Там он потребовал расписание поездов. Да, — совершенно правильно. Что за чертовщина...

В этот вечер он никуда не пошел, все ждал чего-то, сел писать невесте, и не о чем было писать. Прошло несколько дней. В среду он получил толстый конверт из Риги и в нем нашел четыре берлинских открытки, адресованных госпоже Эдельвейс. На одной из них он высмотрел вкрапленную в русский текст фразу по-английски: «Я часто хожу с Дарвином в мюзик-холл». Дарвину сделалось не по себе. В четверг утром, с неприятным чувством, что существует в дурном деле, он опустил первую по дате открытку в синий поч-

товый ящик на углу. Прошла неделя; он опустил и вторую. Затем он не выдержал и поехал в Ригу, где посетил своего консула, адресный стол, полицию, но не узнал ничего. Мартын словно растворился в воздухе. Дарвин вернулся в Берлин и нехотя опустил третью открытку. В пятницу в издательство Зиланова зашел огромный человек иностранного вида, и Михаил Платонович, всмотревшись, узнал в нем молодого англичанина, ухаживавшего в Лондоне за его дочерью. Ровным голосом, по-немецки, Дарвин изложил свой последний разговор с Мартыном и историю с пересылкой писем. «Да, позвольте,— сказал Зиланов,— позвольте, тут что-то не то,— он говорил моей дочери, что будет работать на фабрике под Берлином. Вы уверены, что он уехал? Что за странная история...» «Я сперва думал, что он шутит,— сказал Дарвин.— Но теперь я не знаю, что думать... Если он действительно...» «Какой, однако, сумасброд,— сказал Зиланов.— Кто бы мог предположить. Юноша уравновешенный, солидный... Просто, вы знаете, не верится, тут какой-то подвох... Вот что: прежде всего следует выяснить, не знает ли чего-нибудь моя дочь. Поедемте ко мне».

Соня, увидев отца и Дарвина и заметив что-то необычное в их лицах, подумала на сотую долю мгновения (бывают такие мгновенные кошмары), что Дарвин приехал делать предложение. «Алло, алло, Соня»,— воскликнул Дарвин с очень деланной развязностью; Зиланов же, тусклыми глазами глядя на дочь, попросил ее не пугаться и тут же, чуть ли не в дверях, все ей рассказал. Соня сделалась белой как полотно и опустилась на стул в прихожей. «Но ведь это ужасно»,— сказала она тихо. Она помолчала и затем легонько хлопнула себя по коленям. «Это ужасно»,— повторила она еще тише. «Он тебе что-нибудь говорил? Ты в курсе дела?» — спрашивал Зиланов. Дарвин потирал щеку, и старался не смотреть на Соню, и чувствовал самое страшное, что может чувствовать англичанин: желание зареветь. «Конечно, я все знаю»,— тонким голосом крещендо сказала Соня. В глубине показалась Ольга Павловна, и муж сделал ей знак рукой, чтобы она не мешала. «Что ты знаешь? Отвечай же толком»,— проговорил он и тронул Соню за плечо. Она вдруг согнулась вдвое и зарыдала, упервшись локтями в колени и опустив на ладони лицо. Потом — разогнулась, громко всхлипнула, словно задохнувшись, переглотнула и вперемешку с рыданиями закричала: «Его убьют, Боже мой, ведь его убьют...» «Возьми себя в руки,— сказал Зиланов.— Не кричи. Я требую, чтобы ты спокойно, толково объяснила, о чем он тебе говорил. Оля, провели этого господина куда-нибудь,— да в гостиную же,— а, пустяки, что монтеры... Соня, перестань кричать! Испугаешь Ирину, перестань, я требую...»

Он долго ее успокаивал, долго ее допрашивал. Дарвин сидел один в гостиной. Там же монтер возился со штепселям, и электричество то гасло, то зажигалось опять.

«Девочка, конечно, права, что требует немедленных мер,— сказал Зиланов, когда он вместе с Дарвином опять вышел на улицу.— Но что можно сделать? И я не знаю, все ли это так романтически авантюрно, как ей кажется. Она сама всегда так настроена. Очень нервная натура. Я никак не могу понять, как молодой человек, доволь-

но далекий от русских вопросов, скорее, знаете, иностранной складки, мог оказаться способным на... на подвиг, если хотите. Я, разумеется, кое с кем снесусь, придется, возможно, съездить в Латвию, но дело довольно безнадежное, если он действительно попытался перейти... вы знаете, так странно, ведь я же,— да, я,— когда-то сообщал фрау Эдельвейс о смерти ее первого мужа».

Прошло еще несколько дней. Выяснилось только одно: нужно терпение, нужно ждать. Дарвин отправился в Швейцарию,— предупредить Софью Дмитриевну. Все было серо, шел мелкий дождь, когда он прибыл в Лозанну. Повыше в горах пахло мокрым снегом, капало с деревьев: ноябрь вдруг отсырел после первых морозов. Наёмный автомобиль быстро довез его до деревни, скользнул шинами на повороте и опрокинулся в канаву. Шофер только расшиб себе руку; Дарвин встал, нашел шляпу, стряхнул с пальто мокрый снег и спросил зевак, далеко ли до усадьбы Генриха Эдельвейса. Ему указали кратчайший путь,— тропинкой через еловый лес. Выйдя из лесу, он пересек проезжую дорогу и, пройдя по аллее, увидел зелено-коричневый дом. Перед калиткой, на темной земле, остался после прохождения глубокий след от резиновых узоров его подошв; этот след медленно наполнился мутной водой, а калитка, которую Дарвин неплотно прикрыл, через некоторое время скрипнула от порыва влажного ветра и открылась, сильно качнувшись. Погодя на нее села синица, поговорила, поговорила, а потом перелетела на еловую ветку. Все было очень мокро и тускло. Через час стало еще тусклее. Из глубины печального, бурого сада вышел Дарвин, прикрыл за собой калитку (она тотчас открылась опять) и пошел обратно — тропинкой через лес. В лесу он остановился и закурил трубку. Его широкое коричневое пальто было расстегнуто, на груди висели концы разноцветного кашне. В лесу было тихо, только слышалось легкое чмокание: где-то, под мокрым серым снегом, бежала вода. Дарвин прислушался и почему-то покачал головой. Табак, едва разгоревшись, потух, трубка издала беспомощный сосущий звук. Он что-то тихо сказал, задумчиво потер щеку и двинулся дальше. Воздух был тусклый, через тропу местами пролегали корни, черная хвоя иногда задевала за плечо, темная тропа вилась между стволов, живописно и таинственно.

РАССКАЗЫ

ВОЗВРАЩЕНИЕ ЧОРБА

упруги Келлер вышли из театра поздно. В этом спокойном германском городе, где воздух был чуть матовый и на реке вот уже восьмой век поперечная зыбь слегка тушевала отраженный собор, Вагнера давали с прохладцей, со вкусом, музыкой накармливали до отвала. Из театра Келлер повез жену в нарядный кабачок, который славился своим белым вином, и только во втором часу ночи автомобиль, легкомысленно освещенный изнутри, примчал их по мертвым улицам к железной калитке стекленного особнячка. Келлер, старый коренастый немец, очень похожий на президента Крюгера, первый сошел на панель, где при сером свете фонаря шевелились петлистые тени листьев. Свет на мгновение выхватил крахмальную грудь Келлера и капли стекляруса на платье его жены, которая, выпростав полную ногу, в свой черед лезла из автомобиля. В прихожей их встретила горничная и, с разбегу, испуганным шепотом сообщила им о посещении Чорба. Пухлое, еще свежее лицо Варвары Климовны Келлер задрожало и покраснело от волнения:

— Он вам сказал, что она больна?

Горничная залепетала еще шибче. Келлер толстой ладонью погладил себя по седому бобрику, и его большое, несколько обезьянье лицо, с длинным надгубьем и с глубокими морщинами, по-старчески наступило.

— Не могу же я ждать до завтра. Мы сию минуту поедем туда,— тряся головой, забормотала Варвара Климовна и грузно покружилась на месте, ловя конец вуали, которой был покрыт ее русый парик.— Господи Боже мой... Недаром около месяца не было писем.

Келлер толчком кулака расправил складной цилиндр и проговорил своим точным, несколько гортанным русским языком:

— Этот человек не в своем уме. Как он смел, если она больна, завозить ее опять в эту гнусную гостиницу...

Но, конечно, они ошибались, думая, что дочь их больна. Чорб так сказал горничной просто потому, что это было легче всего выговорить. На самом деле он вернулся из-за границы один и только теперь сообразил, что ведь придется все-таки объяснить, как жена его погибла и почему он ничего не писал. Все это было очень трудно. Как объяснить, что он желал один обладать своим горем, ничем посторонним не засоряя его и не разделяя его ни с кем? Ему сдавалось, что ее

смерть — редчайший, почти неслыханный случай, что ничего не может быть чище вот такой именно смерти,— от удара электрической струи, которая, перелитая в стекла, дает самый чистый и яркий свет.

И с тех пор как в весенний день на белом шоссе в десяти верстах от Ниццы она, смеясь, тронула живой провод бурей поваленного столба,— весь мир для Чорба сразу отшумел, отошел,— и даже мертвое тело ее, которое он нес на руках до ближайшей деревни, уже казалось ему чем-то чужим и ненужным. В Ницце, где ее должны были хоронить, неприятный чахоточный пастор напрасно добивался от него подробностей,— он только вяло улыбался, целый день сидел на гальке пляжа, пересыпая из ладони в ладонь цветные камушки,— и внезапно, не дождавшись похорон, поехал обратно в Германию через все те места, где в течение свадебного путешествия они побывали вдвоем. В Швейцарии, где они провели зиму и где доцветали теперь яблони, он ничего не узнал, кроме гостиниц; зато в Шварцвальде, по которому они прошли еще осенью, холодноватая весна не мешала воспоминанию. И так же, как на южном пляже, он старался найти тот единственный, круглый, черный, с правильным белым пояском, камушек, который она показывала ему накануне последней прогулки,— точно так же он отыскивал по пути все то, что отметила она возгласом: особенный очерк скалы, домишко, крытый серебристо-серыми чешуйками, черную ель, и мостики над белым потоком, и то, что было, пожалуй, роковым прообразом,— лучевой размах паутины в телеграфных проволоках, унизанных бисером тумана. Она сопровождала его: быстро ступали ее высокие сапожки,— и все двигались, двигались руки, то срывая листик с куста, то мимоходом поглаживая скалистую стену,— легкие, смеющиеся руки, которые не знали покоя. Он видел ее маленькое лицо, сплошь в темных веснушках, и глаза, широкие, бледновато-зеленые, цвета стеклянных осколков, выглаженных волнами. Ему казалось, что, если он соберет все мелочи, которые они вместе заметили, если он воссоздаст это близкое прошлое,— ее образ станет бессмертным и ему заменит ее навсегда. Вот только ночи были невыносимы... По ночам ее мнимое присутствие становилось вдруг страшным,— он почти не спал во время этого трехнедельного путешествия и теперь приехал совсем хмельной от усталости в тихий город, где встретился и венчался с ней, на вокзал, откуда прошлой осенью они вместе уехали.

Было около восьми часов вечера. За домами башня собора отчетливо чернела на червонной полосе зари. На площади перед вокзалом стояли гуськом все те же дряхлые извозчики. Покрикивал тот же газетчик глухим вечерним голосом. Тот же черный пудель с равнодушными глазами поднимал тонкую лапу у рекламной тумбы прямо на красные буквы афиши: Парсифаль.

У Чорба был ручной чемодан и большой желтый сундук. Он покатил через город на извозчике. Кучер лениво пошлепывал вожжами, придерживая одной рукой сундук. Чорб помнил, что та, которую он никогда не называл по имени, любила ездить на извозчике.

В переулке, за углом городской оперы, была старая трехэтажная, дурного пошиба гостиница, в которой сдавались комнаты и на неделю, и на час,— черный, в географических облупах дом, с ободранной ки-

сей за мутными стеклами и с неприметной входной дверью, никогда не запирающейся на ключ. Бледный, развязный лакей повел Чорба по извилистому коридору, отдающему сыростью и капустой, и когда Чорб вошел за ним в номер, то сразу узнал — по розовой купальнице в золоченой раме над кроватью,— что это та самая комната, где он провел с женой первую совместную ночь. Ей все казалось забавным тогда,— и толстяк без пиджака, которого рвало в коридоре, и то, что они выбрали почему-то такую дрянную гостиницу, и то, что в умывальной чашке был чудесный светлый волос, но пуще всего ее смешило то, как они скрылись из дома. Тотчас же по приезде из церкви домой она побежала к себе переодеться, пока внизу собирались гости к ужину. Келлер в добротном фраке, с рыхлой улыбкой на обезьяньем лице, похлопывал по плечу то того, то другого, сам подавал шнапсы,— а близких друзей Варвара Климовна водила попарно осматривать спальню, предназначеннюю новобрачным,— с умилением, пришептывая, указывала на исполинскую перину, на апельсиновые цветы, на две пары новенькихочных туфель — большие клетчатые и маленькие красные с помпончиками,— поставленных рядышком на коврике, по которому готическим шрифтом шла надпись: «Мы вместе до гроба». Затем все двинулись к столам, а Чорб с женой, мгновенно сговорившись, бежали с черного хода и только на следующее утро, за полчаса до отхода экспресса, явились в дом за вещами. Варвара Климовна всю ночь прорыдала; муж ее, для которого Чорб — нищий эмигрант и литератор,— был всегда человек подозрительный, проклинал выбор дочери, расход на вино, полицию, которая ничего не могла сделать... И потом, когда молодые уехали, старик ходил смотреть на гостиницу в переулке за оперой,— и с тех пор этот черный, подслеповатый дом стал для него чем-то отвратительным и влекущим, как воспоминание о преступлении.

Пока вносили сундук, Чорб неподвижно глядел на розовую олеографию. Когда дверь закрылась, он нагнулся над сундуком, отпер его. В углу, под отвернутым лоскутом обойной бумаги, шуркнула и покатилась мышь. Он повернулся на каблуке с быстрым содроганием. Голая лампочка, висевшая на шнуре с потолка, едва-едва качалась. Тень шнурка скользила поперек зеленой кушетки, ломаясь по сгибу. На этой самой кушетке он тогда спал. Жена дышала так по-детски ровно. В ту ночь он только поцеловал ее в душку,— больше ничего.

Мышь завозилась опять. Есть такие маленькие звуки, что страшнее канонады. Чорб оставил сундук, прошелся раза два по комнате. Ночной мотылек звонко ударился о лампочку. Он рванул дверь и вышел.

Спускаясь по лестнице, он чувствовал, как тяжело устал, а когда оказался в переулке, голова у него закружилась от мутной синевы майской ночи. Свернув на бульвар, он пошел быстрее. Площадь. Каменный всадник. Черные облака городского сада. Теперь цвели каштаны, а тогда стояла осень. Они долго вдвоем гуляли накануне свадьбы. Как хорошо был земляной, влажный, слегка фиалковый запах вялых листьев, покрывавших панель... Небо в те пасмурные, прелестные дни бывало тускловато-белым, и, посреди черной мостовой, ветки отражались в небольшой луже, похожей на плохо промытую фотографию. Между серых особняков неподвижно и мягко желтели деревья, а перед ее домом увядал тополь, и листья его были цвета прозрачного винограда. За ре-

шеткой мелькали стволы берез,— иной в плотном чехле плюща,— и он рассказывал, что в России не бывает плюща на березах, а она говорила, что рыжеватый оттенок от их мелкой листвы напоминает пятна нежной ржавчины на выглаженном белье. Вдоль панели стояли дубы и каштаны; по черной коре шла бархатная прозелень; то и дело срывался лист, летел наискось через улицу, как лоскуток оберточной бумаги. Она старалась поймать его на лету при помощи лопатки, которую нашла близ груды розовых кирпичей там, где чинили улицу. Поодаль, из трубы рабочего фургона, струился сизый дымок, наклонялся, таял между веток,— и отдыхавший каменщик смотрел, подбоченясь, на легкую, как блеклый лист, барышню, плясавшую с лопаткой в поднятой руке. Она прыгала и смеялась. Чорб, слегка горбясь, шагал за нею,— и ему казалось, что вот так, как пахнут вялые листья, пахнет само счастье.

Теперь он едва узнавал эту улицу, загроможденную ночью пышностью каштанов. Впереди горел фонарь, над стеклом склонялась ветка, и несколько листьев, на конце пропитанных светом, были совсем прозрачные. Чорб подошел. Тень калитки ломаным решетом хлынула к нему с панели, опутала ему ноги. За оградой, за туманной полосой гравия, вырос темный фасад знакомого дома. Одно окно было открыто и освещено. В этом янтарном провале горничная широким движением стелила яркую простыню. Чорб громко и коротко позвал ее. Одной рукой он держался за калитку, и росистое ощущение железа под ладонью было самым острым из всех воспоминаний.

Горничная уже выбегала к нему. Как она рассказывала Варваре Климовне, ее раньше всего поразило то, что Чорб оставался молча стоять на панели, хотя она сразу отперла калитку. «Он был без шапки,— рассказывала она,— и свет от фонаря падал ему на лоб, и лоб был мокрый от пота, и волосы ко лбу пристали. Я сказала, что господа в театре, и спросила его, почему он один. У него глаза очень страшно блестели, и он как будто давно не брился. Он тихо сказал: „Передайте, что она больна“. Я спросила: „Где же вы остановились?“ Он сказал: „Все там же“,— а потом: „Это все равно. Я завтра утром зайду“. Я предложила ему подождать, но он ничего не ответил, повернулся и ушел».

Так Чорб возвращался к самым истокам своих воспоминаний. Это был мучительный и сладкий искус, который теперь подходил к концу. Оставалось провести всего одну ночь в той первой комнате их брака, а уже завтра — искус будет пройден, и образ ее станет совершенным. И пока он шел обратно к гостинице по бульвару, где на всех скамьях, в синей темноте, сидели туманные фигуры, он вдруг понял, что, несмотря на усталость, он не заснет один в той комнате с голой лампочкой и шепотливыми углами. Он вышел на площадь и побрел по главной улице,— и уже знал, что нужно сделать. Но искал он долго: город был тихий, цементудренный,— и тот потайной переулок, где продавалась любовь, был Чорбу неизвестен. И только после часу беспомощного блуждания, от которого у него горели пятки и шумело в ушах, он случайно в тот переулок попал и сразу подошел к женщине, окликнувшей его.

— Ночь,— сказал Чорб сквозь зубы.

Женщина склонила набок голову, покачала сумкой и ответила: «Двадцать пять».

Он кивнул. Только гораздо позже, случайно взглянув на нее, Чорб

равнодушно заметил, что она недурна собой, хотя очень потасканная, и что волосы у нее светлые, стриженные.

Она не раз уже, с другими мужчинами, бывала в гостинице, где остановился Чорб,— и бледный, востроносый лакей, сбегавший по лестнице, дружелюбно ей подмигнул. Пока они шли по коридору, было слышно, как за одной из дверей, равномерно и тяжко, скрипела кровать, словно кто-то пилил бревно. И через несколько дверей, из другого номера опять доносяся такой же ноющий звук,— и, проходя мимо, женщина с холодной игривостью оглянулась на Чорба.

Он молча ввел ее в свою комнату и сразу, с глубоким предвкушением сна, стал сдергивать воротник с запонки. Женщина подошла вплотную к нему, спросила с улыбкой:

— А как насчет маленького подарка?

Чорб сонно и рассеянно посмотрел на нее, с трудом сообразил, о чем она говорит.

Получив деньги, она аккуратно сложила их в сумку и, легонько вздохнув, опять подошла, тряхнула волосами:

— Мне раздеваться?

— Да, ложись,— пробормотал Чорб,— утром еще дам.

Она стала поспешно расстегивать пуговки кофточки и все время искоса поглядывала на Чорба, слегка удивляясь его рассеянной угрюмости. Быстро и неряшливо раздевшись, он лег в постель, повернулся к стене.

«Этот, вероятно, с фокусом»,— смутно подумала женщина. Медленно она сложила свою сорочку, положила на стул. Чорб уже крепко спал.

Женщина побродила по комнате и, заметив, что крышка сундука, стоявшего у окна, чуть приоткрыта, опустилась на корточки, заглянула под край. Мигая и осторожно вытягивая голую руку, она нашупала женское платье, чулок, какие-то шелковые лоскуточки, кое-как сложенные и пахнувшие так хорошо, что ей стало грустно.

Она разогнулась, зевая, почесала бедро и как была — голая, в одних чулках, подошла к окну, отодвинула штору. За шторой рама была отворена, и в бархатной бездне улицы виден был угол оперы, черное плечо каменного Орфея, выделявшееся на синеве ночи, и ряд огоньков по туманному фасаду, наискось уходившему в сумрак. Там, далеко, на полу-круглых слоях освещенных ступеней кишили, выпекая из яркой проймы дверей, мелкие темные силуэты, и к ступеням скользили, играя фонарами и блестя гладкими крышами, автомобили. И только когда кончились разъезд и огоньки погасли, женщина опустила штору и, выключив свет, легла в постель, подле Чорба. Засыпая, она думала о том, что уже раза два была именно в этой комнате, запомнила розовую картину на стене.

Спала она не больше часу: ее разбудил страшный, истошный вопль. Это крикнул Чорб. Он проснулся среди ночи, повернулся на бок и увидел жену свою, лежавшую рядом с ним. Он крикнул ужасно, всем животом. Белая женская тень соскочила с постели. Когда она, вся дрожа, зажгла свет,— Чорб сидел в спутанных простынях, спиной к стене, и сквозь растопыренные пальцы сумасшедшем блеском горел один глаз. Потом он медленно открыл лицо, медленно узнал женщину. Она, испуганно бормоча, торопливо надевала сорочку.

И Чорб облегченно вздохнул и понял, что искус кончен. Он перебрался на кушетку и, сжимая руками волосатую голень, с равнодушной улыбкой смотрел на женщину. Эта улыбка еще больше испугала ее, и, отвернувшись, она быстро застегнула последний крючок, зашнуровала ботинки, стала надевать шляпу.

И в это мгновенье в коридоре зазвучали голоса и шаги.

— Но он вместе с дамой... — уныло повторял голос лакея.

И гортанный раздраженный голос настаивал:

— Я же говорю вам, что это — моя dochь.

Шаги остановились за дверью. Затем раздался стук.

Тогда женщина схватила со стола сумку и решительно открыла дверь. Перед ней стоял изумленный старый господин в матовом цилиндре, с жемчужиной на белой груди рубашки, из-за его плеча выглядывала полная заплаканная дама в вуали на волосах, а сзади маленький бледный лакей поднимался на цыпочки, тараща глаза и делая приглашительные движения рукой. Женщина поняла его знак и проскочила в коридор, мимо старика, который все с тем же недоумением повернулся к ней голову, — и затем вместе с дамой переступил порог. Дверь закрылась. Женщина и лакей остались стоять в коридоре, испуганно посмотрели друг на друга и, нагнувшись, прислушались. Но в комнате было молчание. Казалось невероятным, что там, за дверью, трое людей. Ни единый звук не доносился оттуда.

— Они молчат, — шепнул лакей и приложил палец к губам.

1929 г.

УЖАС

Со мной бывало следующее: просидев за письменным столом первую часть ночи, когда ночь тяжело идет еще в гору, — и очнувшись от работы как раз в то мгновенье, когда ночь дошла до вершины и вот-вот скатится, перевалит в легкий туман рассвета, — я вставал со стула, озябший, опустошенный, зажигал в спальне свет — и вдруг видел себя в зеркале. И было так: за время глубокой работы я отвык от себя, — и, как после разлуки, при встрече с очень знакомым человеком, в течение нескольких пустых, ясных, бесчувственных минут видишь его совсем по-новому, хотя знаешь, что сейчас пройдет холодок этой таинственной анестезии и облик человека, на которого смотришь, снова оживет, потеплеет, займет свое обычное место и снова станет таким знакомым, что уж никаким усилием воли не вернешь мимолетного чувства чуждости, — вот точно так же я глядел на свое отражение в зеркале и не узнавал себя. И чем пристальнее я рассматривал свое лицо, — чужие, немигающие глаза, блеск волосков на скуле, тень вдоль носа, — чем настойчивее я говорил себе: вот это я, имярек, — тем непонятнее мне становилось, почему именно это — я, и тем труднее мне было отождествить с каким-то непонятным «я» лицо, отраженное в зеркале. Когда я рассказывал об этом, мне справедливо замечали, что так можно дойти до чертиков. Действительно, раза два я так долго всматривался поздно ночью в свое отражение, что мне становилось жутко, и я поспешно тушил свет. А на-

утро, пока брился, мне уже в голову не приходило удивляться своему отражению.

Бывало со мной и другое: ночью, лежа в постели, я вдруг вспоминал, что смертен. Тогда в моей душе происходило то же, что происходит в огромном театре, когда внезапно потухает свет, и в налетевшей тьме кто-то резко вскрикивает, и затем вскрикивает несколько голосов сразу,— слепая буря, темный панический шум растет,— и вдруг свет вспыхивает снова, и беспечно продолжается представление. Так, бывало, душа моя задохнется на миг, лежу навзничь, широко открыв глаза, и стараюсь изо всех сил побороть страх, осмыслить смерть, понять ее пожитейски, без помощи религии и философии. И потом говоришь себе, что смерть еще далека, что успеешь ее продумать,— а сам знаешь, что все равно никогда не продумаешь, и опять в темноте, на галерке сознания, где мечутся живые, теплые мысли о милых земных мелочах, проносится крик,— и внезапно стихает, когда, наконец, повернувшись на бок, начинаешь думать о другом.

Полагаю, что все это — и недоумение перед ночным зеркалом, и внезапное паническое предвкушение смерти — ощущения, знакомые многим, и если я так останавливаюсь на них, то потому только, что в этих ощущениях есть частица того высшего ужаса, который мне однажды довелось испытать. Высший ужас... особенный ужас... я ищу точного определения, но на складе готовых слов нет ничего подходящего. Напрасно примеряю слова, ни одно из них мне не впору.

Жил я счастливо. Была у меня подруга. Помню, как меня измучила первая наша разлука, — я по делу уезжал за границу,— и как потом она встретила меня на вокзале,— стояла на перроне, как раз в клетке желтого света, в пыльном снопе солнца, пробившего стеклянный свод, и медленно поворачивала лицо по мере того, как проползали окна вагонов. С нею мне было всегда легко и покойно. Только однажды... Да, вот тут я опять чувствую, какое неуклюжее орудие — слово. А хочется мне объяснить... Это такой пустяк, это так мимолетно: вот мы с нею одни в ее комнате, я пишу, она штопает на ложкешелковый чулок, низко наклонив голову, и розовеет ухо, наполовину прикрытое светлой прядью, и трогательно блестит мелкий жемчуг вокруг шеи, и нежная щека кажется впалой, оттого что она так старательно пучит губы. И вдруг, ни с того ни с сего, мне делается страшно от ее присутствия. Это куда страшнее того, что я не сразу почувствовал ее на вокзале. Мне страшно, что со мной в комнате другой человек, мне страшно самое понятие: другой человек. Я понимаю, отчего сумасшедшие не узнают своих близких... Но она поднимает голову, быстро, всеми чертами лица, улыбается мне,— и вот, от моего странного страха уже нет и следа. Повторяю, это случилось всего только раз,— это тогда мне показалось глупостью нервов,— я забыл, что в одинокую ночь, перед зеркалом, мне приходилось испытывать нечто очень похожее.

Прожили мы вместе около трех лет. Я знаю, что многие не могли понять нашу связь. Недоумевали, чем могла привлечь и удержать меня эта простенькая женщина, но, Боже мой, как я любил ее неприметную миловидность, веселость, ласковость, птичье трепыхание ее души... Ведь дело в том, что как раз ее тихая простота меня охраняла: все в мире

было ей по-житейски ясно, и мне даже иногда казалось, что она совершенно точно знает, что ждет нас после смерти,— и мы о смерти никогда не говорили. В конце третьего года я опять был принужден уехать на довольно долгий срок. Накануне моего отъезда мы почему-то пошли в оперу. Когда, сидя на малиновом диванчике в темноватой, таинственной аванложе, она снимала огромные серые ботинки, вытаскивала из них свои тонкие, шелковые ноги, я подумал о тех, очень легких бабочках, которые выплываются из громоздких, мохнатых коконов. И было весело, когда мы с ней нагибались над розовой бездной залы и ждали, чтобы поднялся плотный, выцветший занавес в бледных, золотистых изображениях различных оперных сцен. И голым локтем она чуть не скинула вниз с барьера свой маленький перламутровый бинокль.

И вот, когда уже все расселись, и оркестр, вобрав воздух, подготовился грязнуть,— вдруг в огромном розовом театре потухли сразу все лампочки,— и налетела такая густая тьма, что мне показалось — я ослеп. И в этой тьме все сразу задвигалось, зашумело, и панический трепет перешел в женские восклицания, и оттого что отдельные мужские голоса очень громко требовали спокойствия,— крики становились взорваннее. Я рассмеялся, начал ей что-то говорить,— и почувствовал, что она вцепилась мне в руку, молча мнет мне манжету. И, когда свет снова наполнил театр, я увидел, что она сидит вся бледная, стиснув зубы. Я помог ей выйти из ложи,— она качала головой, с виноватой улыбкой порицая свой ребячий испуг,— и потом расплакалась, попросилась домой. И только в карете она успокоилась и, прижимая комочком платок к сияющим глазам, стала мне объяснять, как ей грустно, что завтра я уезжаю, и как было бы нехорошо этот последний вечер провести на людях, в опере.

А через двенадцать часов я уже сидел в вагоне, глядел в окно на туманное, зимнее небо, на воспаленный глазок солнца, не отстающий от поезда, на белые поля, которые без конца раскрывались, как исполнский лебяжий веер. В большом нерусском городе, куда я через сутки приехал, и довелось мне высший ужас испытать.

Началось с того, что я дурно спал три ночи сряду, а четвертую не спал вовсе. За последние годы я отвык от одиночества, и теперь эти одинокие ночи были для меня острым, безвыходным страданием. В первую ночь я видел ее во сне: было много солнца, и она сидела на постели в одной кружевной сорочке и до упаду хохотала, не могла остановиться. И вспомнил я этот сон совсем случайно, проходя мимо бельевого магазина,— и когда вспомнил, то почувствовал, как все то, что было во сне весело,— ее кружева, закинутое лицо, смех,— теперь, наяву, страшно,— и никак не мог себе объяснить, почему мне так неприятен, так отвратителен этот кружевной, хохочущий сон. Я много работал и много курил, и все у меня было чувство, что мне нужно, как говорится, держать себя в руках. Ночью, раздеваясь, я нарочно посвистывал и напевал, но вдруг, как трусливый ребенок, вздрогивал от легкого шума за спиной, от шума пиджака, соскользнувшего со стула.

На пятый день, рано утром, после бессонной ночи, я вышел пройтись. То, что буду рассказывать дальше, мне хотелось бы напечатать кур-

сивом,— даже нет, не курсивом, а каким-то новым, невиданным шрифтом. Оттого, что я ночью не спал, во мне была какая-то необыкновенно восприимчивая пустота. Мне казалось, что голова у меня стеклянная, и легкая ломота в ногах тоже казалась стеклянной. И сразу, как только я вышел на улицу... Да, вот теперь я нашел слова. Я спешу их записать, пока они не потускнели. Когда я вышел на улицу, я внезапно увидел мир таким, каков он есть на самом деле. Ведь мы утешаем себя, что мир не может без нас существовать, что он существует, поскольку мы существуем, поскольку мы можем себе представить его. Смерть, бесконечность, планеты — все это страшно именно потому, что это вне нашего представления. И вот, в тот страшный день, когда, опущенный бессонницей, я вышел на улицу, в случайном городе, и увидел дома, деревья, автомобили, людей,— душа моя внезапно отказалась воспринимать их как нечто привычное, человеческое. Моя связь с миром порвалась, я был сам по себе, и мир был сам по себе,— и в этом мире смысла не было. Я увидел его таким, каков он есть на самом деле: я глядел на дома, и они утратили для меня свой привычный смысл; все то, о чем мы можем думать, глядя на дом... архитектура... такой-то стиль... внутри комнаты такие-то... некрасивый дом... удобный дом...— все это скользнуло прочь, как сон, и остался только бессмысленный облик,— как получается бессмысленный звук, если долго повторять, вникая в него, одно и то же обыкновеннейшее слово. И с деревьями было то же самое, и то же самое было с людьми. Я понял, как страшно человеческое лицо. Все — анатомия, разность полов, понятие ног, рук, одежды,— полетело к черту, и передо мной было нечто,— даже не существо, ибо существо тоже человеческое понятие,— а именно нечто, движущееся мимо. Напрасно я старался пересилить ужас, напрасно вспоминал, как однажды, в детстве, я проснулся и, прижав затылок к низкой подушке, поднял глаза и увидел спросонья, что над решеткой изголовья наклоняется ко мне непонятное лицо, безносое, с черными гусарскими усиками под самыми глазами, с зубами на лбу,— и, вскрикнув, привстал, и мгновенно черные усики оказались бровями, а все лицо — лицом моей матери, которое я сперва увидел в перевернутом, непривычном виде. И теперь я тоже старался привстать, дабы зримое приняло вновь свое обычное положение, и это не удавалось мне. Напротив, чем пристальнее я вглядывался в людей, тем бессмысленнее становился их облик. Охваченный ужасом, я искал какой-нибудь точки опоры, исходной мысли, чтобы, начав с нее, построить снова простой, естественный, привычный мир, который мы знаем. Я, кажется, сидел на скамейке в каком-то парке. Действий моих в точности не помню. Как человеку, с которым случился на улице сердечный приступ, нет дела до прохожих, до солнца, до красоты старинного собора,— а есть в нем только всепоглощающее желание дышать,— так и у меня было только одно желание: не сойти с ума. Думаю, что никто никогда так не видел мира, как я видел его в те минуты. Страшная нагота, страшная бессмыслица. Рядом какая-то собака обнюхивала снег. Я мучительно старался понять, что такое «собака»,— и оттого, что я так пристально на нее смотрел, она доверчиво подползла ко мне,— и стало мне до того тошно, что я встал со скамьи и пошел

прочь. И тогда ужас достиг высшей точки. Я уже не боролся. Я уже был не человек, а голое зрение, бесцельный взгляд, движущийся в бессмысленном мире. Вид человеческого лица возбуждал во мне желание кричать.

Каким-то образом я оказался опять у входа моей гостиницы. И тут ко мне подошел кто-то и назвал меня по имени. Он тыкал мне в руку свернутый лоскуток. Бумажку эту я машинально развернул. И сразу весь мой ужас прошел, я мгновенно о нем забыл, все стало опять обычным и незаметным: гостиница, переменные отблески в стеклах врачающихся дверей, знакомое лицо швейцара, подавшего мне телеграмму. Я стоял посредине широкой прихожей. Прошел господин, с трубкой, в клетчатом картузе, толкнул меня и важно извинился. Я чувствовал удивление и большую, невыносимую, но совсем естественную, совсем человеческую боль. В телеграмме сообщалось, что она находится при смерти.

И пока я ехал к ней, и пока сидел у ее кровати, мне и в голову не приходило рассуждать о том, что такое жизнь, что такое смерть, ужасаться жизни и смерти. Женщина, которую я любил больше жизни и смерти... Женщина, которую я любил больше всего на свете, умирала. Я видел и чувствовал только это.

Она меня не узнала, когда я толкнулся коленом о край постели, на которой она лежала, под огромными одеялами, на огромных подушках,— сама маленькая, с волосами, откинутыми со лба, отчего стал заметен по окату виска тонкий шрам, который она всегда скрывала под низкой волной прически. Она меня не узнала, но я чувствовал по улыбке, раза два легко приподнявшей уголок ее губ, что она в своем тихом бреду, в предсмертном воображении видит меня, так что перед нею стояли двое: я сам, которого она не видела, и двойник мой, который был невидим мне. И потом я остался один,— мой двойник умер вместе с нею.

Ее смерть спасла меня от безумия. Простое человеческое горе так надломило мою жизнь, что для других чувств места больше не было. Но время идет, ее образ становится в моей душе все совершеннее и все безжизненнее,— и мелочи прошлого, живые, маленькие воспоминания незаметно для меня потухают, как потухают, один за другим, иногда по два, по три сразу, то здесь, то там огоньки в окнах засыпающего дома. И я знаю, что обречен, что пережитый однажды ужас, беспомощная боязнь существования когда-нибудь снова охватит меня, и тогда мне спасения не будет.

ОБЛАКО, ОЗЕРО, БАШНЯ

Один из моих представителей, скромный, кроткий холостяк, прекрасный работник, как-то на благотворительном балу, устроенном эмигрантами из России, выиграл веселительную поездку. Хотя берлинское лето находилось в полном разливе (вторую неделю было сыро, холодно, обидно за всё зеленевшее зря, и только воробы не унывали), ехать ему никуда не хотелось, но когда в конторе Общества увеселений он попробовал билет свой продать, ему ответили, что для этого

необходимо особое разрешение от министерства путей сообщения; когда же он и туда сунулся, то оказалось, что сначала нужно составить сложное прошение у нотариуса на гербовой бумаге, да кроме того раздобыть в полиции так называемое «свидетельство о невыезде из города на летнее время», причем выяснилось, что издержки составят треть стоимости билета, т. е. как раз ту сумму, которую, по истечении нескольких месяцев, он мог надеяться получить. Тогда, повздыхав, он решил ехать. Взял у знакомых алюминиевую фляжку, подновил по-дошвы, купил пояс и фланелевую рубашку вольного фасона,— одну из тех, которые с таким нетерпением ждут стирки, чтобы сесть. Она, впрочем, была велика этому милому, коротковатому человеку, всегда аккуратно подстриженному, с умными и добрыми глазами. Я сейчас не могу вспомнить его имя и отчество. Кажется, Василий Иванович.

Он плохо спал накануне отбытия. Почему? Не только потому, что утром надо вставать непривычно рано и таким образом брать с собой в сон лицо часов, тикающих рядом на столике, а потому, что в ту ночь ни с того ни с сего ему начало мниться, что эта поездка, навязанная ему случайной судьбой в открытом платье, поездка, на которую он решился так неохотно, принесет ему вдруг чудное, дрожащее счастье, чем-то схожее и с его детством, и с волнением, возбуждаемым в нем лучшими произведениями русской поэзии, и с каким-то когда-то виденным во сне вечерним горизонтом, и с тою чужою женой, которую он восьмой год безвыходно любил (но еще полнее и значительнее всего этого). И кроме того он думал о том, что всякая настоящая хорошая жизнь должна быть обращением к чему-то, к кому-то.

Утро поднялось пасмурное, но теплое, парное, с внутренним солнцем, и было совсем приятно трястись в трамвае на далекий вокзал, где был сборный пункт: в экскурсии, увы, участвовало несколько персон. Кто они будут, эти сонные — как всё еще нам незнакомые — спутники? У кассы номер шесть, в семь утра, как было указано в примечании к билету, он и увидел их (его уже ждали: минуты на три он всё-таки опоздал). Сразу выделился долговязый блондин в тирольском костюме, загорелый до цвета петушиного гребня, с огромными, золотисто-оранжевыми, волосатыми коленями и лакированным носом. Это был снаряженный обществом вожак, и как только новоприбывший присоединился к группе (состоявшей из четырех женщин и стольких же мужчин), он ее повел к запрятанному за поездами поезду, с устрашающей легкостью неся на спине свой чудовищный рюкзак и крепко цокая подкованными башмаками. Разместились в пустом вагончике сугубо третьего класса, и Василий Иванович, сев в сторонке и положив в рот мяtkу, тотчас раскрыл томик Тютчева, которого давно собирался перечесть («Мы слизь. Реченная есть ложь», — и дивное о румяном восклицании); но его попросили отложить книжку и присоединиться ко всей группе. Пожилой почтовый чиновник в очках, со щетинисто сизыми черепом, подбородком и верхней губой, словно он сбривал ради этой поездки какую-то необыкновенно обильную растительность, тотчас сообщил, что бывал в России и знает немножко по-русски, например, «пацлуй», да так подмигнул, вспоминая проказы в Царицыне, что его толстая жена набросала в воздухе начало оплеухи наотмашь. Вообще становилось шумно. Перекидывались пудовыми шутками чет-

веро, связанные тем, что служили в одной и той же строительной фирме,— мужчина постарше — Шульц, мужчина помоложе — Шульц тоже, и две девицы с огромными ртами, задастые и непоседливые. Рыжая, несколько фарсового типа вдова в спортивной юбке тоже кое-что знала о России (Рижское взморье). Еще был темный, с глазами без блеска, молодой человек, по фамилии Шрам, с чем-то неопределенным, бархатно-гнусным, в облике и манерах, всё время переводивший разговор на те или другие выгодные стороны экскурсии и дававший первый знак к восхищению: это был, как узналось впоследствии, специальный подогреватель от Общества увеспоездок.

Паровоз, шибко-шибко работая локтями, бежал сосновым лесом, затем — облегченно — полями, и, понимая еще только смутно всю чушь и ужас своего положения, и, пожалуй, пытаясь уговорить себя, что всё очень мило, Василий Иванович ухитрялся наслаждаться мимолётными дарами дороги. И действительно: как это всё увлекательно, какую прелесть приобретает мир, когда заведен и движется каруселью! Какие выясняются вещи! Жгучее солнце пробиралось к углу окошка и вдруг обливало желтую лавку. Безумно быстро неслася плохо выглаженная тень вагона по травянистому скату, где цветы сливались в цветные строки. Шлагбаум: ждет велосипедист, опираясь одной ногой на землю. Деревья появлялись партиями и отдельно, поворачивались равнодушно и плавно, показывая новые моды. Синяя сырость оврага. Воспоминание любви, переодетое лугом. Перистые облака, вроде небесных борзых. Нас с ним всегда поражала эта страшная для души анонимность всех частей пейзажа, невозможность никогда узнать, куда ведет вон та тропинка,— а ведь какая соблазнительная глупыш! Бывало, на дальнем склоне или в лесном просвете появится и как бы замрет на мгновение, как задержанный в груди воздух, место до того очаровательное,— полянка, терраса,— такое полное выражение нежной, благожелательной красоты,— что, кажется, вот бы остановить поезд и — туда, навсегда, к тебе, моя любовь... но уже бешено заскакали, вертесь в солнечном кипятке, тысячи буковых стволов, и опять прозевал счастье. А на остановках Василий Иванович смотрел иногда на сочетание каких-нибудь совсем ничтожных предметов — пятно на платформе, вишневая косточка, окурок,— и говорил себе, что никогда-никогда не запомнит и не вспомнит более вот этих трех штучек в таком-то их взаимном расположении, этого узора, который, однако, сейчас он видит до бессмертности ясно; или еще, глядя на кучку детей, ожидающих поезда, он изо всех сил старался высмотреть хоть одну замечательную судьбу — в форме скрипки или короны, пропеллера или лиры,— и досматривался до того, что вся эта компания деревенских школьников являлась ему как на старом снимке, воспроизведенном теперь с белым крестиком над лицом крайнего мальчика: детство героя.

Но глядеть в окно можно было только урывками. Всем были разданы нотные листки со стихами от общества:

Распростишь с пустой тревогой,
палку толстую возьми
и шагай большой дорогой
вместе с добрыми людьми.

По холмам страны родимой
вместе с добрыми людьми,
без тревоги нелюдимой,
без сомнений, черт возьми.

Километр за километром,
ми-ре-до и до-ре-ми,
вместе с солнцем, вместе с ветром,
вместе с добрыми людьми.

Это надо было петь хором. Василий Иванович, который не то что петь, а даже плохо мог произносить немецкие слова, воспользовался неразборчивым ревом слившихся голосов, чтобы только приоткрывать рот и слегка покачиваться, будто в самом деле пел,— но предводитель по знаку вкрадчивого Шрама вдруг резко приостановил общее пение и, подозрительно щурясь в сторону Василия Ивановича, потребовал, чтоб он пропел соло. Василий Иванович прочистил горло, застенчиво начал, и после минуты одиночного мучения подхватили все, но он уже не смел выпасть.

У него было с собой: любимый огурец из русской лавки, булка и три яйца. Когда наступил вечер, и низкое алое солнце целиком вошло в замызганный, закачанный, собственным грохотом оглушенный вагон, было всем предложено выдать свою провизию, дабы разделить ее поровну,— это тем более было легко, что у всех, кроме Василия Ивановича, было одно и то же. Огурец всех рассмешил, был признан несъедобным и выброшен в окошко. Ввиду недостаточности пая, Василий Иванович получил меньшую порцию колбасы.

Его заставляли играть в скат, тормошили, расспрашивали, провеврали, может ли он показать на карте маршрут предпринятого путешествия,— словом, все занимались им, сперва добродушно, потом с угрозой, растущей по мере приближения ночи. Обеих девиц звали Гретами, рыжая вдова была чем-то похожа на самого петуха-предводителя; Шрам, Шульц и другой Шульц, почтовый чиновник и его жена, все онисливались постепенно, срастаясь, образуя одно сборное, мягкое, многорукое существо, от которого некуда было деваться. Оно налезало на него со всех сторон. Но вдруг на какой-то станции все повылезли, и это было уже в темноте, хотя на западе еще стояло длиннейшее, розовейшее облако, и, пронзая душу, подальше на пути, горел дрожащей звездой фонарь сквозь медленный дым паровоза, и во мраке цыкали сверчки, и откуда-то пахло жасмином и сеном, моя любовь.

Ночевали в кривой харчевне. Матерый клоп ужасен, но есть известная грация в движениишелковистой лепизмы. Почтового чиновника отделили от жены, помещенной с рыжей, и подарили на ночь Василию Ивановичу. Кровати занимали всю комнату. Сверху перина, снизу горшок. Чиновник сказал, что спать ему что-то не хочется, и стал рассказывать о своих русских впечатлениях, несколько подробнее, чем в поезде. Это было упрямое и обстоятельное чудовище в арестантских подштанниках, с перламутровыми когтями на грязных ногах и

медвежьим мехом между толстыми грудями. Ночная бабочка металась по потолку, чокаясь со своей тенью.

— В Царицыне,— говорил чиновник,— теперь имеются три школы: немецкая, чешская и китайская. Так, по крайней мере, уверяет мой зять, ездивший туда строить тракторы.

На другой день с раннего утра и до пяти пополудни пылили по шоссе, лениво переходившему с холма на холм, а затем пошли зеленою дорогой через густой бор. Василию Ивановичу, как наименее нагруженому, дали нести под мышкой огромный круглый хлеб. До чего я тебя ненавижу, насущный! И всё-таки его драгоценные, опытные глаза примечали что нужно. На фоне еловой черноты вертикально висит сухая иголка на невидимой паутинке.

Опять ввалились в поезд, и опять было пусто в маленьком, без перегородок, вагоне. Другой Шульц стал учить Василия Ивановича играть на мандолине. Было много смеху. Когда это надоело, затеяли славную забаву, которой руководил Шрам; она состояла вот в чем: женщины ложились на выбранные лавки, а под лавками уже спрятаны были мужчины, и вот, когда из-под той или другой вылезала красная голова с ушами или большая, с подъюбочным направлением пальцев, рука (вызывающая визг), то и выяснялось, кто с кем попал в пару. Трижды Василий Иванович ложился в мерзкую тьму, и трижды никого не оказывалось на скамейке, когда он из-под нее выползал. Его признали проигравшим и заставили съесть окурок.

Ночь провели на соломенных тюфяках в каком-то сарае и спозаранку отправились снова пешком. Елки, обрывы, пенистые речки. От жары, от песен, которые надо было беспрестанно горланить, Василий Иванович так изнемог, что на полдневном привале немедленно уснул и только тогда проснулся, когда на нем стали шлепать мнимых оводов. А еще через час ходьбы вдруг и открылось ему то самое счастье, о котором он как-то вполгрезы подумал.

Это было чистое, синее озеро с необыкновенным выражением воды. Посередине отражалось полностью большое облако. На той стороне, на холме, густо облепленном древесной зеленью (которая тем поэтичнее, чем темнее), высилась прямо из дактиля в дактиль старинная черная башня. Таких, разумеется, видов в средней Европе сколько угодно, но именно, именно этот, по невыразимой и неповторимой согласованности его трех главных частей, по улыбке его, по какой-то таинственной невинности,— любовь моя! послушная моя! — был чем-то таким единственным, и родным, и давно обещанным, так понимал созерцателя, что Василий Иванович даже прижал руку к сердцу, словно смотрел, тут ли оно, чтоб его отдать.

Поодаль Шрам, тыкая в воздух альпенштоком предводителя, обращал Бог весть на что внимание экскурсантов, расположившихся кругом на траве в любительских позах, а предводитель сидел на пне,

задом к озеру, и закусывал. Потихоньку, прячась за собственную спину, Василий Иванович пошел берегом и вышел к постоянному двору, где, прижимаясь к земле, смеясь, истово бия хвостом, его приветствовала молодая еще собака. Он вошел с нею в дом, пегий, двухэтажный, с прищуренным окном под выпуклым черепичным веком, и нашел хозяина, рослого старика, смутно инвалидной внешности, столь плохо и мягко изъяснявшегося по-немецки, что Василий Иванович перешел на русскую речь, но тот понимал как сквозь сон и продолжал на языке своего быта, своей семьи. Наверху была комната для приезжих. «Знаете, я сниму ее на всю жизнь», — будто бы сказал Василий Иванович, как только в нее вошел. В ней ничего не было особенного, — напротив, это была самая дюжинная комната, с красным полом, с ромашками, намалеванными на белых стенах, и небольшим зеркалом, наполовину полным ромашкового настоя, — но из окошка было ясно видно озеро с облаком и башней, в неподвижном и совершенном сочетании счастья. Не рассуждая, не вникая ни во что, лишь беспрекословно отдаваясь влечению, правда которого заключалась в его же силе, никогда еще не испытанной, Василий Иванович в одну солнечную секунду понял, что здесь, в этой комнатке с прелестным до слез видом в окне, наконец-то так пойдет жизнь, как он всегда этого желал. Как именно пойдет, что именно здесь случится, он этого не знал, конечно, но все кругом было помощью, обещанием и отрадой, так что не могло быть никакого сомнения в том, что он должен тут поселиться. Мигом он сообразил, как это исполнить, как сделать, чтобы в Берлин не возвращаться более, как выписать сюда свое небольшое имущество — книги, синий костюм, ее фотографию. Всё выходило так просто! У меня он зарабатывал достаточно на малую русскую жизнь.

— Друзья мои, — крикнул он, прибежав снова вниз на прибрежную полянку. — Друзья мои, прощайте! Навсегда остаюсь вон в том доме. Нам с вами больше не по пути. Я дальше не еду. Никуда не еду. Прощайте!

— То есть как это? — странным голосом проговорил предводитель, выдержав небольшую паузу, в течение которой медленно линяла улыбка на губах у Василия Ивановича, между тем как сидевшие на траве привстали и каменными глазами смотрели на него.

— А что? — пролепетал он. — Я здесь решил...

— Молчать! — вдруг со страшной силой заорал почтовый чиновник. — Опомнись, пьяная свинья!

— Постойте, господа, — сказал предводитель, — одну минуточку, — и, облизнувшись, он обратился к Василию Ивановичу: — Вы, должно быть, действительно подвыпили, — сказал он спокойно, — или сошли с ума. Вы совершаете с нами увеселительную поездку. Завтра по указанному маршруту, — посмотрите у себя на билете, — мы все возвращаемся в Берлин. Речи не может быть о том, чтобы кто-либо из нас — в данном случае вы — отказался продолжать совместный путь. Мы сегодня пели одну песню, — вспомните, что там было сказано. Теперь довольно! Собирайтесь, дети, мы идем дальше.

— Нас ждет пиво в Эвальде, — ласково сказал Шрам. — Пять часов поездом. Прогулки. Охотничий павильон. Угольные копи. Масса интересного.

— Я буду жаловаться,— завопил Василий Иванович.— Отдайте мне мой мешок. Я вправе осться, где желаю. Да ведь это какое-то приглашение на казнь,— будто добавил он, когда его подхватили под руки.

— Если нужно, мы вас понесем,— сказал предводитель,— но это вряд ли будет вам приятно. Я отвечаю за каждого из вас и каждого из вас доставлю назад живым или мертвым.

Увлекаемый, как в дикой сказке, по лесной дороге, зажатый, скрученный, Василий Иванович не мог даже обернуться и только чувствовал, как сияние за спиной удаляется, дробимое деревьями, и вот уже нет его, и кругом чернеет бездейственно ропящая чаща. Как только сели в вагон и поезд двинулся, его начали избивать,— били долго и довольно изощренно. Придумали, между прочим, буравить ему штопором ладонь, потом ступню. Почтовый чиновник, побывавший в России, соорудил из палки и ремня кнут, которым стал действовать, как черт, ловко. Молодчина! Остальные мужчины больше полагались на свои железные каблуки, а женщины пробавлялись щипками да пощечинами. Было превесело.

По возвращении в Берлин он побывал у меня. Очень изменился. Тихо сел, положив на колени руки. Рассказывал. Повторял без конца, что принужден отказаться от должности, умолял отпустить, говорил, что больше не может, что сил больше нет быть человеком. Я его отпустил, разумеется.

Мариенбад, 1937 г.

ПОСЕЩЕНИЕ МУЗЕЯ

Несколько лет тому назад один мой парижский приятель, человек со странностями, чтобы не сказать более, узнав, что я собираюсь провести два-три дня вблизи Монтизера, попросил меня зайти в тамошний музей, где, по его сведениям, должен был находиться портрет его деда кисти Леруа. Улыбаясь и разводя руками, он мне поведал довольно дымчатую историю, которую я, признаться, выслушал без внимания, отчасти из-за того, что не люблю чужих навязчивых дел, но главное потому, что всегда сомневался в способности моего друга оставаться по сю сторону фантазии. Выходило приблизительно так, что после смерти деда, скончавшегося в свое время в петербургском доме во время японской войны, обстановка его парижской квартиры была продана с торгов, причем после неясных странствий портрет был приобретен музеем города, где художник Леруа родился. Моему приятелю хотелось узнать, там ли действительно портрет, и, если там, можно ли его выкупить, и, если можно, то за какую цену. На мой вопрос, почему же ему с музеем не списаться, отвечал, что писал туда несколько раз, но не добился ответа.

Про себя я решил, что просьбы не исполню: сошлюсь на болезнь или на изменение маршрута. От всяческих достопримечательностей, будь то музей или старинное здание, меня тошнит, да кроме того, поручение симпатичного чудака мне казалось решительно вздорным. Но так

случилось, что, бродя в поисках писчебумажной лавки по мертвым монтизерским улицам и кляня шпиль одного и того же длинношееего собора, выраставшего в каждом пролете, куда ни повернешь, я был застигнут сильным дождем, который немедленно занялся ускорением кленового листопада: южный октябрь держался уже на волоске. Я кинулся под навес и очутился на ступенях музея.

Это был небольшой, из пестрых камней сложенный дом с колоннами, с золотой надписью над фресками фронтона и с двумя каменными скамьями на львиных лапах по бокам бронзовой двери; одна ее половина была отворена, и за ней казалось темно по сравнению с мерцанием ливня. Я постоял на ступеньках, которые, несмотря на выступ крыши, постепенно становились крапчатыми, а затем, видя, что дождь зарядил надолго, я от нечего делать решил войти. Только я ступил на гладкие, звонкие плиты вестибюля, как в дальнем углу громыхнул табурет, и навстречу мне поднялся, отстраняя газету и глядя на меня поверх очков, музейный сторож,— банальный инвалид с пустым рукавом. Заплатив франк и стараясь не смотреть на какие-то статуи в сенях (столь же условные и незначительные, как первый номер цирковой программы), я вошел в залу.

Всё было как полагается: серый цвет, сон вещества, обес предметившаяся предметность; шкаф со стертыми монетами, лежащими на бархатных скатиках, а наверху шкафа — две совы,— одну звали в буквальном переводе «Великий князь», другую «Князь средний»; по коились заслуженные минералы в открытых гробах из пыльного картона; фотография удивленного господина с эспаньолкой высилась над собранием странных черных шариков различной величины, занимавших почетное место под наклонной витриной: они чрезвычайно напоминали подмороженный навоз, и я над ними невольно задумался, ибо никак не мог разгадать их природу, состав и назначение. Сторож, байковыми шажками следовавший за мной, но всё остававшийся на скромном от меня расстоянии, теперь подошел, одну руку держа за спиной, а призрак другой в кармане и переглядывая, судя по кадыку. «Что это?» — спросил я про шарики. «Наука еще не знает,— отвечал он, несомненно зазубрив фразу.— Они были найдены,— продолжал он тем же фальшивым тоном,— в тысяча восемьсот девяносто пятом году муниципальным советником Луи Прадье, кавалером почетного ордена,— и дрожащим перстом он указал на снимок. «Хорошо,— сказал я,— но кто и почему решил, что они достойны места в музее?» «А теперь обратите внимание на этот череп!» — бодро крикнул старик, явно меняя тему беседы. «Интересно всё-таки знать, из чего они сделаны»,— перебил я его. «Наука...» — начал он сизнова, но осекся и недовольно взглянул на свои пальцы, к которым пристала пыль со стекла.

Я еще осмотрел китайскую вазу, привезенную, вероятно, морским офицером; компанию пористых окаменелостей; бледного червяка в мутном спирту; красно-зеленый план Монтизера в XVII веке; и тройку ржавых инструментов, связанных траурной лентой,— лопата, цапка,

кирка. «...Копать прошлое», — рассеянно подумал я, но уж не обратился за разъяснением к сторожу, который, лавируя между витрин, бесшумно и робко за мной следовал. За первой залой была другая, как будто последняя, и там, посередине, стоял, как грязная ванна, большой саркофаг, а по стенам были развешаны картины.

Сразу заприметив мужской портрет между двумя гнусными пейзажами (с коровами и настроением), я подошел ближе и был несколько потрясен, найдя то самое, существование чего дотоле казалось мне попутной выдумкой блуждающего рассудка. Весьма дурно написанный маслом мужчина в сюртуке, с бакенбардами, в крупном пенсне на шнурке, смахивал на Оффенбаха, но, несмотря на подлую условность работы, можно было, пожалуй, разглядеть в его чертах как бы горизонт сходства с моим приятелем. В уголке по черному фону была кармином выведена подпись «Леруа», — такая же бездарная, как само произведение.

Я почувствовал у плеча уксусное дыхание и, обернувшись, увидел добрые глаза сторожа.

— Скажите, — спросил я, — если б, положим, кто-нибудь захотел купить эту или другую картину, — к кому следовало бы обратиться?

— Сокровища музея — честь города, — отвечал старик, — а честь не продается.

Я поспешил согласиться, боясь его красноречия, но всё-таки попросил адрес опекуна музея. Он попробовал отвлечь мое внимание повестью о саркофаге, — однако я настаивал на своем. Наконец старик назвал некоего мосье Годара и объяснил, где его отыскать.

Мне, прямо скажу, понравилось, что портрет есть. Весело присутствовать при воплощении мечты, хотя бы и не своей. Я решил немедленно закончить дело, а когда я входил во вкус, то остановить меня невозможно. Скорым и звонким шагом выйдя из музея, я увидел, что дождь перестал, по небу распространилась синева, женщина в забрызганных чулках катила на серебряном велосипеде, и только на окрестных горах еще дымились тучи. Собор снова заиграл со мною в прятки, но я перехитрил его. Едва не попав под бешеные шины красного автокара, набитого поющимися молодыми людьми, я пересек асфальтовый большак и через минуту звонил у калитки мосье Годара. Он оказался худеньким пожилым человеком в высоком воротничке, в пластроне, с жемчужиной в узле галстука, лицом очень похожим на белую борзую, — мало того, он совсем по-собачьи облизнулся, наклеивая марку на конверт, когда я вошел в его небольшую, но богато обставленную комнату, с малахитовой чернильницей на письменном столе и странно знакомой китайской вазой на камине. Две фехтовальные шпаги были скрещены над зеркалом, в котором отражался его узкий, седой затылок, и несколько фотографий военного корабля приятно прерывали голубую флору обоев.

— Чем могу вам служить? — спросил он, бросив запечатанное им письмо в мусорную корзину: этот жест показался мне необычным, но я не счел нужным вмешаться. В кратких словах я изложил причину моего прихода и даже назвал крупную сумму, с которой мой друг был готов

расстаться, хотя, правда, он просил меня ее не называть, а дождаться условий музея.

— Всё это очень мило,— сказал мосье Годар,— да только вы ошибаетесь: такой картины нет в нашем музее.

— Как нет? — воскликнул я.— Да я ее только что видел! Гюстав Леруа, портрет русского дворянина.

— Одно полотно Леруа у нас действительно имеется,— сказал мосье Годар, перелистыв клеенчатую тетрадь и длинным черным ногтем остановившись на найденной строке.— Но это не портрет, а деревенский мотив: возвращение стада.

Я повторил, что картину видел своими глазами пять минут тому назад и что никакая сила не заставит меня в этом усомниться.

— Согласен,— сказал мосье Годар,— но и я тоже не сумасшедший. Я состою хранителем нашего музея вот уже скоро двадцать лет и знаю этот каталог, как молитву Господню. Тут сказано «Возвращение стада», значит, стадо возвращается, и ежели только дед вашего друга не изображен в виде пастуха, я не могу допустить, что его портрет у нас существует.

— Он в сюртуке,— крикнул я,— клянусь вам, что он в сюртуке!

— А как вообще,— спросил мосье Годар подозрительно,— вам понравился наш музей? Вы саркофаг оценили?

— Послушайте,— и была уже, кажется, вибрация в моем голосе,— сделайте мне одолжение, пойдемте туда сию минуту, и условимся так: если портрет висит там, то вы мне его продадите.

— А если его нет? — полюбопытствовал мосье Годар.

— Тогда я вам заплачу ту же сумму.

— Ладно,— сказал он.— Вот возьмите карандаш и красным, красным концом запишите мне это.

Я сгоряча исполнил его требование. Прочтя мою подпись, он пожаловался на трудность произношения русских фамилий, расписался под ней сам и, быстро сложив листок, сунул его в карманчик жилета.

— Пойдемте,— сказал он, высвобождая манжету.

По дороге он заглянул в лавку и купил фунтик липких леденцов, которыми стал настойчиво меня уговаривать, а когда я наотрез отказался, попытался мне высыпать штучки две в руку,— я отдернул ее, несколько леденцов упало на панель, он подобрал их и догнал меня рысью. Когда мы приблизились к музею, то увидели, что перед ним стоит красный автокар — пустой.

— Ага,— сказал мосье Годар довольненьким голосом,— я вижу, что у нас сегодня много посетителей.

Он снял шляпу и, держа ее перед собой, чинно взошел по ступеням.

В музее было нехорошо. Доносились вакхические восклицания, бравурный смех и как будто даже шум потасовки. Мы вошли в первую залу; там старичок-сторож удерживал двух святотатцев с какими-то праздничными эмблемами в петличках и вообще очень сизо-румянных и энергичных, старавшихся добыть из-под стекла черные чаврики муниципального советника. Прочие молодцы из той же сельско-спортивной корпорации громко издевались, кто над червем в спирту, кто над черепом. Один весельчак восхищался трубами парового отопления,

будто принятными им за экспонат; другой целился в сову из кулака и пальца. Всего было человек тридцать, так что получалась толкотня и густой шум от шагов и возгласов.

Мосье Годар захлопал в ладоши и указал на плакат с надписью: «Посетители музея должны быть прилично одеты». Затем он протиснулся — и я за ним — во вторую залу. Всё общество тотчас повалило туда же. Я подтолкнул Годара к портрету, и он застыл перед ним, выставив грудь, потом чуть попятился, словно им любяясь, и наступил своим дамским каблуком на чью-то ногу.

— Прекрасная картина,— воскликнул он вполне искренне,— что ж, не будем мелочны. Вы оказались правы, а в каталоге, должно быть, ошибка.

Говоря это, он отвлечеными пальцами достал наш контракт и разорвал его на мелкие части, которые, как снежинки, посыпались в массивную плевательницу.

— Кто эта старая обезьяна? — спросил относительно портрета некто в полосатом нательнике, а так как дед моего приятеля был изображен с сигарой в руке, другой балагур вынул папиросу и собрался у портрета прикурить.

— Давайте условимся о цене,— сказал я.— И во всяком случае уйдемте отсюда.

— Пропустите, господа,— крикнул мосье Годар, отстраняя любопытных. В конце залы оказался проход, которого я прежде не заметил, мы пробились туда.— Я ничего не могу решить,— говорил мосье Годар, перекрикивая шум.— Решимость только тогда хороша, когда подкреплена законом. Я должен сперва посоветоваться с мэром, который только что умер и еще не избран. Думаю, что купить портрет вам не удастся, но тем не менее хочу вам показать еще другие наши сокровища.

Мы очутились в зале несколько больших размеров. Там, на длинном столе под стеклом, раскрыты были толстые, плохо выпеченные книги с желтыми пятнами на грубых листах. Вдоль стен стояли военные куклы в ботфортах с раструбами.

— Давайте обсудим,— взмолился я, порываясь направить пируэты мосье Годара к плюшевому дивану в углу. Но мне помешал сторож. Потрясая единственной рукой, он догонял нас, сопровождаемый веселым табуном молодых людей, из которых один надел себе на голову медный шлем с рембрандтовским бликом.

— Снимите, снимите! — воскликнул мосье Годар, и от чьего-то толчка шлем со звоном слетел с хулигана.

— Дальше,— сказал мосье Годар, дергая меня за рукав, и мы попали в отдел античной скульптуры.

На минуту я заблудился среди громадных мраморных ног и дважды обежал кругом исполинского колена, покамест не увидел опять мосье Годара, который искал меня за белой пятой соседней великанши. Тут какой-то человек в котелке, видно на нее взобравшийся, вдруг с боль-

шой вышины упал на каменный пол. Его стал поднимать товарищ, но оба были навеселе, и, махнув на них рукой, мосье Годар полетел в следующую комнату, где сияли восточные ткани, гончие мчались по лазурным коврам и на тигровой шкуре лежал лук с колчаном.

Но странное дело: от простора и пестроты было только тяжело, мутно,— и потому ли, что все новые посетители проносились мимо, или потому, что мне хотелось поскорее выбраться из ненужно удлинившегося музея, чтобы в свободной тишине докончить с мосье Годаром деловой разговор, но меня охватила какая-то тревога. Между тем мы перенеслись еще в одну залу, которая уж совсем была громадная, судя по тому, что в ней помещался целый скелет кита, подобный остову фрегата, а далее открывались еще и еще залы, косо лоснились полотна широких картин, полные грозовых облаков, среди которых плавали в синих и розовых ризах нежные идолы религиозной живописи, и всё это разрешалось внезапным волнением туманных завес, и зажигались люстры, и в освещенных аквариумах рыбы виляли прозрачными шлейфами, а когда мы взбежали по лестнице, то сверху, из галереи, увидели внизу толпу седых людей и зонтиков, осматривающих громадную модель мироздания.

Наконец, в каком-то пасмурном, но великолепном помещении, отведенном истории паровых машин, мне удалось остановить на мгновение моего беспечного вожака.

— Довольно,— крикнул я,— я ухожу. Мы поговорим завтра...

Его уже не было. Я повернулся, увидел в вершке от себя высокие колеса вспотевшего локомотива и долго пытался найти между макетами вокзалов обратный путь... Как странно горели лиловые сигнальные огни во мраке за веером мокрых рельсов, как сжалось мое бедное сердце... Вдруг опять всё переменилось: передо мной тянулся бесконечно длинный проход, где было множество конторских шкафов и неуловимо спешивших людей, а кинувшись в сторону, я очутился среди тысячи музыкальных инструментов,— в зеркальной стене отражалась анфилада роялей, а посредине был бассейн с бронзовым Орфеем на зеленой глыбе. Тема воды на этом не кончилась, ибо, метнувшись назад, я угодил в отдел фонтанов, ручьев, прудков, и трудно было идти по извилистому и склизкому их краю.

Изредка, то с одной стороны, то с другой, каменные лестницы с лужами на ступенях, странно пугавшие меня, уходили в туманные пропасти, где раздавались свистки, звон посуды, стук пишущих машинок, удары молотков и много других звуков, словно там были какие-то выставочные помещения, уже закрывающиеся или еще недостроенные. Потом я попал в темноту, где натыкался на неведомую мебель, покамест, увидя красный огонек, я не вышел на платформу, лязгнувшую подо мной... а за ней вдруг открылась светлая, со вкусом убранная гостиная в стиле ампир, но ни души, ни души... Мне уже было непередаваемо страшно, но всякий раз, как я поворачивался и старался вернуться по уже пройденным переходам, я оказывался в еще невиданном месте,— в зимнем саду с гортензиями и разбитыми стеклами, за которыми

чернела искусственная ночь, или в пустой лаборатории, с пыльными алембиками на столах. Наконец я вбежал в какое-то помещение, где стояли вешалки, чудовищно нагруженные черными пальто и каракулевыми шубами; там, в глубине за дверью, вдруг грянули аплодисменты, но когда я дверь распахнул, никакого театра там не было, а просто мягкая муть, туман, превосходно подделанный, с совершенно убедительными пятнами расплывающихся фонарей. Более чем убедительными! Я двинулся туда, и сразу отрадное и несомненное ощущение действительности сменило наконец всю ту нереальную дрянь, среди которой я только что метался. Камень под моими ногами был настоящей панелью, осыпанной чудно пахнущим, только что выпавшим снегом, на котором редкие пешеходы уже успели оставить черные, свежие следы. Сначала тишина и снежная сырость ночи, чем-то поразительно знакомые, были приятны мне после моих горячечных блужданий. Доверчиво я стал соображать, куда я, собственно, выбрался, и почему снег, и какие это фонари, преувеличенно, но мутно лучающиеся там и сям в коричневом мраке. Я осмотрел и, нагнувшись, даже тронул каменную тумбу... потом взглянул на свою ладонь, полную мокрого, зернистого холода, словно думая, что прочту на ней объяснение. Я почувствовал, как легко, как наивно одет, но ясное сознание того, что из музейных дебрей я вышел на волю, опять в настоящую жизнь, это сознание было еще так сильно, что в первые две-три минуты я не испытывал ни удивления, ни страха. Продолжая неторопливый осмотр, я оглянулся на дом, у которого стоял,— и сразу обратил внимание на железные ступени с такими же перилами, спускавшиеся в подвальный снег. Что-то меня колнуло в сердце, и уже с новым, беспокойным любопытством, я взглянул на мостовую, на белый ее покров, по которому тянулись черные линии, на бурое небо, по которому изредка промахивал странный свет, и на толстый парapet поодаль: за ним чуялся провал, поскрипывало и булькало что-то, а дальше, за впадиной мрака, тянулась цепь мохнатых огней. Промокшими туфлями шурша по снегу, я прошел несколько шагов и всё посматривал на темный дом справа: только в одном окне тихо светилась лампа под зеленым стеклянным колпаком,— а вот запертые деревянные ворота, а вот, должно быть, ставни спящей лавки... и при свете фонаря, форма которого уже давно мне кричала свою невозможную весть, я разобрал кончик вывески: «...инка сапог»,— но не снегом, не снегом был затерт твердый знак. «Нет, я сейчас проснусь»,— произнес я вслух и, дрожа, с колотящимся сердцем, повернулся, пошел, остановился опять,— и где-то раздавалася, удаляясь, мягкий ленивый и ровный стук копыт, и снег ермолкой сидел на чуть косой тумбе, и он же смутно белел на поленнице из-за забора, и я уже непоправимо знал, где нахожусь. Увы! Это была не Россия моей памяти, а всамделишная, сегодняшняя, заказанная мне, безнадежно рабская и безнадежно родная. Полупризрак в легком заграничном костюме стоял на равнодушном снегу, октябрьской ночью, где-то на Мойке или на Фонтанке, а может быть, и на Обводном канале,— и надо было что-то делать, куда-то идти, бежать, дико оберегать свою хрупкую, свою беззаконную жизнь. О, как часто во сне мне уже приходилось испытывать нечто подобное, но теперь это была действитель-

ность, было действительным всё,— и воздух, как бы просеянный снегом, и еще не замерзший канал, и рыбный садок, и особенная квадратность темных и желтых окон. Навстречу мне из тумана вышел человек в меховой шапке, с портфелем под мышкой и кинул на меня удивленный взгляд, а потом еще обернулся, пройдя. Я подождал, пока он скрылся, и тогда начал страшно быстро вытаскивать всё, что у меня было в карманах, и рвать, бросать в снег, утаптывать,— бумаги, письмо от сестры из Парижа, пятьсот франков, платок, папироны, но для того, чтобы совершенно отделаться от всех эмигрантских чешуй, необходимо было бы содрать и уничтожить одежду, белье, обувь, всё,— оставаться идеально нагим, и хотя меня и так трясло от тоски и холода, я сделал, что мог.

Но довольно. Не стану рассказывать ни о том, как меня задержали, ни о дальнейших моих испытаниях. Достаточно сказать, что мне стоило неимоверного терпения и трудов обратно выбраться за границу, и что с той поры я заклялся исполнять поручения чужого безумия.

Париж, 1938 г.

КОММЕНТАРИЙ

К с. 19. Конрад Джозеф (псевдоним Юзефа Теодора Конрада Коженёвского, 1857—1924) — английский писатель, по рождению — поляк. В 1880 году стал моряком торгового английского судна, в 1884 году принял английское подданство. В 1898 году закончил свой первый английский роман.

К с. 21. Набоков Владимир Дмитриевич (1869—1922) — отец писателя, крупный политический деятель, один из основателей и руководителей Конституционно-демократической партии (кадеты), депутат 1-й Государственной думы. После февральской революции — управляющий делами Временного правительства. В эмиграции продолжал активную политическую деятельность, был соиздателем выходившей в Берлине русской газеты «Руль». Убит белоэмигрантом-черносотенцем.

К с. 21. «Венскими мистиками» Набоков называет последователей австрийского врача-психиатра Зигмунда Фрейда (1856—1939), создателя теории психоанализа, объяснявшего все психические состояния и действия человека роковой властью над личностью бессознательных влечений, прежде всего сексуальных. Анализируя формирование и проявление бессознательных влечений, Фрейд обращался к детской сексуальности.

К с. 24. Куропаткин Алексей Николаевич (1848—1925) — русский военный деятель. Его тактическими ошибками во многом объясняется поражение русской армии в русско-японской войне (1904—1905), когда Куропаткин был назначен главнокомандующим. В 1906 году издал четыре тома «Отчета генерал-адъютанта Куропаткина», в котором попытался оправдать свою деятельность во время войны.

К с. 25. Зуттинер Берта (1843—1914) — австрийская писательница и общественный деятель, основатель Австрийского общества мира, лауреат Нобелевской премии мира (1905). Издавала журнал «Долой оружие!» (1892 — 1899). Ее главное произведение — роман «Долой оружие!» (1889) — содержал страстный протест против войны.

«Выборгское воззвание» («Народу от народных представителей») — обращение группы депутатов 1-й Государственной думы, принятное в Выборге 10 июля 1906 года в ответ на роспуск Думы. Призывало «граждан всей России»

до созыва Думы не давать «ни копейки в казну, ни одного солдата в армию». Против подписавших воззвание было возбуждено уголовное дело, 167 обвиняемых из 169 были приговорены к трем месяцам тюрьмы.

К с. 34. Пети-бер (фр. petit beurre) — сухое печенье.

К с. 35. Пуанкаре Раймон (1860—1934) — французский политический деятель, в 1912—1913 гг. премьер-министр и министр иностранных дел, в 1919—1920 гг. — президент Французской республики. В период, предшествовавший первой мировой войне, сторонник укрепления Антанты и франко-русского союза, проповедник войны-реванша против Германии. В июле 1914 года приезжал в Петербург.

К с. 37. Козлов Николай Илларионович (1814—1883) — врач, автор трудов по диагностике и развитию болезненных процессов в организме. Проявил себя и как незаурядный администратор: президентом Медико-хирургической академии был с 1869 по 1871 г., с 1871 по 1881 г. — главный военно-медицинский инспектор.

Набоков Иван Николаевич (1787—1862) — боевой офицер, генерал, участник войны против Наполеона (1812—1814), кавалер многих орденов, в том числе за Бородинское сражение. В 1848 г. по состоянию здоровья уволен из армии и назначен комендантром Петропавловской крепости и директором Чесменской богадельни. Был председателем следственной комиссии по делу петрашевцев, по которому проходил и Ф. М. Достоевский.

Набоков Дмитрий Николаевич (1827—1904), дед писателя, — юрист, с 1878 по 1885 г. министр юстиции. Его имя связано с пересмотром уголовных и гражданских законов, для чего в 1881 и 1882 гг. были учреждены особые комиссии.

Менцель Адольф (1815—1905) — немецкий живописец, автор многих исторических картин из эпохи Фридриха Великого. Набоков говорит о его «Концерте Фридриха II в Сан-Суси» (1852).

К с. 38. Тарновский Вениамин Михайлович (1837—1906) — видный русский врач — венеролог, создатель кафедры сифилидологии в Петербургской Медико-хирургической академии и Русского сифилидологического и дерматологического общества (1885).

Бенуа Александр Николаевич (1870—1960) — живописец, график, художник театра, историк искусства, художественный критик. Один из организаторов и идейный вдохновитель объединения «Мир искусства» (кон. XIX — нач. XX в.).

Бенуа Альберт Николаевич (1852—1936), брат Александра, — художник-акварелист, с 1884 года — академик. Автор многочисленных пейзажей окрестностей Петербурга и Финского залива.

Бакст Лев Самойлович (псевдоним Розенберга, 1866—1924), Сомов Константин Андреевич (1869—1939) — видные художники и активные деятели объединения «Мир искусства».

К с. 39. Закон 12 июня 1884 года был вызван нападками реакционеров на суд присяжных, повышал образовательный, возрастной и имущественный ценз при составлении списка присяжных, вводил ряд других изменений.

См. «Вестник Европы». 1885. № 12.

К с. 41. «Титаник» — английский пароход, в 1912 году столкнулся с айсбергом и затонул. В катастрофе погибло 1500 человек.

Витте Сергей Юльевич (1849—1915) — видный русский государственный деятель. Занимая пост министра финансов (1892—1903), оказывал сильное влияние на решение экономических и политических вопросов, стремился противодействовать агрессивной политике Японии. В 1905 году возглавил делегацию, подписавшую мирный договор с Японией, за что получил графский титул.

Портсмутский мирный договор был подписан 5 сентября 1905 года в Портсмуте (США), стал большой победой русской дипломатии: японская делегация отказалась от многих своих требований, в том числе территориальных.

Рузвельт Теодор (1858—1919) — государственный деятель США, президент в 1901—1909 гг. Проводил агрессивную политику, в том числе на Дальнем Востоке.

Сегюр Софья Федоровна (1799—1874) — французская детская писательница. Дочь русского государственного деятеля Ф. Ф. Растопчина. Автор нравоучительных повестей с занимательным сюжетом.

К с. 53. В стихотворении Ш. Бодлера (1821—1867) «Дон-Жуан в аду» — героя, переплывающего через загробную реку, не встречают, а провожают разные женщины.

К с. 54. Корелли Мария (псевдоним Марии Мэккей, 1855—1924) — английская романистка, автор растянутых произведений, пронизанных морализаторством. Была популярна у массового читателя.

К с. 55. «Генерал Дуракин» (*Le general Durakin*, 1863) — роман С. Ф. Сегюра.

К с. 56. Яремич Степан Петрович (1869—1939) — живописец-пейзажист, график, музейный работник, коллекционер, историк искусства. Считался одним из лучших знатоков — экспертов западноевропейского рисунка. Был близок к объединению «Мир искусства».

Добужинский Мстислав Валерианович (1875—1957) — живописец, график, декоратор, один из активных деятелей объединения «Мир искусства». С 1906 года — преподаватель в ряде художественных школ России.

К с. 60. Кони Анатолий Федорович (1844—1927) — знаменитый адвокат, юрист, деятель суда присяжных.

Иокаста — героиня античного мифа. Не узнав собственного сына, стала его женой. Традиционный пример кровосмесления.

К с. 64. Помона — римская богиня, покровительница плодовых деревьев и садов.

К с. 65. Буржé Поль-Шарль-Жозеф (1852—1935) — французский писатель, эссеист, поэт, плодовитый романист. Его романы отличают морализаторство, пронизанность идеями католицизма и монархизма.

К с. 68. Коппé Франсуа-Эдуард-Жоакен (1842—1908) — французский писатель, популярный у среднего читателя. Автор меланхолических стихотворений о любви и сентиментальных рассказов в стихах из жизни рантье, лавочников и гризеток Парижа.

К с. 70. Жюли де Вольмар — героиня романа Ж.-Ж. Руссо «Юлия, или Новая Элоиза», девушка из знатной семьи, полюбившая бедного учителя.

К с. 72. «Живописное обозрение» — первый в России научно-популярный, богато иллюстрированный журнал энциклопедического характера. Издавался в Москве в 1835—1844 гг.

К с. 73. Штаудингер Отто (1830—1900) — немецкий энтомолог. Его громадная коллекция стала основой для торговли насекомыми, которую он настолько расширил, что приобрел всемирную известность.

К с. 75. Очерк Сергея Тимофеевича Аксакова (1791—1859) «Собирание бабочек» был написан специально для сборника «Братчина» (СПб., 1859), изданного в пользу неимущих студентов Казанского университета, опубликован с подзаголовком «Рассказ из студентской жизни».

К с. 76. Муромцев Сергей Андреевич (1850—1910) — крупный политический деятель, один из основателей и лидеров Конституционно-демократической партии, публицист. В 1906 году избран председателем 1-й Государственной думы. После распуска Думы председательствовал на совещании ее членов в Выборге.

К с. 81. Пирый Роберт-Эдвин (1856—1920) — американский полярный путешественник. После ряда неудачных попыток впервые в истории достиг Северного полюса в апреле 1909 года.

Блерио Луи (1872—1936) — конструктор самолетов и пилот, в 1909 году впервые осуществил перелет через Ла-Манш.

К с. 84. Императрица Евгения — французская императрица (1852—1870), жена Наполеона III. Отличалась религиозностью и склонностью к мистике.

К с. 90. Линдер Макс (1883—1925) — один из популярнейших французских комических актеров немого кино 1910-х годов. Его герой — элегантный, ослепительный красавец, уверенный в себе, часто становящийся жертвой собственной самонадеянности.

К с. 96. Жид Шарль (1847—1932) — французский буржуазный экономист. В своем главном труде «Принципы политической экономии» особое внимание уделил организации сферы обращения.

К с. 102. Гиппиус Владимир Васильевич (1876—1941) — русский поэт, примыкал к символистам. В его лирике преобладали религиозно-мистические мотивы.

«Речь» — ежедневная газета, центральный орган Конституционно-демократической партии. Выходила в Петербурге с 1906 по 1917 г. Не раз подвергалась репрессиям за критику правительства. Была популярна в среде либеральной интеллигенции.

К с. 103. Милуков Павел Николаевич (1859—1943) — видный русский политический деятель, историк, публицист, лидер Конституционно-демократической партии. Приобрел популярность в либеральных кругах как активный деятель «Союза освобождения» — нелегальной политической организации (1904—1905), выдвинувшей требование созыва Учредительного собрания. В февральскую революцию выступил за сохранение монархии и передачу власти великому князю Михаилу. В первом составе Временного правительства — министр иностранных дел.

Гессен Иосиф Владимирович (1866—1943) — русский политический деятель, один из основателей и руководителей Конституционно-демократической партии, соредактор (вместе с П. Н. Милуковым) газеты «Речь».

Каминка Август Исаакович (1865—1940) — русский политический деятель, публицист, один из основателей Конституционно-демократической партии. В 1920 году в эмиграции вместе с В. Д. Набоковым и И. В. Гессеном издавал в Берлине газету «Руль».

«Новое время» — ежедневная петербургская газета (1868—1917). С 1876 года издавалась и редактировалась писателем и публицистом А. С. Сувориным (1834—1912). Консервативный орган, на его страницах в военные и предвоенные годы — не редкость шовинистические и антисемитские выступления.

К с. 104. Рожественский Зиновий Петрович (1848—1909) — адмирал. Командовал русской эскадрой в Цусимском сражении (14—15 мая 1905 года). Будучи ранен, был взят японцами в плен на миноносце «Бедовый», сдавшемся без боя. В России был предан военному суду, но оправдан как тяжело раненный в бою.

К с. 109. Эллис Хавелок (1859—1939) — английский писатель, занимался и сексуальной психологией, предшественник З. Фрейда, который признавался, что исследования Эллиса «Этюды половой психологии» (1898) своей невиданной откровенностью вызвала юридическое преследование, ее 1 том был целиком посвящен половым извращениям и содержал огромный фактический материал.

К с. 115. Жадовская Юлия Валериановна (1824—1883) — русская писательница, поэтесса, в своей любовной по преимуществу лирике развивала народно-песенную традицию.

К. Р.— так подписывал свои произведения великий князь Романов Константин Константинович (1858—1915), занимавшийся стихосложением, переводами и филологическими изысканиями. В 1915 году вышел его трехтомник.

К с. 119. Кузина Зинаида — Гиппиус Зинаида Николаевна (1869—1945) — русская писательница, поэтесса, литературный критик, один из вождей символизма, хозяйка знаменитого в Петербурге литературного салона.

Литературный фонд (Общество для пособия нуждающимся литераторам и ученым) — литературно-бытовая организация, основанная в Петербурге в 1859 году. Деятельностью Литературного фонда руководил выборный комитет, работавший безвозмездно. Главными источниками средств были благотворительные вечера и спектакли.

К с. 123. Петрункевич Иван Ильич (1844—1928) — русский политический деятель, один из основателей и руководителей Конституционно-демократической партии, редактор ее центрального органа — газеты «Речь».

К с. 126. Джеллико Джон (1859—1935) — адмирал, командующий британским флотом в Ютландском сражении (31 мая — 1 июня 1916 года), самой крупной морской баталии первой мировой войны.

«Протоколы заседаний сионских мудрецов» — якобы перевод подлинных документов еврейско-масонской организации, будто бы созданной во Франции с целью достижения евреями мирового господства. Опубликованы в 1905 году православным публицистом Сергеем Александровичем Нилусом (1862—1930). Явились сенсацией, переводились на другие языки. В 1921 году в Нью-Йорке в издательстве «Русская самооборона» вышла книга «Всемирный тайный заговор. По Нилусу».

Фаррер Клод (1876—1957) — французский писатель, автор остроюжетных «колониальных» романов, действие которых происходит на Востоке. Их основная тема — «извечная» вражда рас. «Человек, который убил» (1907) Фаррера пользовался особым успехом.

К с. 128. Лорд Бомстон — герой новеллы Ж.-Ж. Руссо «Любовные приключения Эдуарда Бомстона». Герой отдается целиком политической деятельности в английском парламенте, отказываясь от брака с любящей его девушкой.

Львов Георгий Евгеньевич (1861—1925) — русский политический деятель, примыкал к Конституционно-демократической партии. После февральской революции — председатель совета министров и министр внутренних дел во Временном правительстве (март — июль 1917 года).

К с. 135. В главе XII «О моде» своего важнейшего произведения «Характеры, или Нравы нынешнего века» Жан Лабрюйер (1645—1696) сатирически изображает праздно и бесполезно проводящих свое время светских людей, в том числе коллекционеров насекомых.

Поп Александр (1688—1744) — английский поэт, идеолог классицизма, автор рационалистических, «правильных» стихотворений и поэм.

Гей Джон (1685—1732) — английский поэт и драматург, классицист, автор сатирических пасторальных поэм.

К с. 137. Фондаминский Илья Исидорович (1880—1942) — общественный деятель, публицист, один из редакторов крупнейшего эмигрантского журнала «Современные записки». В 30-е годы Фондаминского отличают, с одной стороны, усиливающееся тяготение к православию, с другой — пророссийские, пробольшевистские настроения, отталкивающие большую часть эмиграции.

Поплавский Борис Юлианович (1903—1935) — поэт, прозаик. Его называли «вторым Блоком» и «русским Рембо», его личность и творчество высоко оценивали Д. С. Мережковский и Н. А. Бердяев. В. Ф. Ходасевич писал о нем как о «самом талантливом» поэте эмиграции.

К с. 138. Алданов Марк (псевдоним Ландау Марка Александровича, 1889—1957) — исторический писатель. Его многочисленные романы и повести на темы русской и западноевропейской истории пользовались большим успехом у широкого читателя, переведены на многие языки. Так же автор книг историко-политических портретов и книги размышлений «Ульмская ночь». Считался одним из самых образованных писателей эмиграции.

Айхенвальд Юлий Исаевич (1872—1928) — русский критик, автор книг о русской и западноевропейской литературе, переводчик А. Шопенгауэра. Был сторонником импрессионистического, субъективистского литературоведения, отрицал историю литературы как науку. В 1922 году был выслан из СССР за статью о Н. Гумилеве, гибель которого сравнил с гибеллю А. Шенье на эшафоте. Один из первых обратил внимание на прозу В. Набокова-Сирина.

Ходасевич Владислав Фелисианович (1886—1939) — замечательный русский поэт и критик. В эмиграции был близок с Набоковым, автор статей и рецензий на его произведения.

К с. 141. Гольденвейзер Александр Борисович (1875—1961) — пианист, педагог, композитор. Близко знал Л. Н. Толстого в последние годы его жизни, автор воспоминаний «Вблизи Толстого».

Морозов Александр Иванович (1835—1904) — русский художник, участник выставок передвижников.

К с. 144. Мажино Андре (1877—1932) — французский государственный деятель, в 20—30-е годы — военный министр. Инициатор создания линии военных укреплений вдоль франко-германской границы (линия Мажино).

К с. 151. «Задушевное Слово» — детский журнал, выходил в Петербурге с 1877 года.

Чарская Лидия Алексеевна (псевдоним Чуриловой, 1875—1937) — детская писательница, популярная у массового читателя. Ее произведения отличали сллащавость и сентиментальность.

К с. 152. Индрек — персонаж духовных стихов и былин, более известен под именем Единорога. Фантастический зверь, повелитель животного мира.

Еруслан (Лазаревич) — герой русской сказки, имевшей большой успех у читателей XVII в. Повествовала о воинских и любовных похождениях молодого и прекрасного богатыря.

Артур — король бриттов (V—VI вв.), герой народных легенд, позднее — рыцарских романов (с XII в.). Согласно легенде, двор Артура стал местом паломничества рыцарей.

К с. 153. Убийство австрийского престолонаследника эрцгерцога Франца Фердинанда произошло 28 июня 1914 года в столице Боснии — Сараеве. Убийство стало поводом для начала первой мировой войны.

К с. 158. Ливингстон Давид (1813—1873) — выдающийся английский путешественник. Во время своего путешествия в Африку не давал о себе знать в Европу с 1866 по 1871 г. Был обнаружен английским путешественником Г.-М. Стенли, посланным на его розыски.

К с. 161. Беньер (*фр. baigneur*) — банщик, купальщик.

К с. 164. Гофман Виктор Викторович (1884—1911) — русский поэт. Содержание его произведений — «намеки чувств» и романтические «грезы». Покончил с собой в состоянии душевной депрессии.

Жеральди Поль (1885—1983) — популярный французский поэт и драматург. Решал центральную для его творчества тему любви в духе «легкой трагедии» (по его собственному выражению).

К с. 165. «Песни Билитис» («Chansons de Bilitis», 1895) — поэма в прозе французского поэта, прозаика, переводчика Пьера Луйса (1870—1925), выдавшего ее за перевод с греческого: от лица вымышленной поэтессы Билитис поэма воспевала красоту плоти и чувственные наслаждения.

К с. 167. Леди Гамильтон (1761—1815) — известная авантюристка и шпионка. Славилась красотой. Начинала как содержанка, пока не стала женой английского посла в Неаполе лорда Гамильтона.

К с. 168. Роман Даниэля Дефо (ок. 1660—1731) «Робинзон Крузо» породил длинный ряд подражаний. Кроме «Швейцарского Робинзона», назовем «12-летнего Робинзона», «Робинзона Младшего», «Американского Робинзона».

К с. 182. Карлейл Томас (1795—1881) — английский публицист, историк, философ. Разработал концепцию «культы героев», согласно которой «история мира — биография великих людей», а народ — «толпа, орудие в их руках».

Кальдерон де ла Барка (1600—1681) — великий испанский драматург, представитель стиля барокко с его трагическим видением мира, тяготением к мистике и аллегоричности.

Ламартин Альфонс (1790—1869) — французский поэт, один из основоположников романтической поэзии во Франции. В. Г. Белинский назвал поэзию Ламартина сотканной «из вздохов, охов, облаков, туманов, паров, теней и призраков».

К с. 183. Китс Джон (1795—1821) — английский поэт, выдающийся лирик. Его пафос — утверждение богатства и красоты чувственного мира, в том числе рукотворного. В «Оде греческой вазе» (1819) дал знаменитую формулу: «Красота есть истина, а истина есть красота».

К с. 189. Маршалл Альфред (1842—1924) — английский экономист. Его главное произведение, «Принципы политической экономии» (1890), на протяжении долгого времени — основной учебник экономической теории в Великобритании и США.

К с. 210. Лорис-Меликов Михаил Тариелович (1825—1888) — влиятельнейший государственный деятель России. В 1880—1881 гг. пользовался неограниченной властью, фактически диктатор: сначала начальник Верховной распорядительной комиссии, затем, после ее упразднения, — министр внутренних дел и шеф жандармов. Снискал популярность у общественности, привлекая к управлению государством либеральных деятелей. Смягчил систему полицейского надзора. Добивался проведения экономических реформ.

К с. 221. Боборыкин Петр Дмитриевич (1836—1921) — плодовитый русский писатель, автор около ста романов, повестей, пьес, работ по истории русской и западноевропейской литературы, мемуаров. С 1891 года жил за границей.

К с. 230. Таухниц — немецкая семья, владевшая одним из крупнейших в Германии издательским делом, основанным в 1798 году Карлом Таухнице. С 1886 года фирма издает на английском языке серию «Students Tauchnitz Editions» (английские и американские авторы с немецким введением и примечаниями).

К с. 249. Сюкр д'орж (*фр. sucre d'orge*) — ячменный сахар, леденец.

К с. 259. Крюгер Пауль (1825—1904) — бурский государственный деятель; в 1883—1902 г. — президент бурской республики Трансвааль. В 1900 году, после начала захватнической войны Англии против буров (1899—1902), направился в Европу, чтобы добиться вмешательства европейских государств, но потерпел неудачу.

Подготовил О. Дарк

СОДЕРЖАНИЕ

<i>Ерофеев В.</i> Набоков в поисках потерянного рая	5
ДРУГИЕ БЕРЕГА	
Предисловие к русскому изданию	18
Глава первая	19
Глава вторая	27
Глава третья	36
Глава четвертая	49
Глава пятая	57
Глава шестая	70
Глава седьмая	80
Глава восьмая	87
Глава девятая	98
Глава десятая	106
Глава одиннадцатая	114
Глава двенадцатая	125
Глава тринадцатая	134
Глава четырнадцатая	142
ПОДВИГ	
I-L	150
РАССКАЗЫ	
Возвращение Чорба	259
Ужас	264
Облако, озеро, башня	268
Посещение музея	274
Комментарий. Подготовил <i>О. Дарк</i>	281

Литературно-художественное издание

ПОПУЛЯРНАЯ БИБЛИОТЕКА

Набоков Владимир Владимирович

ДРУГИЕ БЕРЕГА

ПОДВИГ

РАССКАЗЫ

Зав. редакцией *Н. В. Ганиковская*

Редактор *И. М. Анисимова*

Художественный редактор *О. В. Романова*

Технический редактор *В. М. Скребнева*

Корректор *О. В. Добромуслова*

ИБ № 63

Сдано в набор 17. 01. 89. Подписано в печать 27. 06. 89. А 01579. Формат 60×90/16.

Бумага книжно-журнальная 60 г. Гарнитура Таймс. Офсетная печать. Усл. печл. 18,0
Усл. кр.-отт. 36,50. Уч.-изд.л. 21,34. Тираж 300 000 экз. (2-й завод 150001—300000)

Изд. № 161. Заказ 9-356. Цена 3 р. 80 к.

Издательство «Книжная палата». 103009 Москва, ул. Неждановой, 8/10.

Полиграфкомбинат ЦК ЛКСМ Украины «Молодь» ордена Трудового Красного Знамени
издательско-полиграфического объединения ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия». 252119 Киев-119,
Пархоменко, 38—44.

7
0
0
0
3
5
4
2
0
0
4
3
4
1





~~5.00~~

